

За что ?

Проза

Поэзия

Документы

Москва
НОВЫЙ
КЛЮЧ
1999

ББК 84(2Рос=Рус)6

3-12

Издание осуществлено при финансовой поддержке
*Русского Общественного фонда Александра Солженицына,
Фонда Генриха Бёлля (ФРГ)
и Посольства Королевства Нидерландов в России*

Составители

Виталий Шенталинский, Владимир Леонович

Редактор

А.Г. Калмыкова

3-12 **За что?** Проза, поэзия, документы. — М.: Ключ, 1999. —
560 с.: ил.

ISBN 5-7082-0061-8

В книгу вошли материалы, собранные Комиссией по творческому наследию репрессированных писателей России. Повести, рассказы, стихи, воспоминания, письма, документы, спасенные от забвения, создают впечатляющую картину преступлений тоталитарного режима, призывают к исторической справедливости, напоминают о том, что права человека в нашей стране не защищены и сегодня.

ББК 84(2Рос=Рус)6 + 63.3(2)615-4

ISBN 5-7082-0061-8

© В.А. Шенталинский, В.Н. Леонович.
Составление, подготовка текста. 1999

© В.Н. Сергутин. Оформление. 1999

© Права на опубликованные в книге произведения
сохраняются за их авторами. 1999

ИЗ ТЯЖЕСТИ НЕДОБРОЙ

И сказал Господь сатане:
Вот он, в руке твоей, только душу его сбереги.
И отошел сатана от лица Господня, и поразил Иова
Проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя.
И взял он черепицу себе, чтобы скоблить себя ею,
Сидя в пепле.
И говорила ему жена его:
Ты все еще тверд в непорочности твоей?
Отрекись от Бога и умри.

Книга Иова, 6: 6–9.

Крутизною и тайной ветхозаветного стиха можно поверять собранное в этой книге: документы, прозу, стихи. «Каждому веку — свое средневековье», — шутит известный острослов. Но век XX востребовал нечто иное — тьму веков дохристианских. Весьма кстати оказался внешне абсурдный (кара за праведность) и величественный в бесконечной своей жизненности и простоте сюжет Книги Иова. ЗА ЧТО?! — возопил он, простертый на гноище своем. ЗА ЧТО?! — вопрошает в последнем стихотворении якут Платон Ойунский, умирая в тюрьме.

Всего меньше нам хотелось, чтоб это множество авторов теснилось в книге, как некогда в бараке, а пуще — укладывалось бы в братский ров многоименного тома. Не хотели мы ни разноголосого митинга на площади в два десятка листов, ни даже того приглушенного строй-

ного беспорядка при свечах на литургии, когда общий шепот молитвы возносится к Богу.

Нашей целью было выявить личные душевные усилия каждого автора этой книги — усилия к Свободе, к Добру, к Мысли, к Прекрасному. Ко всему тому, чего их посмели лишить на годы, навсегда... Известные пасхальные стихи Бориса Пастернака кончаются так: «Смерть можно будет побороть/Усиьем воскресенья». Таким образом, и наши скромные желания не имели в виду собрать по горсточке гору праха — но слить запечатленные на бумаге страстные, отчаянные, порой неистовые усилия остаться жить, сказать свое, послужить примером и уроком того, что усваивается так трудно.

О дне его ужаснутся последующие поколения,
И предшествующие трепетом будут объаты.

Иов, 18: 20.

Время Иова — сплошное и обратимое. Иначе: оно есть единое нравственное пространство всех своих отзвучивших окраин. Н.Карамзин, историограф и моралист (дороживший именно этим последним качеством в себе), писал о вещах, которые «ужасают природу», где бы, когда бы ни происходили они. Добавлю, по Иову: где бы ни имели они произойти. Эта простота есть ответственность за человека и хороша уже тем, что рушит лукавство политиков и властей. Приметы добра либо зла — неизменны. Невытравляем распознающий их инстинкт. Но XX век, этот ужас природы, наименее ужасен... сам по себе. Порог чувствительности нашей достиг уровня бесчувственности — вот почему еще потребна опора на трагедию библейского мирного скотовода из земли Уц. Сострадать дальним легче для многих из нас... И все же, все же духу не хватает представить, что ужас нашего столетия настиг и его, Иова.

Страдания мои тяжелее стонов моих.

Иов, 23: 2.

Уж не потому ли, что — настиг?

Художник-сюрреалист совлекает с моря его поверхностную пленку, и ветер относит ее, как легкую ткань. Он мог бы нарисовать и другую метафору: море, состоящее из капель. Чтобы не потонуть при этом, он должен был

бы выбрать несколько капель, но таких, какие вмещают море. Нечто подобное сделал Ф.Достоевский, нарисовав современный ему народ, для чего ограничил себя десятком типов «Мертвого дома».

Не претендуя на таких масштабов картину, но выбирая вещи, отмеченные талантом, все же мы сделали попытку некоего собрания лиц и характеров — житейских положений, в какие попадает человек, лишаясь свободы. Грустно думать, что прав Борис Чичибабин и совершается дьявольская подмена одних лагерей на другие — при обнаглении вохры и паханов, при расползании паучьих свастик, оглуплении народа и т.п. В таком случае нет у человека иной крепости и обороны, как только внутри себя. И кроме сознания своего положения, пусть самого печального, нет у него другой силы. Году в 1927-м, еще до ареста, но в предвидении его, П.Флоренский, беседуя с художницей Н.Симонович-Ефимовой, говорил о знании и незнании такого рода: **«Конечно, не знать — большая вина, но не желать знать — преступление»**. Огромная часть непостижимого народа нашего пребывает в состоянии преступления — если принять этот замечательный постулат. Увы, приходится. Что ж — тем больше личной ответственности на тех, кто желает знать и знает.

Спокойны шатры у грабителей,

И безопасность у раздражающих Бога.

Иов, 12: 6.

Пора сказать приятные слова нашим читателям. Их меньше, чем потребителей чтива в ярких обложках (детектив, эротика), их и всегда мало — но хороша их порука. Это — нервная система огромного и, увы, нездорового народного организма. Когда-то Максим Горький, решивший возненавидеть страданье как таковое и тем угодивший власти, ненавидящей страдальцев, пенял Владиславу Ходасевичу на его пристрастие к темным сторонам жизни. «Несчастный дурак в колодце двора/Причитает сегодня с утра...» На родине «униженных и оскорбленных» насаждалось бодрое поросячество соцреализма — как главный тон, как политика, этически отвра-

тительные. Ненавистными оказались не только страдание, массово воспроизводимое властью, но и сострадание, сочувствие несчастному человеку, житейская выручка, милосердие... Боровшиеся с «темными сторонами» жизни возбуждали в каждом человеке, в каждом «здоровом коллективе» крошечные инстинкты пещерной ненависти, групповой расправы.

Разве я... чудовище морское,
Что Ты поставил надо мною стражу?

Иов, 7: 12.

Эгоизм выживания охватил страну. Вот когда морально тяжелее неволи стала «воля». Когда кровавая отрыжка Чеченской войны стала сотрясать пространство, что еще зовется Россией, — как мало ее, России, вышло на площади, лишилось сна и аппетита, сплотилось стеной на пути танков...

Но те, кто пришел к Соловецкому камню со свечою в ладонях, — наши читатели. Стояли там и авторы наши.

Сто с лишним лет назад русский писатель, не очень крепкий физически, но движимый главной «заповедью христианской цивилизации» — состраданием, предпринимает путь от Москвы — трактами Сибири — на каторжный Сахалин. Христианский словарь называет такие вещи деяниями. Деяние предполагает действие по возможности молчаливое, но чреватое толкованиями, позднейшими описаниями и прочим. Таким и был путь Чехова по следу бывших (и будущих!) этапников. Некий Ангел, несомненно, парил над его экипажем: я бывал на станции Кача, жил на станции Чернореченской — шла электрификация Красноярской дороги, — и могу заверить, что таких трясин, таких плывунов, каковы и ныне качинские глины, вряд ли где найдешь. Две-три опоры сваями легко входили в эту хлябь — на них монтировалась четвертая, несущая контактную сеть. Эти качающиеся (отсюда Кача) глины надо было одолеть чеховским лощадкам.

Помимо молвы, быстрой на оценки (сумасбродство, юродство, реклама), и всего того, что известно нам об этом добровольном этапе, есть здесь и то, что анализу не

поддается и не исчерпывается умом. Это образ действия. Это теперь уже вечно совершаемый русским писателем каторжный путь, подобный Крестному Пути на Голгофу. Чехов и не пытался об этом рассказывать. Но вернулся он после работы на Сахалине — «другим человеком», как говорят. А вернее — самим собой. Суворину он пишет: «Какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома. До поездки “Крейцера соната” была для меня событием, а теперь она для меня смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал... не то сошел с ума, черт меня знает».

Я был глазами слепому и ногами хрому.

Иов, 29: 15.

Костный мозг заменяет неработающую селезенку, сердечная мышца выручает съжившийся клапан. Не имел никогда, не видя и впредь «правовых» отношений в нашей стихийной жизни, мы имели и будем иметь великую литературу. Наш Пегас семижилен и многокрылат: при каждом ударе на месте ссадины вырастает крыло (см. Некрасов, «О погоде»). Еще картинка для сюрреалиста.

От партийных органов предыдущей... зоны и пародийно-демократических нынешней мы не дождалась юридической оценки многолетней политики геноцида, соответствующих санкций, терминологии, профилактики. От козла — молока. Мальчик, ушедший добровольцем на фронт и вступивший там в партию, сегодня говорит: «Никого не казня, ей (партии) надо было вынести беспощадный приговор за тот кошмар, в котором мы пребывали, за искажение нашего сознания, за все сотворенное на нашей земле зло. Так же, как осужден был на Нюрнбергском процессе гитлеровский нацизм — за преступления против человечности, — и мы обязаны были квалифицировать деятельность коммунистической партии... Мы этого не сделали. Нравственному очищению не был дан импульс» (Булат Окуджава в беседе с Ириной Ришиной).

Все это, слава Богу, было сделано, и импульс был дан — но не тот, какого до конца жизни продолжал ждать

Окуджава. Не сверху — снизу все это происходит. В «Записках об Анне Ахматовой» Лидия Чуковская воспроизводит их разговоры в середине 50-х в комнатухе Ардовых. Сказать, что это были соображения «на уровне Политбюро» — значит сильно польстить кремлевским «мыслителям». Где было им взять поистине выстраданную патриотическую и государственную мудрость? И когда власть в этом нуждалась?

Что за прибыль Вседержителю, когда ты праведен?
И будет ли выгода Ему от того,
Что ты содержишь пути твои в непорочности?

Иов, 22: 3.

В «Польском дневнике» Юзовского есть любопытное место: узник, доведенный до истерических воплей Иова, а затем низведенный до последней черты, до пыли и праха, начинает... Нет, не так: эта пыль и этот прах начинают мыслить!

Ты поднял меня на ветер, пустил меня
И уничтожил меня в вихре.

Иов, 30: 21.

Это голос праха. Мысль же состоит в том, что зыбки здания цивилизации, что великое искусство древности пахнет потом рабов и безнравственно в корне. А мы-то ахали над ним... Глазами раба-каменотеса, вечно вылезающего из глыбы, вечно обнимающей его, видит узник Освенцима мраморные гермы и колонны. Благоуханная поэзия, услаждавшая нобилей, вызывает в нем спазмы отвращения.

Толстой, посылавший Нехлюдова по пути, хочется сказать, Чехова, не был лишен подобной коренной «ереси». Нехлюдов страдал «нравственной тошнотой», издавал «кряхтенье стыда» — устыжаясь комильфотной жизни своего круга. Из колымских распадков донесется потом резкий голос Шаламова:

— Я бы плюнул в красоту...

Да, в ту, которая великолепничает, пока в одном с нею времени стреляют, гноят, скармливают заживо крысам и вшам. Мысль эта, имеющая четкость постулата, не

получила развития в больной и себялюбивой нашей жизни. Одному — нравственная тошнота, другим — нравственная всеядность.

Молодой Чичибабин:

Пока хоть один безутешен влюбленный,
Не знать до седин мне любви разделенной.

Сорокалетний Чичибабин:

Живу на даче. Жизнь чудна. Свое повидло...
А между тем еще одна душа погибла.

Он был поэтом народа, двух народов, голосом гонимых и едва ли не голосом той подножной пыли — редкостный дар!..

Земля! Не закрой моей крови,
И да не будет остановки воплю моему.
Иов, 16: 18.

Горько прав мученик — и прозорлив.

На заре отечественной культуры всякая образованная и достаточная семья хранила под образами книги Четых Миней. Отец семейства разгибал фолиант и читал «во слых» житие святого — к случаю или в назидание кому-нибудь из семьи. «Имя — тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность... Имя — формула личности... Имя должно быть образом...» До столь отчетливой нравственной мысли, принадлежащей П.Флоренскому, было тогда еще далеко (как уже далеко от нее сейчас!), но имя давали, имя носили не как пустой звук. Имя обязывало, напоминало. Имя давалось крещаемому как аванс, который должно было оправдать.

Безымянные трупы ГУЛАГа, войны Отечественной, а теперь и Чеченской, уже спрятанные в землю или еще замороженные в запоздалой попытке опознания, лучше всяких ораторов говорят о наших доблестях. Так низко народ еще не падал... Впрочем, и косточки поля Куликова погребены не были — занесло их, замуравели сами.

Мартирии XX века, пока еще не обретшие ни формы святцев, ни места в красном углу, ни мудрого издателя на земле родной, все же призваны играть ту роль, какую играли их предтечи. Выдумывать ничего тут не придется,

семья как ячейка жизни (сколько же несчастных семей по России!) еще таковой остается, стало быть, оставаться должен и должен возникать, коли его нет, нравственный обиход семьи. Внук и правнук должны знать, где и кем убиты дед и прадед, где покоятся, о чем повествует имя на камне, если камень ту могилу хранит.

Настоящий том имеет целью прибавить несколько неизвестных писательских имен к уже известным и чтимым.

О, если бы слова мои...

Резцом железным врезать на скале на вечное время!

Иов, 19: 24.

«Не спрашивайте меня имен их. Что вам с того? Имя им легион. На небесах бы написать их судьбы огненными буквами!» Это не Библия — это проза Платона Набокова. По-другому о женских лагерных судьбах писать он не может.

Роят рудокопную яму через угнетенных,
И зыблются они, от людей удаленные.

Андрей Платонов? Нет, снова *Иов, 28: 4.*

Он распростер Север на пустоте,
Повесил землю ни на чем.

Иов, 46: 7.

Шествие слепых танкистов от барака к столовой — они держатся за длинное белое полотнище. Они не могут работать, ни тем более бежать. Зачем их, полных молодых сил, убрали с глаз людских? Так убрали в одночасье безногих, слишком вольных в своих пьяных проклятьях, слишком громких на своих шарикоподшипниках. Инвалидные бараки, старики и старухи в зоне. Матери — им кличка «мамки», — у которых годовалых детей отнимают — для воспитания в детдомах речевками Жарова и Михалкова. Дети на поселении, в лагере, в тюрьме...

Воистину распростерта эта не-жизнь на пустоте и повешена ни на чем. Она и продолжает свое свержение. Так обрушивается странного вида пустошь, под которой долго выгорал, вытлевал торф.

В марте 1935 года арестованная Анна Баркова пишет наркому Ягоде: «В силу моего болезненного состояния и моей полной беспомощности в практической жизни на-

казание, в виде ссылки, например, будет для меня медленной смертью. Прошу подвергнуть меня высшей мере наказания...»

И желает удушения душа моя,
Смерти изнутри костей моих.
Отвращаюсь жизни...

Иов, 7: 15, 16.

Поухмылялся нарком и отправил строптивцу в Карлаг. Это было для нее наказание — жизнью. Такой уж характер. Песню «Дан приказ: ему — на запад...» написала не она. Там комсомолка желает возлюбленному «если смерти — то мгновенной...» Баркова писала круче: «Пожалей меня — пристрели!» — если враги не добьют. Для этой души лагерь оказался тем, чем для «кучерявых лириков» наших — дом творчества.

...Невольно продолжаю то, что писал по поводу Юзовского и «мыслящей пыли». К ней, тучами летящей над казахскими степями, принадлежала и Баркова. С пылью и песком когда-то хотели смешать другого строптивца — «малоросса Шевченку», который мог бы быть «повторником», если б в его времена, когда еще помнилось римское право (дважды не наказывать за одно деяние), к нему применили бы советское. Вернувшись в Петербург, он читал свою «преступную» поэму великолепной Екатерине Дадияни, как бы возвышаясь над бронзовым кумиром с бабьим лицом:

Каты! Каты! Людоиды!..

Перед державцем полумира, «що розпынав» не одну Украину только, но и другие окраины с Россией вкуче, возникал не безумец с раздвоенной душой и даже не поэт его... не «певец империи и свободы» (по определению Г.Федотова), но человек великой и цельной души, не желавший снимать с себя ни крепостных пут, ни каторжной цепи, — пока эти прелести имели место в его времени. Недаром перед Кобзарем клонил колени Некрасов... Но пример очень уж хорош «для жизни». Такие люди рождаются, может быть, раз в тысячу лет — с душой, равновеликой дару.

Кто обрекает друзей на несчастье,
У детей того глаза истают.

Иов, 17: 5.

И это, оказывается, было ему ведомо. Ахматова:

За меня не будете в ответе,
Можете пока спокойно спать.
Сила — право... Только ваши дети
За меня вас будут проклинать.

Но такова лишь небольшая часть этого помёта, простите, — второго поколения убийц и охранников, лгунов и доносчиков. Бóльшая часть носит истаявшие глаза, сухие и хищные. Кто не может — пока! — убивать и достигать служебных высот этим ремеслом, пробавляется мелкими пакостями. Так или иначе, яблочко от яблони недалеко падает.

У нас нет ни полиции нравов, ни института их. Был бы таковой — была бы в нем кафедра, скажем, «Отцы и дети». И тогда лихое поколение власть предержавших негодяев было бы помирнее... Но не о них речь. В наш том не вошло еще многое, что безусловно относится к «репрессированной» литературе, но написано уже вторым, третьим поколением — теми, кто в лагерях не побывал. И тут бывают поразительные вещи: дочь пишет... стихи отца, который знал, что «смерть — не самое страшное», и вовремя выкинулся из окна Лубянской крепости. Первое поколение, сколько б ни оставило нам свидетельств из первых рук, — еще больше оставило Заветов и Поручений.

...Заросшая дорога, когда-то наезженная, долго и полого спускается кряжем в болотину. Старая гать еще держит ногу: березовые жерди, совсем черные, каменеют десятки лет. Новый слабый подъем, новый спуск, и уже слышится шум ручья — запруда? Валуны не пускают цветущую поверху воду, лишь в одном месте она падает туда, где когда-то принимал ее желоб — с разгона была она в лопатки мельничного колеса. Колесо еще цело, цел сруб и даже кровля, крепко, видимо, просмоленная. Ворон, кромешно-черный, сидит на коньке и не боится меня: хозяин...

Хлебным еще перегноем крапива сыта,
и непролазны черемуховые оплетья.
— Худо, Хозяин! — И ворон кричит: — Воркута! —
этого хватит ему на четыре столетья.

Человек помнит зло, но долго злиться не может. Фольклор постепенно преобразует лютого зверя в серого волчика, приговор делает из убийцы — несчастного... Зло со временем потеряет отчетливость, интерес к нему, и без того специальный, будет угасать — согласно той малой содержательности и примитивности побуждений, коими зло вызвано. Даже если землю взорвут — то взорвут ее за копейку. А если завалят отходами себялюбивой жизни — то из простого неряшества и по глупости. Какая тут глубина? Глубина плевая.

Зато необходимо на первый план выдвинется каждое тайное доброе побужденье. Каждое лицо. Каждый поступок порядочного человека — в тех сказочно-диких условиях, становящихся постепенно задником и фоном.

Может быть, это имел в виду Варлам Шаламов, проклявший лагерь и считавший бросовым наш лагерный опыт? Заново, уже как писатель, пережив каторгу и «задник» тот прописав в леденящих его подробностях, Варлам Тихонович довершил свой Подвиг. И это есть первый план и главный смысл его жизни.

Юный Мандельштам, пораженный архитектурой готических соборов, где изнутри проявлены все ребра сводов, а снаружи — все колонны и державки контрфорсов, где царит и красуется грубая функциональность, обещал когда-нибудь создать Прекрасное «из тяжести недоброй» (стихи о Нотр-Дам).

Таков, мне кажется, и путь наших мучеников через время.

В самом начале Книги Иова, во второй главе, есть исповедательный стих, потерявший свою глубину в синодальном переводе, а на древнерусском звучащий так:

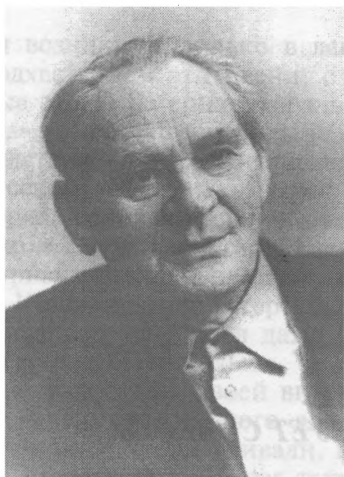
Аще благая прияхом от Руки Господни —
Злых ли не стерпим...

Он сгодится нам на каждый день. А его невольный перевод можно прочесть у Пушкина:

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

Владимир Леонович



**Пока
существует
совесть**

БОРИС ЧИЧИБАБИН

Борис Алексеевич Чичибабин (Полушин) (1923–1994) – выдающийся русский поэт. Родился в г. Кременчуге, на Украине. Стихи начал писать со школьных лет. В 1946 году, будучи студентом Харьковского университета, Борис Чичибабин был арестован и осужден «особым совещанием» за антисоветскую агитацию. Лубянка, Бутырка, Вятлаг. После освобождения в 1951 году многие годы служил бухгалтером и на разных случайных работах, не прерывая интенсивного поэтического творчества.

Первые книги вышли в 1963 и 1967 годах. А затем – новые гонения. В течение 20 лет Чичибабин не увидел ни одного своего слова в печати, был исключен из Союза писателей. Только в 1989 году, при «перестройке», после взрыва его журнальных публикаций и выхода сборника «Колокол» состоялось настоящее открытие поэта для читателей – а с ним пришли широкое признание и известность.

Публикуемый текст Бориса Чичибабина – вступительное слово к этой книге – последнее, что он написал за месяц до кончины.

ПОКА СУЩЕСТВУЕТ СОВЕСТЬ

Пока существуют такие понятия, как память, сознание, совесть, так называемая лагерная тема, тема надругательства и насилия могущественного и всеоружного государства над человеком, безвинным и беззащитным, любим и каждым, не может, не должна исчерпаться, иссякнуть, умолкнуть в наших памяти, сознании и совести, — и никуда из них не уйдет. Это не только потому, что лагерь был воистину адом, в котором происходило сатанинское попрание обезумевшим государством всех Божьих заповедей и нравственных законов для унижения и уничтожения человеческой личности и плоти, когда государство предстало перед всем миром в зверином обличии преступника и убийцы, подлежащего суду и каре. В то же время, и это, может быть, самое страшное, лагерь — это еще и нечто повседневное, обыденное, привычное, будничное, уравнивающее жертву с палачом, отнимающее надежду на возможность суда и возмездия, — бесовщина, жестокость, ложь, ставшие бытом, нормой, воздухом нашей жизни по обе стороны огороженной проволокой зоны. Даже те из нас, кому посчастливилось прожить свой срок, не побывав в лагере, никуда от него не денутся. Лагерь вошел в наши кровь и мозг, стал частью нашей жизни. Наши любимые барды, даром что в лагерях не сживали, подлаживаясь под лагерников, блатными голосами выкрикивают-выхрипывают песни, которые мог-

ли возникнуть только в лагере или после лагеря, и мы подхватываем эти песни, с упоением повторяем их дурные слова. Лагерная мораль — «умри ты сегодня, а я завтра» — все чаще и больше определяет наши поступки и действия. Да и разговариваем-то мы уже давно не на том русском языке, какому нас учили в школе, на каком говорила великая и святая русская литература, а на том, на каком говорят в лагере. Нынче у нас и книги пишутся, и журналы выходят на этом языке.

Конечно, и в лагере были свободные люди. Я знал некоторых из них, я даже с уверенностью думаю, что в лагере их было больше, чем на воле, — честь им и хвала и вечная слава! Своей внутренней свободой они отгораживались от лагерного ада, не принимая его звериных законов. Их тоже убивали, но превратить их в рабов было невозможно. И все-таки как мало их было! Когда Александр Солженицын писал «Архипелаг ГУЛАГ», он думал, что люди, прочитавшие эту книгу, уже не посмеют оставаться равнодушными, что, узнав об аде, они восстанут на него и постараются сделать все возможное, чтоб этот ад не вернулся, даже если ради этого придется отдать свои жизни. Александр Исаевич переоценил соотечественников, и с появившейся возможностью прочитать «Архипелаг» всем россиянам равнодушных что-то не убавилось. Вот и позорная власть КПСС рухнула, и лютой власти КГБ не стало, и, говорят, демократия у нас восторжествовала, но не оставляет меня смутное чувство, что и это все случилось с нами не по Божьей воле, да и не по-людски, а тоже как-то чуть ли не по-лагерному, чуть ли не по установке какого-то неведомого самодурствующего начальства. Во всяком случае, никогда еще наша жизнь не была так похожа на лагерную, как сегодня, — с бесстыжим празднованием разбогатевших на всеобщей беде и с нищетой отчаявшихся и ожесточающихся бедняков, ограбленных государством, с только-только вылупившимся, но уже почуявшим свою силу и наглеющим от нее родимым русским фашизмом, с наркоманией и порнографией, с заказными убийствами и астрологическими прогнозами, с атаманской плеткой и публичными домами под все это осеняющими зловещи-

ми и зловонными крыльями старого знакомого — двуглавого орла.

В послесловии к своим «Колымским рассказам» Варлам Шаламов писал: «Автор тысячу раз, миллион раз спрашивал бывших заключенных — был ли в их жизни хоть один день, когда бы они не вспоминали лагерь. Ответ был одинаковым — нет, такого дня в их жизни не было». Должен сказать, что Варлам Тихонович ошибался. Я как раз тот бывший заключенный, который, как только вышел на волю, ни разу не вспомнил лагерь. Правда, мой лагерный опыт ни в какое сравнение с шаламовским не тянет: у меня и срок был смехотворный — пять лет, с 1946-го по 1951-й, и лагерь не тот — не Колыма, а Кировская область, Вятлаг. Но и мой юношеский идеализм был, оказывается, надежной защитой от зла и мерзости лагерного быта, сущности моей они не коснулись. Но моя «незадетость» лагерем не имеет ничего общего с равнодушием к лагерной теме, с нежеланием впустить ее в свою, и без того не особенно благополучную, жизнь. Вот почему я считаю, что тема эта не может не волновать человеческие души.

говорила Люся как-то совершенно по своему, нам непривычному
для нас стилю. Вспоминаю эти это выговор тогда и шестидесяти
года она была родом (это узнаю от Леры), как это не мне
стало, не всегда слышно. Да это видна и не была на нас в объе
страну же утомил Погова. Вносили в барах воздух старинной в
ручки. Каждый свои безвредные юбки и подвязки утомил платочка, и
та по поводу между поехали, ча потому еще все одевалась, и
как на деревенской улице со всеми расплывалась. Но и все
радавалась: «Соломоновне поцтытьсьце!» Это мне Лерой, та
а у не зватьсьца... «Ивановне» — это мой приятельнице во
Щемовой, даме поцтыт те, которые ей безразличны, но с кото

ПРОЗА

ми она считает необходимым быть великой — поэтому звать
хорошо — а как же вам... поцтытьсьце... «изяо плагичьсь» и с
той калябо и калябо поцтыт, при тем же всем она слыла тем
поцтыт и шотает юбки. Вот она зашикнула в барах фонны в
тады, тогда определенно радая поцтыт кардиналы, она быстро
табытеть в кину и отбывает ему особый поцтыт, тем
табытеть — «Ляпофичью поцтытьсьце, кизько плагичьсь» и в
кальсе утфо, и так, пока не выйдет из барах. Знаюче от
предисказа так калятеться, когда уже вышла калятеть
калятеться, то калятеться или стрессор, — тот оставилсь
опорбичный стоить необычным поцтыт (она ему слыла с
бывающе — «как же вам») и с угрозою спросил «Ля это с не
така здоровкальсь?» (тоже видно от не даюче не уже
но зватьсьца и так!). — «а с собещи и не с тобой... Ля и
пристал? Болюю кизько... Прощай куда идеть», — не расте
лась наша Погова и пошла даильсь, оставив воровца
в поцтыт растерянности. (В утпаде о таком Погова у
мий не слылось). Небичность поцтыт Погова не ра с
вала с тоцтыт воровцев; в поцтыт с ним она все
выложила победительницей.
Как-то летом мий мий в строю под павою — на о
дорога мий исом, но бокам кутти та мий от мий



**Дубарь
Интеллектуал**

ГЕОРГИЙ ДЕМИДОВ

Георгий Георгиевич Демидов, 1908–1987. Раздвинем две эти неизбежные даты, заглянем в судьбу...

Родился в Петербурге, в рабочей семье. Рано проявил способности к технике, изобретательству, стремительно прошел путь от рабочего до инженера и доцента электротехнического института. Друзья сулили ему, ученику Ландау, блестящее будущее ученого-физика.

В 1938 году он был арестован в Харькове, где тогда работал, — вызвали якобы для проверки паспорта; эта «проверка» затянулась на восемнадцать лет. Следователь пригрозил арестом жены с пятимесячной дочкой, и Демидов подписал показания на себя как троцкиста, участника контрреволюционной террористической организации, наотрез отказавшись назвать еще кого-нибудь. Итог — исправительно-трудовые лагеря.

Четырнадцать лет на Колыме, из них десять — на общих, самых тяжелых работах. Человек с твердым характером и многосторонним интеллектом, он и выжил-то благодаря своему высокому духу. Не имея он в себе этой «подъемной силы», остался бы колышком с номером на усталых костях сопках Колымы.

Демидов писал: «Даже совершенно не способный к наблюдению и сопоставлению человек не может не постигнуть трагедийно-

сти этого “Освенцима без печей” — выражение, за которое, среди прочего, я получил в 1946-м второй срок».

Вскоре после того как там, в лагере, он был вторично осужден, жене Демидова пришла телеграмма о том, что ее муж... умер. Телеграмму отправил он сам и причину этого открыл позднее в письме дочери: «Бедная моя дочурка! Я был тогда в страшной дали, в огромной мрачной стране — тюрьме. Я не надеялся когда-нибудь выйти из этой тюрьмы. Был уверен, что погибну в ней. Мне показалось, что я только немного опережаю события, прикидываясь мертвым. Делал это я для того, чтобы избавить тебя и маму от своего существования, которое я считал для вас вредным... Ее мне обмануть не удалось».

В центральной больнице УСВИТЛа Демидов встретился и подружился с фельдшером из хирургического отделения — Варламом Шаламовым, который называл своего друга одним из самых «умных людей, встреченных на Колыме». Демидов — прототип героя шаламовского рассказа «Житие инженера Кипреева», ему посвящена пьеса Шаламова «Анна Ивановна». Потом дороги их разошлись, чтобы спустя много лет снова пересечься, когда оба после освобождения обнаружили — Шаламов в Москве, а Демидов — в Ухте. Завязалась переписка, возобновилось общение.

Оказалось, что Демидов тоже запечатлел свой крестный путь в слове. Это, по его признанию, была попытка начать жизнь во второй раз и с нуля. Писал, урывая редкое свободное от работы на заводе время. Ночами стучал на машинке — сломанные в лагерьной шахте пальцы не сгибались и не держали ручку. «Мне мое творчество обходится очень дорого, — говорил он. — Я неизбежно дохожу до болезни, хотя далеко еще не развалина... Все спрашивают: что-нибудь случилось? Я мог бы ответить: да, случилось. Совсем недавно. Нет еще тридцати лет. И случилось не только со мной...»

Сложность задачи, которую он перед собой ставил, сам Демидов прекрасно понимал — понимал со всей беспощадностью к себе. Из письма Шаламову: “...Писатели — судьи времени” — выражение, требующее уточнения. Не всякий писатель может претендовать на такой титул. Я считал бы свою жизнь прожитой не зря, если бы был уверен, что буду одним из свидетелей на суде будущего над прошедшим. Но здесь, конечно, возникает много вопросов и сомнений. Что такое суд яйца над курицей?..»

Тема большинства произведений Демидова — Колыма, невольничья страна, оказавшаяся географически и природно идеальным местом для каторги. Сталинское воспитание и лагерные порядки

гасят добро и выращивают зло в человеке. Развитие комплекса неполноценности и создание кадров убийц — государственная политика. И результат — порабощенное сознание миллионов.

Так уж повелось на Руси, что именно через слово, через литературу оно раскрепощалось. Поэтому литература у нас (разумеется, в лучших образцах) была не только искусством в классическом смысле, но — глотком свободы. Или видом внутренней эмиграции — из мрака реальности в воображаемый, параллельный мир. Или единственной доступной формой протеста, сопротивления. Вот почему у нас так много писателей и так много читателей: читать интересней, чем жить...

И в новой ипостаси — писательской — Демидов оказался не угоден своему времени. Пора «оттепели» уже миновала. Надежды быть напечатанным — никакой. «Мои официальные гонорары, — пишет он Шаламову, — это доносы, окрики, угрозы, прямые и замаскированные. И самое подлое — “товарищеские” обсуждения в узком литературном кругу. Наша здешняя литературная яма имеет, конечно, уездный масштаб. Но источаемая ею вонь качественно та же, что и от ямы всесоюзной». Впрочем, были и обещания — предлагали и писательский билет, и большие тиражи — при одном условии: переменить тему.

Друга в литературе он не нашел. Даже с Шаламовым развела судьба. Бросился к нему навстречу, открыл душу, отдал должное его писательскому опыту и мастерству, но «докторальности, безапелляционности в наставлениях и разносного тона» — этого вынести не смог. «С кем ты меня спутал, Варлам?»

Был и другой, более принципиальный, мотив в их расхождениях. Демидов не принял выстраданный бунт Шаламова против культа красоты в искусстве, казавшегося тому обманным утешением и даже оскорблением перед лицом бесчеловечной, жестокой яви. «Твои нигилистические рассуждения о ненужности всего в литературе, что апеллирует к устаревшим эмоциям, мне были известны и прежде, — отвечает Демидов. — Если не ошибаюсь, ты был поклонником Писарева. А сей последний громил даже Пушкина. Но при всей своей старомодности Пушкин остается Пушкиным...»

В отличие от литературного наследия Шаламова, произведения Демидова еще мало известны читателю. КГБ не выпускал писателя из поля зрения и после освобождения, до самой смерти. В августе 1980 года одновременно в нескольких городах у всех, у кого хранились его рукописи, и у него самого были произведены обыски, и все сочинения арестовали. Три романа, три повести, более двадцати рассказов и самое последнее, любимое детище —

автобиографическую книгу «От рассвета до сумерек». Многостраничный протокол обыска — потрясающий документ наших социальных нравов, положения пишущего человека в «самой свободной стране». А незадолго до этого сгорела дача Демидова под Калугой, где хранились все черновики...

В семьдесят два года он остался без единой строки!

Хорошо, что у него есть дочь, по натуре похожая на отца. Рукописи Демидова были возвращены дочери уже после его смерти, в результате длительных и упорных усилий.

«Преступлений социального характера утаить от истории нельзя, — писал Георгий Демидов. — Они даже не шило в мешке. Скорее кусок расплавленной лавы, раскаленное ядро...»

В. Шенталинский

ДУБАРЬ

Унылый звон «цинги», куска рельса, подвешенного на углу лагерной вахты, слабо донесся сквозь бревенчатые стены барака и толстый слой льда на его оконцах. Старик дневальный с трудом поднялся со своего чурбака перед железной печкой и поплелся между нарами, постукивая по ним кочергой:

— Подъем, подъем, мужики!

Все мы, обитатели холодного и обшарпанного барака политических заключенных, «контриков», как нас называли жившие в куда лучших условиях уголовники и лагерные надзиратели, слышали эти ненавистные сигналы утренней побудки не в первый, а большинство тут — даже не в тысячу первый раз. Да и все остальное было сейчас обычным, таким же, как и во всяком другом из бесконечной вереницы таких же утр. И это наше привычное, доведенное почти до автоматизма, безропотное подчинение железному распорядку каторги, и глухой, но всегда почти чисто пассивный, внутренний протест против него, давно уже воспринимаемый как тоже ставшая привычной застарелая боль, и двухэтажные нары «вагонного типа», и сизый полумрак барака.

Люди на каторге всегда расстаются со сном с мучительной неохотой, так как это самое счастливое из доступных им состояний. Сон не только дает забвение от тусклой и безрадостной действительности, но и возвра-

щает иногда в полузабытый мир «воли». Правда, обрывки смутной памяти о прошлом всегда самым причудливым образом переплетаются с куда более реалистическими видениями настоящего. Но во сне не бывает ни настоящей голодной тоски, ни мучений холода, ни страданий непомерного мускульного усилия, постоянно ощущаемого каторжниками наяву. Поэтому они цепляются за каждое лишнее мгновение не только настоящего сна, но и того полусна, который следует непосредственно за пробуждением и обычно продолжается недолго. Однако при сильном желании некоторым усилием эту стадию полусонного оцепенения можно во много раз затянуть.

Каждый, кому с крайним нежеланием приходилось подниматься спозаранку, знает, что после такого вставания можно довольно долго двигаться, что-то делать, даже произносить более или менее осмысленные фразы и не просыпаться окончательно. В лагере такое состояние повторяется изо дня в день, каждое утро и на протяжении многих лет. В результате вырабатывается еще одна особенность каторжанской психики, во многом и так отличной от психики свободного человека, — способность едва ли не в течение целых часов после подъема сохранять состояние полусна-полубодствования. Вольно или невольно заключенные лагерей принудительного труда культивируют в себе эту способность, оттягивая полное пробуждение до крайнего возможного предела. Зимой таким пределом является выход на жестокий предрасветный мороз. Но и в более теплое время года некоторые лагерники умудряются оставаться в каком-то сомнамбулическом состоянии и на плацу во время развода, и даже на протяжении всего пути до места работы, хотя этот путь нередко измеряется целыми километрами. Это, конечно, своего рода рекорд. Но в той или иной степени таким образом ведут себя все без исключения люди, осужденные на долгий подневольный и безрадостный труд. И это даже в том случае, если норма официально дозволенного им ежесуточного сна сама по себе является достаточной.

Вот и сегодня мы привычно сопротивлялись наступлению настоящего бодрствования не только когда слеза-

ли с нар и напяливали на себя свои изодранные и прожженные у лесных костров ватные доспехи, но даже когда протирали глаза пальцами, слегка смоченными водой из-под рукомойника. Каждый понимал, что с полным пробуждением приходит и отчетливое осознание действительности. А она заключалась в том, что очередной из бесконечной вереницы безликих каторжных дней уже наступил, хотя сейчас только пять утра. И что он будет продолжаться бесконечно долго, пока около семи вечера мы, до изнеможения усталые, заиндевевшие и окоченевшие на жестоком морозе, снова ввалимся в этот барак. И что на протяжении этого дня будут хождение и стояние под конвоем, тяжелая и осточертевшая работа в лесу, окрики и понукания, обзывания «фашистом» и «контриком». Что не раз, наверно, посетят горькое чувство бессилия и та злая тоска неволи, от которой захочется завывать и боднуть головой ближайший лиственничный ствол.

Вообще-то в подобных мыслях и настроениях, если судить о них беспристрастно, проявлялась наша черная неблагодарность к своей лагерной судьбе. Ведь мы находились не в каком-нибудь из страшных лагерей дальстроя «основного производства», а в лагере, обслуживающем сельское и рыболовецкое хозяйство, мечте сотен тысяч колымских каторжников, погибавших на здешних приисках и рудниках, по условиям труда и быта заключенных мало чем отличавшихся от финикийских. Но таков уж человек по самой своей природе. Он редко бывает вполне доволен даже более высоким уровнем жизненного благополучия, чем тот, на котором находились мы, заключенные галаганского сельхозлага, приткнувшегося к прибрежным сопкам реки Товуй почти у самого ее впадения в Охотское море.

Наша ежедневная утренняя война за сохранение свинцовой притупленности чувств и мыслей и сегодня, как всегда, шла с переменным успехом. Пробежка по морозу в столовую за получением утренней хлебной пайки и миски баланды неизбежно отгоняла благодатное оцепенение. Но до выхода на развод обычно оставалось еще некоторое время. Уже в полном «обмундировании» все мы сгрудились у печки, чтобы запастись теплом на время стояния на плацу, и все, как всегда, стоя уснули.

«Цинга» завякала снова. Идеально дисциплинированные арестанты должны были, согласно лагерному уставу, «вылетать» на развод уже с первым ее ударом. Но такие арестанты существуют лишь в воображении составителей этих уставов. Реальные же заключенные даже в свирепых «горных» лагерях, где за «резину» с выходом из барака можно схлопотать добрый удар дубинкой, эту «резину» тянут. Особенно когда на дворе такой мороз, как сегодня. Судя по фонарям вокруг зоны, едва видимым сквозь густой туман, и по колющему ощущению в легких, он перевалил сейчас далеко за пятьдесят. Здесь был крайний юг «района особого назначения», «Колымский Крым», как его называли заключенные. Но стоял уже март, время, когда даже в этом «Крыму» солнце поворачивает на лето, а зима на мороз. Для Дальнего Севера эта поговорка часто оказывается даже более верной, чем для мест, в которых она родилась.

В нашем благодатном лагере дубинка применялась редко, в руках у теперешнего нарядчика Митьки Савина мы никогда ее не видели. Нарядчик, однако, всюду остается нарядчиком. Вот-вот он ворвется сюда, крепкий краснорожий парень, и сквозь клубы морозного пара — дверь в барак Митька за собой не закроет — донесется его знакомое: «А вы тут что, мать вашу так и этак, особого приглашения дожидаетесь?!» Но это и будет как раз то ежедневное «особое приглашение», после которого тянуть «резину» с выходом более нельзя.

Митька вбежал, как всегда, стремительно, но дверь за собой почему-то закрыл. И вместо обычной беззлобной брани — наш нарядчик был мужик неплохой, не чета придуркам-хриstopродавцам в горных лагерях — мы услышали от него неожиданное:

— Продолжай ночевать, мужики! День сегодня — активированный...

Что ни говори, а лагерь Галаганных — действительно курорт! В летнее время, конечно, и здесь ни о каких выходных не может быть и речи. Но зимой один-два таких дня выпадают почти в каждом месяце. Это, собственно, даже противозаконно, так как в те предвоенные годы свирепость ежовщины в местах заключения еще не была

изжита и официально никаких дней отдыха для заключенных не полагалось круглый год. Отступления от этого правила делались только в лагерях подсобного производства, вроде нашего Галаганных, в периоды, когда не было никаких важных работ, да и то имея в виду, главным образом, санаторную функцию этих лагерей. Дело в том, что на здешние, легкие, по лагерным понятиям, работы ежегодно отправлялись для поправки уцелевшие дистрофики, «доходяги» с приисков и рудников Дальстроя. Они-то и составляли основную часть мужского населения подсоблагов, подлежащую возвращению основному производству после одного-двух лет «курорта». Если, конечно, дистрофические изменения у этих людей окажутся обратимыми, что случалось далеко не всегда. Постоянными жителями «до конца срока» здешнего сельхозлага были только женщины, старики и инвалиды.

Ежовско-бериевский запрет на выходные дни для лагеря обходили при помощи объявления их днями общей санитарной обработки, активированными по погодным условиям, как сегодня, или из-за необходимости произвести крупные внутризонные работы. Это была начальническая «ложь во спасение», но, понятно, только наполовину. Редкий из таких дней обходился без вывода всех отдыхающих на заготовку дров, уборку снега и тому подобные работы. Но это случалось обычно уже после обеда. С утра же можно было поспать «от пуза», что и было главной реальной удачей наших выходных дней.

После Митькиного объявления угрюмое молчание в бараке сменилось радостным галдежом. Оно было, как всегда, неожиданным. Лагерное начальство опасалось обвинения в запланированных поблажках для заключенных, большая часть которых были «врагами народа». Но продолжался этот галдеж очень недолго, приглашать к продолжению сна дважды здесь никого не приходилось. Торопливо раздевшись, все снова улеглись на свои набитые сенной трухой или древесными опилками матрасы и через каких-нибудь пять минут спали. После «легких» работ на повале и раскряжовке даурской лиственницы, твердой на морозе, как дуб, и тяжелой, как камень, здешние «курортники» могли проспаться вот так суток

трое, делая перерывы разве что на обед. Впрочем, как уже говорилось, тут действовало еще и наше постоянное стремление «уйти в сон» при всякой, даже малейшей, возможности.

Однако на этот раз я уснул менее крепко, чем обычно, и проснулся от дребезжания ведра, неловко опрокинутого дневальным. Лед на оконцах пунцово рдел от разгоравшейся над близким отсюда морем зари. Вот-вот должно было взойти солнце. Значит, со времени сигнала на развод прошло уже часа полтора. Спать можно было еще долго, даже если в обед нас куда-нибудь погонят. Повернувшись на другой бок, я начал приминать слежавшиеся опилки в своем матрасе по форме уже этого бока. До нового изменения положения он будет казаться мягким. Я еще продолжал свою возню с неподатливым ложем, когда в барак вошел нарядчик. Вид у Савина был несколько смущенный, как у человека, явившегося с каким-то неприятным или щепетильным поручением, которых добрый малый очень не любил. Для кого-то из жителей барака это не предвещало ничего доброго. Не закончив скульптурной обработки своего матраса, я затих на нем, натянув на голову одеяло.

Посоветовавшись о чем-то с дневальным, Митька пошел по проходу между нарами, пристально и озабоченно всматриваясь в лица спящих людей. Так и есть, он искал подходящий «лоб», а может быть, и несколько «лбов» для какой-то паскудной работенки внутри лагеря, вроде колки дров для кухни, таскания воды с речки. Возможно, я был не единственным человеком, кого разбудило загремевшее ведро, но несомненно, что все так же, как и я, еще плотнее закрыли глаза и засопели еще громче. Если уж и необходимо вкалывать в свой, в кои веки выпавший выходной день, так хоть не с утра по крайней мере!

Нарядчик остановился напротив места Спирина, бывшего колхозника откуда-то из Вятской области. Чуть живого от изнурения, этого мужика привезли сюда прошлой осенью с небольшим этапом таких же «доходяг». Как почти все, перенесшие тяжелую форму дистрофии, Спирин долго не мог оправиться от животного страха

перед голодом. Рискаю заночевать в карцере, он до совсем недавнего времени прятал под матрас куски выпрошенного, а то и украденного хлеба, съесть который сразу не мог. Теперь, правда, у бывшего «доходяги» голодный психоз начал уже проходить.

Митька долго дергал спящего за ногу, пока тот наконец не проснулся и испуганно не вскинулся:

— А? Чего?

— Каши пульман хочешь заработать? Вот такой! — Нарядчик показал руками размер «пульмана» — огромной миски, применяемой обычно для кухонных нужд. Какую-нибудь пару месяцев тому назад за такую миску овсяной каши Спирин согласился бы вкалывать до полуночи даже после полного рабочего дня. На это, очевидно, и рассчитывал Савин. Он хотел найти добровольца на какую-то, по-видимому, довольно тяжелую работу. Но у нарядчика было право и просто приказать любому здесь выйти на такую хозяйственную работу, притом безо всякого обещания награды. А если назначенный им зек начнет упрямиться, позвать дежурного коменданта по лагерю. А с тем разговор короткий: или подчиняйся, или садись до утра в кондей — карцер! Практически, однако, применять такой способ придурки стеснялись даже в горных лагерях. Какой же ты, к черту, нарядчик или староста, если без помощи надзирателя не можешь совладать с рядовым лагерником?

Тем более неприличным было бы приглашение дежурного в барак смирных «рогатиков»¹, да еще со стороны в общем-то благожелательного и покладистого Митьки.

Однако его расчет на приманку обильной жратвы для недавнего дистрофика тоже, видимо, не оправдывался. Спирин выслушал предложение нарядчика безо всякого энтузиазма, глядя на него хмуро и подозрительно:

— А чего делать-то надо?

Он, впрочем, не совсем еще проснулся. Вместо прямого ответа Савин спросил:

— Ты на прииске в похоронной бригаде кантовался?

¹ Рогатик (*лаг. жарг.*) — безотказный работяга.

Вопрос, очевидно, был задан в целях более тонкого подхода к главной теме начатого разговора. Но сделан он был явно неудачно, так как вятский нахмурился еще больше:

— Тебе бы такой кант! Говори, что надо?

Никогда не бывавший в лагерях-«доходиловках», Митька допустил весьма неловкий ход. Бригады могильщиков, подчас весьма многочисленные, комплектовались из тех, кто уже не годился более для работы на полигоне и сам был кандидатом в дубари¹. Однако и тон ответов нарядчику со стороны недавно смиренного «доходяги» был неожиданно грубым и непочтительным. Савин вспыхнул было, но сдержался:

— Могилу, понимаешь, надо вырыть! Сегодня ночью в больнице какой-то штымп² дуба врезал...

Худшего предисловия к такому предложению, чем напоминание невольному могильщику о его печальных обязанностях, нельзя было, вероятно, и придумать. Спирин ответил еще более грубо и зло:

— Пустой твой номер! Не буду я никакой могилы копать...

Он снова улегся на своих нарах и демонстративно натянул на голову одеяло. И без того красное лицо Савина побагровело. Слабину почувствовал чертов штымп! После горного, где за такую непочтительность к нарядчику тут же дрына схватил бы, смиренный был, а теперь гляди, как обнаглел... Митька украдкой огляделся, не видит ли кто его конфуза. Однако храп и сопение вокруг были всеобщими и дружными. Сладив кое-как с раздражением и досадой, он опять подергал за ногу несговорчивого вятского.

— Слышь, Спирин? Выроешь яму — завтра целый день отгула получишь... На работу не погоню, свободы не видать!

Наш благодушный нарядчик корчил из себя этакого шибко блатного, хотя сидел за мелкую растрату в захудалом сельпо.

¹ Дубарь (лаг. жарг.) — покойник, труп.

² Штымп (лаг. жарг.) — то же, что и фраер, но с оттенком презрительности; обычно — малоразвитый, не бывавший в переделках человек.

Но даже обещание круглосуточного сна в дополнение к каше не соблазнило Спирина. Он только еще выше натянул на голову свое куцее одеяло, так что оголились ноги. Чтобы закрыть их, вятский должен был поджать острые коленки к животу.

— С дежурняком выведу! — вскипел нарядчик. Однако упрямый мужик повторил, приподнявшись:

— Говорю, пустой твой номер! Не знаешь, что ли, что грыжа у меня на повале объявилась?.. А не знаешь, так у лекпома спроси!

Савин закусил губу. Он просто забыл, что уже с месяц как Спирин, хотя он и продолжал числиться в бригаде лесорубов, занимается в лесу только работами «не бей лежачего», вроде сжигания сучьев, отгребания снега от деревьев, спиливать которые будут другие. Грыжа в лагере — это редкостная удача, от нее и не помрешь, и ни на какие сколько-нибудь тяжелые работы не пошлют даже в горных. Отсюда, конечно, и проистекает наглое поведение недавно смиренного мужичонки...

Махнув рукой, нарядчик отошел от его места и снова принялся шарить глазами по нарам, но теперь уже более решительно и зло. За непочтительность с ним Спирина кому-то, видимо, придется отдуваться. Хмуρο поведив глазами вокруг, Савин остановил свой взгляд на мне. Я плотно зажмурил прищуренные до этого глаза, но тут же, почувствовав прикосновение Митькиной руки, открыл их. Было очевидно, что мой сегодняшний выходной пропал.

У меня не было ни спасительной грыжи, ни почтенного возраста, ни даже обыкновенной «слабосиловки». На таких, как я, в лагере полагалось «пахать», и сослаться для отказа рыть кому-то могилу мне было решительно не на что. При других обстоятельствах можно было бы рассчитывать на свойственное многим деревенским некоторое уважение к образованности. Но сейчас Митька был зол и вряд ли потерпел бы новые препирательства. Поэтому я не стал даже прикидываться, что не знаю, в чем дело, а сразу же встал и начал зло натягивать на себя свои драные шмутки, отводя душу руганью. И угораздил

же черт этого дубаря загнуться именно сегодня! Кстати, кто он такой?

Нарядчик, оказывается, этого не знал. Час тому назад начальник лагеря приказал по телефону нарядить одного из отдыхающих заключенных на рытье могилы. Кто такой этот дубарь и откуда попал в нашу больницу, Митька мог только предполагать. Скорее всего, его привезли из какой-нибудь дальней рыболовецкой или лесной командировки¹. Из находившихся в местной больничке заключенных ни одного кандидата в покойники как будто не было.

Смертность в этом лагере была вообще незначительной. В трудовых лагерях она и повсюду была бы ниже обычной, если бы не искусственно созданные условия работы и быта заключенных. На Колыме их косила смерть от изнурения, голода и холода, бесчисленных травм, конвоирских пуль. Там же, где ничего этого нет, лагерники умирают редко. Среди них мало престарелых и совсем нет детей, быстро и решительно пресекаются эпидемии. Прежде бичом заключенных северных лагерей была цинга. Но с тех пор, как против нее стали применять отвар хвои, страшный когда-то «скорбут» почти утратил свое бывшее значение как фактор смертности даже за Полярным кругом.

Оставалась еще простуда. Но о ней в Галаганных мы мечтали как о большой удаче. Если не считать не столь уж частой возможности покалечиться, она была едва ли не единственным шансом покантоваться в бараке или лагерной больнице. Но в том-то и дело, что простуда нас почти не брала. Никто даже не кашлял после целодневной работы в поле или в лесу под холодным дождем нередко вперемешку со снегом, бултыхания в ледяной воде на сплаве, спанья на мокрой холодной земле. Накапливаясь на каких-то внутренних «текущих счетах», все это проявлялось потом в виде ревматизмов, радикулитов, ишиасов и прочей благодати. А пока что даже нарочитая пробежка по снегу босиком, в одном белье из бани, на-

¹ Командировка – небольшое лагерное подразделение.

ходившейся в полукилометре от лагеря, не давала никаких непосредственных результатов.

Правда, такая сопротивляемость приходит не сразу. Ею отличаются те, кто уже прошел процесс естественного, так сказать, отбора. Отбор этот начинается уже с тюрьмы и этапа. Здорово мрут лагерники-новички поначалу даже в таких лагерях, как вот этот Галаганных. От непригодности к тяжелому труду, перемены климата, недостатка витаминов, простудных воспалений легких и почек и, наверное, просто от тоски, хотя в официальных диагнозах она и не значится. Постепенно остаются только те, кто приобрел против всего этого достаточный иммунитет.

Вереницы смертей следовали также после каждого привоза сюда «доходяг» из горных. Голодное изнурение на определенной стадии приводит к таким изменениям во всех почти органах дистрофика, что ни в каких условиях человек не является более жизнеспособным. К концу каждой зимы все такие были уже на кладбище. Поэтому сейчас не только смертельное, но даже просто серьезное заболевание было в нашем лагере явлением довольно заметным. Однако же не только я, но и лагерный нарядчик о таких случаях не знал.

Злобствуя по адресу так некстати подвернувшегося дубаря, я не заметил сначала, что Савин дожидается, пока я оденусь, даже и не думая подыскивать мне напарника. Может, он уже нашел кого-нибудь в другом бараке? Оказалось, нет, ему приказано послать на кладбище только одного землекопа. Я изумился: как одного? Могила — это здоровенная яма сечением ноль шесть на два метра и два метра глубиной! В долине Товуя, где находилось наше кладбище, грунт — глина вперемешку с речной галькой. Когда такая смесь замерзает, то становится прочней бетона. А мерзлая она сейчас на всю глубину ямы, так как промерзание сверху сомкнулось с вечной мерзлотой. Работы там по крайней мере на две полные дневные нормы для двух землекопов! В одиночку до наступления темноты мне вряд ли удастся выбить могилу в приречной мерзлоте больше, чем на третью часть нужной глубины...

Савин и сам понимал все эти соображения, но на мои вопросы лишь пожимал плечами: приказано выделить только одного могильщика. Начальник сказал это ясно и добавил, что завтра же этому человеку следует предоставить отгул...

Все это было похоже на какое-то недоразумение. О каком отгуле завтра могла идти речь, если один человек провозится с ямой на кладбище по крайней мере два дня! А если так, то к чему такая срочность? Да и вообще сейчас зима, и покойник в мертвецкой больницы может ждать погребения хоть до самой весны. Его, конечно, туда уже внесли. Сегодня воскресенье, и у вольных тоже выходной. Выходной и у нашей спецчасти, которая оформляет умерших лагерников в «архив-три»¹. Займется она этим только завтра, когда дубарь совсем закоченеет. Но без отпечатков пальцев, снятых с уже умершего человека, его в этот архив зачислить нельзя, будь он мертв хоть трижды. Для одной только «игры на рояле»² мертвое тело придется отогревать при комнатной температуре больше суток... Получалась какая-то чепуха. Может быть, все-таки Савин что-нибудь напутал? А насчет завтрашнего отгула, якобы обещанного начальником, и просто соврал для большей убедительности? Но Митька божился, что не врет: свободы не видать! Хорошо, если так! А то ведь обещание заключенного нарядчика вовсе не закон для какого-нибудь Осипенко. Это был самый противный из здешних дежурных надзирателей, «комендантов», как их тут называли. Сколько раз уже бывало при утреннем обходе:

— А этот почему в бараке околачивается?

— Отгуливает за вчерашнюю работу, гражданин комендант!

— Ничего не знаю...

Чтобы умерить мое сожаление об оставленных нарах, Митька сказал, когда вдвоем с ним мы выходили из барака:

¹ «Архив-три» – архив № 3: реестр лиц, умерших в заключении.

² «Игра на рояле» (*лаг. жарг.*) – снятие отпечатков пальцев.

— Ты особенно не расстраивайся! Этим, — он показал через плечо на дверь, — спать только до двенадцати. С обеда приказано всех на «длясэбные» работы выгонять, будем от зонного ограждения снег отбрасывать. Вон сколько его навалило...

«Длясэбными» в нашем лагере называли работы, которые мы выполняли летом после четырнадцатичасового рабочего дня, а зимой в такие вот редкие и куцые выходные дни. Надзиратель Осипенко, возмущаясь вялостью, с которой заключенные копошились на этих работах, ругался и говорил:

— Ну, що вы за народ? Для сэбе и то робить не хочете!..

Так как в сверхурочном порядке нам чаще всего приходилось заниматься такими делами, как рытье ям под новые столбы для колючей проволоки, выпрямление покосившейся вышки или ремонт карцера, самое непосредственное отношение к нам которых действительно не вызывало сомнения, то их и прозвали «длясэбными». Заодно прозвище Длясэбе получил и сам Осипенко.

Савин выдал мне лом, кирку и лопату и посоветовал не слишком уж строго придерживаться при рытье могилы ее официально установленных размеров, особенно по длине и ширине. С тех пор как вышел приказ хоронить умерших в заключении без «бушлатов», прежней необходимости в соблюдении полных габаритов лагерных могил более нет. Митька имел в виду «деревянные бушлаты» — подобие гробов, в которых умерших лагерников хоронили до прошлого года. И хотя эти гробы сколачивались обычно всего из нескольких старых горбылей, гулаговское начальство в Москве и их сочло для арестантов излишней роскошью. Согласно новой инструкции по лагерным погребениям, достаточно для них и двух старых мешков. Один нахлобучивается на покойника со стороны головы, а другой — ног, и оба эти мешка сшиваются по кромке. Даже если труп принадлежит какому-нибудь верзиле, то и такой не предъявит претензии, если его положат на бок или слегка подогнут ему колени. С точки зрения могильщика, новую погребальную инструкцию Главного управления можно было только приветствовать.

Проводив меня через вахту, нарядчик передал мне еще один приказ начальника лагеря: по дороге на кладбище зайти в лагерную больницу и обратиться за чем-то к дежурному санитару. Зачем именно, Савин не знал, но высказал предположение, что в больнице я получу указания, в каком месте кладбища рыть могилу и как ее ориентировать. Дело это серьезное. Могилы заключенных всегда располагаются в строго определенном направлении и наносятся на план, хранящийся в спецчасти лагеря. Завернуть в лагерную больничку труда не составляло, она находилась почти сразу же за зоной, по дороге к кладбищу.

На мой стук в дверь больнички вышел дежурный санитар. Я хорошо знал этого хитроватого темнилу¹ Митина. До заключения он был следователем по уголовным делам и отличался удивительной способностью чуть не во всех действиях и поступках окружающих усматривать какой-то мелкий, низменный практицизм.

— С отгулом? — спросил он меня, поздоровавшись.

— Савин говорит, что обещал начальник... — пожал я плечами.

— Тогда тебе повезло! Работенка-то не бей лежачего...

— Это три куба мерзлотины выбить — «не бей лежачего»?

— Каких там три куба! Да и сам сейчас увидишь! Пошли в морг...

Санитар открыл маленький дощатый сарайчик, стоявший чуть поодаль от больничного барака и снаружи ничем не отличавшийся от обычного деревянного. Но внутри этого сарайчика на вбитых в землю кольях возвышались два сколоченных из горбыля настила. Они напоминали узкие и высокие столы. Один из этих столов был пуст, поперек другого лежал небольшой сверток, сделанный, по-видимому, из обрывка старой простыни.

— Вот, принимай своего дубаря! — провозгласил Митин, протягивая мне сверток с таким видом, с каким

¹ Темнила (лаг. жарг.) — заключенный, под разными предлогами уклоняющийся от работы или выполняющий работу менее тяжелую, чем позволяют его физические возможности.

вручают имениннику приятный сюрприз-подарок. — Сегодня ты не только могильщик, но и похоронщик...

Я принял легонький пакет с недоумением:

— Что это?

В белую тряпку было завернуто что-то твердое и продолговатое, напоминающее на ощупь небольшую статуэтку. Поняв, что это, я вздрогнул от неожиданности: мертвый ребенок!

— Одна из нашей жензоны родила ночью, — пояснил довольный моим изумлением Митин. — Прошлым летом на сенокосе нагуляла... Да недоносила месяц, всего часа четыре только и пожил...

Я держал сверток одной рукой на отлете, испытывая к его содержимому чувство невольной брезгливости.

Мысль о выкидыше вызывала у меня представление о чем-то уродливом и отталкивающим, а что-то в этом роде было и здесь. Впрочем, трупик несчастного недоноска был сейчас заморожен. Места же на кладбище понадобится для него немногим больше, чем для котенка. Соответственно пустяковой должна быть и глубина могилы. Митин, кажется, прав, и мне сегодня действительно повезло. Особенно если я получу обещанный отгул завтра.

— Допер теперь, почему работенка блатная? — спросил меня довольный Митин. — А то: три куба!.. Тут и половины куба много будет... — Он взялся за ручку щелястой двери сарайчика. — Вот и все, дуй теперь с ним на кладбище! Да только не на вольное, гляди! Потомственному крепостному на нем не место... — В шуточной форме санитар меня предупреждал, видимо, чтобы я, соблазнившись близостью поселкового кладбища, не поленился тащить трупик на более отдаленное лагерное. Я и не думал этого делать, но шутка Митина навела меня на мысль, что покойный младенец и в самом деле имеет право быть погребенным не на тюремном кладбище.

— А что, разве его в «архив-три» занесут? — сердито спросил я бывшего следователя.

Но он счел за благо сделать вид, что принял мой вопрос за известную шутку, ослабился и отрицательно покрутил головой:

— В архив наш дубарь еще не годится, на рояле играть не умеет... — Потом Митин посерьезнел и понизил голос, хотя ни в сарае, ни вокруг сарая никого не было. — Между нами... Начлаг с доктором договорились через загс этого рождения не оформлять... В истории болезни роженицы будет записано, что ей произведена эмбриотомия, это когда плод по кускам извлекают, понял?

Я утвердительно кивнул. Дело понятное: больнице не нужен лишний случай «летального исхода» в ее стенах, лагерь — лишнее свидетельство недостаточно строгого соблюдения в нем режима заключения. Любовная связь между лагерниками и лагерницами категорически запрещена. Не должно быть, следовательно, и ни одного случая деторождения. Но это в теории. На практике же в смешанных лагерях добиться такого положения невозможно. Поэтому существовало нечто вроде негласного и неофициального предела числа деторождений на каждую сотню заключенных женщин. Превышение этого предела являлось одним из самых отрицательных показателей работы лагерного надзора, особенно не нравившимся вышестоящему начальству. И не только из ханжеских или чисто тюремщицких соображений. К ним примешивался еще и бухгалтерский меркантильный интерес. Дело в том, что прижитые в лагере дети воспитывались в специальных приютах, содержавшихся за счет бюджета соответствующего лагерного управления. И как ни жалки были эти «инкубаторы» для сирот при живых еще родителях, они, требуя известных расходов, ухудшали показатели финансового плана лагуправлений со всеми последствиями для премий его руководящему персоналу. Отсюда в немалой степени вытекал и интерес лагерного начальства к нравственности своих подопечных. Возможно, что сокрытие появления на свет очередного «инкубаторного» ребенка, в котором участвовал и я, решало вопрос: в пределах ли «нормы» или за этими пределами находится показатель добродетели безбрачия в нашем лагере, скажем, за текущий квартал.

Когда я, зажав под мышкой пакет с маленьким покойником, взваливал на плечо свои громоздкие инструменты землекопа, Митин, снова оглядевшись и понизив

голос, хотя никого кругом по-прежнему не было, сказал еще более доверительным тоном, чем прежде:

— Доктор приказал мне проверить потом, не затуфтил ли похоронщик. Люди, знаешь, у нас всякие. Иной зарует дубарика в снег, а весной может неприятность получиться... Ну, на тебя-то я надеюсь...

Вряд ли ему кто-нибудь давал такое поручение. Просто хитрец делал мне новое замаскированное предупреждение. Этому человеку, возможно, в результате его профессиональной практики всегда казалось, что если кто-нибудь может злоупотребить своей бесконтрольностью, то он непременно это сделает. В общем-то неплохой и по-своему неглупый мужик, Митин, хотя и довольно благодушно, подозревал всех в плутовстве. Меня это злило и вызывало желание треснуть по ухмыляющейся физиономии санитара своим свертком. Но я только буркнул:

— Надежда — мать дураков!

И пошел по дороге, ведущей вдоль реки к морскому берегу.

До моря отсюда было не более полутора-двух километров. На самом его берегу стояли, не видные отсюда, склады соленой рыбы. На лагерное кладбище надо было свернуть, немного не доходя до этого поворота, в противоположную сторону.

Из-за поворота дороги неожиданно показался надзиратель Осипенко, шедший мне навстречу. Бегал, наверно, на рыбные склады проверять, на месте ли сторожа из заключенных. А главное: не гостит ли у них кто-нибудь из приятелей, явившихся сюда с целью стащить или выпросить рыбину? Вряд ли всякий другой из наших лагерных надзирателей поперся бы сюда в такой мороз ради сомнительной возможности кого-то на чем-то изловить, хотя это и входило в их обязанности. Другое дело — Осипенко. Постоянное усердие, иногда не по разуму, всегда отличало этого туповатого вохровского служаку.

То, что он дежурит сегодня, хорошо. Не будет дежурить завтра, а это увеличивает мои шансы на завтрашний спокойный отдых. Однако встречаться с этим болваном Длясэбе мне не хотелось даже сейчас, хотя придраться

ему, казалось бы, и не к чему. Но со своими обычными вопросами «Куда идешь?» и «Чего несешь?» он непременно пристанет. И я ускорил шаг, чтобы побыстрее свернуть на чуть заметную боковую дорожку на кладбище и избежать неприятной встречи с Дялсэбе нос к носу. Но я успел сделать по этой дорожке лишь несколько шагов, когда услышал его окрик:

— Стой!

Комендант жестом издал приказал мне остановиться и вернуться на дорогу.

— Куда идешь? — спросил он, подходя.

Направление пути и мои инструменты могильщика отвечали на этот вопрос достаточно красноречиво. Но мало ли что? Ведь кирку, лопату и пудовый лом арестант может тащить и просто «с понтом», только для отвода надзирательских глаз! В действительности же — направляться на вожделенные склады с каким-то подношением для тамошних сторожей. «Недоверие к заключенному — высшая добродетель тюремщика!» — патетически восклицал мой сосед по нарам, бывший учитель истории, перифразируя известное выражение Робеспьера о революционных добродетелях.

Когда я ответил надзирателю, что иду вот на кладбище копать могилу, последовал неизбежный второй вопрос:

— А несешь чего? — а за ним и приказание: — А ну покажь!

Преодолевая досаду и заранее возникшее отвращение к тому, что я увижу сейчас, я развернул простыню и обнажил верхнюю половину тельца своего покойника.

По моим тогдашним представлениям, все без исключения новорожденные были морщинистыми, дряблыми комочками живого мяса, дурно пахнущими и непрерывно орущими. Смерть и мороз должны были ликвидировать бóльшую часть этих неприятных качеств. Но оставался еще внешний вид, который у недоноска, вероятно, еще хуже, чем у нормального ребенка.

Контраст между этим ожидаемым и тем, что я увидел, был так велик, что в первое мгновение у меня возникло

чувство, о котором принято говорить как о неверии собственным глазам. А когда оно прошло, то сменилось более сложным чувством, состоящим из ощущения вины перед мертвым ребенком и чего-то еще, давно уже не испытываемого, но бесконечно теплого, трогательного и нежного.

Желтовато-розовое в оранжевых лучах полярного солнца, крохотное тельце казалось сверкающе чистым. И настолько живым и теплым, что нужно было преодолеть в себе желание укрыть его от холода.

Голова ребенка на полной шейке с глубокой младенческой складкой была откинута немного назад и повернута чуть вбок, глаза плотно закрыты. Младенец казался уснувшим и улыбающимся чуть приоткрытым беззубым ртом. Во внешности этой статуэтки из тончайших органических тканей, которые мороз сохранил в вечности такими, какими они были в момент бессознательной и, очевидно, безболезненной кончины маленького человеческого существа, не было решительно ничего от страдания и смерти. Я, наверное, нисколько бы не удивился тогда, если бы закрытые веки мертвого ребенка вдруг дрогнули, а его ротик растянулся еще больше в улыбке неосознанного блаженства.

Для себе на некоторое время усталился на маленького покойника с каким-то испугом. Потом он сделал рукой жест от себя, с которым произносили, наверное, что-нибудь вроде «Чур-чур меня!», и, круто повернувшись, зашагал прочь.

А я, несмотря на жестокий мороз, долго еще стоял и смотрел на мертвое тельце, положенное мною в снег. Под заскорузлым панцирем душевной грубости, наслоненной уже долгими годами беспросветного и жестокого арестантского житья, шевельнулась глубоко погребенная нежность. Видение из другого, почти забытого уже мира разбудило во мне многое, казавшееся давно отмершим, как бы упраздненным за ненужностью. Были тут, наверное, и неудовлетворенное чувство отцовства, и смутная память о собственном, рано оборвавшемся детстве. Хлынув из каких-то тайных душевных родников, они разом

растопили и смыли ледяную плотину наносной черствости. Теперь не только грубое слово, но даже грубая мысль в присутствии моего покойника показалась бы мне оскорбительной, почти кощунственной.

Осторожно, как будто опасаясь его разбудить, я снова завернул мертвого ребенка в тряпку и понес свой сверток дальше, на кладбище. Но уже не так, как нес его до сих пор, небрежно и безразлично, а как носят детей мужчины, бережно, но неловко прижимая их к груди. Было очень нелегко тащить в гору по непротопанному снегу тяжелый, раскатывающийся на плече инструмент. Но я предпочитал доставать из-под глубокого снега то и дело сваливающийся лом, чем подхватывать этот лом рукой, занятой покойным младенцем.

Ближе к кладбищу снег становился все глубже, так как здесь, на краю долины, выступы сопки задерживали его от сдувания в море. Все чаще приходилось останавливаться и отдыхать. И всякий раз при этом я отворачивал простыню и подолгу глядел на лицо ребенка. Маленький покойник парадоксальным образом напоминал мне о жизни. О том, что где-то, пускай в бесконечной дали, эта жизнь продолжается. Что люди свободно начинают и рожают детей, а те платят своим матерям и отцам такими вот улыбками еще не осознавших себя, но тем более счастливых существ. Есть, наверно, такая жизнь и ближе, даже, может быть, совсем рядом. Но и на ней здесь лежит все очерняющая, все опорочивающая и искажающая тень каторги.

Мне очень хотелось прикоснуться к коже ребенка, казавшейся теплой и атласно-мягкой. Но я знал, что будет ощущение не тепла, а холодного полированного камня, которое разрушит желанную иллюзию. И усилием воли заставлял себя не поддаваться этому соблазну.

Кладбище нашего сельхозлага, хотя оно и принимало к себе немало жертв других здешних лагерей, ни по занимаемой им площади, ни по числу погребений не шло ни в какое сравнение с кладбищами при лагерных присках и рудниках. Там число уже мертвых почти во много раз превышает число еще живых заключенных. Здесь же место, отведенное под могилы умерших в за-

ключении, занимало на самом низу склона сопки лишь небольшую площадку. Со стороны моря она была ограничена крутым обрывом к широкой полосе прибрежной гальки.

Надо было точно знать, где находится наше кладбище, чтобы отличить его зимой от всякого другого места на склоне сопки. Ряды низеньких продолговатых бугров едва угадывались теперь под толстым слоем снега, засыпавшего их выше лагерных эпитафий — больших, величиной с тетрадный лист фанерных бирок, укрепленных на каждой могиле на невысоком деревянном колышке. Химическим карандашом на фанерках были выписаны «установочные данные» покойных, тот тюремный полушифр, в котором всегда сконцентрирована трагедия целой человеческой жизни. Однако сейчас на всем кладбище виднелась поверх снежных сугробов только одна из этих эпитафий, да и то лишь частично. Она была установлена на могиле, расположившейся почти на самом краю обрыва. Ветер с моря сдул вокруг нее снег и обнажил фиолетовые буквы и цифры. Они сильно расплылись от осенних дождей, и разобрать можно было только цифры 58-9 и 15. Этого было достаточно, чтобы понять, что погребенный здесь человек осужден за контрреволюционную диверсию на пятнадцать лет заключения. Судя по этим данным и относительной свежести надписи, это был один из товарищей Спирина, голодное изнурение которого дошло уже до необратимой стадии «Д-3», и он, полежав в нашей больнице месяца полтора, умер. Про него еще говорили, что он «остался должен» прокурору больше двенадцати лет.

Однако вопрос об этом человеке и его «долге» был сейчас праздным. Надо было высмотреть место для могилки. Да вот хотя бы здесь, рядом с могилой диверсанта, на самом краю каторжной колымской земли.

Своего покойника я решил положить головой к морю, хотя это и не по правилам, все покойники здесь лежат в другом направлении. Но гулаговские правила для него ведь и не обязательны. Не нужна над ним и фанерная эпитафия, повествующая о преступных деяниях покойного, действительных или выдуманных. Никакой даже

самый дотошный прокурор не смог бы сочинить такой эпитафии для младенца, вообще не совершившего никаких деяний. Формально он не существовал ни одной секунды из тех нескольких часов, которые прожил, и не имел даже имени.

Жизнь этого противозаконно появившегося на свет новорожденного не была нужна никому, даже его матери. «Оторва!» — махнул рукой по ее адресу Митин. На этот раз он был, скорее всего, прав. Женщины — профессиональные уголовницы — существа, обычно совсем опустившиеся. Даже когда их освобождают из лагеря именно потому, что они матери малолетних детей, далеко не все они забирают из «инкубаторов» своих ребятишек. И уж подавно никогда почти не интересуются ими, не только оставаясь в заключении, но и заканчивая свой срок. Мне случалось видеть этих несчастных, полуголодных, одетых в убогую, пошитую из лагерного утиля одежду детей, явившихся на свет только благодаря надзирательскому недосмотру.

Однако у тех из прижитых в заключении детей, которые зарегистрированы как новоявленные граждане Советского государства, всегда числятся формально известными не только их матери, но и отцы. Регистрация новорожденных проводится через спецчасть лагеря, а та настойчиво требует от «мамок», чтобы они непременно назвали отца ребенка, пусть только предполагаемого. Оставлять незаполненной графу об отцовстве лагерного ребенка значило бы расписаться уже не в одном, а в двух упущениях. Впрочем, особых осложнений тут никогда не возникало. Мужчины-лагерники, которых, нередко совершенно для них неожиданно, производили в отцовское звание, почти никогда против этого не протестовали. Дело в том, что оно решительно ни к чему их не обязывало ни теперь, ни потом, кроме, правда, трехдневной отсидки в карцере «с выводом» за противоуставную связь с женщиной. Оставить такую связь безнаказанной лагерное начальство права не имело. А поскольку факт рождения ребенка выдавал виновного в этом проступке с головой, то счастливый папаша расписывался одновременно на двух бумагах: акте о

рождении нового человека и приказе о водворении отца этого человека в лагерный кондей.

За всю историю нашего Галаганных всерьез принял свое отцовство только один заключенный. Это был жулик из Одессы, еврей по национальности, по блатному прозвищу, как водится, Жид. Отсидев после рождения в лагерной больнице своего сына положенные трое суток, отец выпросил ребенка у его матери через дневальную барака «мамок-кормилок» и демонстративно прошелся с ним по двору лагерной зоны. Встретив начальника лагеря, Жид смиренно снял перед ним картуз и от имени своих родителей пригласил его в гости в Одессу. Сам он принять дорогого гостя пока не может, но старики-де, уверял бывший фармазон с пересыпского базара, будут рады приветствовать человека, официальным приказом по лагерю отметившего рождение их внука. Однако начлаг не оценил ни остроумия, ни вежливости Жида, и тот снова отправился ночевать в «хитрый домик» в дальнем углу зоны.

Я расчистил снег на месте будущей ямы и собрал его в небольшую кучку несколько поодаль от нее. Снова отвернул простыню от лица своего покойника и положил его на склон снежного холмика таким образом, чтобы видеть ребенка во время работы. Как я и предполагал, промерзший грунт речной долины по крепости мало уступал бетону. Даже незамерзшая смесь каменной гальки и глины — настоящее проклятие для землекопа. Сейчас же лом и кирка то высекали искры из обкатанных камешков кварца, гранита и базальта, то увязали в сцементированной их глине. Ямка была всего по колено, когда я, несмотря на жгучий мороз, снял свой бушлат и продолжал работу в одной телогрейке. Для погребения маленького тельца этой ямки было бы уже достаточно, но я упорно продолжал долбить неподатливый грунт, пока не выдолбил могилку почти с метр глубиной. Затем в одной из ее стенок я сделал углубление наподобие небольшого грота. Покончив с этим, взобрался высоко на склон заснеженной сопки — туда, где должны были находиться заросли (сейчас их правильнее было бы назвать залежами) кедра-стланика. Отрыл их, нарубил лопатой хвойных

ярко-зеленых веток и спустился с ними вниз. Долго и тщательно выкладывал этими ветками дно и стенки гротика. Затем, в последний раз поглядев на лицо ребенка, закрыл его простыней и положил трупик на ветки. Ветками покрупнее заложил отверстие грота и засыпал яму. Кропотливо и старательно пытался потом придать рассыпающейся кучке мерзлой глины с катышами гладкой гальки вид аккуратной усеченной пирамиды.

Несмотря на привычку к тяжелой, ломовой работе, я устал. Надел свой бушлат и присел рядом, на могилу диверсанта. Я так долго возился с погребением, что не длинный еще мартовский день уже приближался к концу. На краю заснеженного обрыва темнел насыпанный мною бурый холмик. Внизу расстилалось замерзшее море, до самого горизонта покрытое торосами. Налипший на них снег розовел под лучами совсем уже низкого солнца.

Стояла глубокая, торжественная тишина. Наверно, такой глубокой она бывает еще на застывших планетах. Должно быть, и там вот так же величаво плывет над хаосом мертвой материи неяркое потухающее светило.

Неправдоподобно огромный сейчас оранжевый диск солнца почти уже касался горизонта своим нижним краем, готовясь закатиться за него по-арктически медленно. Выше чистое бледно-розовое небо через неуловимые цветовые переходы постепенно становилось светло-синим. Только здесь, в этих неприятных северных краях, оно бывает таким нежным, таким чистым и таким равнодушным к человеку.

Конечно же, я не в первый раз видел этот первозданный пейзаж, в котором и прежде замечал что-то от холодного величия Космоса. Однако только сейчас закат над полярным морем вызвал у меня не просто мысль, но и как бы чувство суровой гармонии мира. Мне казалось, что я ощущаю беспредельность и холод пространства, в котором движется наша планета, и его равнодушие к тому эфемерному и преходящему, что возникает иногда в глухих уголках Вселенной и зовется жизнью. Жалкая и уродливая — она всего лишь плесень, которая ждет сво-

его часа, чтобы быть навсегда уничтоженной мертвыми, но вечными силами природы.

Но тут же во мне возник протест против этого пессимистического вывода, навеянного созерцанием впечатляющей картины царства холода. Жизнь только кажется скромной и слабой по сравнению с враждебными ей силами. Однако выстояла же она против этих сил и даже сумела развиться до степени разумного сознания, как бы отразившего в себе всю необъятную Вселенную. И это только начало! Несмотря на присущие всякому развитию тяжелые детские болезни, именно разумным формам жизни, а не мертвой материи будет принадлежать в конце концов главенствующее положение в мире!

Могильщиков, с легкой руки Шекспира, исстари принято считать чуть ли не профессиональными философами. Это сомнительное мнение было бы, вероятно, ближе к истине, если бы профессию погребателя — как и все другие профессии, впрочем, — люди себе выбирали. А что касается строя мыслей случайных ее обладателей, то он, как правило, такой же, как и у остальных людей. В лагере, во всяком случае, я не наблюдал какого-либо воздействия профессии могильщика на психологию тех, кто даже очень подолгу работал в похоронных бригадах. Постоянно обслуживая смерть, они, как и все, постоянно думали и говорили о жизни, причем в самых прозаических ее проявлениях, вроде лагерной пайки, баланды и сна на барачных нарах. Впрочем, наверно, даже те из них, кто обладал философским складом ума, памятуя о враждебно-насмешливой настроенности лагеря к сентиментальному философствованию, вряд ли могли быть так же велеречивы, как знаменитый могильщик из «Гамлета». Вот и я, например, никому здесь не признаюсь, что расчувствовался при виде маленького дубаря, а зарыв его, думал не о дополнительной миске баланды, которую получу сегодня за эту работу, а о путях мироздания. Тем более что и высокому строю своих мыслей, и торжественному настроению, с которым я наблюдал закат над арктическими льдами, я был обязан случайности. Не встретить меня на дороге сюда надзиратель Осипенко, не

заставь развернуть мой сверток, я ни за что бы не сделал этого по собственному почину. Я давно бы уже наспех и как попало зарыл в землю этот сверток, заботясь только о том, чтобы его не вымыли вешние воды или не разрыли ездовые собаки. А закончив работу, поспешил бы в лагерь, думая, что пофартило мне все-таки здорово. Заработать целый день отдыха за каких-нибудь два-три часа работы удается не часто. Если, конечно, нарядчик не врет, что этот отдых обещан мне самим начальником.

Несколько ослабевший днем мороз начал крепчать снова, и теперь плохо помогал даже бушлат. Да и вообще было пора уходить отсюда, тем более что с раннего утра я ничего еще не ел и мысль об обогреве и сытном ужине начала заслонять собой все остальное. И все же мне хотелось сделать для погребенного ребенка что-то еще. Повинуясь этому желанию, я сбил киркой лопату с ее черенка и той же киркой перебил этот черенок на две неравные части. Затем вытащил веревочку из одного из своих ЧТЗ¹ и крест-накрест связал обломки палки. Импровизированный крест я воткнул в могильный холмик.

Солнце неохотно закатилось, оставив после себя полосу оранжевой зари, над которой в ставшем еще более холодным небе продолжали свою игру нежные оттенки розового и голубого. Какое-то мгновение после его захода верхние края торосов продолжали красновато светиться, затем они разом погасли. Бескрайнее нагромождение льдов внизу стало еще угрюмее и начало скрываться в холодной мгле. А над его темным хаосом на фоне гаснущего заката отчетливо рисовался водруженный мною символ и знак христианства. Сумерки скрыли убожество креста, а красноватый фон зари усилил его мрачную выразительность.

Логически этот крест был, конечно, совершенно не оправдан. Я не верил в Бога, а зарытый под ним ребенок не принадлежал никакой религии. Но он не был также и просто сентиментальной данью традиции, знакомой с далекого детства. Главная причина водружения мною,

¹ ЧТЗ (по названию трактора) – ироническое название лагерной обуви, пошитой из старых автомобильных покрышек.

убежденным атеистом, религиозного знака на могиле безымянного ребенка заключалась, вероятно, в другом.

Я все еще находился во власти мысли о противостоянии живой и мертвой материи и не хотел, чтобы холодный хаос льдов и гор сразу же поглотил и растворил в себе останки маленького человеческого существа. Поэтому-то, наверно, следуя древнему стремлению Человека Разумного к утверждению жизни даже после смерти, почти подсознательно установил ее знак на могиле усопшего. Этот знак был примитивен и прост, но он являлся символом правильной геометрической формы, которой хаос враждебен и чужд. Это представление, скорее всего, и лежало в основе сооружения таких надгробий, как всевозможные обелиски, пирамиды и те же кресты.

Меня вдруг охватило чувство благоговения, как верующего в храме. Ушли куда-то мысли о еде, отдыхе и тепле. Это было, вероятно, то состояние возвышенного и умиленного экстаза, которое знакомо по-настоящему только искренне верующим людям. Под его воздействием я развязал тесемки своего каторжанского треуха и обнажил голову. Мороз сразу же охватил ее калеными клещами и больно обжег уши — реальность оставалась реальностью. Я надел шапку, смахнул с бушлата несколько круглых, похожих на градины льдинок и, подобрав с земли свой инструмент, начал спускаться в долину.

На самом дне жизни люди плачут не чаще, а гораздо реже других людей. Возможность излить свое горе таким образом — удел более счастливых, у которых оно все же только эпизод их жизни, а не ее постоянное содержание. Впрочем, замерзшие льдинки на груди моего бушлата вовсе не были слезами скорби. При всей своей теплоте и нежности мои чувства к погребенному ребенку скорее напоминали те, которые вызываются душевным просветлением, например от созерцания великих произведений искусства. Да и милосердие смерти в этом случае было слишком очевидно, чтобы сожалеть еще об одной несостоявшейся жизни.

Я испытывал не горе, а мягкую и светлую печаль. И еще какое-то высокое чувство, которое, наверно, было

ближе всего к чувству благодарности. Благодарности мертвому ребенку за напоминание о Жизни и как бы утверждение ее в самой смерти.

Игра света в темнеющем небе стала уже грубее и глуше, когда я подошел к лагерной больнице. Санитар Митин сметал снег с дорожки и, увидев меня, удивился:

— Ты что там делал, на кладбище? Загорал, что ли?.. А я-то думал, что ты в бараке уже десятый сон после обеда досматриваешь...

Вопрос был резонный, и я смутился, не зная, что ответить. Однако бывший следователь, вспомнив о чем-то, осклабился:

— Фу ты! Совсем забыл, что у тебя приятель в сторожах... — Он заговорщицки подмигнул и похлопал меня по животу.

Верный законам своего мышления, Митин вообразил, что я гостил на рыбном складе, где у меня действительно был знакомый, и несу под полой бушлата ворованную горбушу. Это было отличное объяснение, до которого сам бы я сейчас не додумался. Мои мысли были еще далеко. Посерьезнев, санитар сказал:

— Ты один-то через вахту не ходи, на ней Дясэбе торчит. Наверняка обыскивать полезет. А постой возле наших, они сейчас очистку зоны снаружи заканчивают, и вали потом со всеми через ворота. Так оно вернее будет...

Я поблагодарил Митина за толковый совет и побрел к лагерю, от которого доносились уже голоса работающих. В его грубость, черствость, низменность мыслей и чувств.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ (Признак Коши)

Если при переходе через критическую точку производная функция меняет знак на отрицательный, то функция в данной точке имеет максимум.

*Первый «признак Коши».
Из учебника математики*

На воле одни с оттенком некоторой презрительности, другие — уважения прозвали руководителя университетской кафедры математического анализа тогда еще малоизвестным словом Интеллектуал. Уж очень широк был у молодого профессора математики круг познаний и интересов. Он был прекрасным аналитиком и талантливым виолончелистом, игравшим в самодеятельном симфоническом оркестре при Доме ученых. Интересовался множеством предметов, не только смежных с математикой, но и весьма от нее далеких, как философия и история например. Несмотря на то что его можно было встретить в гимнастическом зале и в группе туристов-оборванцев где-нибудь на горной тропе, некоторые считали его «рафинированным интеллигентом» — комплимент для советского человека более чем сомнительный. Прилагательное «рафинированный» не только не исключало, но скорее даже подчеркивало другое прилагательное, считавшееся почти неотторжимым от понятия «интеллигент», — эпитета «мягкотельный». Предполагалось, и не без известного резона, что избыток образованности опасен для дела революции. В отличие от пролетариата, не отягощенного никакими сомнениями относительно ее исторической оправданности, русская интеллигенция даже в лице новых своих представителей все еще несла на себе груз политических, этических и всяких иных сомнений. И хотя обычно это никак не отражалось ни на практической деятельности интеллигентов, ни на их гражданской честности, угрюмо-подозрительное отношение к ним особо трагическим образом сказалось на судьбе советской интеллиген-

ции в черном 1937 году. Тогда погибли многие, если не все, из числа лучших ее представителей.

Оказался среди них и Интеллектуал. Теперь, впрочем, член бригады навалыщиков-откатчиков, работающих на руднике сопки Оловянной, именовался уже проще — Ученый. Из всех знаний и умений, которыми обладал бывший профессор, практически требовалось теперь только одно — умение напрягать волю, чтобы мобилизовать до возможного предела слабеющую энергию мышц во время работы. А вне ее — противостоять принижающему действию каторжного быта и не опуститься до уровня почти животного, как это происходило здесь едва ли не со всеми. Главным способом противодействия отупляющему влиянию каторги Ученый считал постоянную гимнастику ума, столь же здесь необходимую, как гимнастика в обычном понимании этого слова необходима для людей нефизического труда. Здесь он был превращен в мускульную машину, то нагружающую кусками взорванной породы тяжелую вагонетку, то толкающую эту вагонетку по рельсам, то разбивающую кувалдой особенно крупные камни. А потому, занимаясь этим, Ученый придумывал для себя задачи вроде таких: какой формулой можно было бы определить объем вон того клиновидного камня? Или: как выразить аналитическую кривую прихотливого изгиба рельсов на повороте откаточного пути? Решал он эти задачи обычно в уме, но в особо трудных случаях писал иногда затейливые математические знаки на стене гранитной штольни куском более мягкой породы.

Конечно, его за это считали чокнутым, как, впрочем, почти всех ученых, но не презирали и не глумились над его странностями. Во-первых, Ученый, как оказалось, мог, когда нужно, и постоять за себя. Во-вторых, и это было самое главное, он, в отличие от большинства своих собратьев-интеллигентов, был всегда собран и подтянут и работал лучше не только их, но и многих людей физического труда, крестьян и даже бывших шахтеров. Он пережил едва ли не всех, с кем два года назад был привезен прямо с материка в лагерь проклятой Богом и людьми Оловянной. Трудно было сказать, что помогло бывшему

«рафинированному интеллигенту» побить столь трудный рекорд. То ли унаследованное от предков-крестьян необычайно выносливое сердце, то ли еще более необычайная сила воли, то ли привычка смолоду к физическому труду. Государственная стипендия в середине двадцатых годов была явлением не частым, если социальное происхождение студента вуза не было кристально пролетарским. Поэтому многие из таких зарабатывали себе на пропитание разгрузкой вагонов на железнодорожной станции, пилкой-колкой дров по дворам и тому подобным нелегким трудом. Немаловажное значение, особенно в условиях лагеря при сопке, как называли тут гору Оловянную, имело и увлечение Ученого в прошлом горным туризмом. Опыт, приобретенный им на Кавказе и Алтае, неожиданным образом пригодился ему на Колыме.

Скорее всего, конечно, что не какое-нибудь отдельное из этих качеств и умений бывшего ученого, музыканта и спортсмена, а все они, вместе взятые, помогли ему поразительно долго не скатываться на путь наименьшего сопротивления — к лагерному кладбищу. Он до конца сохранил сознательную волю к жизни там, где у большинства его товарищей по лагерю оставался уже только животный инстинкт жизни, унижительный и чаще всего нецелесообразный. Собираение селедочных головок на помойке, например, или питье для заглушения голода невероятного количества воды не отдаляет, а приближает смерть от дистрофии и связанных с ней болезней.

Не было, однако, таких «сивок», которых не могла бы, и скорее рано, чем поздно, укатать крутая горка под названием Оловянная. Она была крута не только в переносном смысле — расположенным в ее недрах каторжным рудником и обслуживающими этот рудник лагерями с почти невыносимыми условиями быта заключенных. Сопка была крута и в самом прямом смысле — тем своим склоном, по которому ежедневно поднимались на ее вершину заключенные работяги рудника. Почти все входы и спуски в его многочисленные шахты, карьеры и штольни располагались на этой вершине или в непосредственной близости от нее.

С точки зрения профессионального альпиниста, Оловянная отнюдь не являлась особенно трудным альпийским объектом. Обычная для здешних безлесных угрюмых гор продолговатая сопка средней высоты. По вертикали от подножия до вершины эта высота едва тянула на какую-нибудь тысячу метров. Склон, по которому совершал свое ежедневное восхождение лагерный развод, был настолько «спокоен», что по нему удалось даже проложить рельсы бремсберга — канатной железной дороги, обслуживающей рудник. Но добавьте к высоте сопки еще метров триста подъема на пути от лагеря, расположенного километрах в трех от ее подножия, оледените ее склоны осенней и весенней гололедью, завалите их сугробами снега зимой, ударьте в лицо ежедневным «покорителям» Оловянной ураганным ветром высокогорной пурги, обожгите их пятидесяти-шестидесятиградусным морозом, помножьте все это на число дней в году, и вы получите далеко еще не полное представление о трудностях рекордов, побиваемых подневольными альпинистами. Ежедневные подъемы и спуски были, конечно, только дополнением к четырнадцатичасовому каторжному труду на руднике. Впрочем, многие считали, что дело обстоит наоборот и что этот труд — сам лишь дополнение к ежедневному «покорению вершины». Сумма, как известно, от перемены мест слагаемых не меняется, и даже у самых выносливых из «покорителей» окаянной сопки от непривычного высокогорного климата и непомерной нагрузки на сердце развивались болезни, связанные с его расширением. Они-то и сводили в могилу тех из «альпинистов», которые еще раньше не умерли от изнурения и недоедания и не погибли в бесчисленных катастрофах на руднике. О технике безопасности здесь знали только понаслышке и почти о ней не заботились. Было бы нелогично делать крупные производственные затраты ради тех, на чью жизнь здесь в среднем отпускалось не более полутора-двух лет. Почти ежедневно кто-нибудь из совершающих восхождение, а в иные дни и двое, и трое из них на этот раз уже не могли взять возжеленной вершины. Не достигнув ее, они падали, чтобы больше никогда уже не подняться. Не помогали не

только мат и угрозы конвоиров, но даже их сапоги и приклады.

Когда лагерный развод добирался до подножия Оловянной, в дни с низкой облачностью уходявшей своей вершиной в серые облака, начальник конвоя выкрикивал команду сделать короткий привал. Повторять эту команду ему никогда не приходилось. Вся тысяча человек, а иногда и только триста — это зависело от числа месяцев, прошедших со времени последнего пополнения лагеря, — тут же валилась на снег или камни. И хотя все знали, что отдых не продлится более пяти минут, большинство сразу же погружалось в сон. Хроническое недосыпание было здесь едва ли не большим бедствием, чем обычная нехватка питания. За вычетом часов работы на руднике, времени на подъем и спуск с сопки, на развод и стояние у вахты, на получение хлеба и баланды, на бестолковые поверки и частые шмоны, для сна у работяг основного производства оставалось в иные сутки не более пяти-шести часов. А так как о выходных днях для заключенных здесь не было речи, то возместить вечную недоимку по части сна удавалось только в дни освобождения от работы по болезни. Но получить такое освобождение было тут очень непросто. Для этого, как гласила невеселая лагерная шутка, надо было принести в санчасть «голову под мышкой».

Поэтому насколько охотно выполнялась команда «Садись!», настолько же неохотно люди пробуждались от мгновенно охватившего их свинцового оцепенения. Они тяжело поднимались на ноги, нередко только после конвоирского пинка, и начинали мучительный подъем на гору, на который уходила едва ли не большая часть их слабующих физических сил.

На этом участке пути конвоиры не окружали колонну заключенных, как обычно, а пропускали ее вперед, чтобы самим замыкать шествие. Если и всегда-то они были больше погонщиками, чем охранниками, то при подъемах на сопку превращались уже исключительно в погонщиков, притом невероятно свирепых. Иначе было нельзя. Развод на склоне Оловянной имел злостную тенденцию растягиваться чуть ли не на всю его длину. В то

время как голова колонны достигала уже вершины сопки, ее хвост плелся в доброй версте от этой вершины даже при условии непрерывного понукания и толчков прикладами в спины отстающих. Тех, кто валился наземь, вохровцы методически избивали. Делалось это, собственно, не для того, чтобы заставить упавшего подняться на ноги и продолжать путь, — такой надежды почти не было, — а в назидание остальным. Если дышащего, как запаленная лошадь, доходягу или даже совсем почти не дышащего не дубасить сапогами и прикладами, то много найдется охотников симулировать полное бессилие или сердечный припадок, чтобы быть отправленными в санчасть. Лагерные врачи разберутся, конечно, действительно ли заключенный не мог двигаться дальше или только придурился. Но обратно на сопку его уже не пошлют, а это для симулянта немалый выигрыш. А вот если такая удача обойдется ему в отбитые легкие или сломанное ребро, то ни ему впредь, ни остальным зекам заниматься подобной симуляцией будет уже неповадно. Что же касается тех, кто и в самом деле не мог продолжать восхождение, то большинство таких умирали, а остальные превращались в совершенных уже инвалидов, не имеющих ни малейшей ценности как рабочая сила. Следовательно, и церемониться с ними нечего. В этом рассуждении была своя логика.

Хотя Ученый был далеко не самым молодым из здешних заключенных, в течение почти года он одним из первых достигал места, где лежали и хватали раскрытыми ртами разреженный воздух те, кому и на этот раз удалось одолеть подъем. Но постепенно «сепаратор сопки» отбрасывал его все дальше от головы колонны, и теперь он плелся даже не в ее середине. Сердце, про которое он шутил прежде, что не знает толком, где оно находится, давало себя знать все сильнее и чаще. Одолевали слабость, саднящая боль в груди, ощущение нехватки воздуха. Чем ближе к хвосту колонны он карабкался на гору, тем чаще наблюдал, как кто-нибудь рядом с ним останавливался и хватался за сердце. Потом человек медленно опускался на склон, глядя помутневшими глазами вслед тем, кто, тяжело отрывая от земли ноги, продолжал

путь дальше. Чаще всего эти глаза выражали только физическую боль, но иногда еще страх и смертную тоску. В углах рта у некоторых выступала пена. Оглянувшись, Ученый видел, как к упавшему не торопясь подходят охранники. Теперь он уже и слышал иногда, как, пнув для начала скрючившегося на земле человека ногой, кто-нибудь из них кричал на него ненатурально грубым голосом, как пастух на скотину: «А ну, кончай придуриваться!»

Перспектива такого конца не столько страшила, сколько возмущала Ученого своей бессмысленностью. Стоило родиться на свет на редкость одаренным человеком — теперь, в своем нынешнем положении, он считал себя вправе давать себе такую оценку, — много достигнуть и к еще большему стремиться, чтобы таким нелепым, противоестественным образом погибнуть среди угрюмых гор где-то на самом краю света. Он всеми силами на протяжении последних двух с лишним лет старался отдалить этот конец, веря в какое-то чудо, невозможность которого отчетливо понимал. Но вера в чудо органически присуща попавшему в безвыходное положение человеческому существу — так же присуща, как рефлекс защиты себя ладонями от падающей скалы. Эта вера проявляется не только в большом, но и в малом, подчас почти смешном своей наивностью. Разве он не знал, например, что в санчасти их лагеря нет почти никаких лекарств, когда пошел вчера к лагерному лектому, бывшему ветврачу, просить дать ему чего-нибудь против усиливающихся день ото дня перебоев сердца? Ветеринар не стал даже прикидываться, что проверяет жалобу больного, выслушивая его сердце, и порошки дал. Такая легкость отпуска лекарства и его чем-то очень знакомый вкус навели недоверчивого пациента на мысль капнуть в свой порошок разбавленной соляной кислоты, выданной тем же лектомом соседу по нарам. Эта кислота да еще отвар кедра-стланика были в их лагере единственными медикаментами, имеющимися в достатке. Смесь бурно вспенилась. Так и есть — сода! Как у чеховских сельских эскулапов, ставка на психотерапевтический эффект.

Но если психотерапия при помощи соды не удалась, то тем более была необходима теперь его обычная отвле-

кающая терапия при помощи мышления о чем угодно, кроме, конечно, мыслей о своей судьбе. Она помогает забыть о боли и даже о том, что физические силы неумолимо иссякают. А вот запас тем, на которые можно размышлять во время этих восхождений, продолжающихся не меньше часа, практически неиссякаем. Можно думать, например, вот о чем: по мере подъема на сопку становится все яснее, что окружающие ее горы кажутся хаотическим образованием только внизу. Вообще понятие хаоса в чем-нибудь порождается всегда недостатком знаний о природе и законах этого явления. Отсюда же видно, что сопки, особенно дальние, вытянуты в цепи, как бы набегающие друг на друга и порождающие мысль о волнообразном движении. Это движение нельзя считать застывшим, так как горообразовательные процессы, особенно в этих местах, все еще продолжаются. Его, наверно, даже можно было бы выразить, пусть несколько абстрагированной, математической формулой. В противовес представлению о хаосе — признаку капитуляции разума перед непознанным, математическое отображение явления означает высшее торжество этого разума. Кажется, Лауэ сказал, что математика дарит человеку радость наслаждения истиной в ее наиболее чистом виде. Но эта истина лишена красок, звуков и всего того, с чем связана всякая реальность. Этот горный ландшафт, например. Он наводит на мысль о мертвых планетах, о чем-то глубоко чуждом и враждебном человеку. Этого не выразишь формулой. Здесь нужна музыка. Если архитектура — это «застывшая музыка», как было сказано уже очень давно, то горы имеют на такое определение еще большее право. Только симфония здесь должна неизбежно перемежаться с какофонией. И какое же из этих начал должно подчиняться другому? Это зависит уже от восприятия мира творцом музыки. В отличие от математических выкладок, абсолютно объективных по самой своей сущности, здесь возможно и даже обязательно субъективное начало. Без этого самое понятие искусства было бы лишено своего смысла.

Кому-то из мудрецов, склад ума которого, вероятно, был совсем иным, чем у физика Лауэ, принадлежит мысль: музыка тем и хороша, что мешает логически ду-

мать. Так ли это? Вернее, так ли это всегда? Создатель проективной геометрии математик Балъи находил законы этой геометрии, играя на скрипке. Математический и музыкальный центры мозга, по-видимому, близки друг к другу, если только не совпадают. Среди профессиональных музыкантов математиков, правда, нет. Это объясняется, вероятно, специальным характером предмета математики и трудностью освоения его техники. Зато много музыкантов-любителей высокого класса среди математиков. Оркестр, в котором он играл, почти сплошь состоял из математиков и физиков. Гениальный физик Эйнштейн прекрасно играет на скрипке. Виолончелист оркестра Дома ученых в иные периоды не сумел бы, наверно, достаточно определенно ответить на вопрос, кто в нем преобладает: математик или музыкант. В своей ранней молодости долго не мог ответить на этот вопрос и великий физик Макс Планк.

Многие, начиная со времен древних греков, пытались найти математические законы музыки. Он сам, в порядке некоего «хобби», пытался разработать хотя бы в самом общем виде математическое выражение фуги. Приятели шутили: «Поверил алгеброй гармонию...» Шутка казалась обидной. Приписываемая Пушкиным своему Сальери попытка подменить интуицию гениального музыканта чем-то вроде конструирования музыки по готовым формулам — всего лишь поэтический прием. Ведь и сама математика, если говорить об ее непроторенных путях, создается за счет все той же интуиции. Представление об ее творцах как о людях сугубо рационалистического ума — плод невежественного и плоского мышления. Познание истины ради самой истины не носит примитивно рационалистического характера уже потому, что заранее известно: всякое открытие ставит больше проблем, чем решает их. Познание человеком законов мира часто сравнивают с открыванием ребенком куколок деревянной матрешки. Ему такое сравнение кажется не совсем удачным. Куколки, по мере того как разбирается забавная игрушка, оказываются все меньше по размерам. Вложенные же одна в одну загадки природы, наоборот, становятся все масштабнее, все глубже, все труднее для разрешения. Может быть, следовало бы заменить

ребенка в подобном сравнении, скажем, червем-древоточцем, помещенном в самую маленькую из матрешек. Пытаясь раскрыть тайну строения окружающего его мира, этот червяк буравил бы одну за другой крепкие деревянные оболочки. И, конечно, находил бы, что они становятся все толще, все объемистее, все труднее для одоления. Обладай червяк-исследователь хмурым и дотошным умом шекспировского Гамлета, он пришел бы, наверно, к тому же выводу, что и герой знаменитой трагедии: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...»

Однако от размышлений на отвлеченно-философские темы мозг начал утомляться почти так же быстро, как мышечный мешок сердца от физических нагрузок. Надо занять его работой полегче. Например, вычислением энергии, затрачиваемой каждым из этого вот развода, чтобы добраться до вершины сопки. Задача элементарная. Надо помножить средний вес заключенного — его можно принять равным всего пятидесяти килограммам, больше сейчас тут мало кто весит — на высоту подъема в метрах. Получится пятьдесят тысяч килограммометров механической работы. Чтобы выразить ее в привычных калориях, нужно разделить этот результат на механический эквивалент тепла, который, грубо округляя, можно считать равным четыремстам. Получится, что восхождение на сопку только от ее подножия обходится даже предельно исхудавшему человеку в более чем тысячу двести калорий. Это больше половины калорий, заложенных в хлебном пайке, получаемом теми из заключенных, которые выполняют производственные нормы. У не выполняющих дневной план их урезанный паек едва покрывает расход энергии на одно только это восхождение. Вот почему сердце даже у самых молодых и сильных из привезенных сюда скоро начинает работать, как мотор, в баке которого иссякает горючее. Но это уже тема, запретная для размышлений.

На столбе справа, одном из двадцати, установленных вдоль линии бремсберга и несущих провода, питающие токком двигатель лебедки, жирно выведен его номер — 531. Номер опоры в начале рельсового пути на сопку — 517. Значит, позади остались почти две трети длины склона.

Но будет правильнее определять соотношение пройденного и оставшегося пути не по его длине, а по энергии, затрачиваемой на подъем. Тогда получится куда менее благоприятный результат, сопка с высотой становится круче. Самое трудное место восхождения на нее находится между опорами № 533 и № 534. Склон там пересекает скальное образование, напоминающее естественный карниз или барьер, протянувшийся параллельно вершине сопки. Подъем на месте этого выступа так крут, что для спрямления линии бремсберга в вертикальной плоскости в нем сделана выемка. Подниматься по этой выемке было бы, конечно, гораздо легче, но заходить в нее во время восхождения на сопку целого развода заключенных не разрешается. Они могли бы задержать движение по бремсбергу вагонеточных поездов.

Чертов барьер является «критическим» участком кривой подъема и с чисто математической точки зрения. Выражение функции этой кривой никому, конечно, не известно. Но несомненно, что ее первая производная где-то именно здесь меняет свой знак с плюса на минус. То есть удовлетворяет математическому признаку максимума всякой аналитической функции. Этот признак найден французским математиком прошлого века Коши и долго назывался его именем. Для каторжника, знающего математику и все менее уверенного, что при очередном восхождении он сумеет преодолеть этот максимум, «признак Коши» стал с некоторого времени чем-то вроде мрачного символа. Конечно, это плод его нынешнего угрюмого праздномыслия. Но и того еще, что большинство смертей, которыми так часто сопровождается восхождение на Оловянную, происходит на этом участке подъема. Возможно, что и давно покойный маркиз Огюстен Луи Коши, имея он возможность наблюдать почти ежедневно происходящие здесь трагедии, усмотрел бы в них не только лишнюю иллюстрацию к своей теореме. Выдающийся аналитик в математике, он был крайне консервативен в своих политических взглядах. Он считал, что попытки насильственного преобразования общества, с какими бы благими намерениями они ни предпринимались, неизменно пагубны, так как нарушают ус-

тановления самого Бога. Наивная точка зрения верующего человека и клерикала. Но так ли уж далека она от истины, если рассматривать ее не слишком предвзято?

Эта непредвзятая точка зрения, склонность проверять своим умом то, что проверять запрещено, более других людей свойственна профессионалам мыслительной работы. Вроде него самого, например. В обществах с авторитарной формой правления она считается опасным посягательством на монополию немногих думать за всех. Отсюда и извечная война единоличных диктатур и деспотий с собственной интеллигенцией. Она началась еще в Древнем Египте, красной нитью прошла через историю императорского Рима, не говоря уже о средневековых полутеократических европейских государствах с их инквизицией. Но первым, кто поставил эту войну на продуманную, рационалистическую основу, был, наверно, древний китайский император Циньши Хуанди. Для начала эпохи абсолютно единоличного управления он повелел умертвить всех философов в своей империи. И притом таким способом, как утопление в нужниках, например. Это чтобы отбить охоту к критическому мышлению даже у тех, кто отягощен избытком ума и знаний. Циньши Хуанди жил более двух тысяч лет тому назад. Технические приемы старого богдыхана устарели. Но не его политические принципы. Иначе профессор математики не карабкался бы на эту сопку, вместо того чтобы заниматься теорией расходящихся рядов.

До барьера, перевал через который становился для него все более трудным, остается всего один интервал между опорами. Всего одна двадцатая общей высоты сопки. А между тем она равна высоте двенадцатиэтажного дома. И взбираться на эти поставленные друг на друга многоэтажные дома приходится не по удобным лестницам, а по осклизлым, местами еще покрытым тающим снегом камням. Конец мая — один из самых неблагоприятных периодов для восхождения на здешние горы.

Богато иннервированный «мышечный мешок», который люди так долго считали вместилищем своей души, в общем-то, значительно трусливее ума. От одного прибли-

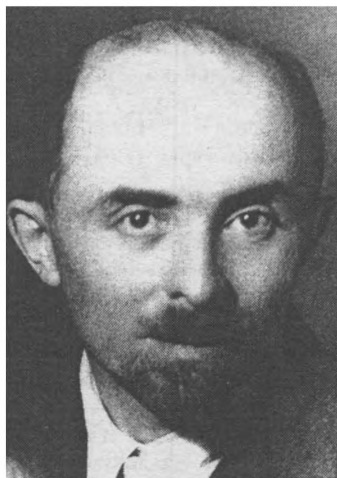
жения к круто вздымающемуся участку склона сердце начинает ныть особенно сильно, норовя совсем размагнититься в самый неподходящий момент. Поэтому нужно думать не о близком максимуме крутизны, в которой максимальной становится и нагрузка на почти отказывающее сердце, а о той же «музыке гор», например. С этой высоты уже совершенно очевидно, что здешняя горная система имеет ясно выраженный волнообразный характер, хотя и весьма сложный. Значит, и выражать его надлежало бы средствами полифонической музыки, и среди них — фуги. При некотором напряжении воображения он уже сейчас слышит мощные, накатывающие друг на друга волны звуков. Вначале они должны изображать столкновение и борение между собой громадных масс мертвой материи. Затем проникновение в их первозданный хаос некоего организирующего начала. Постепенно это начало переходит к своему торжеству, пока еще не окончательному. Борьба сил, слишком могучих, чтобы замечать человека, все еще продолжается. Трагическая «тема» этого человека едва пробивается сквозь раскаты воображаемой полифонии. Сегодня она — совсем слабый, какой-то молящий звук. Это потому, что человек уже почти исчерпал свои силы в борьбе с враждебными силами. И одна из этих сил — сила тяжести, ставшая почти неодолимой. Это она не позволяет ему оторвать от скалистого грунта дрожащие, подкашивающиеся ноги. Это благодаря ей сердце от бешеных вибраций, когда оно, кажется, готово выскочить из своей тесной клетки, переходит к почти полным остановкам. В такие моменты не только ноги, но и все тело как будто обмякают, становятся ватными. В глазах темнеет, по лицу и груди как будто кто-то проводит жесткой скребницей. И все время не хватает воздуха, хотя он дышит уже, как рыба на суше, широко открытым ртом. Мимо бредут люди, полусогнувшиеся, лишь с огромным трудом передвигающие ноги, с такими же, как у него, открытыми ртами. Ну да, он поднялся до высоты, где кривая подъема удовлетворяет признаку максимума Коши. Неужели сегодня он уже не сумеет преодолеть этот максимум? Проходят последние из карабкающихся на сопку заключенных. За ними следуют уже свирепые стражники с их винтовками.

Но, может быть, еще можно предельным усилием воли заставить себя и на этот раз преодолеть проклятый барьер? Может быть, к нему явится даже второе дыхание, нередко выручающее спортсменов на, казалось бы, безнадежных для них состязаниях?

Но второе дыхание не приходило. Сквозь застилавшую глаза мглу стало видно, как качается высоченная, гораздо выше Оловянной, соседняя сопка. Кто-то дал этому угрюмому голому конусу нелепое для него название Вакханка. Но сейчас гора как будто решила оправдать это название. Пьяно качнувшись несколько раз, она упала. Место ее бурого склона с красноватыми промоинами заняло совсем близкое разлохмаченное облако. Ранней весной облака всегда такие тяжелые и набухшие. Ранней, конечно, по здешним понятиям. Где-то уже отцветает сирень, а здесь эти облака, осклизлый снег и что-то еще, чего он никак не может вспомнить...

Все стремится к состоянию наименьшей энергии. Все, кроме биологических систем, пока они живы. Он тоже жив, так как думает о том, что же является еще одним характерным признаком весны в этих проклятых краях. Ну, конечно! Добротные яловые сапоги. На них недавно сменили валенки здешние вохровцы...

— А ну, поднимайся, хватит придуриваться! — Удар носком тяжелого сапога по силе и точности не уступал удару по мячу опытного футбольного бомбардира. Боль от него проникла даже сквозь слабеющее сознание. Но тут же и погасла вместе с этим сознанием, клочковатым, почти черным облаком наверху и высящимися рядом темными фигурами. Второго удара Ученый уже не почувствовал.



**Глаза
Гамбит
дьявола**

ЯКОВ БРАУН

Февральским днем 1937 года в Самаре из крохотной комнатки, всю обстановку которой составляли пара кроватей, стол с ножками крест-накрест, как у довоенных раскладушек, и книжная полка, было унесено (или «изъято», как сформулировано в деле) буквально все: книги, в том числе и надписанные рукой Маяковского, Есенина, Екатерины Пешковой, — 1 мешок, записные книжки — 2 штуки, личная переписка — 67 страниц. И, конечно, деревянный ящик с рукописями. Вспоминая об этом в своем «Слове об отце», любезно предоставленном в распоряжение Комиссии по творческому наследию репрессированных писателей, Светлана Яковлевна Рязанова пишет: единственным, что уцелело после обыска, были два листочка из обычной ученической тетрадки — рассказ «Глаза». Более пятидесяти лет хранившийся в семье, он теперь перед вами.

Автор — Яков Вениаминович Браун — сегодня едва ли известен даже специалисту-гуманитарию. Пока. Потому что усилиями его дочери, а также Натальи Соболевской, литературоведа из Новосибирска, и еще нескольких энтузиастов имя этого литературного, театрального и музыкального критика и прозаика возвращается из небытия и, хочется надеяться, будет оценено по достоинству.

20-е годы — время наибольшей активности Брауна в печати. Одна за другой появляются его статьи в журналах «Театр и

музыка», «Авангард», «Новая Россия», «Вестник труда», «Сибирские огни». Их тема — творчество Б.Пильняка, И.Эренбурга, Вс.Иванова, Е.Замятина, Л.Сейфуллиной, театр А.Таирова и Вс.Мейерхольда, проблемы драмы, оперетты. Человек самых разнообразных увлечений и широкой культуры (Браун владел несколькими языками, учился в консерватории, был страстным шахматистом), одаренный критик, он умел отличить подлинное искусство от конъюнктуры, трескотни. Многие из написанного им созвучно нашему времени. Его статья о Замятине с характерным названием «Взыскующий человека» вновь увидела свет в 1990 г. (см. сб.: Критика и критики в литературном процессе Сибири XIX—XX вв. Изд. Сиб. отд. АН СССР. Новосибирск, 1990). Дружному хору тогдашних критиков, обрушившихся на автора романа «Мы», противостоит умный, страстный и мужественный голос Якова Брауна, увидевшего в Замятине «большое и многорадостное явление в литературной современности». Из документов, недавно обнаруженных С.Я.Рязановой, явствует, что в 20-е годы ее отцом были также подготовлены к печати статьи об А.Толстом, Л.Леонове, М.Горьком, И.Бабеле, цикл статей о творчестве писатель-женщин: М.Шагинян, О.Форш, А.Ахматовой, М.Цветаевой и других, книга «Есенин и Маяковский». В ЦГАЛИ хранится никогда не публиковавшаяся обширная монография об А.Белом.

Широчайший диапазон интересов, глубина и яркая, взволнованная образность — вот что представляется самым привлекательным в творчестве Якова Брауна. Он не устает протестовать против «отрицания человеческой личности и ее свободного развития», он старается понять свою эпоху — эпоху революции, это «поразительное сочетание идейного фанатизма с беспринципным ничевочеством рабьего преклонения перед вещью... — и все это в бредовом, сумасшедшем переплете с жертвенностью, любовью к дальнему, неисповедимой мукой революционных годов...» (Взыскующий человека. Творчество Евгения Замятина. «Сибирские огни», 1923, № 5—6).

В 20-е годы публикуются и прозаические произведения Брауна: повести «Самосуд» («Сибирские огни», 1925, № 1) и «Шахматы» («Сибирские огни», 1923, № 4). Бывший левый эсер и левонародник, он совершенно отходит от политической деятельности, посвятив себя литературе. Однако это не спасает: тучи уже сгущаются над головой автора. Аресты. Ссылка. В 1928 году — возвращение в Москву. «Теперь уже в литературно-театральные журналы путь закрыт, — вспоминает дочь. — Рабочий редактор журнала... “Скотоводство”. Но это работа, дающая средства к существованию, квартира в городке животноводов под Москвой.

Все свободное время — работал над новыми статьями, повестями, романом (увы, так и не увидевшими свет)».

В 1933 году — новый арест. Яков Браун приговорен к высылке из столицы. «9.8.1933 под конвоем привезен в Самару... Самара встретила голодом Поволжья, изматывающей малярией, безработицей, нуждой... Работа (путь ее — от экономиста пивоваренного комбината до преподавателя литературы в учебном комбинате 106-го артиллерийского полка, зав. литчастью Самарского драматического театра)... Снова много писал. На положении ссыльного. Не печатали. Работал в стол, вернее, в ящик».

Но вот кончился срок ссылки. Казалось, все теперь наладится, впереди замаячила надежда. Именно тогда его и взяли. «Мне было 9 лет, — пишет С.Я.Рязанова. — Но я очень хорошо помню 9 февраля. Утро не предвещало катастрофы. Отец подшучивал надо мной, второклассницей, поцеловал, прощаясь (никто из нас и не предполагал, что это навсегда)». Тогда-то и забрали при обыске ящик, в который он складывал рукописи, будучи в ссылке. А 17 декабря 1937 года Яков Браун был расстрелян.

Долгое время семья об этом не знала. «Слабая, но все-таки надежда жила в нас, — вспоминает дочь. — Мы всегда его ждали, любили, верили. А он даже Оттуда сумел пару раз ободрить нас: два письма, полных уверений, что скоро будем вместе, просил “Шахматный вестник” для него покупать... Ни на какие запросы мамы ответа не было. Не было, и когда кончились война и “десять лет без права переписки”. Была реабилитация. В оттепель 1956 года. С датой смерти все оставалось туманным».

Лишь в 1990 году дочери удалось добиться доступа к материалам следственного дела. Браун был обвинен в руководстве подпольной террористической организацией (по делу проходили 16 человек) и связи с границей. Среди тех, кто вел дело, — следователь Филиппов, который в 1940 году был осужден за незаконные методы ведения следствия и фальсификацию дел. В реабилитационной части дела Якова Брауна говорится: «Показания обвиняемых крайне противоречивы, записаны явно тенденциозно, явно фантастические планы террористических актов».

Виновным себя Браун так и не признал (можно себе представить, чего это стоило!), в мае 1937 года в знак протеста против выдвинутых обвинений объявлял голодовку, но — постановлением «тройки» УНКВД по Куйбышевской области от 7.12.1937, подписанным секретарем «тройки» Вознесенским, был приговорен к высшей мере. Приговор приведен в исполнение через десять дней.

Итак, два тетрадных листочка — последнее из дошедшего до нас, если не считать писем из тюрьмы. Мы выбрали рассказ «Глаза» еще и потому, что он раскрывает совершенно не известную пока сторону дарования Якова Брауна — его талант прозаика. Еще ждет своего часа никогда не издававшийся роман «Старики». Вторую авторскую редакцию повести «Шахматы» под названием «Гамбит дьявола», также не увидевшую свет, — вещь сильную, страстную, философски глубокую, — мы тоже включили в наш сборник (обе рукописи обнаружены недавно в ЦГАЛИ). Но начнем знакомство с прозой Я.Брауна с чудом выжившего маленького, но очень емкого рассказчика. Вглядимся в ГЛАЗА — человека, художника, времени.

О. Сушкова

ГЛАЗА

Я их не видел, но ведь они и сами себя не видели. Правда от этого не перестала быть правдой.

Рассказывала жена. Нет, она не рассказывала: она прибежала пунцовая, потрясенная, слова взволнованно путались, слова налетали на слова, но их не хватало, и руки рассекали воздух, как у неопытного пловца.

Было это в выходной день, июльский, смеющийся солнечными зайчиками выходной день.

Она их видела, но, кажется, видела туманно, потому что глаза ее были слишком широко раскрыты, и были к тому же влажны глаза ее.

Руки тщетно помогали ее словам и бессильно падали на колени. Они отчаялись, руки: они не могли помочь языку.

— Они... они идут, — говорила жена. — Они в белых платочках. Все праздничные. Все торжественные. По десять в ряд, взявшись за руки. Остановились трамваи. Все расступились. Автомобили как примерзли... Слышишь трубы? Ты разве слышал когда-нибудь такую веселую музыку?

Я и впрямь не слышал. Трубы, трубы, играющие золотом трубы плясали, танцевали в воздухе. Нет, я не слышал еще никогда такой детски радостной музыки. Трубы, надув свои медные щеки, заливались бравурным, раскатистым смехом. Солнечные зайчики прыгали из труб и щекотали уши, глаза и щеки. И еще, еще какой-то влажный, тихий, влюбленный звук, совсем тонкий, совсем девиче-

ский, совсем наивный, взлетал и рассыпался фонтаном певучих брызг в изумленных ушах человеческих...

— Кто они?

— Я потом... — задыхаясь, не слушая, продолжала жена. — Они идут к пристани. За плечами узелки, котомочки, гармоники — к пароходу — гулять... Я не понимаю: откуда у них такая радость, такое солнце... Разве они увидели... Разве они стали зрячими?

— Кто же они? — спросил я, совсем оторопелый.

— Они... Они — слепые...

— Слепые? — Я сел на кровать. Глаза отчего-то слепило, резало.

— Да, слепые... Это артель «Слепой труженик». Они делают щетки, чемоданы, корзины. Сегодня у них выходной день. И они — двести человек — всю артелью — демонстрацией — идут к пристани... Впереди трубачи — тоже слепые... Ты видел бы этих юношей, этих улыбающихся старушек в платочках, этих стариков с серебряными бородами и мальчишеской гордостью в плечах и походке. И — уверенность! Самое чудное, самое изумительное — их уверенность. А они идут, приплясывая, по десять в ряд посреди улицы и знают: весь город расступится и даст дорогу им — слепым счастливым... Честное слово, я им завидую! Такая радость могла бы быть только у прозревших...

Признаться, я дальше не слушал. Я думал о том, что такое шествие могло быть только у нас... Но я, признаться, не мог и додумать. Не мог, потому что музыка, музыка заливала город, потому что трубы, медные трубы танцевали в воздухе, и еще потому, быть может, что умиление встало посреди моего горла и щекотало, слепило мои глаза.

Я их не видел, но ведь и сами они себя не видели.

Но отчего же и сегодня стоят они перед глазами моими?

Отчего же и сегодня я вижу их на пароходе, на приволжской поляне, отчего я слышу и вижу их пляску на берегу и слышу их детские, зрячие голоса — голоса людей, залитых выше глаз радостью отдыха, радостью новой жизни?

ГАМБИТ ДЬЯВОЛА

I

— Шах! Gardez!¹ Шах...

— Ну, конечно, потеря темпа, а впереди — угроза проигрыша качества.

— А ваш разорванный правый фланг?

— Открытая линия «b» — это, по-вашему, разорванный фланг? Да мой разорванный правый фланг лучше вашего целого левого. Вы, быть может, воображаете, что я поменяюсь с вами положениями?

— Не поменяетесь, ибо вы — фушер². Шах.

— Большое для меня горе, когда фушером считает меня эдакий мазунчик³, как вы. Gardez! Позвольте, вы коснулись, ход офицером...

— А ежели я носом коснусь офицера, я тоже должен им ходить?

— По мне — хоть мизинчиком левой ноги... Отставьте коня. Ход, говорят вам, офицером...

— Послушайте, с-с-са-пог: бросьте меня мандражировать. Я старый воробей...

— Нет-с, уж извините, маэстро озера Титикака: ход вашим офицером — или сдавайтесь... Ежели на плечах у вас нет головы, это еще не значит, что я разрешу вам думать пальцами...

— Да вы...

— Вот именно: я-с... Что-с, комбинация того... неотразима?

— Ком-би-на-ци-я? Поистине: ком-би-на-ци-я из трех пальцев.

Кофейня кипела страстями и спорами.

В непроглядном табачном дыму эти люди с вытянутыми лицами, остановившимися, обмершими глазами и хищными, неопределенно кружащимися над шахматны-

¹ Gardez (фр.) — берегитесь! Шахматный термин, означающий угрозу королеве.

^{2,3} Фушер, мазунчик — на шахматном жаргоне: невежественный игрок.

ми столиками руками казались чьим-то сухим предутренним бредом. Их страстно стиснутые, краями вниз опущенные губы, отравленные скверным табаком и остывшим крепким кофе, сочились едкой желчью или изрыгали истерические проклятия, извивались тонкой иронией или гремели гортанным наигранным хохотом, изображали всезнание маньяков или бесстрашие самоубийц, но лица — лица сохраняли все то же фантастическое, самозабвенное напряжение, какое бывает только у наркоманов и шахматистов.

Старый еврей с тускло моргающими глазами и движениями тихого автомата — сам хозяин этой «Лондонской кофейни» — и его дочь, тощее существо с плоским египетским профилем, существо, лишенное вовсе третьего измерения, существо с слюдяными глазами и покорно-неслышным голосом, — хозяин и дочь едва успевали разносить черный кофе и ящички с игрушечным оружием.

Особенно усердно поглощал кофе партнер эреб Пинхоса, «непобедимого чемпиона Лондонской кофейни» (так его здесь величали). Вокруг их столика было и гуще, и шумнее. Человек десять солидных и лысых и совсем не солидных «пижонов», с зализанными проборчиками и шелковыми платочками, игриво подмигивающими из верхних пиджачных карманчиков, обступили играющих, вслух «консультировали», «комбинировали», предсказывая с сардонической улыбочкой всякие «атаки», «прорывы» и «жертвы», каких всегда можно ждать от этого коварного эреб Пинхоса.

Судьба партии предreshалась ими с чугушной бесповоротностью уже со второго хода... «Конечно же, он готовит прорыв по линии “f”...» — «Что? Он действует вовсе по линии “с”! Ч-чудак, ведь это стра-те-ги-ч-ч-чес-кий маневр...» — «Хм-м... Уди-ви-тель-но: оба слепы, эреб Пинхос не в форме, иначе...» — «Господи, когда все так просто и для всех очевидно, а он...»

Противник старого маэстро, бледный юноша в пенсне, с безвольно-мягким, туманно расплывающимся яйцевидным лицом и сдержанно-нервными манерами, чтобы смирить захватившую его дрожь, судорожно поглощает чашку за чашкой, думает молча, заворуженно-долго.

Лицо — паучьими тенетами. Центр — где-то у переносицы. Туда бегут — по щекам, по лбу, из-под глаз — радиусы морщин, там сгустились узлы напряженных складок. В ненасытном голодном обжорстве хочет высосать из мозгов последнюю каплю крови, последнюю каплю мудрости — и все мало, так мало, мало. И вдруг, отчаянно сорвавшись, его рука заносит топором черного офицера над головой противника и с грохотом обрушивает его на деревянное поле. Юноша смертельно бледнеет: он уже знает, что сделал совсем не тот ход, ах, совсем, говорю вам, не тот... Срыв руки... И если бы он...

Эреб Пинхос глядит на доску невидящими нирваническими глазами, выпускает изо рта табачную восьмерку, и еще восьмерку, и еще. Его рука издевательски — тихо, словно кошка, ступающая на мягких подушечках, переносит пешку на две клетки, и пешка присасывается пивкой к офицеру противника.

Кругом немедленно заклокотали, загагакали, замолотили («Ну-с, что я вам говорил? О, я всегда...» — «Но гораздо корректнее было предварительно...» — «Корректнее, корректнее... Корректор несчастный, утрите нос...» — «На турнире гроссмейстеров в Остенде в 1907 году Чигорин...» — «Нда-а, Чигорин в таких случаях сдавался...»), а Пинхос, отрешенно улыбаясь косой однощечкой улыбкой, говорил о себе в третьем лице:

— Что вы думаете? Эреб Пинхос не знает гамбита Эванса? Ха, он имеет к нему даже свои маленькие примечания и веселенькие подробности. Он вам сдаст еще две пешки и скушает вашего коня. Успокойте ваши нервы, эреб Пинхос знает, что он делает...

Юноша в пенсне вновь заволновался. Заметно пульсировали виски, точно кровь оглашенно там была в набат. Юноша призвал на совет целую улицу морщин, а Пинхос так же тихо и неприметно, как его пешки и фигуры, поднялся, вышел из плотного круга любопытных, медленно пошел по рядам столиков.

— Вы лучше подумайте, дело, кажется, серьезное, а эреб Пинхос пока что поглядит, как другие играют.

Сутулый старик выпрямляется. Ему шестнадцать лет. У него не было вовсе ни жены, ни дочери — и кто ска-

жет, что их убили? Его глаза не видели вовсе погромов, лицо его цветет фиалковыми улыбками. Он — просто шахматный король. Медленно и важно, налитый величавым свинцом, как шахматный король, приближается Пинхос к угловому столику.

За столиком, ежесекундно привскакивая, точно петухи в бою, ерзают два офицера с волочащимися по полу шашками. Когда офицеры вскакивают, шашки яростно сшибаются, бренчат и цокают одна о другую, и тогда кажется, что сражение идет не вверху, на шахматных полях, а внизу, под столом. Желтые фуражки сползли набекрень, натужные капельки пота клеются к клетчатой клеенке, трясучие руки мечутся по доске, точно юнкера за проститутками, стук фигур сливается с цоком и звяком шашек, кони и пешки то и дело брякают на пол, а прыщавый детина, их секундант, пулеметом отсчитывает:

— Р-раз, два, три, четыре, пять, ш-ш-шесть...

И при шипящем, ядовитом звуке «ш-ш-шесть» тот, от кого ожидается ход, подпрыгивает на стуле, пропаще моргает веками и бросает первую попавшуюся под руку фигуру из одного края доски в другой.

Особенно горячился более молодой, суетливый офицерик, у которого от напряжения остались на лице только дико вертящиеся волчки вместо глаз да востренький носик с капелькой пота на самом краю.

Его противник, цилиндрический штабс-капитан, похожий на кадку из-под огурцов, с мокрой (не от огуречного ли сока?) физиономией работал фигурами, как цирковыми гириями, и после каждого хода топал разом обоими сапогами. Медным кабелем легла посреди лба накалившаяся складка, а губы нахрапно бабахали:

— Беру. Бью. Шах. Бах. Шах. Пат. Готово. Ставим новую. У меня тридцать шесть, у тебя сорок три, две ничьи. Живо-а-а...

Раскаленные утюги их рук швыряют фигуры на доску и с доски, гремит восемьдесят вторая партия.

Прыщавый детина неумолимо барабанит:

— Ас, два, три, четыре, пять, ш-ш-шесть...

Они сражаются с самого раннего утра, они разыгрывают матч «а темпо»¹ в сто партий (кадка ставит полдюжины шустовского «три звездочки», а носик — свою «девочку» Зинку из «Ogrheim'a», что на Большой Подвальной, прыщавый же счетчик — подпоручик — «на пару» с тем и другим), они набрасываются на шахматные фигуры, как «дикая дивизия» на серебряные ложки, они торопят и подстегивают друг друга, точно в кавалерийской атаке, хлыстом свистит прыщавый детина: «Ш-ш-шесть», — и вновь сшибаются кони, отдаются королевы, каруселят перед глазами пешки, виснут и срываются «шахи», «маты», «паты».

Пинхос смотрит, мелово-бледный, на то, как поганят, похают, насилуют его святую игру... Вот так же точно и в ту ночь... Но...

Пинхос улыбается призрачной, почти внутренней, почти астральной, никому не видной улыбкой. О, здесь они, бедные, не могут его оскорбить. Здесь его, Пинхоса, царство. Здесь они жалки и бессильны, а он державно-могуч.

Офицеры, заметив сбоку ироническую фигурку и потертый пиджачок старика, бросают ему «жидовскую морду». Пинхос молча, все с той же астральной улыбкой, медленно, спокойно, налитый величавым свинцом, как шахматный король, возвращается к своему партнеру.

— Ну-с, нашли замечательный ответ?

— Есть. Беру вашу пешку.

— И отдаете на память коня?

— Увидим.

— Х-ха, эреб Пинхос поможет вам увидеть.

Прыгнула на подушечках пешка, сделала «вилку», угрожая разом коню и офицеру. Офицер отступил, а конь тихо спрыгнул с доски, словно кошка с подоконника.

Юноша в пенсне поглядел, не мигая, в ту точку доски, откуда исчез конь, нажал рукой виски, закрыл глаза. Так просидел он, мучительно отсутствуя, минуты три-четыре, потом вдруг поднялся, звякнул ложечкой по чашке, крикнул:

— Платить!

И уже совсем глухо прибавил:

¹ А темпо (*итал.*) — в заданном темпе.

— Сдаю.

Весьма солидные и лысые и совсем не солидные и даже не лысые наперебой заговорили о блестящем ходе кофейного маэстро, о редком расчете на шесть ходов вперед, о новом варианте гамбита Эванса, и у всех, солидных и несолидных, лысых и отнюдь не лысых, был такой вид, точно это они, собственно, выиграла или по крайней мере подсказали выигрыш Пинхосу.

А сам эреб Пинхос, подняв кверху указательный палец, говорил юноше влюбленно и виновато:

— Знаете, у вас бывают интересные, тонкие ходы. Я даже думаю, что вы когда-нибудь непременно выиграете у меня партию.

Хозяин вошел в игральную комнату, получил у юноши «за время» и одиннадцать чашек кофе, потоптался на месте и робко обратился к игрокам:

— Господа, уже очень, очень поздно... Двенадцатый час. В городе, вы сами знаете, осадное положение... И его высокопревосходительство генерал-губернатор... Господа, поверьте, вы ведь знаете... Пора запирать заведение...

Нехотя, медленно отклеивались игроки от столиков, мутно озираясь по сторонам, никого не узнавая, машинально опускали руки в карманы, чтобы заплатить «за время», и полупьяной истомленной походкой направлялись к выходу.

Цилиндрический штабс-капитан топнул разом всеми своими сапогами (сапог оказалось у него двадцать, а может, и больше), штабс-капитан стал на дыбы, опрокинув стул и соседний столик, ликующе бацнул:

— Бью туру. Мат. Пятьдесят одна, мать твою в Мойку. Г-гатово. Н-ну-ка, па-а-ручик, пр-р-росле-ду-ем к вашей Зинке, мать ее в Мойку...

— Да, да, да, — подхватил детина-счетчик, и от радости на правой щеке его лопнул острый белый угорь, — да-да-да, п-п-пра-сле-ду-ем к твоей Зинке...

Востренький носик уронил, наконец, капельку пота с самого кончика, носик стал вдруг уменьшаться, носик стал вовсе безносиком...

— Я-я-я... — лепетал безносик (оказался он вдруг зайкой), — в-в-вы ш-ш-шутите, к-конечно, к-ка-пи-тан...

— Что-о-о? — разрычалась кадка.

— Что-о-о-о? — подхватил прыщавый, хватаясь за шашку.

— Да-да-да, к-к-конечно... — запинаясь заика. — З-з-зинка, к-к-ко-неч-но, больна, но... п-п-прос-с-сле-дуем к Зинке...

И трое, волоча шашки по полу, вырвались из кофейни...

Хозяин с движениями тихого автомата и его дочь с плоским египетским профилем, лишенная вовсе третьего измерения, — хозяин и дочь вытащили откуда-то груды ящиков, стоек, взгромоздили стулья на стулья, столы на столы и полки на полки, баррикадируя окна и двери, загромоздили крюками, болтами и железными шторами, затыкали тряпьем, щепками и палочками все щели, прощелки и, кажется, даже поры стен. Они призрачно двигались, загасив все огни, в потухшей кофейне, они чего-то еще искали, что-то еще и еще волокли и громоздили, напряженно вслушиваясь в растущие, странные, но уже привычные звуки.

II

Домá кричали, дома молили, дома раздирали каменные скулы своих погребов, чердаков, окон и ворот могильно-ровным мыком:

— М-м-мо-о-о-о-о...

Дома молотили ночную тьму монотонным, томящим:

— М-м-мо-о-о-о-о...

Был ли то погромный морок, иль в самом деле безмозглые изможденные люди вымогали у тьмы неведомого Молоха?

— М-м-мо-о-о-о... М-мо-о-о-о... — несло из всех домов, крыш, подземелий.

Крики не повышались и не умолкали, не заострялись и не гасли, не нарастали и не падали, крики лились скучным молочным морем, долгим, безбрежным. Кто знает, может, это и есть «вечность»?

Пинхос знает: не морок, не катастрофа, не вечность. Это — будни. Да, монотонно-молочные будни.

Каждую ночь, не умолкая, от сумерек до утра, в две смены, по очереди кричат осаждаемые, взламываемые еврейские дома, кричат:

— По-мммо-о-о-гите...

Х-хе, это их единственное оружие в борьбе с белогвардейцами. Они заколотили ворота, двери и окна, домком в очках скучно объявляет: «От восьми до двенадцати кричат квартиры номер 1, 4 и 7, от двенадцати до четырех квартиры номер 2, 5 и 8, от четырех до восьми...»

И по-мо-га-ет, представьте, замечательно... Только почему-то в этом доме на прошлой неделе кричало сто, вчера кричало уже девяносто, а завтра — х-хе, завтра, наверно, никто не будет кричать...

Пинхосу смешно. Пинхос тихо хехекает в бороду. Он дрожит от челюстей до колен, дрожит от картуза до башмаков: ему, вероятно, очень-очень смешно.

И в такт его смеху и дрожи дрожат от снарядов дома и, охая и вхая, хохочут пулеметы. С нагорья, что у вокзала, по широкой центральной улице большого города скатываются вниз грузовики, битком набитые юнкерами. Юнкера лихо стреляют в воздух и по сторонам. Пролетает легковой автомобиль, и гудок его игриво наплясывает: «Чижик-пыжик, р-р-р-ри-ти-ти...» Заливаются малым визгом разбиваемые стекла. Мерно, методично ударяют в ворота камни, ломы, топоры. Монотонно, буднично молят дома. Лихой эскадрон кадетов поет, нажаривает, доламывая калитку:

Ж-ж-желтая л-лента, ж-ж-желтая л-лента

Всем нам сулит любовь.

Д-д-дай-те нам деньги, дддайте нам дденьги,

Не то мы п-пус-тим кр-р-ровь —

та-та-та —

Командир наш малый, но зато удддалый,

Ррраз-ре-ша-ет б-бить ж-жидов,

Д-д-дай-те нам д-деньги, дддайте нам дденьги,

Не то мы пустим кр-р-ровь —

та-та-та...

Старик, изгорбленный, сломанный, жметя к стенам (если бы, если бы в снегу истаять, пропасть ржаным зерном!), старик хочет бежать, но, как в кошмарном сне, парализованы ноги, хочет крикнуть, но — разве есть у него голос? Он может только тихо красться, полузакрыв

глаза, хватая слепыми руками заборы и карнизы, вжимаясь мышью в ниши и подворотни.

О, только ради шахмат, только и только ради них можно ползать ночью по этим улицам, по голым, со всех концов предающим, указующим площадям, ждать смерти у каждого забора, трепетать червяком в пасти у жизни, — чтоб доплыть, чтоб докарабкаться до черного столика, чтоб отдаться бело-красному гипнозу вечной игры веков, сладостной, как нирвана, тихой, как память тысячелетий.

Сверкающим опахалом прорезался в небе прожектор и побежал, огненный шпион, всевидящий и слепой, по склепам смертельных улиц.

Вдалеке оборвалось чье-то победное:

— Ббе-е-ей!

И дома вопящие вдруг смолкли. Только позади еще на что-то надеялись, кого-то еще звали, ломая черный камень тьмы.

Пинхос бежит, зажав лицо ладонями, прерывисто вздыхая, плача неслышно куда-то внутрь, а за ним, распаяясь, летят лучи прожекторов, настигают колючими глазастыми щупальцами, ему вдогонку мчатся все эти грузовики, и в самое сердце целятся снаряды, и хохотом смерти хохочут в спину пулеметы, его зовут и зовут изнемогающие, разломанные дома, его догоняют громилы в погонах и шашках, и вот-вот...

...Успокойте ваши нервы, мосье Пинхос. Вот ваша комната и часовая мастерская — все вместе... Х-хе. Хроно-метри-чес-ка-я комната. Вот на клетчатом столике, тесно сдвинутые, стоят шахматные фигурки. Они сгрудились вокруг черного короля, и, честное слово — не будь он еврей! — можно подумать, что идет за-ме-ча-тель-ный митинг деревянных карликов.

Сонно тикает настольный будильник, чуть слышно пульсируют маленькие черные дамские часики, кого-то дразнит, качаясь на стене, фиолетовый маятник — не вас ли, почтенный эреб Пинхос? — и мелодично вызванивают полночь древние, как шахматы, огромные часы, похожие — честное мое слово! — на шарманку... Успокойте же ваши нервы, эреб Пинхос. Можете смело — хе-хе, смело? — вытереть клетчатым платком (размером в детскую пеленку)

капельки холодного пота со лба, можете сесть себе в кресло (не забудьте только, что кресло потеряло *тогда* одну ногу!) и, как полагается доброму еврею и притом шахматисту, — можете себе философствовать и вспоминать...

Кто запретит — хе-хе... — Пинхосу вспоминать? Разве есть еще хоть один народ, который мог бы вспоминать так хорошо и так мучительно, как еврейский народ? И разве есть еще хоть один такой народ, у кого не осталось бы ни-че-го, кроме воспоминаний?

О, Пинхос помнит! Помнит такую же ночь, холодную декабрьскую ночь прошлого года, накаленную огнем пожаров, рыданиями женщин и детей, вихрем пуль и снарядов. Бывают белые и бывают красные, а тогда как раз были и красные, и белые разом. Красные стояли под самым городом, а белые, уходя, очень торопились, резали впопыхах, шмыгали из дома в дом, спешно добивали тех, кто еще дышал в погребах, на чердаках, в клозетах и подвалах.

Погром застал его в кофейне. Их было тринадцать игроков, среди них лишь один еврей — он, Пинхос. В этот день, как и во все предыдущие дни, он не мог отказаться от этого счастья, от сумасшедшего этого приюта — за шахматной доской.

Сарра — отчего у нее были такие сухие горячие руки, такой неотступный, протяжный взгляд? И зачем у Дорочки, у бледненькой, такие сжатые, тесные губы, точно в зубах зажала кинжал? И почему так жалостно стали они у дверей, так хватали за руки, так умоляли — хоть сегодня, ну, только сегодня остаться с ними, не покидать бесприютный, оглохший этот день?

Он сказал им строго и сухо (как мог он это сказать?):

— Не отнимайте у Пинхоса того, чего вы дать ему не можете.

И ушел.

Прочь от жизни, базара, трясины, трупного месива, бессильного, лижущего камни плача — туда, туда, на маленький клетчатый остров, где немым сладострастием входила в него королева, черная королева, гордо несущая на острие своем:

— Шах и мат.

О, что они могут дать ему, бедные: старая дорогая жена в черной шали, просящая каждодневно денег на базар и ревниво проклинаящая шахматы, и бледная дочь, ушедшая в книги?..

Разве могут помочь они Пинхосу разгадать тайну человеческой души, гордость власти, биение мысли в крови, усталую улыбку победы, математику безумия? Им ли спасти его, себя и мир от визга и лязга революций и погромов, от вывернутых наружу подушек и мозгов, белого и серого, мертвыми человеческими облаками повисших над нечеловеческой землей?

Осуществление неосуществимого — только в шахматах, ибо шахматы — да-да — тоска о невозможном.

О, он прошел по лабиринтам всех мыслей, его глаз ночевал в чужих мозгах, его ум нашел отмычку к чужим планам. О, Пинхос умеет разгадать человека по манере игры, даже тогда, когда тот забегает в кофейню на час, чтобы затем навеки исчезнуть, и даже тогда, когда противник нем, как окунь, и только глотает кофе, и даже тогда, когда противник курит и ругается, и даже тогда, когда офицерик, проиграв, картаво кривляется: «А ну-ка, эреб Пинхос, скажи “кукургуза...”»

Он знает (узнал давно), что люди на шахматных полях бывают обратными, перевернутыми своими действительными портретами — ну, вот точно так же, как на фотографической пластинке, где белое оборачивается черным, а черное — белым. Сонные курицы, ленивая жабья кровь — на доске — исступленные азартники, — берегись, эреб Пинхос, они атакуют в лоб, они нападают смело и бешено. А этот вот рубака, хулиганская челюсть — с губами кафра и манерами мясника — штаб-ротмистр Рвакин — у Пинхоса лопнуло бы сердце, честное слово, доведись ему встретить такого на улице... А на доске — х-хе, смешно! — на доске он труслив, как суслик, и зарывается в позицию, как немец в окоп. Этот погромщик, повесивший, наверное, сто шестиэтажных домов, набитых израилям, прокутивший три состояния и растративший интендантское имущество целого корпуса, — он трясется перед опасностью сдвоенной пешки, как от угрозы выпить це-

люю аптеку карболки, он думает по два часа над ходом, облипает холодным потом, как ребячья клеенка — мочой, он ни разу в жизни (то есть не в жизни, конечно, а в шахматах) не рискнул перейти в атаку и неизменно проигрывает, задушенный собственной осторожностью...

А вы не видели, между прочим, робких юношей с нежной печалью Гамлета, принца датского (не глаза, а голубые колокольчики, не будь он еврей)? Так знайте, это форменные шахматные садисты. Они триста раз уже могут дать вам мат, но они не дадут вам мата — так вы себе и запишите! Они будут перебивать пешку за пешкой, фигуру за фигурой, они будут с нежной улыбочкой смотреть, как вы краснеете, синеете и морщитесь, и будут забавляться вашим бессилием, как мальчик — мухой в кулаке...

А вы не видели, как играет процентщик Шварцман? Жалко, что не видели. Но, говорят вам, нужно уметь видеть: честное слово, это самый настоящий Дон Кихот, не человек, а жертвенник. Он пожертвует вам — хе-хе — короля и будет гордо играть на выигрыш!..

Бывают, конечно, и прямые, не перевернутые портреты, но это все шушера, плоскость. Тех видать навьлет, едва лишь возьмут в руки пешку и двинут ею: «е2» — «е4».

Ну, что может быть, скажем, легче, чем разгадать выскочку — знаете, эдакий купец-оптовик по продаже испорченного воздуха! Он стучит фигурами по доске так громко, точно рубит на бойне воловьи кости. Он предлагает — сморкач! — вам фору, а проиграв, все объясняет «подстановкой», «зевком» и «случайностью». Эти мышинные жеребчики даже в игре вечности способны увидеть случайность, как будто они в подкидного дурака играют.

Или трудно, вы думаете, разгадать злобно-самолюбивых сычей, что играют молча, протыкая взглядом доску, никогда не берут ходов обратно, прокусывают в кровь губу и язык после поражений и заполняют целый квартал кругом себя табачным дымом?..

И что может быть проще — разгадать ничтожную мелкую пешку, чье жалкое самолюбие спокойно мирится с вымаливанием ходов обратно? Эти мелкие карьеристы

(они безусловно карьеристы) придираются к каждому движению вашего пальца и даже рукава, который тоже нарушает, если им верить, великое правило: «*Piece touchait – piece jouait*»¹. Они заставят вас сделать штрафной ход королем и будут спорить до колик, что вы сдвинули с места ферзя, хотя бы ваш ферзь был приклеен к доске синтетиконом. А когда проиграют, они попросят доверить им проигрыш в долг и заплатить вместо них «за время».

Знает он и неврастеников, что любят больше всего играть «*seule-partie*»², объедают за партией кончики усов, издеваются над каждым вашим ходом и вдруг сдаются, потеряв первую же пешку...

А сколько прошло мимо него «фушеров», нахальных прыщавых гимназистов последнего класса, с вонючей папироской и столь же похабными анекдотами в зубах. Те приходят в кофейню от необъяснимого зуда любопытства, облепляют все столы, где играют «знаменитости», лезут пятерней на доску, чтобы показать «гениальный» вариант, и обращают в балаган музыку напряженного шахматного молчания...

Или – может – не угадывает он философов, одиноких мечтателей, бежавших, как он, из жизни в кофейню, от гробовой доски – к шахматной? Те играют медленно, отрешенно, самозабвенно вышивают, будто драгоценным бисером, ход за ходом, записывают партии в блокнот, смотрят больше на небо, чем на доску, и радуются проигрышу так же светло и глупо, как выигрышу.

А радость власти? О, не будь он еврей! – сколько комиссаров, офицеров, гайдамаков, спекулянтов, писателей, приставов, студентов, полковников и департаментских директоров – сколько их приходило в «Лондонскую кофейню», чтоб поиграть с «кукурргузой» или «лавочником» (так презрительно его именовали эти – белые – и те – красные), и проигрывали самым болванским образом на пятнадцатом ходу.

¹ *Piece touchait – piece jouait (фр.)* – начал игру – доиграй.

² *Seule-partie (фр.)* – сольная партия.

О, здесь он им мстил, всем зараз, белым и красным, и желто-блакитным, и зеленым, мстил беспощадно, тем, кто убил его короля, его сына, и тем, кто дразнил его «мелким буржуем» и национализировал его часовую лавчонку. Он, рыцарь в деревянной клетчатой кольчуге, он, безвыходно запертый в шахматные башни на четырех углах доски, стреляет в мир своим презрением раздавленной улитки. Шахматным конем он выпрыгнет из рядов, прямо и косо, чтобы сразу — хе-хе, ви-лоч-кой, — королю и королеве — не угодно ли? Это вам, ваше высокородие, не бойня, эта штучка похитрее ваших наганов. А они, игроки без чести и совести, они просили у него ходик обратно. Он давал, он давал им — не будь он еврей! — он давал им назад этот ходик, чтоб еще неизлечимее был их проигрыш, чтоб еще злее и неумолимей свирепело по черным и белым диагоналям всемогущество его офицеров — вечных над временными, шахматных — над белыми и красными. О, ваше высокородие, не разрешите ли вам предложить вперед ферзя?.. Ах, простите, ваше высокородие, — не к ночи будь сказано, вы все-таки проиграли... О, там он свободней Робинзона, в обществе этих безмозглых пятниц, умоляющих «ходик, только ходик вернуть».

И туда, туда он не пойдет?

Пинхос вспоминает с грустью (разве это — забыть?), что даже хлопнул дверью и быстрее обычного пробежал широкие улицы, отдающие солнцу и погромщикам его сутулую фигуру, пробежал и юркнул во двор кофейни, обычный вонючий дворик больших домов большого города.

Все было на своем вечном месте. На солнечной стороне крыльца, как всегда, лежал в качалке сын хозяина кофейни, желтый двенадцатилетний мальчик-паралитик с поднятыми вверх загипсованными ножками и мертво болтающимися веревочными ручонками.

Пинхосу стало вдруг чего-то стыдно, что-то нужно было искупить, чем-то пожертвовать. Пинхос помнит (в такие дни помнишь все): он вынул из кармана серебряный гривенник (вот уже третий день, как в его карманах был только этот гривенник), зачем-то вытер его рукавом, точно снимая пыль, и положил монету в веревочную

желтую мальчикову ручонку. У мальчика раздуло ухмылкой ноздри, глаза и губы, он закрыл пяткой солнце и восторженно вымычал:

— М-м-мо-о-о...

Пинхосу стало жутко. Пинхос понял: все погибло, непоправимое свершится, его жертва смешна, он — дезертир и предатель. Разве за гривенник можно спасти двух королев — белую и черную? И когда понял, что нужно бежать назад, домой, скорей, скорее — когда понял, — он вошел безвольно в душное сладкое табачное облако — стало их тринадцать, тринадцать, тихо бредящих гамбитами и рокировками.

Тогда пришла варфоломеевская ночь его жизни, тогда прозвенел в могильную глушь и тишь кофейни визг дробящихся стекол, ворвалось напрасное, безответное:

— М-м-мо-о-о...

И в углу хохотком отдались офицеры. Ему хотелось проклинать и молиться, хотелось вопить исступленной риторикой Библии:

— Да будет наша кровь на голове вашей. Аминь.

А он сказал, поднявшись, отпав головой к стене:

— Я вызываю вас всех, слышите, всех вас. Мне все равно ведь некуда уйти. Сколько вас? Двенадцать? Эй, хозяин, поставить двенадцать досок. Я буду с вами со всеми — вы слышите? — играть сразу.

Господа офицеры вскочили со своих мест, они не знали, за что им братья — за шашки или за доски, — они изображали из себя удавов, не зная, что здесь они — только кролики, — они не знали закона, открытого только Пинхосу, не понимали, что здесь они только перевернутые, обратные свои изображения, не больше. Но Пинхос знал, Пинхос нарочито подхехекнул над их бренчащими шашками — зачем волочить их даром по полу? Лучше отстегнуть помаленьку от ремня и выбросить на помойную яму! Ведь здесь, в *его* царстве, шашка меньше пешки — разве шашка может пробиться в ферзи? Он подкосил эти перевернутые тени шашкой своей воли, и двенадцать высокородий, высокоблагородий и каких-то еще отродий с торопливостью кельнеров расставляли стулья и столики в два ряда, по шесть в ряд.

Никогда, никогда еще так не играл он. Играл? Х-хе, он просто рубил гнилую капусту. Он заносил фигуры над их головами, как простой секач, повторяя певуче и сладенько:

— Шах! Простите, ваше превосходительство, ход королем — ведь двойной шах. Х-хе, объявляю мат в шесть ходов. Как? Вы увидите, как...

— А с вами очень просто. Потеря ладьи и рокировки, можете сдаться.

— Извините, господин офицер, можете бросить вашего короля под стол. Моя пешка убьет вашего короля...

Скажите по правде: вы никогда не видели, как на свадьбе в Златополе еврейские нищие танцуют «скочню» или «фрейлехс»? Говорю вам: у них вместо ног пропеллеры, у них под рваными юбками и лохмотьями штанов вставлены настоящие дизель-моторы, они поднимают дом на воздух и задевают галочьим носом телеграфную проволоку, они умеют на полу в шесть квадратных аршин пробежать триста морских узлов в час.

Так вот, представьте: Пинхос с ними — хе-хе — играл втрое быстрее... Но... этого вы уж наверно никогда не видели.

Его пальцы, прежде чем сделать ход, сжимались в тесный птичий клюв, и в горбатом хищном этом клюве предсмертно дрожали их пешки и офицеры.

Он подбрасывал в воздух коней и ферзей и с какой-то сатанинской скорбью глядел в эти перекошенно-злые и бессильные лица, пружинящиеся над ходом.

Прокаженное, в струпьях тающего снега и слезящихся окон, заглянуло утро в кофейню, когда Пинхос кончил.

Он сыграл с ними трижды по двенадцать партий зараз — и выиграл все, до единой. Он швырнул им назад их проигранные рубли и трешницы и выбежал из кофейни, упрятав голову в бурый воротник пальто.

Пустое пальто бежало по склепам разгромленных улиц, навстречу разломленным окнам и вырванным дверям, навстречу еврейскому снегу — из пуха и перьев, навстречу солнцу, этому сверкающему пьяному громиле, отдавшему на поругание ночи потухшую землю, медному

громиле, пришедшему утром, чтоб подсчитать кровавые плоды своего предательства.

Пустое пальто вбежало в пустой какой-то разъятый куб. Из пальто выглянула пустая глазная щель, и в щели перевернутыми крохотными тенями отразились: старая женщина в черной шали, на полу, с радостно оскаленными, голыми зубами и рядом — раздетая белокурая девушка с широко разодранными ногами.

Пустая глазная щель не дрогнула, не сузилась, не расширилась: там, между черных столиков, он их однажды уж видел, там танцевал уж однажды по этим трупам свою сумасшедшую «скочню».

Пустое пальто раскинуло рукава в тупом молчании пустого куба и, кому-то знакомому и невидимому кланяясь, сказала бесстрастно:

— Шах и мат.

Вышла из пальто снежная голова, и оказалось, совсем-то не черная курчавая голова Пинхоса. Снежная голова увидела маленьких костяных карликов, белых и черных, собравшихся гурьбою под растерзанной кофточкой, на голой девичьей груди. Голова и пальто упали на пол, и пустые рукава шарили между светлых колен и мерзлых девичьих грудей, подбирая костяных карликов, белых и черных. Голова аккуратно считала, насчитала тридцать два и удивилась:

— Ты хорошо запрятала, Дорочка. Хе-хе, как ты хорошо их запрятала.

Пинхос сидит в чулках на полу, как еврей при «шиве»¹, Пинхос аккуратно расставил на голом полу своих карликов («За-ме-ча-тель-но... Все тридцать два... Как хорошо она их запрятала!»), Пинхос играет с собою гамбит Эванса, у него блестящая атака, но у того — хе-хе — большое позиционное преимущество...

В пустые квадраты, где были когда-то двери и окна, несется бешеный ветер. Падает на пол еврейский снег — из пуха и перьев. Где-то бьют без перерыва разбитые древние часы, похожие — честное слово — на шарманку.

¹ Шива — семидневный траур по покойникам.

Пинхос выиграл у себя хитрой комбинацией двух королев — белую и черную, и играет дальше...

И вдруг возвращается к Пинхосу околелое бессильное сознание. Трясущейся седой бородой припадает к морозным девичьим коленям и безголосо пришепetyвает:

— Мои дорогие королевы... Черная и белая королевы мои! Возьмите с собою вашего короля... Сарра, Дорочка, о, возьмите же! Ну что вам стоит взять с собою вашего короля?

По синим морозным девичьим коленям текут совсем простые, совсем человечьи теплые слезы, а снежная голова безгубо пришепetyвает:

— Шах и мат...

.....

— Успокойте ваши нервы, эреб Пинхос. Вы сегодня, кажется, довспоминались...

III

Не было больше ни вчера, ни завтра: утро походило на утро и ночь — на ночь.

Жизнь была ненужно-пуста, как шахматное поле после игры.

Не было даже ужаса обыденности в сердце Пинхоса: был лишь *обыденный ужас*, обыденный вой домов и снарядов, обыденный вой и хряск разбиваемых стекол и черепов, обыденная кровь, докучные приходы и уходы белых, красных и желто-голубых.

И только в шахматной кофейне на вонючем дворике каждый день игрались новые партии, рождались новые ослепительные комбинации, по-новому наступали, хитрили, жертвенно гибли деревянные солдаты, офицеры и короли, прорывались новые, безжизненно-страстные откровения на шестидесяти четырех иронических, нарочито правильных, нарочито чинных квадратных клеточках.

Чинным квадратикам этим не верьте! Под каждым квадратиком — так и знайте! — сумасшедшая скрыта пружина, и пружина взметнется внезапно спиралью, а вы, весьма солидный и лысый, окажетесь вдруг фантастической геометрической точечкой на самом кончике дикой этой спирали!

Пинхос — он тоже воображал себя мощным шахматным конем на клеточке «е5», господствующим надо всей доской. О, он отлично понимает, почему тридцать лет назад сумасшедший мировой чемпион Стейниц прыгал по улицам ходом коня. Он хотел, бедняга, попасть на квадратик «е5», господствующий надо всей доской!

Так было до памятного страшного дня, быть может, самого страшного во всей его так называемой жизни.

В тот день совсем не ревели пушки, в тот день не молились Молоху дома, и даже меньше стреляли в окна, и даже...

Но в тот день пришел в кофейню высокий тощий парень с зеленой шевелюрой и наглыми рыжими глазами. Да, наглыми рыжими глазами — Пинхос это сразу беспристрастно заметил — не будь он еврей! — заметил еще раньше, чем тот сел за доску.

И вдруг оказалось, что Пинхосов шахматный конь на клеточке «е5», господствующий надо всей доской, — да, вот этот самый конь — представьте — за-па-то-ван! То есть, собственно, не конь, а сам эреб Пинхос запатован. И вообще: эреб Пинхос — оказалось — никакой не конь, — ну какой уж там конь? Он — просто отсталая пешка, хе-хе, от-ста-лая пеш-ка, которую можно оставить на шахматном столике, а можно — на умывальном, на подзеркальном, на кухонном и даже под столиком...

Парня с рыжими смеющимися глазами решительно никто, кроме Пинхоса, не заметил: мало ли народу трется в кофейне, мало ли кто заказывает «кофейку подешевле» и курит вонючую махорку, мало ли «мазунчиков» сидит в углу и, насвистывая «та-ри-та ойру, эй-ру», играет «исключительно за наличный расчет» (находятся же спекулянты даже на игре вечности!).

Единственное, чем обратил на себя внимание Патлатый (так его здесь позже именовали), — так это тем, что в лютую декабрьскую стужу ходил он без пальто, без галош, в летнем продувном парусиновом костюмчике, и только черная дамская кофта в талию, со старомодными какими-то буфами, едва прикрывала до пояса худую рыжеглазую эту жердь. И не видать было в этом ни хва-

стовства, ни показного закала, ни вызова, ибо Патлатый, войдя в кофейню, дрожал, как щенок, выскочивший из проруби, и, выпив чашку горячего кофе, чахоточно-долго откашливался, и на грязном его платке Пинхос, сидевший рядом, заметил коричневый сгусток.

Но Патлатому жилось, видно, весело. Патлатый бросил на стол бесформенный студенческий картуз с вырванными внутренностями, причесал пятерней поповскую шевелюру и, насмешливо обозрев наморщенную аудиторию, крикнул нагло, уверенно:

— А ну-ка, навались, навались, у кого деньги завелись! Играю «а l'aveugle»¹, даю мимоментальные сеансы одновременной игры, принимаю зараз до тридцати пассажиров (по желанию почтеннейшей публики, можно и больше), бью фушеров и маэстеров распивочно и на вынос, оптом и (по особому желанию) в розницу. Одним словом, почтеннейшие, массовое матовое производство и крупная ин-ду-стри-я...

Произнеся эту вступительную речь, Патлатый выдохнул целый вулкан махорочного дыму, вытащил из кофты потрепанную книжицу и, точно вдруг забыв о своем вызове и обо всем вообще на свете, сделал насупленное грушеобразное лицо (хвостик груши, в виде тонкой-тонкой длиннющей сигарки, торчал изо рта), рыжие глаза его потухли, вокруг них зловеще обозначились темно-фиолетовые круги, как у святых старцев на старообрядческих иконах, и, весь сгорбившись, уткнулся в книжку.

Эффект вышел разительный, необычайный.

Прыщавый офицер, обычно служивший счетчиком, вскочил, грохоча шашкой, заявил, что «студентишко, видать, нализался и его надобно выставить», прибежал автомат в ермолке, вылепился на стене египетский профиль, лишенный вовсе третьего измерения, автомат и профиль утверждали, что «здесь в самом деле абсолютно не притон и абсолютно не картежный клуб, а серьезное заведение, и у них не слышали тридцать лет про водку». Какой-то пожилой поляк-нотариус с вставной ногой

¹ А l'aveugle (фр.) – игра вслепую, не глядя на шахматную доску.

хлопнул протезом по полу и предложил — «пщя крев! дуже велика гецца!» — дать Патлатому ладью вперед. Все бросили игру. Кто требовал тишины, кто государственной стражи, а кто — «денег на бочку». Решительно все возмутились и категорически протестовали, но почему-то столики суетливо строились в круг, и двадцать восемь досок осадили своими башнями, конями и офицерами наглого верзилу в дамской кофте.

Патлатый лениво закрыл свою книжицу (перед Пинхосом мелькнул на обложке — «Всадник без головы» Майн Рида). Лицо Патлатого стало непроницаемо, как карта Большеземельской тундры: узенькие японские глаза и козлиная борода — классический портрет авантюриста, а может, Мефистофеля, а может... вот, опять великомученик со старообрядческой иконы... И вдруг лицо подервенски ослабилось, поплыло в ухмылках:

— Хо-хо... — захохотал Патлатый, — небось клюнуло? Только денежки — по трешнице — загодя в мой картуз, а картуз отдадим хозяину. То есть до зарезу нужны, фушерята! — и улыбнулся неожиданно светло и открыто, как бы извиняясь.

Тут снова пошла бестолочь: этакий хлюст, да никто... да никогда... с эдакой кофтой, мать ее в Мойку... да это же — разве не видите? — шантаж и надувательство... да его, собственно, нужно уволочь в державную стражу... пщя крев, следите, панове, за карманами... елки зеленые, всякая рвань...

Но рыжие глаза смеются, заливаются — ах, не озорной ли он одесский босяк с Молдаванки? Иди, разбирайся в карте Большеземельской тундры! Говорят вам: тундра не Одесса...

— Не извольте тревожиться, почтеннейшие: обыграю вас в доску, оберу, как поросят рождественских... Да, наконец, помилуйте, двадцати восьми добропорядочным гос-по-дам несколько легче припереть в государственную стражу одного шкета за невзнос двухсот пятидесяти двух карбованцев, чем мне — двадцать восемь фушеров, из которых притом пять господ офицеров...

«Господ офицеров» произнес с особым нажимом и бегло — одной только узенькой щелочкой — скользнул по офицерским шапкам. Нет, это уже слишком. А впрочем, ведь и в самом деле...

Минуту погодя руки потянулись к кошелькам, от кошельков — к студенческому шапоклюку, и двадцать восемь трешниц исчезли вместе с шапоклюком в конторке хозяина «Лондонской кофейни».

Игра началась. Студент, вероятно, играл в ловитки лучше, чем в шахматы. Студент бегал по кругу, точно скаковая лошадь — по ипподрому, студент беспечно навистывал «Яблочко», влепляя фигуры, как мальчишки — снежки в мимохожую шубу, и только подскакивая к доскам офицеров, самых слабых игроков кофейни, простаивал почему-то дольше всего, глядя, впрочем, не столько на доску, сколько на своих партнеров. Но едва те, вспотевшие, напряженные, поднимали на него взбешенные взгляды, как Патлатый вскрикивал: «Ш-ш-шесть!», бросал ферзя из края в край и перелетал к соседнему столику.

Только эреб Пинхос не принимал участия в диком этом сражении.

Пинхос стоял, заложив руки за спину, с потухшей трубочкой в зубах, позади играющих, в сонном каком-то одурении. Хе-хе, старая капота, вы думали, что вы, эреб Пинхос, всесильный конь на решающей клетке «е5»... Но вы же просто урыльник, да и то разбитый... Этот босяк с рыжими глазами (он же сразу — не будь он еврей — заметил наглые рыжие эти глаза!), эта бабская кофта играет, хе-хе, как сам Морфи. Разве это человек? Это шахматный клоун, сумасшедший акробат, честное слово! Он прыгает по доске, как рыжий по цирковой арене (недаром же у него такие рыжие-рыжие глаза). Он жертвует ферзя (этот шпингалет!), как будто это вовсе не ферзь, а кусок засохшего кизяка, — но ему еще мало, ему мало, говорю вам, этому фокуснику, — он отдает еще черного офицера и кричит, как еврейский мальчик-сопляк, выигравший две пуговицы с орлами, — он кричит:

— Шаховный пан, наше вашим-с с соленым огурчиком. Мат в семь ходов...

Пан Пигуцкий будет его бить сейчас правым ботинком по рыжим глазам. Тут такой же мат, как у него, Пинхоса, дамское декольте... Что, что? Этот босяк дает-таки мат — пешкой и конем. Его король подходит, как ночной бандит к собольей шубе, и дает — Боже мой! — мат пешкой и конем... У Пана Пигуцкого отнялась вторая нога — тут можно, говорю вам, получить апоплексию в два темпа! Пан Пигуцкий завтра придет со вторым протезом... А эта кофта хохочет, как обыкновенный клоун, вlepивший пощечину другому клоуну, и мчится дальше... Он просто издевается, этот босяк, издевается над теорией, над позицией, над здравым шахматным смыслом, он играет на шахматных досках, как Бим-Бом — на бутылках или бычачьих пузырях, он презирает великую игру и всех игроков, и главное, тысяча проклятий, этот садист выигрывает, выигрывает! Интересно, когда она думает, эта цирковая лошадь, и где расчет, и где же мысли, мысли — в этих булькающих от смеха глазах и губах, где одна хоть морщинка — на этом ровном, как мраморная ванна, лбу?..

Трубка падает из Пинхосова рта на пол, Пинхос машинально наступает на нее ногой, у Пинхоса — лицо испанского марана на инквизиторской дыбе, у Пинхоса мертво отпадает челюсть и нитка слюны падает на старенький пиджак.

Он смотрит стеклянно на то, как разрывается круг, как выходят из игры разбитые игроки вместе со столиками, он слышит задушенный шепот (люди потеряли вдруг голос):

— Это сатана, говорю вам...

— Да, да, дьявол, наряженный в дамскую кофту...

И вот — длинная жердь шлепает тощими костяшками пальцев по последнему столику, обращаясь к прыщавому офицеру:

— Ну, кончено. С вами, сударь, ничья. Два коня не дают мата. Получайте трещницу сдачи.

И отсчитывает из вернувшегося к нему картуза три рубля прыщавому детине.

— Итак, почтеннейшие милорды и, некоторым образом, миледи (кивок на приклеенный к стене египетский профиль), итак, двадцать семь выигрышей и, простите,

не без этого, одна ничья — с господином офицером! — И Патлатый жеманно приседает в реверансе перед прыщавым детиной.

У детины лоснятся и острятся все прыщи, он улыбается потно, обалдело, хрипит:

— Д-да-с... Со мной а-а-ад-ним ничья-с...

Но тут все обступают Пинхоса, и двадцать восемь орут властно, угрожающе:

— Вы, вы должны с ним сыграть — или вы больше не чемпион кофейни.

— Докажите ему, эреб Пинхос...

— О, Пинхос ему покажет!

— А ну-ка, кукурргуза, докажите этой к-кофте!..

— Что вы думали, молодчик, картузом море вычерпать! Вот сразитесь с ним, со стариком, попробуйте...

— Почтеннейшие короли и герцоги, прежде всего, я голоден. Милейший хозяин абсолютно серьезного заведения, нет ли у вас чего-либо, хотя и не абсолютно серьезного, но... относительно съедобного? Котлет, например? Есть? Великолепно, дайте дюжину. Тети-дяди, это просто чудесно... А теперь можно и в розницу сыграть. Хотите, старче, коня вперед?

Пинхос отступает, пятится в угол, и синие губы его прыгают.

— В-в-вы м-маль-чиш-ка, господин студент. Пинхос укажет вам в-в-ва-ше место...

— Место местом, рабби, но десяточку ставите? Как раз на котлеты хватит. Я, конечно, с «маэстрой» и так на так сыграл бы, иначе выигрыш нужен мне на пальто и штиблеты, и то, пожалуй, сотнягой не откупишься. А посему потормошим у вас десяточку — возражений нет?

— Иг-ра-ем... — выдавили синие губы.

— Значит, принято единогласно... «Итак, мы начинаем», — запел из «Паяцев» Патлатый.

Нападал юноша, играя белыми. Пригнув голову к плечу, весело прищулив правый глаз, он иронически прицеливался, хитрил и медлил и вдруг выстрелил боковой пешкой: «b2» — «b4».

— Дебют гиппопотама! — залихватски объявил Патлатый.

— Гиппопотама? — удивился Пинхос.

— Не нравится? Что ж, пускай тогда называется: прыжок африканской зебры или гамбит шмарагонца. Я такой, мне не жаль.

Цирк, форменный цирк, решил эреб Пинхос. Но это же даже не цирк. Просто зверинец, шмарагонский — хе-хе — зверинец. Эта полосатая зебра не знает даже, что нужно развиваться в центре. Он стреляет на флангах, как партизан из кустов, и думает подобными финтиками-минтиками провести старого Пинхоса. Пинхос вонзил коня в клетку «е5» и другого коня в поле «е4», и теперь — хе-хе — этот шмарагонский гиппопотам может прыгать себе на голове, сколько в него влезет. Но... что он делает? Патлатый берет обеими руками тарелку с котлетами, на тарелке всего только дюжина котлет и три фунта жареной картошки, и преспокойно рассаживается в другом конце кофейни... Он решил, видно, сдаться? Еще бы: когда кони Пинхоса господствуют над доской — вы понимаете, фушер облезлый, что это значит — занять конями... К-как? Он диктует ходы из угла? Он будет с Пин-хосом играть вслепую? Эта зебра набила себе баки котлетами и картошкой, вытаращила от жадности первобытные рыжие зенки, чавкает и клямкает на всю кофейню, выворачивает пальцами из-за десен застрявшие куски, а на Пинхоса и на его коней — ноль внимания... Этот голоштанник, видать, не ел со дня сотворения мира... Из какой пещеры, интересно спросить, он вылез? Его щеки шлепают, как старая капота под ветром, его зубы... Да, но конь Пинхоса как будто...

А *тот* подмигивает, *тот* знает, о чем думает Пинхос:

— Хо-хо, — подмигивает Патлатый, разламывая руками котлету, — а ваш-то победный конь на «е5» — тавво... за-па-то-ван...

— Мой к-конь... — поперхнулся Пинхос, точно проглотив Патлатого вместе с его котлетами.

— Угу, в-ваш к-конь запатован... — издевается кофта, совсем прикрывая правый глаз.

— Вы слышите, вы слышите... Его конь...

Толпа отделила черным забором старика от Патлатого, толпа рассуждала и советовала, ужасалась, охала и хихикала... Вот тебе и конь...

Да, его конь... оба коня... два коня погибли под двумя пешками. Этот акробат нафокусничал что-то своими пешками, и кони... такие кони... И он себе смеется... Он заказал бульон и смеется. А Пинхос должен сам с собой играть... Акробат диктует, а Пинхос по его приказу сам над собой изгиляется, сам на себя наступает и хватает себя за горло...

Кто его выдумал, этого дикаря? Быть может, сам Пинхос? Быть может, нет никого, а он сидит на полу между двух трупов и сам на себя идет в атаку... Весь мир, весь мир сошел с ума... По всей земле сражаются гиппопотамы и зебры, и сражаются без доски, вслепую... Но... Нет, Патлатый — не призрак. Зачем призраку так жадно жвакать желваками?

— Патриарх, сдавайтесь! — орет разодранный рот над самым Пинхосовым ухом (не рот, а граммофонная труба). — Стоит ли, дорогуша, сопротивляться, имея на двух коней и пешку меньше?

— Сдаюсь, — безвольно шепчет Пинхос. Вот уже семнадцать лет, как его губы не произносили смертельного слова «сдаюсь»... Но пришел парень с рыжими глазами...

— Вы думаете, одна партия уже решает... — лепечет Пинхос и вдруг переходит в крик и стон. — Если только вы честный человек, вы должны... я требую...

— Ну, стоит ли, голубчик, в пузырь лезть? — смущенно улыбается кофта. — Хотите еще матик скушать? Кушайте, кушайте на здоровье, а я, отче, три дня хлеба в глаза не видел... Позвольте же мне за ваш счет наполниться котлетами. Вы, видать, эту деревянную муру бог весть какой святой премудростью считаете... Тоже — занятие: для безработных первосвященников...

Пешки наполнены плотным свинцом и гнездятся в прочных правильных квадратах. Почему же под пешками вдруг оказались пружинки, и прыгают пешки по диким каким-то спиральям?

Он не знает, он больше ничего не знает. И клетка «e5» совсем не господствует над доской, и незачем вовсе занимать центр, и... Куда же, куда несется волшебный клетчатый остров, и зачем у белой королевы вместо короны клоунский колпак?

А тот пристроил сбоку еще пять столиков, нагло занумеровал их и жарит вслепую со всеми зараз, уписывая тем временем котлеты (он, видно, никогда не нажрется, он вечно, вечно будет чавкать, жрать и.. выигрывать...).

— Столик № 1, слева, сделайте у меня короткую рокировку. Столик № 2, снимите у себя пешечку «d5». Старче! Заприте свою душку королеву ходом пешки на «f6». Чувственно вам благодарен... Быть может, сядите, о первосвященник?

Двадцать восемь шпингалетов, получающих у Пинхоса ладью (а этот, прыщавый, даже ферзя), двадцать восемь тупиц и ничтожеств гогочут над ним сладострастно, с подвизгиванием, как над похабным анекдотом.

— Самоубийство из-за угла...

— Эреб Пинхос-таки да проиграл пятую партию...

— Эх, пан Пинхос сегодня не в форме, и потому Патлатый обедает на его содержание...

Они истекают восторгом и остротами, они наконец обрели злорадное возмездие за восемнадцать лет поражений, за восемнадцать тысяч раз повторенное ими: сдаюсь... И никто, никто, ни один ласковый голос...

Нет, один только... Или это тихий шепот Дорочки, вот такой крошачийся, тревожный детский шепот — в самую глубь уха и сердца:

— Скажите, голубчик Пинхос, этот прыщавый детина — не контрразведчик ли, барон фон Пален?

Старик, сраженный, подымает от доски мутные глаза. Перед ним стоит Патлатый. У него совсем не рыжие глаза. Кто это, какой кощунник выдумал, что у него рыжие наглые глаза? У него же темные, тревожные, у

него же измученные увядшие тюльпаны вместо глаз, они без радости и блеска, как у приговоренного... Сутулый юноша — он похож на огромную усталую черную птицу с перебитым крылом...

Пинхос молчит. Пинхос ничего не понимает. Сутулый юноша настойчиво, еще тише, одними намеками губ повторяет вопрос.

— Да, это начальник контрразведки, фон Пален... — шепчет Пинхос и чувствует смиренную радость от легкого прикосновения своих губ и бороды к уху юноши.

Студент, насвистывая, возвращается на свое место. Его лицо вновь непроницаемо, как карта Большеземельской тундры. Через пять ходов он объявляет Пинхосу вечный шах и тотчас же, едва расплатившись, выбегает из кофейни.

IV

Старик-часовщик почти не спит. Вы думаете, у старика так много заказов — и день и ночь он чинит часы? Ах, оставьте, ну кто же, какой сумасшедший станет починять часы, когда все часы отстают на тысячу лет и спешат на тысячу лет, когда время вообще околело и ползет в довременный хаос и тьму, и мир каждый день сотворяется заново и заново рушится в довременные пещеры... Ах, оставьте, никто не починяет часов в дни, когда тикают не часы, а пулеметы... Старик совсем закрыл свою часовую мастерскую, и в пустынной его комнате хромоногие маятники и ходики остановились и примерзли к футлярам.

Старик почти не спит. Дни и ночи сидит он над шахматными учебниками и теориями. Он знает наизусть Дюффрена, Ласкера и Шифферса, он достал даже на базаре потрепанный том лейпцигского издания Бильгера и разыгрывает вариант за вариантом, главу за главой. Вечером он прячет Бильгера от погромщиков в старый талес (ведь был когда-то старенький еврейский Бог, и он верил когда-то в этого старенького Бога в талесе). Он подвешивает Бильгера, увернутого в талес, на гвоздик, забитый в дымовой трубе, и уходит в кофейню.

В кофейне Пинхос ни с кем не играет. Над ним смеются, шутят, измываются. Пинхос молчит. Пинхос не пьет больше черный кофе, и только маленькая его трубка вяжет загадочные табачные восьмерки, петли и кольца. Пускай смеются, пускай издеваются: плевать, он знает наизусть Дюффрена, Ласкера, Бильгера и Шифферса, и теперь... пускай только появится тот.

Откуда пришел он и куда исчез? Зачем ему этот страшный человек, прыщавый палач барон фон Пален? И зачем в сеансе сделал ничью именно с этим сапогом Паленом? А зачем, между нами, объявил Пинхосу вечный шах, имея перевес на две пешки? Любой фушер на месте Патлатого выиграл бы... И когда же он вернется, когда? Как жить теперь без этих рыжих смеющихся глаз, без жадных первобытных этих челюстей, без этой сердце от жалости сжимающей бабьей кофты? Он вбежал, как слепая лошадь, в кофейню, перебил игроков, словно пустые бутылки, и исчез, провалился... Он — просто рыжий зверь. Хуже: он — палач! Он выбросил из-под ног Пинхосовых, из-под старых ног последнюю скамеечку, квадратную скамеечку, сделанную из шахматной доски, и бесстыдно сбежал от содеянного... Палач? А может быть, новый рыжий патлатый бог (ведь он же играет, как бог!)... Или мученик? Эти больные, замученные глаза, и шепот, нежный, как Дорочка, детский доверчивый шепот у самого уха?..

Пинхос ждет пятый день, ждет неделю, нет, уже одиннадцатый день... Довольно: больше не станет ходить он в кофейню. Довольно: его душа изрыта ночными воплями, его грудь изрыта снарядами... Больше не в силах он одолевать ужас большого расстрелянного города. Но как раз тут, глубоким вечером...

Кофейню готовились уже закрыть, тихий автомат ушел в чулан за ящиками, когда ворвался вместе со снежным вихрем студент.

Лицо его было еще бледнее прежнего, форменное студенческое пальто, сменившее дамскую кофту, широко развевалось, едва не сбросило чашки со столиков, мимо которых пробежал Патлатый.

Завидев старика, огромными шагами, почти прыжками подскочил к Пинхосу и — скороговоркой, не подавая руки:

— Есть с вами партия?

В глазах Патлатого трепыхает, мятется ужас. Пинхос молчит, Пинхос не в силах ответить. Студент дышит прерывисто ему в лицо, шепчет:

— Сядьте лицом к двери. За мной никто не вошел? Не видите?

— Нет, вошел человек в клетчатом пальто и кепке... — безжизненно откликается Пинхос.

— Так я и знал. Расставляйте скорее фигуры, делайте сразу два хода (голубчик, это не фора, *так нужно*, не обижайтесь). Хозяин, дайте мне *е-ще* кофе («еще» — с нажимом, громогласно). Делайте скорее ходы. Рокируюсь. Нужно, чтобы кепка застала середину партии, понимаете?

— Зачем?

— Затем, что за мной следят. Шах! — заорал на всю кофейню. — Ну, старче, сдвоенная центральная пешка — тоже хлеб. Продолжение следует.

Пинхос не знал, за кем и за чем следить — за трагедией ли своих деревянных фигурок или за синей кепкой, медленно приближающейся к их столику.

— Скажите, неужели вы...

— Да, я — подпольщик, — едва вылепетал Патлатый и тут же — крикливо, насмешливо: — Вы не слышали, какое завещание оставил ваш король своей безутешной королеве и восьми деткам?

— Вы хотите сказать...

— Я хочу сказать, дорогой мой, что ваш король через три хода отправится налево...

Пинхос увидел своего короля далекой точечкой в узком, мощенном черными плитами коридоре. Король был схвачен тонкими длинными пальцами и сброшен с доски.

— Ну-с, еще попляшем? — заливались, дразнили рыжие глаза. Патлатый снова прежний, хищно-молодой и нагло-беспощадный. Кепка медленно отходит и пропадает за дверью.

Пинхос рванул студента за рукав, высоко распластал левую свою руку, оттопырив каждый палец, заговорил страстным заклинающим голосом древних пророков и пифий:

— Юноша, вы можете, если вам так нравится, оскорблять меня, но вы не можете оскорблять шахматную борьбу. Шахматы выше жизни, шахматы больше жизни, лучше ее. Чем вы можете меня утешить, кроме этих великих бескровных сражений? Быть может, теми кровавыми неоплаканными судными днями, что длятся и свирепствуют, и доколе еще будут длиться над землей? Что вы мне можете дать, кроме мата? У меня, по крайней мере, остались шахматы, а у вас?

— У меня, — усмехнулся Патлатый, снижая голос, — у меня — вера в мировой взрыв. Вы понимаете, старик, что такое мировая со-ци-а-ли-сти-чес-ка-я революция?

— Х-хе, ваша философия сидит пулей в шее моего сумасшедшего покойника-сына. Ми-ро-ва-я со-ци-а-ли-сти-чес-ка-я ре-во-лю-ци-я, — желчно передразнил старик, подымаясь на цыпочки. — О, Пинхос знает, что это такое... Мировая революция — это подвал, в который провалятся под вашими, хе-хе, ре-во-лю-ци-он-ны-ми руками пятьсот миллионов дураков и два с половиною героя. Мировая революция — это мировой погром под красным флагом. О, Пинхос хорошо знает — лучше бы он ничего не знал и лежал бы себе на старом еврейском кладбище...

— В вас кипит просто злоба лавочника...

— Ну, скажите уже: «мелкая буржуазия»... Что вы можете еще сказать? Я — темный нищий еврей, я всего только часовой мастер (Спиноза, положим, был тоже — хе-хе — всего лишь шлифовщик стекол), но я все ваши слова знаю заранее, как слова попугаев. Наши уши опухли от ваших слов, и глаза опухли от слез после ваших дел. Спасть от вас, забыть вас можно лишь за шахматной доской. И этого вы у меня не отымете, хотя бы вы сто раз меня обыграли. Нет, нет, — заклиная, крикнул Пинхос, ударяя сморщенным кулачком по столику, — не отымете!

В кофейне было уже пусто, а спор их только еще разгорался. Они стояли друг против друга, страстные, непримиримые, и в упор метали друг в друга свою прав-

ду. Тихий автомат беспомощно покашливал, жестикулировал, погромыхивал болтами и наконец, отчаявшись, стал запирать ставни. Старик и юноша боком, лицом друг к другу, точно связанные канатом, передвинулись к двери, стали на пороге и продолжали спорить. Они спорили на лестнице, механически переступая (все так же боком, лицом друг к другу) со ступеньки на ступеньку. Выпали вместе на пустые сугробные улицы и продолжали спорить на мертвых площадях, страстные, надмирно-исступленные, как цепкие талмудисты в пустой синагоге, как безумные шестнадцатилетние отроки, только что познавшие радость свободной мысли.

— А кто, вы думаете, избавит вас от палачей и погромов? Деревянные пешки или бомба в руках революционера? Кто спасет от надругательств, от смерти вашу жену, вашу дочь, ваших...

— Мою жену и дочь?.. Хе-хе... — затрясся от смеха старик (ему в самом деле очень смешно). — Они обойдутся уже, говорю вам, без спасителей. А меня? Меня, молодой человек, спасут, конечно же, не ваши бомбы, а деревянные пешки.

— А этих мучеников, забитых в дома-гробы?

— Никто и ничто, или самозабвение в шахматах. Книжки волнуют и лгут. Люди лгут и убивают, бомбы убивают и сменяют тиранов тиранами, комиссаров — генералами, генералов — комиссарами. Шахматы не волнуют, не лгут, не убивают, не поднимают тиранов. Они дают счастье свободы и власть — по крайней мере, над собой и над мыслями противника.

— Напротив, шахматы растрачивают впустую жажду борьбы в человеке. Они лгут, ибо мы силимся в них забыть кровавую правду жизни. Они убивают, ибо сама игра родилась из войны и монархии, из деления людей на пешек и королей — на пешек, умирающих за королей, и королей, жертвующих пешками, офицерами и конями для спасения своей шкуры. Что может быть отвратительнее этой забавы восточных бездельников, играющих в войну бескровную после кровавой?

— Вы думаете, что опровергли Пинхоса, но вы лишь его подкрепляете. Игра вечности — только она и может дать вечную отраду...

— Вечность? Послушайте, миляга, да вы же убьете со смеху всех воробьев на крышах! Хотите, я покажу вам шахматную вечность?!

— Вы, вы мне покажете?

— Да, я научу вас играть в сверхшахматы. Быть может, они — елки-палки! — дадут вам сверхнирвану?

— Вы сошли с ума, молодой человек! Законы игры неизменны. Это — законы нашей логики, это — законы философии и математики. Это — игра, которой предавались Спиноза, Наполеон и Толстой...

— Ужас как здорово вы, отче, печатаете. А вот я научу вас не вечной — совсем даже недолговечной! — игре, которую отжаривал продрогший босяк в подполье... Хотите?

— Нет, не хочу. Вы просто издеваетесь над Пинхосом.

— Ничуть, дорогой мой. Игра сложнее шахмат ровно в тысячу раз. Вот те и вечность, битте-дритте. Сверхшахматы, говорю я вам, требуют в тысячу раз более сложного расчета, чем ваши шахматы. Фигуры те же, но на доске не шестьдесят четыре, а сто двадцать восемь клеток. Каждая фигура играет усложненным, богатейшим разнообразием движений. У меня королева движется и бьет не только по прямым и диагоналям, но еще — не хотите ли? — ходом коня. Мои ладьи имеют ходы обычной королевы по прямым и по диагоналям. У меня офицеры обладают ходом обычных офицеров плюс ход коня. Кони мои движутся и бьют совсем по-новому: две клетки — по прямой, две — по диагонали. Пешки ходят по косой, бьют по прямой: старые шахматы, только шиворот-навыворот. Лишь у короля — ход старый: из уважения, знаете, к его величеству. Что, каково-с, битте-дритте? Сыграем, старина, идет?

— Вы... вы... вы — садист, молодой человек, вы глумитесь надо мной еще гаже, чем эти хулиганы и громилы.

— А, трусили? Испугались за вашу кумирню, за ваших жалких деревянных болванчиков, за их зазубренные, как таблица умножения, движения? Коль игра ваша в самом деле вечна, ей ли бояться временных изменений?

Мне все равно сегодня негде ночевать. Идем куда-нибудь и сразимся. Одну только партию, сегодня ночью, а потом амба, забудем...

Вышла из-за каменного угла рыжая луна, и еще рыжее стали дерзкие, смеющиеся глаза, и некуда Пинхосу от них скрыться. Вот: королевы, строгая, черная, с лицом Сарры, и грустно-нежная, белая, как Дорочка, — королевы сорвались со своих мест и запрыгали, завихлялись ходом коня, пешки нагло заплясали офицерами, шли косо, били прямо, а кони понеслись и вовсе невообразимо.

Он убьет, он убьет этого дьявола в студенческом пальтишке, он плюнет в рыжие циничные глаза и затопчет, затопчет их в снег, чтобы не влекли они сладострастным шахматным блюдом, чтоб не звали в безжизненный деревянный разврат на вихрящихся перевернутых квадратах... Он не отдаст вторично на позор, на смех и надругательство своих королей — белую и черную. Если бы... Если бы только остановить, заморозить все мысли, если бы вместо мыслей — мраморные статуи.

Но квадратики оборотились сумасшедшими спиралями, и куда же они, Боже мой, тянутся, и куда же они зовут? А королева — она летит, стоя на голове, летит на деревянном жеребце, и кто ее остановит?

Там можно — Пинхос уже высчитал — дать мат в пять ходов, там можно прокрутить та-ку-ю ком-би-на-ци-ю, от которой сердце истечет и лопнет. Там пешка, как балерина, там кони крылаты, там башни стреляют чемоданами, а королева пляшет, раскинув ноги, вниз головой, выворачивая бедра, как шахматный конь...

— Пойдем... — прохрипел Пинхос, рванув студенческое пальто. — Пойдем, — повторил, отвернув глаза, и засеменял вперед суетливо и хлипко, как семят желтенькие старички, подхватив на улице проститутку.

V

Он сидит неподвижно уже целый час и думает.

Думает? Разве вулканическое извержение похоже на мысли? Разве седая снежная пурга, и в висках и в сердце клокочущие кровеплады — разве это мысли?

На этот ход имеется шестнадцать ответов, и сам Морфи не скажет, какой из них наилучший. Нет, погонит кнутом свои мысли, разорвет морщинистый пергамент на старческом лбу, но найдет, но найдет неотразимый ответ!

Если бы только не тикало... Ах, вы не слышите, как пульсируют деревянные фигурки на двух соединенных досках... Сперва завелось в них эдакое мелкое, рябое тиканье, закачались часовые маятнички между деревом и свинцом, и в каждой фигурке — по часовому механизму, а в черном короле — целая шарманка, не будь он еврей! И все эти часики и маятнички торопятся и торопят куда-то — он ли, старый часовщик, он ли не знает, что все они спешат и каждую секунду наторапливают на целый час?.. У них дьявольская душа — у этих старых деревяшек со свинцовыми внутренностями. У них женская логика, у них акробатские движения и тикающее, хихикающее подрагивание во всем корпусе. У них, конечно, своя жизнь — и теперь, когда Патлатый вовлек его в бесшабашные шахматные пляски, — они мстят ему, эти вздыбленные кони, бешеные офицеры и оскорбленные королевы, мстят смертельной черной мстостью.

Эти белые офицеры, задрыгавшие жеребцами, — ведь это же просто погромная сволочь...

А как вам понравятся эти королевы с рыжими рысьими глазками, с подскоком лысогорских ведьм? И вместо людей — брюхатые танки, стреляющие вдоль и поперек.

Стоит лишь взять ему в руки одну из этих адских машин — и — тик-так — хик-хик — и, хитря и вихляясь, срываются с места, вихрятся над нишей его головой и падают вдруг совсем не туда, куда он звал их.

Они мстят, вооружились и мстят ему, горькому старику, окоченевшему в ледяных пространствах... Они тоже, и они туда же. И если бы только тикали! Но у них завелись уже сердца, сердца дрожат и колыхнутся на рыжих каких-то артериях, у коней завелись копыта, кони сейчас заржут и растопчут маленького Пинхоса — почему бы им, в самом деле, не заржать — и что, и кто остановит их топот? Быть может, у них вовсе нет сердца, и только цокот копыт заменяет им биение сердца. Пинхос взберется с ногами на стул, Пинхос спрячет голову в пальто, он сде-

лает вид, что его вовсе нет, и не бывало вовсе никакого Пинхоса. Он оставит только маленькую щель — и через пуговичную петельку пальто будет тихонько подглядывать и вычислять, вычислять и подсматривать: нужно ведь только вычислить — и королева подчинится, и Пинхос смирит деревянный этот бунт, раздавит свинцовую эту революцию...

А Патлатый разлегся себе на Пинхосовой кровати, болтает ходулями-ногами, диктует ходы и смеется.

О, этот рыжий нещадный смех, заразивший рыжую луну, и ржаньем коней и ведьмовской рожей — его королеву...

— Есть! — кричит Пинхос, королева вылетает из его рук, описывает в воздухе игривую восьмерку и падает на клетку в двенадцатом ряду.

— Старик, дело твое — труба, сдавайся, — лениво советует Патлатый, — объявляю сверхшах и сверхмат в три хода.

Хриплые простуженные часы клекочут четыре. Из маленькой мраморной ниши выскакивает кукушка и четырехкратно насмешливо кукует. За стеной чье-то сдавленное рыдание, над домом — гул канонады. Сегодня белые идут в атаку.

— Играем, — шепчет Пинхос, и деревянная оргия возобновляется. Пинхос подобрал ноги на стул, Пинхос упрятал голову в пальто, и только в пуговичной петле дрожит, и бьется, и тикает трепетный огненный зрачок. Кони уже заржали. Кони мчатся, мчатся — так он и знал — нет у них сердца, — только цокот копыт вместо топота сердца, — мчатся во весь опор под гик и хлест Патлатого, а его, Пинхосова, королева пронзительно-тихо молится:

— М-мо-о-о... Мо-о-о...

И падает под рыжим патлатым молохом.

— Старик, уже светает, мне нужно уходить. Старик, уберем вторую доску и сыграем в последний раз по-старому. Пускай фигуры вернутся к обычным ходам, хорошо, Пинхос? — Глаза юноши вдруг наполняются влагой, в них боль и жалость.

— Х-ха, вы научили их ржать и тикать, они уже застучали, а вы хотите сбежать? Ни с места! Пинхос вас не

отпустит. О, вы ответите эреб Пинхосу! Думаете, он не вычислит? Думаете, не сокрушит этот гамбит дьявола? К чертовой матери старую игру, я у вас выиграю и в этой новой, — о, я изучил до прыщика гамбит рыжего дьявола! Вы только скажите мне, кто это стучит, и почему моя королева плачет, и почему пешки тикают и сами скачут, и почему башни стреляют в меня, и кони ржут и топают?... О, вы мне на все и за все ответите!

— Старик, когда гремит революция, тогда и шахматы стреляют. Я шучу, конечно, милый Пинхос...

— Делайте ход, говорю вам, или я задушу вас! Делайте ход!

Пинхос топчет ногами по стулу, Пинхос стучит кулаками по столу, а юноша, странно улыбаясь, предлагает:

— Хотите, ведь можно сыграть еще и иначе? Хотите: белого короля назовем генералом, черного комиссаром, пешки — белогвардейцами и красноармейцами. Черные фигуры идут только вперед, белые — только назад, ладьи бьют через три клетки по диагонали, а кони...

— В-вон, — заревел старик, срываясь со стула, — в-вон, рыжий глаз, у-ду-ш-ш-шу-у-у!

Пусто. Никого.

Пинхос лежит на кровати и рыдает в голос, как старая мать, потерявшая единственного сына. Пинхос умоляет кого-то пощадить, не лететь в вакханальную ночь сквозь пульсирующий тикающий воздух, — пусть дадут ему еще час, только час, он все вычислит, он найдет последнюю гармонию и радость, — пускай не плачет только королева, не плачет и не пляшет, голая, мертвая, вниз головой на сумасшедшем коне.

— Королева моя, — молится Пинхос, расставив в воздухе благословляющие ладони, — никогда, поверь, он больше не изменит, никогда не уйдет на шабаш шахматных ведьм, проклянет, забудет деревянный блуд на соединенных досках, — пусть только не стучат, не стучат!

Пинхос надевает талес, крадется на цыпочках, в одних чулках к застывшим фигуркам, берет на руки белую и черную королеву и, запрятав голову в талес, ложится в постель. Он укрывает фигурки теплой ризой, пахнувшей старым молитвенником и лимоном, он приникает губами к белой и черной королевам, он шепчет нежно и отчаянно:

— Простите меня, королевы мои. Ну, что вам стоит взять с собою вашу черную старую пешку?

Пинхос встает на кровать, он держит в каждой руке по королеве и поет торжественно, гортанно погребальные еврейские молитвы:

— Исгадал войскадаш шмей рабо, — поет Пинхос и слышит, как у деревянных королев пульсирует настоящее живое человеческое сердце.

VI

Вот уже неделя, как Пинхоса нет в «Лондонской кофейне». Печальный автомат в ермолке тревожно шепчет черному египетскому профилю:

— Его убили... Нашего старика убили...

И, как заведенный, долго, монотонно качает головой.

Не запереть ли ему кофейню? Ведь он открывает ее только по приказу господ офицеров. До барышей ли ему в смертельные эти дни? Не бежать ли на чердак вместе с дочерью и скарбом, чтоб присоединить свой тихий голос к вопящим, обезумевшим домам?

А Пинхос лежит в своей мастерской, накрывшись с головой одеялом, боится открыть глаза, боится высунуть голову (он знает — нечто заржет и растопчет маленькую сморщенную голову), боится выйти на улицу (улиц нет, улицы взвились спиралями, а как ходить по спиралям?), боится протянуть из-под одеяла руку, чтоб достать с полки кусок каменного хлеба (в том хлебе нечто пульсирует, нечто тикает).

Он знает: лежать под одеялом тоже нехорошо. От лежания заводятся под одеялом черные шерстяные какие-то удавы с головою шахматного коня (кони, оказывается, просто удавы). Удавы обвились вокруг его головы, удавы скрючили в клубочек пустое его тело, — и Пинхос все уменьшается, и со вчерашнего дня он уже не больше кролика...

Нужно бежать от удавов — куда? В кофейню? Но на улицах разыгрывают гамбит дьявола, в переулочках бродит Патлатый, Патлатый подпрыгивает ходом коня, Патлатый завидит Пинхоса на перекрестке — и тогда...

Интересно, как ходят пешки: ходят косо и бьют прямо? Или ходят прямо, бьют косо? Все это надо бы вы-

числить... Вот сейчас он встанет, через щелочку клопиком вползет в кофейню и спросит. Там сидит пан Пигуцкий, стучит деревянной ногой и вычисляет.

Скрюченный, качающийся старичок величиной с кролика привел в движение руки и ноги, долго одевал чужое, дряблое тело и вдруг обнаружил, что некий субъект натягивает ему на ноги перчатки Дорочки.

В сумерки пьяный старичок (безусловно, пьяный, качается, как маятник... и где сумел он в эти дни так напиться?) прилепился к заборам, пополз по переулочкам.

В подворотне семиэтажного дома торчит мальчик-газетчик с острыми глазами-гвоздиками, весело машет газетными листами, лихо наяривает:

— У Деникина ка-з-нашки
Вышли новые бумажки:
О-очень важ-на-я монета —
Годна для кло... довой...

И заливается задорным жгучим смехом.

Старичок ободряется, машет мальчишке пальчиком, храбро выбегает на главную улицу, и тут — разом — прибило старика к стене человеческое месиво, раздрались тысячи орущих рож, пронеслись с шашками наголо вооруженные всадники, месиво расступилось, между крупами юнкерских коней проволочили окровавленного измочаленного человека.

— Убил! Он убил! Дайте нам его, дайте! — орали оскалы разорванных ртов. — Р-р-раскр-р-рош-шить... Раскаррандашить!

Человека били в лицо прикладами, человека подгоняли кулаками, щипками, свинцовыми плетками. Человек упал между лошадиных крупов, кругом него расползлся багровый (от навоза? от крови?) снег, человек лежал неподвижно, покорно. Человек умер.

Нет, человек поднялся, у человека рыжие солнечные зайчики в глазах, человек кричит таким лебединым воплем...

— Я, я убил барона Палена! Смерть палачу! Именем революции!

Он! Он улыбается. *Он* смеется. *Он* еще может смеяться?

О, он безусловно смеется. Его рыжие, его раздавленные глаза залиты играющим смехом.

Он выиграл. Сверхшах и сверхмат в один ход!

Его рвут, бросают на воздух, и вновь на штыки, на зубы, на кулаки, на шашки принимают полумертвое тело, его пытается тысячерожая расфуфыренная улица, а глаза, золотые мальчишьи глаза смеются.

Смеется потешная дамская кофта (сегодня он вновь в дамской кофте), и разъятые, разрезанные губы исторгаются в надмирной победной улыбке.

...В кофейню вбежал оглашенно хохочущий старик.

— Именем революции! — крикнул старик насупленным, зарытым в доски кротам. — Именем революции, да здравствует гамбит дьявола! За доски, за пешки! Идите косо, бейте прямо! Разве вы не слышите: все сорвалось, все летит. Именем революции, снимайте белых королей. Это не король, говорят вам, это барон фон Пален! Он убит. Мы вместе убили: я и Патлатый. Удава нет. Именем революции, шах и мат!

Старику лили на голову холодный чай и кофе, бледные обомлевшие люди, заикаясь, о чем-то расспрашивали, но старик упал на колени, старик ползал у них в ногах, умоляя:

— О, спрячьте, о, скройте нас, меня и Патлатого. Сегодня оторвут ему голову, и моим королевам отрезали головы, и старому Пинхосу кто-то откусил на улице мудрую его голову... Я умоляю вас — разве вы не видите? — маэстро упал на колени, маэстро «Лондонской кофейни»... Спрячьте его голову, именем революции...

Пинхос поднялся, Пинхос пел и молился.

— Исгадал воискадаш шмей рабо... — торжественно пел старик, раскачивая голову вверх и вниз.

Смеялась и прыгала в лицо дамская кофта, и кофейня в черных пальто и сюртуках подняла Пинхоса, спрятала, усмехаясь, — старую голову в черную-черную карету и куда-то катила, катила, катила в грохочущую пустоту.

Харьков, октябрь 1921 г. —

Усть-Сысольск, январь 1928 г.



**Тот
Ванинский
порт**

ЮРИЙ ФИДЕЛЬГОЛЬЦ

Родился я в 1927 году в семье врача. Детство памятно по московскому двору и коммуналке. Окончив десятилетку, решил учиться на актера.

Был арестован в 1948 году на первом курсе театрального училища. Приговор мне и моим однодельцам — по десять лет лагерей каждому. Срок отбывал в Озерлаге и на Колыме.

Два года — с 1954-го по 1956-й — находился в ссылке в Караганде. Обострение болезни (туберкулез) оттянуло учебу, но все же я получил образование, хотя совсем по другой специальности.

После реабилитации в 1962 году работал вначале техником-строителем, потом инженером-конструктором. С 1989 года — пенсионер, активно участвую в общественной жизни, пишу о пережитом. Публиковался в журналах и сборниках. В последние годы вышли две моих книги: сборник стихов «Много воды утекло с тех пор» и книга прозы «Колыма».

ТОТ ВАНИНСКИЙ ПОРТ

Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт,
В холодные, мрачные трюмы.

Из песни «Ванинский порт»

Ядреным августовским утром на железнодорожных путях порта Ванино остановился состав. С вагонных площадок соскочили солдаты, построились цепочкой, выставив автоматы и карабины. Загрохотали засовы, и из теплушек вместе с паром рванулись наружу густо-мутные живые потоки. Люди жадно вдыхали прохладу утра, шурились на небо. В синем лесистом западе утопали далекие рельсы со шпалами и обрывались у стоящей неподалеку шербатой водонапорной башни.

Построили в колонну. Окружив конвоем, повели к порту, который расстелился на прибрежных холмах шатрами вышек и бесконечными дощатыми стенами, как золотоордынское становище. Запылили узкими улочками среди тех стен. С вышек холодно смотрели дула пулеметов и багровые лица в солдатских ушанках. На коньках длинных крыш, чуть видных из частокола, сидели балаганными петрушками незнакомые зрители, кидали вверх шапки и горланили что было мочи: «Эй, кто в этапе? Суки али честнота? Что молчите, мать вашу... Сунься к нам — поставим на хор!.. Мужики! Вас еще не курочили?..»

Проходя одну улицу, сворачивали на такую же, растягивались на третьей, и наконец — гладкий плац, огороженный густой сетью колючей проволоки. Внизу — штрихи забора. С невидимым началом раздвигается на полнеба густая голубизна океана. В ней — детской игрушкой — пароход.

Здравствуй, знаменитая пересылка Ванино!

Здравствуй, океан-море! Принимай гостей!

ПЕМПИК

Миша и Иосиф Аркадьевич Мальский пришли в «беспредельшину» из соседней зоны. Зона состояла из сплошь занумерованной пятьдесят восьмой статьи. Оттуда переправила их молодая начальница санитарного управления порта Ванино, смугленькая остроглазая Рабинович. Вечером, перед уходом, она небрежно спросила Мишу, может ли он обращаться со шприцем, и предупредила Иосифа Аркадьевича, что работать ему придется с отборными «сливками» уголовщины. Содрав тряпицы с номерами, приятели перебазировались к бытовикам.

Санчасть другой зоны находилась во втором от вахты бараке. Это расстояние медики прошли, съедаемые глазами ярко разодетых бородачей, стоящих у первого барака.

В стационаре, который хотел осмотреть Иосиф Аркадьевич, по мокрому полу чавкали вперед-назад сапоги и ботинки. С вагонок утрюмо свешивались одеяла с полотенцами. На медиков никто не обращал внимания. Они совсем было растерялись, как внезапно появился коренастый парнишка в сталинской фуражке защитного цвета, очень похожий на молодого Есенина, и отрекомендовался:

— Петр Салазкин, старший санитар!

Петр провел новичков в пустую амбулаторию, маленькую комнатку с опустошенным до последней стекляшки шкафом, с сиротливо стоящим табуретом, и позаботился:

— Чего делать-то будем, ничего нет?!

— Дела на завтра, — ответил Иосиф Аркадьевич, — а сегодня покушать бы да отдохнуть.

Петр смущенно почесал затылок и поспешно куда-то ретировался. Не прошло и минуты, как в кабинет вполз маленький тщедушный юноша с огромным кривым носом. Вытянутая головка выстрижена «под нуль». На теле — нижняя рубаша цвета смешанной акварели и такой же цены рваные кальсоны.

Один из доходяг, решили медики.

Но пришедший вскарабкался на табурет, сложил ноги по-турецки и, подняв желтое изможденное лицо, нагло уставился черными глазками на Иосифа Аркадьевича.

— Доктор, прошу дать совет, как мне лечиться от очагового туберкулеза.

— Сегодня нет приема, молодой человек. Мы только-только объявились здесь.

— Понятно, надо освоиться, кстати и пожрать. Вам Петька еще ничего не принес? Козырь! — пропищал он в сторону двери.

Показалась сталинская фуражка защитного цвета.

— Козырь, беги к Ивану Дубу. Пусть он выделит лепилам чего-нибудь из воровского котла.

— Конечно, здесь не сладко, — продолжал носатик, — но «се ля ви». Кое-что мы, безусловно, исправим. Например, меню для больных.

— Хотелось бы знать вашу фамилию, — буркнул Иосиф Аркадьевич, — для знакомства.

— У меня три фамилии, доктор. Маргулис — первая, Левин — вторая, Коган — третья. Думаю, запишут и четвертую. Однако мне пора. Доброй ночи, — кивнул он, слезая с табурета.

Вскоре пришел Петр с двумя горячими мисками пшенной каши, с чайником теплого кипятка и горстью сахара на пайке хлеба. Голодный доктор со своим помощником жадно, одним махом проглотили принесенную еду, и их сразу потянуло в сон.

На следующий день закипела работа. Отдохнувшие Иосиф Аркадьевич с Мишей сбегали утром на вахту, получили медикаменты, чистые халаты. В стационаре мобилизовали для уборки нескольких больных. Зашваркали швабры, заплескалась вода, забегали, завернувшись в дырявые одеяла, «доходяги» — дистрофики.

— Здравствуйте, — пропищал неожиданно тоненький голосок.

Медики обернулись. Перед ними галантно размахивал в поклоне шляпой вчерашний носатик. От прежнего вида не осталось и следа: новый синий костюм, белоснежная сорочка, на которой переливался яркий галстук, начищенные штилеты на ногах. Огромная шуба с искристым меховым воротником, небрежно накинутая на тщедушные плечи, дополняла наряд франта. Словно угадывая мысли рассматривавших его, он согласно закивал носом.

— Понимаю вас. Думаете, что это за вор? Да такого соплей перешибешь! А вот четыре года назад в Киеве мы заскочили на гоп-стоп к двум старушкам. Навели на них пушки, поставили рьлом к стенке. Подняли лапки, трясутся... Когда мусорá нас сцапали, их вызвали в суд. Спрашивают, показывая на меня: «Этого узнаете?» — «Нет, — отвечают, — то другой. Кто нас грабил, был вот так — и шире, и выше!» Но это все треп. А если вам что нужно будет, свистните Петьку. Мол, сбегай за Пемпиком. Пемпик — это я.

Иосиф Аркадьевич любезно поблагодарил Пемпика и побежал осматривать бараки...

Через несколько дней наладилась работа, жизнь потекла по проторенному руслу. Пемпик стал частым гостем в санчасти. Ходил сюда, как сам сказал, просто из-за тяги к святым местам. О своем туберкулезе не проронил ни слова. Как меценат он любил «интеллигентно» побалагурить с больными. Как-то устроил посреди стационара ринг, вооружился конфискованными у кого-то боксерскими перчатками. И вот в одних трусах, втягивая живот до позвоночника, полез на добродушного огромного детину, похожего на запорожца. Тот подождал, когда Пемпик сделает несколько выпадов, потом сграбастал его и, качая, как грудного младенца, запел тугим басом: «Ой, не ходи, Грицю, тай на вечерницю!..»

Скоро Пемпик совсем переселился в санчасть. Это случилось тогда, когда на ванинскую пересылку привезли знаменитого Левку Буша. Все порядочно охмелели при встрече, в стационаре охали-стонали гитары, а Пем-

пик, с мокротным блеском в зрачках, стоял спиной к доктору, вроде не замечая его, и доказывал больным:

— Вы, парчаки! Вы знаете, что вам скажет Яшка Бриллиантовые пальцы — так меня звали в Одессе? Он вам скажет за вашего доктора: это же золотой лепила! Это — че-ло-век!

А человек стоял сзади и в оконном стекле впереди Пемпика видел свое искаженное отражение. «Что-то у меня с ним есть общее, — беспокойно думал доктор. — Может, попросить его, пусть навсегда кантуется в санчасти, до последнего этапа?»

ПРИЕМ

И пришла к Айболиту лиса:

«Ой, меня укусила оса!»

И пришел к Айболиту барбос:

«Меня курица клюнула в нос!»

К. Чуковский. «Айболит»

— Куда прете, скоты! — командовал за амбулаторной дверью Петр. — В очередь вста-вай!

Иосиф Аркадьевич хитровато прищурил глаза, кинув взгляд на вошедшего Чалдона.

— Тебе что, Витя?

— Подглотнуться, доктор! Кинь на жало вон из той синенькой бутылочки, я в долгу не останусь!

Доктор придирчиво осмотрел пациента: рубаха в яркую клетку, но у локтя порвана, кепочка — на кой она, а вот... Под широченным клешем заманчиво зеркалили носки желтых туфель.

— Ну-ка, Витя, скинь одну для примерки!

— Сколько дашь за них, доктор?

— Десять таблеток люминала и еще кое-что, — заговорщически подмигнул доктор.

Пока Иосиф Аркадьевич примерял, пока любовался покупкой, Чалдон прошел в кабину санобслужки, лег там на пол и, закрыв скуластое лицо кепкой, в которой лежала смоченная эфиром вата, засопел, застонал, ерзая босыми ногами:

— Плыву, плыву!..

Иосиф Аркадьевич спрятал туфли в шкаф. Пять новых добротных рубашек, три пары туфель да два костюма плюс часы. «Надо бы вытянуть у Буша кожаную куртку — какой у нее шикарный мех изнутри», — подумал он. А теперь пора за дело...

— Следующий! — вскинул доктор лохматые брови.

Под руки ввели высокого смуглого парня. Над грязными кальсонами то выпирал полушарием, то ямой втягивался волосатый живот; по лобастой голове ползли вши.

— На что жалуетесь? — заерзал Иосиф Аркадьевич.

Больной выкатил слепые белки из треугольных глазных впадин, мелко задрожал щекой и опустился на пол. По помещению пронесся кисло-сладкий запах человеческих испражнений.

— Наложил в штаны! — возмутился Иосиф Аркадьевич и обернулся к сопровождающим. — Что стоите, как тумбы? Подсадите его на табурет! Вот так. Теперь займемся глазками. На свет, на свет смотри, теперь на мой палец.

Нистагм не проявлялся. Коленка на постукивание молоточком реагировала нормально.

— Ну-с, выведите его быстренько, — вскипел Иосиф Аркадьевич, подталкивая симулянта к выходу.

Прятели психа бодро подхватили его под руки, гурьбой выкатились из кабинета.

— Восьмерка проклятая, черт рогатый, — бормотал доктор. — И без такого артиста мастырщиков хватает. Добрую половину стационара заняли.

Иосиф Аркадьевич вспомнил, сколько хлопот доставляли ему эти мастырщики, уклоняющиеся от этапа на Колыму. Выделялся заметный лысый дед с вздутыми гнойными глазами. Закапал в них, изверг, чернила! Другой зашприцевал в суставы рыбий жир, изображая острый суставный ревматизм. Третьего, сине-зеленого мальчишку, отправили умирать в сангородок: систематически глотал мыло.

— Весело было нам, — ехидничал сам с собой доктор, медленно остывая от гнева.

— Что с вами, на что жалуетесь? — задал он стереотипный вопрос появившемуся маленькому человечку в засаленной широкой панаме. Человечек улыбнулся, рас-

тянув огромный рот до ушей, облизнул лиловым языком верхнюю губу:

— У меня, видите ли, доктор, вопрос весьма щекотливого свойства. «Нужда была моим вечным спутником», — сказал как-то Мигель Сервантес де Сааведра. Я голодаю.

— Не вы один. Зачем отрываете меня от дела? Вы видели, сколько больных в коридоре и на крыльце?

— Понятно, но я могу вам предложить нечто неожиданное и приятное. Красиво исполненный минет и всего-то за две горькие пайки хлеба, — деликатно улыбнулась опять панاما.

Иосиф Аркадьевич, побагровев, молча указал на выход.

Едва он вытер вспотевший лоб, как на прием прошло сразу трое.

— Лепила! — рявкнул гориллообразный детина, задрав рубаху, и ткнул пальцами в пупок. — Лепила! У меня здесь колет, а меня на работу, в рабочую зону!

Из-под пояса у детины торчала рукоятка финки. Да и те два блатаря кисло зыркали на человека в белом халате.

— Освобождение дам, говори фамилию, — одеревенело произнес доктор и, когда за тройкой осторожно закрылась дверь, вяло позвал:

— Следующий...

ТРЕМИЛОВКА¹ ПО-МИРНОМУ

Этап загнали в зону вечером. Перед этим каждую шеренгу по пять человек обыскивали пять надзирателей. На пыльную землю вываливали все, что было аккуратно выглажено и сложено в мешках и чемоданах. Барахло поспешно засовывалось охапками туда же, и — бегом в ворота зоны! Здесь ждала другая команда: коренастый Юрченко в синей рубахе навывпуск, с латунным крестом на жилистой шее. Под рубахой — два тесака. Алешка Лапоть, тонкий и изящный, как танцор, и Виктор Чалдон, сибирский скуластый парень с распущенным треухом на лбу. Остальные законники толпились у крыльца барака, ближайшего к воротам, высматривали этапников побога-

¹ Тремиловка (уг. жарг.) — выяснение отношений между уголовниками.

че и своих людей. «Садись!» — орал Лапоть каждой вбегающей пятерке; Юрченко профессионально укладывал кулаком зевак; Чалдон, размахивая мохнатыми ушами треуха, вальсировал меж сидящих, нагибался, выискивая подозрительных.

Когда за последней пятеркой загрохотали ворота и началась сортировка, а потом развод по баракам («своих» этапников — в воровской барак, «мужиков» — кого куда), из последней пятерки выпорхнули двое и побежали к вахте. Они встали у самого порога распахнутой двери, тесно прижавшись друг к другу. Это были худенькие подростки с лисьими бледными личиками. Первым опомнился Чалдон, пронзительно свистнул в три пальца. С крыльца посыпались горохом к вахте, но с ближайшей вышки застрекотал пулемет. Беспредел отступил, образовав пустую площадку перед вахтенной дверью.

В свете наставленных прожекторов глаза стоящих зажглись волчьим блеском. Юрченко выступил вперед. Латунный крест мигал серебром на темной шее.

— Ну, что вы посадили, — крался он. — «Честнота» вас уже не пустит до себе, любой гад заложит, что вы были у нас, «беспредельников». В сучьей зоне кинут на нож. Тикайте до нас, хлопцы, — ласково манил он дико озирвавшихся «хлопцев». — Не трухайте, пойдем в законный барак, почириим, и брага е, — посулил он.

Масса зашевелилась голосами:

— Идите, воры! Нечего сидеть! Пальцем не тронем! В рот вас навыворот!

В толпу вошли Левка Буш, Цыган, Колька Бардак и другие центровые. Один за другим они выступили перед стоящими у вахты. Солидно, словно партиец партийца, убеждали переменить веру. Честняги должны были стать ссученными «беспредельщиками», или, как их называли, «махновцами» (бей слева «суку», справа — «честноту»¹).

¹ В лагерях бытовиков масть «честных» считалась самых благородных кровей. Это были люди, соблюдающие во всем азы воровских законов. «Суки» и «беспредельщина» однажды нарушили эти законы. Отсюда и произошел раскол внутри воровского мира. С тех пор возникли лагерные масти, со стычками и непримиримой враждой меж собою.

Двое у вахты беспокойно переминались, а количество упрашивающих росло. Вдруг «честняги» закрыли физиономии руками и театрально забились в рыданиях. Тотчас из толпы в унисон зарыдали несколько человек.

— Не могу! — взвыл, рванув ворот рубахи, Цыган. — Не могу видеть такого! Меня же на Печоре цветным¹ знали. И вот стал дешевкой! — Крупные слезы поползли по исколотым буграстым щекам.

Многие вздохнули, как девушки, утратившие невинность. Никогда уж им не стоять в высшей категории, не красоваться своей неподкупностью. «Махновский» нож поцелован, и путь в другую воровскую зону закрыт навсегда.

Через два часа «честняги» вошли в воровской барак на сходку. Там их ждал обряд посвящения в беспредел.

ТРЕМИЛОВКА

Ночью Мишу разбудил стук в окно.

— Лепилы, кончай кемарить, человек в седьмом бараке дуба дает, — зазвенел голос.

— Аркадьевич, — затормошил Миша врача, — вставай, опять зовут.

Иосиф Аркадьевич приоткрыл воспаленные глаза. С болью проглатывая слова, прошептал:

— Иди сам, с такой ангиной не хрена лезть.

Он накрыл голову одеялом и отвернулся к стене. Миша быстренько оделся, схватил санитарную сумку со шприцами и выбежал из санчасти. За темными заборами дышало море. Глубокое прозрачное небо искрилось, подмигивало звездами. Стрекотали сверчки.

Миша подбежал к нужному барaku. У входа его остановили, приставили к боку нож, но, узнав, пропустили внутрь. На сплошных нарах в два этажа — тесные ряды спящих. Никто не шевельнулся при появлении фельдшера, лишь в дальнем углу кто-то храпанул и зачмокал губами.

¹ Цветной (уг. жарг.) принадлежащий к высшим слоям уголовного мира; вор в законе.

Посреди барака, в свету, за длинным обструганным столом сидели четверо, перекидываясь потрепанными картами, запивая «буру» сладкой брагой.

— А, лепила прикандёхал, — приветствовали они Мишу. — Садись, выпей за упокой сучьих душ.

— А где же больной? — недоумевал Миша, поглядывая на безмолвные нары.

— Больного нет, — спокойно разъяснили ему. — Одни жмурики. Не там, а тут — под нарами. Ванька! Пособи фершелу.

Ванька с Мишей вытащили один за другим семь трупов. Это были рослые парни, одетые по-воровскому в клетчатые рубахи, обутые в сапоги. У некоторых, когда их вытаскивали из-под нар, головы хлюпали, как откупоренные бутылки. Изо ртов, размазываясь по полу, текла густая, еще теплая кровь. При осмотре Миша обнаружил у каждого множество ножевых ран. Только седьмой труп, весь изукрашенный наколками, был без единой царапины. Смотрел полуудивленно, полунасмешливо открытыми пустыми глазами. Барак опять молчал.

— Это Петька Крючок, — процедил вдруг один из сидящих за столом с физиономией, похожей на выдвинутый острием утюг. — Мы яво высоко подняли и низко-низко опустили вот сюдашеньки, — указал он на бетонный пол.

— Коновалов не треба, работа чистая, — ухмыльнулся другой.

— Ну, что стоишь, сынок? Тикай на вахту, доложь начальнику. А нам спешить некуда, мы тут обождем. Ванька, проводи лепилу!

Дневальный затолкал трупы под нары, подошел к оцепеневшему Мише и вывел его на двор.

— Наших подрезали в сучьей зоне... Теперича — квити, — пояснил он и скрылся в барачном тамбуре.

Голова у Миши кружилась. Слегка подташнивало.

«Триста здоровых мужчин притворились спящими, триста человек не смогли остановить резню. За что? Зачем это?» — бессмысленно повторял он себе одни и те же вопросы.

Небо по-прежнему искрилось бесчисленными звездами. Совсем близко стрекотали сверчки.

ЛЕВКА БУШ

Шестерки никак не могли разуть хмельного Левку Буша. Левка сопел, распластавшись на белоснежном пододеяльнике. Из-под него давно вытащили кожаное пальто, а грязные сапоги будто слились с ногами. В зеркале, повешенном у изголовья, отражалось откиннутое тонкое лицо Левки, украшенное коротко остриженной черной бородкой. Больные испуганно шептались и внимательно глядели с верхних нар вниз — на дымящиеся широкие спины копошащихся людей.

Левка Буш появился в зоне недавно. Встретили его, как центрowego¹, с почетом, однако, предусматривая неприятности, семь чемоданов с награбленным барахлом внесли в санчасть его личные телохранители. Вскоре он проиграл в карты добрую половину своих тряпок, а теперь проживал оставшееся.

На воле Левка «работал» под инкассатора, очищая кассы столичных магазинов. В нижнетагильских лагерях был бугром. Очаровал жену начальника строительного участка. Когда она надоела, пропустил ее через всю свою бригаду, за что прибавили ему еще статью и отправили в дальнюю дорогу.

Буш жмурил во сне глаза, тонко улыбался краешком рта и играл кадыком. Шестерки приглушенно крыли матом узкие сапоги. «Центровому вору служить хуже, чем генералу», — гласит лагерная поговорка. Но кому охота валяться с грязными мужиками под нарами, работать на морозе с утра до поздноты да притом хлебать пустую баланду?

Наконец проклятые сапоги поддались, их тут же вычистили до зеркального блеска. Испачканный пододеяльник сменили новым, поставили на тумбочку миску с лагерной халвой, кружку чифира на опохмелье. Но ночь не хотела спать.

Двери санчасти захлопали. К спящим ворвалось человек двадцать. Левка оскалился, мигом вылез из-под

¹ Центровой (уг. жарг.) — уголовный авторитет, главный вор, вожак.

одеяла. Рука, украшенная сверкающими кольцами, нырнула под подушку.

Толпа расступилась.

— Лева, решай! — кричали из ватаги, выпихивая на середину барака белобрысого парня, аккуратно одетого в новый бушлат лагерного образца.

— Лева, говори, что с ним делать?

— Он мужика раздел, под цветного работает!

— Подкинуть¹ гада, — подсказывали из толпы. — Поставить на хор!² Повесить! Зарезать!

— Стой, воры! — выпрямился Буш. — Кто он?

— Балакает, что вор.

— Какой он вор! Пидор неклеваный!

— Тише, тише, — пьяно прохрипел Левка. — Сначала спросим самого.

— А ну, мужик, подходи. Без мандража раскрой хляву, отвечай — чернота³ ты или вор?

— Я — законный, — неуверенно проговорил белобрысый.

— Лады, — зевнул Левка. — А ну, снимай шкары и нагибайся низко, посмотри, где у тебя закон!

— Так и есть: пидор! — ахнула толпа, когда парня схватили и оголили ему зад.

— Мужик! — обратился Левка к трясущемуся самозванцу. — Не скули. Ты с кого содрал новый бушлат? Со своего же брата-мужика, змей! Хочешь примазаться к нам, к ворам! Задумал счастливую жизнь в лагере, паскуда! А для вора здесь постоянная прописка и дом родной. И кто такое вор? Это презренная тварь. Люди ненавидят нас, люди бьют и душат любого рыночного щипача-мальчишку, а ты, куркуль, хочешь быть вором и ищешь легкость? Иди и верни все, что брал...

Левка хотел сказать еще что-то, но парня схватили за шиворот и выбросили за дверь.

Урки постепенно расходились, шаря по больничным нарам («Слухай, мужик, подвинься! Дай пощупать сидор!»). Буш задумчиво вычмокивал чифир.

¹ Подкинуть (уг. жарг.) — вид расправы уголовников, когда провинившегося берут за руки и за ноги, раскачивают и с силой ударяют об пол, отбивая внутренние органы.

² Поставить на хор (уг. жарг.) — подвергнуть групповому изнасилованию.

³ Чернота (уг. жарг.) — здесь: лгуны, мошенники.

В темном углу зажуужал санитар, «тиская роман» оставшимся блатным: «По Темзе, недалеко от Парижа, промчалась черная машина с потушенными фарами. Из нее выскочил черный человек в цилиндре. В руке он вертел тросточку. Это был знаменитый граф де Люксембург. Он зашел в шикарный ресторан, заказал себе пять котлет, котелок каши и три батона по рубль сорок. Когда он схрюпал эту закуску и выпил еще две бутылки “Зверобоя”, глаза его сделались как свежеччищенные полтинники...»

Левка поманил шестерку, тот услужливо подsunул ему сапоги и накинул пальто.

На крыльце уже ждал Иван Дуб, массивный, мрачный телохранитель.

Левка косо взглянул на Ивана и молча рванулся к соседнему бараку. За ним тенью двинулся Дуб.

КСИВА

*Старшему оперу
сучьего лагпункта №10 порта Ванино
старшему лейтенанту Кулебякину
от заключенного гражданина Захаркина
из того же лагпункта.*

Кажу документально, гражданин начальник, и молю о Вашей помощи в етой сырой ксиве. В воровском законе я — пять лет, и Вы меня знаете за дерзость и дела. Но я советский человек, а не какой-то фашист, которых у нас в лагерях полно, так что сказано: наше дело правое и победит. Но пишу Вам, гражданин начальник, очень важное. Не подводите меня под монастырь, это грозит моей жизни. Вот мой кирюха и Ваш нужный человек Васек Карзубый уже зарезан ворами и закопан под дождевой бочкой у кухни. Я не хочу так. Поэтому — секретная тайна о мне, даже от самых гадов-надзирателей. Сегодня они у воров берут прохоришки и барахло, что в «углах» у мужиков подказачено с этапа. А завтра они понесут в зону спирт — вот Вам дружба наперекосяк! Осведомляю Вас по совести и на крепких фактах. Скоро поспеет в зоне великий хипеж¹ с тремиловкой. Не считайте тогда

¹ Хипеж (уг. жарг.) — шумиха, беспорядки.

повешенных полотенцами-удавками и расписанных воровским пером!¹ Бараки встанут дыбом! А готовит эту шкоду Иван Дуб со своими быкобойцами. Свой струмент они затырили перед забором у вахты. Ваши шестерки его вынут когда надо. Еще вяжется к ним Федька Грозный с чечней. Сам гулял вчера по зоне бухариком, на шнифты² ему попался доходной малолетка. Залез фитиль в капустную бочку, искал жратву, а ноги свесил наружу. Федька саданул его дрыном по горбу, переломил насквозь. Потом аж ржал диким голосом до слез. Ну, не посмешище!

И еще. Лепила, кто брешет работягам свои фашистские романы о всяких там Тухачевских, накатал что-то своей жидовке, запрятал в конверт. С другим фраером хочет ударить в бега. Сегодня он, подлюка лошкоймойная, не дал мне каликов-моргаликов. Я без уколов, как говорено, не жилец. И еще... у меня — сифилиз. Вот мужики, черти темные, не хотят ишачить, шипят, что у них мол отбирают кровную пайку. Разрешите, уважаемый гражданин опер, товарищ Кулебякин, создать в них трудовую дисциплину. Давно лапы чешутся садануть кого-либо так, чтоб мозги врассыпную. Прошу еще за мои старания оставить при мне мою жену — мальчонка Зинку (это я его так ласково кличу). Фамилия его — Евстратов. Без него я похудею и потускнею. В остальном я предан Вам, гражданин начальник, всеми печенками и докладать буду без промаха. На том остаюсь авторитетной сукой.

Захаркин (Колька Бардак)

КОЗЕЛ

Сумерки сели синими задами на солнечные стружки и россыпь опилок. В рабочей зоне лесопилки замолкли пилы, перестали стучать топоры.

Цыган получил от вольнонаемных барыг махорку, поллитровку спирта да шестьдесят рублей наличными деньгами. «Дешево шпидагузы отделались», — думал он про себя, пряча в глубокие карманы телогрейки бутылку

¹ Расписанные воровским пером (уг. жарг.) — пораненные ножом.

² Шнифты (уг. жарг.) — глаза.

и новенькие пачки табака. Осторожно выглянул из-за штабеля дров. Со всех сторон к вахте стекались уставшие работяги. Туда же поспешил и Цыган. Около бетономешалки его остановило сборище гомонящих людей.

— А ну, чавелы, расступись! — бодро гаркнул старый законник и щукой вплыл в середину. Под бетономешалкой, испуганно мотая длинной шеей с обрывком грязной пеньки, шарахался от шершавых ладоней работяг белый худой козел. Его желтые с ягодными прожилками глаза вопросительно уставились на приближающегося Цыгана.

Цыган ловко схватил козла за выставленные навстречу рога, повалил на бок, пощупал горячий, тяжело дышащий живот.

У вахты предупредительно зажглись лампы прожекторов.

— Вот бы ентова козлика к нам, на нары, — мечтательно протянул голос из задних рядов. Цыган обернулся, играя желваками, обнажил кривые крупные зубы.

— Правильно, мужик, твоя задница шире!..

Через полчаса, когда, соперничая с электрическими огнями, по небу покотился призрачный блин луны, дорога заколыхалась шеренгами заключенных. Луна отскакивала от зубцов нагроможденных заборов, пересекала шатры вышек, тес их крыш напоминал крокодилову кожу. Свет графически четко отделял видимое от невидимого...

Колонна заключенных волокла козла, подняв его передние ноги. Он был запакован в драный бушлат и в совсем не годные «шкары». С нахлобученной на морду шапкой-ушанкой — точь-в-точь рогатый чертенок. Козел неловко переставлял задние ноги, часто спотыкался, разевал безуспешно пасть, пытаясь освободиться от глубоко засунутого кляпа. Обессиленный, вис на руках людей, но шедший сзади Цыган мигом приводил животное в чувство, вывертывая цепкими пальцами кургузый хвост.

— Эй, пошевеливайся! — торопил конвой. — Не у Проньки в гостях!

Козел под конец пути окончательно запутался в сползавшей одежде. В зону его пронесли по воздуху. Надзиратели, сверявшие количество зеков, поторопились закончить счет. Грохнул засов ворот.

Козла освободили от тряпок, вывели за барак. Работяги молча смотрели, как Цыган встал на колени и, прижав животное к себе, медленно вытаскивал заточку из голенища сапога.

— Бешка, серенький, убежал от бабки и дедки! — сладострастно расцеловал Цыган козла и вдруг резко полоснул лезвием у уха.

Черная струя вынырнула из-под острия, растекалась по земле. Цыган сильнее стиснул козла, выпучил на луну белые глаза. Его рот прильнул к пульсирующей ране, жадно глотая бурлящую кровь. Хвост у козла затрясся мелкой дрожью.

— Ну чисто как в Третьяковке с картинки «Иван Грозный у своо сына», — закашлялся кто-то в смехе.

ОБЕЗЛИЧКА

— Гужуйся, фраера, пока урки спят! — подпрыгнул Алешка Лапоть, шлепнул ладонями по согнутым коленям и пошел шаркать чечеткой. Под соломенной челкой озорно мигали черненькие точки зрачков.

Иосиф Аркадьевич, довольный и улыбающийся, стоял рядом с Мишей, вытирал взопревший лоб батистовым платочком.

— Ну, довольно, Алеша! Хватит! Больные ненароком проснутся.

— Аркадьич, кирюха мой, — подскочил Лапоть к Иосифу Аркадьевичу, — в мать мою душу! Сей же час делай сабантуй! Эй, Петро! Зови Николу Юрченко. Кирнем, Аркадьич! — и прижал к себе маленького доктора.

Из тесного кубрика санобслуги предусмотрительно ушли все санитары. Как только явился Юрченко, молодой парень из шайки Лаптя закрыл дверь, стал на часах (на «атасе», как говорят блатные). Юрченко вытащил из кармана брюк бутылку спирта. Миша быстро нарезал бутерброды с колбасой и разлил спирт по алюминиевым кружкам.

— Как, Аркадьич? Как гульнули-то мы сегодня! — залился Лапоть. — Отвели христианскую душу! Подержались за бабские куночки. А ты? Ты ж свидетель, Аркаша, как меня встретил весь сангородок. Только мы с тобой

прыг-скок с вахты — изо всех окон рожи баб: «Лапоть пришел! Лапоть — сюда! Лапоть, рви к нам!» И такой я популярный, как у помещика Троекурова — Дубровский. Ты и в другой раз возьми меня с собой, Ося, кореш ясный мой!

Иосиф Аркадьевич согласно кивал головой. Как не быть довольным?! Побывал в другой обстановке, встретился с врачами — коллегами по несчастью, узнал в сангородке о подготовке к большому этапу — обратно, к Хабаровску. У вахты городка их никто не встречал, но черт с ним, пусть врет, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Доктор поддакивал Лаптю, посасывая из кружки спирт.

Юрченко пил молча. Миша же закашлялся с неприличия. Постепенно все захмелели. Расположились, словно в домашнем уюте, в забытой обстановке.

— Я на фронте был, — буянил Лапоть, размахивая руками, — из окружения два раза выходил, в блокаде Ленинграда голодовал. А еще до тюряги в киевском «Динамо» мячи катал. Первый хавбек на всю Украину!

— Катал, катал, — дразнил Юрченко хмуро, — срока катал: «Зима-лето, зима-лето, зима-лето — сроку нету...»

— А кто московскому «Спартаку» летом 46-го вкатил в ворота семь мячей? Я — Алексей Лаптев.

— Неужто забил? — глумился Юрченко. — Жопой али пузом?

Внезапно погас свет.

— А вот ты сейчас увидишь, чем я забивал, — в слепой непроглядности прошептал Лапоть.

— Зарезать хочешь? Так режь, Лешка. Режь! Вот я! — крикнул Юрченко сорванным голосом.

Как потухла неожиданно, так в сей же миг вспыхнула электрическая лампочка, осветив Юрченко. Никола сидел на кровати Иосифа Аркадьевича, держа рукой подушку для защиты. В другой — поблескивало жало длинного лезвия.

Лапоть выгнулся по-кошачьи у стола, направив вперед два ножа. Не помня себя, Миша кинулся между ними и крепко схватил Лаптя за локти. Дверь распахнулась. Вбежал парень, стоявший на «атасе», быстро обезоружил одного и другого.

— Пошутили! Хватит — баста! Обезличиваетесь перед фраерами! — укоризненно молвил он, внимательно приглядываясь к своим хозяевам.

— Что это мы, Никола? — спросил Лапоть, убирая с побледневшего лица ненужную ухмылку.

— Пойдем, Лешка! — накуксился Юрченко.

Когда Миша выбрался в коридор, он наткнулся на стоящих в обнимку Юрченко и Лаптя. Те расцеловались взасос так, что скрипнули зубы о зубы. Хлопнули по ладоням и разошлись в разные стороны.

СВЯТАЯ ЛОЖЬ

«Кровинка моя, Женюра!

Мы все покуда живы, здоровы. Шибко скучаем по тебе. С отцом я вроде поладила. Он тверез даже по выходным. О тебе сокрушается. Переиначился Василий Степанович. В семье, слава Господу, — склад».

Пальцы пишущей старушки дрогнули. Она глянула вылинявшими глазами на проломанный старый шкаф с остатками уцелевшей посуды.

«Пьянь проклятая! Поросенок! Снова назюзюкался! Третий день пропадает, не высыхая. К лупоглазой Нюрке небось завалился», — ворошилось в ней тусклое негодование.

«Лидка твоя с ребятенком перебралась к своим. Не беспокойся. Она по тебе сохнет. Письма от нее получишь отдельно. Так мы договорились. Дружки твои навешают меня, антиресуются. Шлют тебе неперменный комсомольский привет. Гришута-малой — и тот чиркнул открыточку. Она — в посылке».

Старушка перекрестилась, задумалась, поправила пуховой платок, сползший с худых плеч. Бывшие друзья сына перебегали улицу, лишь бы не встречаться. Правда, один только Гриша Иванов — «малой» — проявил порядочность: навестил, отписал пару строк. Да и то — бухнулась старая перед ним на колени. Пустила слезу...

Позавчера она добилась приема у важного начальника. Ее принял и усадил в кожаное кресло вежливый полковник. Аристократически холеное лицо его, открыто-свет-

лый взгляд располагали к откровенности. Который раз старушка вновь расплакалась, горестно умоляя помочь.

— Чего волноваться? У нас — точность и порядок, как в аптеке на часах. Да не расстраивайтесь, Екатерина Егоровна! Кормят, поят вашего единственного наследника по солдатской норме. Спит он на вагонной полочке, словно в поезде дальнего следования. Пусть трудом искупит свою вину. Он, сукин сын, научится жить поллюдски. Вернется домой сильным мужиком. Рывкнет: «Здорово, предки!» Может, и девку с собой прихватит...

— Извините, уважаемый товарищ начальник! Простите меня, глупую! Есть у него жена и ребяенок... Сам-то как малое дите!

Полковник потемнел... Щелкнул крышкой карманных часов. Двинул через стол лакированным ногтем мизинца пропуск.

Бог с ним...

«Посылаю, сынок, это ты любишь — халву, плавленый сыр, леденцы. Может, в следующий раз отправить гармонь? Поразвлечься на отдыхе! Есть и припасенная пара шелковых дамских чулочек. Сочтешь нужной — отложу. Ты, Женя, помни и слушай меня. Мне уж немного осталось до гробовой доски — побереги себя. Слушайся, что скажут ваши воспитатели. Будь примером для всех. Трудись на совесть — во славу Родины и нашего родного народного вождя. Бодрись, а я помолюсь за тебя. Чаю непрерывно — свидеться.

Крепко целую.

Мама».

«Здравствуй, дорогая мамочка, — выводил Женька Кулагин на линованном бледной клеткой листе, вырванном из школьной тетрадки. — Живу я отлично, здоровье — в порядке. Работы хватает. От ее полезности никуда не денешься. Что поделявает моя Лидочка и мой малец? Растет, чай?

Не шли мне, мамуся, рулеты-конфеты да всякие шоколады. Приелись по завязку».

Кулагин покосился на темный внутренний угол барака, где кантовались блатари. Два месяца назад они уделали его до полусмерти за утайку кулька ирисок из посылки.

«Насуши лучше черных сухарей да закупи кус свиного сала. Грубая пища полезней. Она тут в ходу. Вообще-то кормят нас сносно. Особой нужды в жратве нет», — коряво отписывал Женька, сглатывая голодную слюну.

Ксива отправлялась тайком от посторонних. Намотав на ус злоключения такого же посылочника, которого под ножами заставили вытребовать из дому самые ценные вещи — скрипку, меховую зюйдвестку, часы, он продолжал:

«Не шли, мамочка, гармошку с бабскими чулками. Категорически против излишества. Без них хлопот полон рот. Ну, а если хочешь доставить удовольствие, — купи стограммовый люировский шприц и медицинский справочник по лекарствам. Я тут снюхался с врачами. Может, научат чему полезному, а там, глянь, сам одену белый халатик».

Женька почесался: кажется, все — не забыл просьбу лепил.

«Так что не трепыхайся, мамуля! Передай поклон моей драгоценной женке. Кланяюсь друзьям. Горю надеждой на возврат в Москву. Авось все пройдет, как с белых яблонь дым.

Целую,
твой сын Женя».

МАЛЫШ

Оперуполномоченный Кулебякин расслабленно потер вену на сгибе локтя, опустил закатанный рукав. Ванночку с ампулами и стерильным шприцем предусмотрительно запер в сейф.

Бледное лицо старшего лейтенанта оставалось бесстрастным, хотя расширенно-водянистые глазищи морфиниста блаженно пучились из орбит, озирая пустой кабинет.

Уже окончились работы в зоне, когда он затребовал к себе Кулагина. Ждать пришлось не много. Чудесный наркоз еще не улетучился, как в дверях застопорилась грязная заплатанная телогрейка.

— Евгений Васильевич? — спросил опер, гипнотизируя сумасшедшим взглядом порядком уставшего зека.

— Так точно, гражданин начальник! — вытянулся во фрунт Женька.

— Двадцать седьмого года рождения?

— Так точно!

— Родом откуда?

— Из Москвы.

— Где проживал до ареста?

— Там же, в столице.

— Адрес?

— Новослободская улица, дом шесть, квартира двадцать первая.

— Холост?

— Женат, гражданин начальник. Имею ребенка.

— Ясно! Хорош гусь!

— О чем это, начальник?

— О половых сношениях. Сам небось из тех, кто хочет, как волк, а просит, как заяц. На Ванине никому не засунул дурака под кожу? Отвечай!

— Шуткуете, гражданин начальник, — потемнел Кулагин, внутренне изготавливаясь к отражению неизвестного подвоха.

— Молчи-помалкивай! И мой совет — на скорости не испортить посуду. Теперь — на вахту! — оскалился в улыбке оперуполномоченный.

Женька не спешил. На вахту он шагнул тяжело и неуверенно. Там среди полнорожих надзирателей сидела молодая простоволосая женщина с двухлетним мальчиком на коленях. Его родные — жена и сын...

Через два дня Кулагин, заведенный на маханье кайлом и лопатой, был выписан из рабочей бригады в санчасть для помощи Петру. Впрочем, он только числился в помощниках. На самом деле пропадал целыми днями в иных местах. Поздно вечером приносил Петру завернутое платком лакомство и на любопытство санитаров: ну, как, мол? разок, чай, позабавился с жинкой? — сверкал в ответ фиксой и проводил ребром ладони по горлу: сыт, хлопцы, как паук!

Злые языки поговаривали, что Женькина жена непонятно как прикандѣхала издалека, что приглянулась, курва, начальнику пересылки и неподкупному Кулебякину. За веселые ночи, проведенные с ними, отхлопотала супругу не только теплую должность в санобслуге, но и отсрочку от этапа на Колыму.

Так или иначе — Женька ходил гоголем, соревнуясь с законниками приобретенными сапогами, косовороткой и новой кепчонкой набекрень.

Однажды, когда весь лагерь стал янтарным от яркого заката, около барака санчасти залился, зазвенел детский смех. Миша с Иосифом Аркадьевичем, свободные от работы, тут же вышли на крыльцо.

— Хватит, Витек! — ворчал внизу Буш на Чалдона. — Ну, что ты его лапаешь?

На руках Чалдона сидел Женькин мальчик и, блестя пуговками глаз, старался вывернуть нос чужому смешному дядьке.

Чалдон, забавно вытянув физиономию, делал пальцами рогатого чертика, легонько бодая малыша в живот.

— Угу-ага, идет Баба-Яга, а за ней блошка на огромной ложке, — приговаривал он, развежась от детского мельканья.

— Баста, Витька, — шепнул Лапоть и осторожно, как музейный фарфоровый сосуд, оторвал ребенка от Чалдона, подняв на широких своих ладонях, погладил ребячью нежную ручку и бережно опустил в раскрытые объятия Левки Буша.

Малыш, не смущаясь, затеребил узко остриженную голландскую бородку центрального, моментально съел предложенную конфету, полез было в нагрудный карман пиджака. Но тут же очутился на шее Цыгана, который показал ему, изловчась, замысловатый фокус с белым шариком. От Цыгана обласканный ребенок перешел к Пемпику, от Пемпика — к другим заключенным.

Бородачи и лысые, матерые волки и стриженная молодежь, ожесточенные передрягами воровского омота, они удивительно дрябли, теплели, словно вдруг воскресли в забытой родной семье, где укачивали, лаская, младшего братишку или сына.

— Аркадьевич, а как зовут-то Женькина пацана? — полюбопытствовал Миша.

— Для нас он — Малыш, понимаешь, просто Малыш, — сказал Иосиф Аркадьевич со слезами на глазах. А может быть, это показалось Мише. Может, слез и не было вообще...

БАНЯ

Солнце вспыхивало радужным сверканьем в колючках проволоки, рассыпалось пятнами зайчиков в частоколье улицы, по которой вели очередную партию заключенных.

Зона санпропускника была самая близкая к морю. Один-единственный огромный барак, отведенный под баню, впаялся буквой «Г» посередине пустой территории, одним торцом — ко входу, другим — к выходу. Миша и Иосиф Аркадьевич вошли туда первыми. В их обязанности входило принимать разделенные группы, выискивать больных чесоткой и другими кожными заболеваниями. Контролировать раздачу мыла. Обрабатывать одежду дустом. Далее — дезинфекционная камера.

Пока медики оглядывались, помещение наполнялось гулом человеческих голосов, звоном шаек, плеском воды.

Зеки рассеялись по бане, просачивались небольшими группами, попутно махнувшись барахлом. У окна длинного, словно коридор, предбанника блатари лихо рубились в самодельные карты.

— Черт возьми! Ни дать ни взять — микробная толчея! — уныло заметил Миша. Растерялся и Иосиф Аркадьевич. Мелькание голых тел усиливалось.

— Стой, парашник! — вырвался стоящий сзади Петр и прыгнул овчаркой на широкоплечего гиганта. На волосатой груди великана синел выколотый орел с распахнутыми крыльями, когтивший обнаженную красавицу. К удивлению Миши, гигант и не думал сопротивляться, остановился почтительно. Остановились в ожидании и другие, следовавшие по пятам.

— Мужики! Живей шевелись! Помогите докторам! — скомандовал Петр. — Вот дуст. Ты сыпь на меха, а ты, да, ты — ноги в руки! Бегом в вошебойку, развешивать тряпье!

Помогать Петру стали картежники. Беспорядочная суетня прекратилась. Иосиф Аркадьевич встал на выходе из моечной, контролируя помывшихся, а Миша пошел раздавать кусочки мыла входящим в баню. Попутно он следил за режимом работы дезинфекционной камеры.

Через каждый час отвинчивались металлические болты ее тяжелого затвора. Те, кто был рядом с камерой, драпали в разные стороны. Из разом раскрытых створок, как из котла паровоза, выхлестывали мощные струи пара, расстилаясь по полу, поднимаясь белыми горячими клубами к стенам и потолку. Обслуга камеры через некоторое время залезала внутрь и, путаясь ногами в трубах, рукавицами сдергивала с крючков накаленное барахло, выбрасывая его кипами вон. Не медля гнали голых людей из моечной. Те ворошили белье, находили свое исподнее, штаны и рубахи, одевались, тут же получали оплеухи от законников, торопивших их к выходу. Умотавшись к концу банного дня, Миша проведал Иосифа Аркадьевича. Плюхнулся на лавку около шефа.

— Устал, Миша?

— Да, Аркадьевич, досталось...

— Лепилы, что кемарите? Там мужик в камере закупорился! Спасать надо, — крикнул вбежавший парень.

Иосиф Аркадьевич с Мишей вмиг проскочили в дезинфекционную.

Камера уже была открыта. Выдыхала из-под густой завесы одежд остатки пара. Внизу, между трубами и развешанными портянками, показались два белых лица.

— Дышать трудно, дюже парит!

— Вылезай, хлопцы!

— Давай, давай, ищи его!

Лица исчезли.

Миша прислушался к разговорам вокруг. Залезшего в камеру звали Иваном Воином: «работал под дурака», а может, притворялся, «восьмерил». Когда настала очередь загружать камеру, он вполз незаметно между остывших паровых труб. Его, не приметив, занавесили, закрыли, включили пар. Вдруг санитарам почудился крик — там, внутри. Через минуту раздалась явственные стуки в железную перегородку...

«Попали мы с Аркадьевичем. Влетит нам, ох как влетит», — отчаивался Миша, внимая взбудораженным голосам.

— Тащат!! — всколыхнулись вокруг.

Из камеры опять вылупились два белых лица.

— Помогите, — сказал один из них и полез назад.

Несколько смельчаков кинулись на помощь. Тяжело дыша, выволокли застрявшего в хламе белья Ивана. Любопытные скопились, сдвинулись над пострадавшим. Иван Воин лежал на бетонном полу. Кирпичное лицо его будто треснуло. Глаза, словно выбитые, плавали в орбитах. С розовых, как червяки, рук сползала, мотаясь серыми тряпками, живая кожа.

Иосиф Аркадьевич, пыхтя и обливаясь нервным потом, вкалывал шприцем один укол за другим. Миша растерянно поливал лежащего неизвестно откуда появившимся рыбьим жиром. Воин молча перекатывался по полу. Слезавшая кожа отдиралась, приклеиваясь к плиткам.

Через час дюжие санитары из «скорой помощи» с трудом погрузили его и отвезли в сангородок.

Поздно вечером уже в зоне узнали, что Иван Воин скончался, не приходя в сознание.

Лысый майор медицинской службы, добродушный толстяк Максимов вызвал Иосифа Аркадьевича на вахту, слегка пожурил за халатность, но, узнав, что заключенный доктор окончил одновременно с ним Московский медицинский институт, ударился в воспоминания о преподавателях, о студенческих казусах. И, сгорбившись от собственной брюхатости, добавил:

— Парадоксов в жизни хватает. Был у нас в позапрошлом году пожар на вашей бывшей зоне¹. Привезли к нам оттуда мужичка. Кажется, родом из Эстонии. Сангородок всех кандидатов на тот свет, знаете ли, примет. По площади ожога картина у эстонца одна — с летальным исходом. Так он, подлец, накопив в каптерке несколько банок сгущенки, отказался их употребить. Это в свой смертный час! Жрал только казенные харчи. Из-за протеста, видите ли, к властям. Ну и дал дуба, так и не вкусив посылки из дома. Что вы скажете, коллега? Чудно, а?..

¹ Зона № 10 была предназначена в Ванино для 58-й статьи.

В санчасть Иосиф Аркадьевич вернулся совершенно успокоенный.

ПОБЕГ

Опять баня. На полу шла санитарная обработка меховых вещей. Нательное белье, раскиданное по керамическим плиткам, не принимали в расчет.

— Что вы делаете? — спохватился Миша, когда Петр с помощниками ссыпал в чью-то новую рубаху и штаны полный пакет ядовитого порошка.

— Этому подлюке мало, — подытожил Петр, завязав рукава рубахи в узел. Харкнув в чистый воротник, он еще пустил струю мочи на лежащие штаны.

«На кого-то зуб точат», — подумал Миша, торопливо пробираясь в предбанник. В низком предбаннике на лавках нахохленно сидели три надзирателя.

Один из них, в погонах старшины, обернул к Мише круглую, как блин, физиономию, заголубел глазками в улыбке, протянул початую пачку «Беломора».

— Закуривайте, — вежливо предложил он. — Вы не знаете, случайно, зачем ваши больные ошиваются в санпропускнике?

— Случайно я ничего не знаю, — парировал Миша. — Наши больные, начальник, лежат в зоне.

Старшина выразительно посмотрел на других надзирателей — видели, мол, фрукт?..

Допрос прервался неожиданно появившимся Колькой Бардаком. Старшина по-свойски подмигнул Кольке. Мише же скомандовал устрашающе:

— А ну, кру-гом марш!

Миша послушно вышел. С моря веял свежий ветерок. Небо было такое чистое, что с высоты зоны просматривались далекая дуга горизонта и чуть заметный берег Сахалина.

А у ворот поспешно строили по пятеркам и немедля выводили на улицу. К такому кое-как вымытому, полуодетому строю заключенных примкнул и Миша. Бородастый человек, весело шагавший рядом с Мишей, ткнул впереди шедшего соседа:

— Петров, теперь Лешке крышка! За Севастьянова блатные не простят.

— Скажи, что с Севастьяновым? — заволновался Миша, обращаясь к бородачу.

— Что темнишь, сам ведь с кофлой дусту Лешке насыпал.

— Да я ничего не знаю, черт лопоухий!

Борода молча перешел в другой ряд.

Лишь в санчасти Иосиф Аркадьевич поведал шепотом ошеломленному Мише о Севастьянове. Дело было так.

Севастьянов бежал, переодетый в форму младшего лейтенанта, с фальшивым пропуском оперчекотдела на руках. Когда партию заключенных вели в баню, он пробрался к середине партии, ничем не отличаясь по одежде от остальных. Дошли до поворота. Севастьянов снял сходную лагерную куртку, штаны, оказался в офицерском кителе и галифе. Самоуверенно рассек толпу арестантов, обошел вольным манером конвой. Только когда мылись, кто-то улизнул на вахту и доложил о побеге. Теперь-то Миша сообразил, в чье шмотье Петр справил нужду. Понял еще, как ошибался, принимая Сашку Севастьянова за другого человека.

Еще за два месяца до побега неизвестный Сашка неожиданно прибыл в санчасть.

— Наш человек, — кивнул Иосифу Аркадьевичу Петр.

— Наш значит наш, — подтвердил доктор и поселил новичка у окна, на нижней полке вагонки.

Миша впервые столкнулся с ним на высоком крыльце амбулатории. Бронзовая антика лица, ярко-зеленые глаза, вдумчиво следящие за собеседником из-под лакированного козырька мичманки, да и весь облик молодцеватого атлета вызвал у Миши в тот час нескрываемую симпатию. Но разговор, повернутый Севастьяновым к политике, к злой критике советских вождей, насторожил Мишу. «Уж не провокатора ли подослали к нам?» — подумал он и круто переменял тему беседы.

Разговор явно не клеился. Оскорбленный недоверием Сашка ушел в барак. А Мишу кликнул Иосиф Аркадьевич — надо было разобрать шкаф с остатками лекарств.

Позднее Миша почти не встречался с Севастьяновым: в зоне вспыхнула эпидемия дизентерии. Медики разры-

вались на части, бегая по зоне с лошадиными дозами бактериофага. Севастьянов часто исчезал, не приходил на свое место по нескольку дней. Однажды после врачебного обхода Миша вернулся в стационар. В углу секции, где лежали законные воры, четкий голос читал книгу о восстании рабов в Древнем Риме. Больные увлеченно слушали чтеца. Тот дополнял юдоль древней империи собственными соображениями о нынешней тирании на одной шестой земли.

Это был Сашка Севастьянов, в неизменной мичманке с лакированным козырьком.

— Не пора ли угостить вас Есениным? — неожиданно предложил он слушателям.

Бережно отложил книгу. На побелевшем лице замерцали фосфорическим блеском расширенные глаза. Скрестив руки на груди, как бы сдерживая внутреннее волнение, он нараспев начал декламировать.

— Стой, Сашок! Крой своими! — взвизгнул после двух-трех стихов один из восторженных почитателей поэзии.

— «Лица худые и желтые, словно лимон, — молитвенно закачало Сашку. — В этой стране Лимонии, где драконов закон...» — но тут же смолк, увидев Мишу.

Беспредельники мутно уставились на фельдшера недовольными взглядами. Миша догадался — он лишний. Бочком убрался за дверь. В коридоре Петр объяснил ему:

— Наш культурно-воспитательный час. Зачем мешать, Михаил Аронович? Ребята могут обидеться.

— Петро, а за что влип Севастьянов? — не утерпел от любопытства Миша.

— За бабки. Знатный гравер, — с уважением ответил Петр. — Мастырит линковые очки и саргу¹...

Недели следовали за неделями. Хлипкая грязь в зоне каменела, лужи стали покрываться бельмами льда. Севастьянов все чаще и чаще заходил к Петру в кабину са-нобслуги. Здесь он резал картон на мелкие квадраты, оклеивал бумагой. Согнувшись, размалевывал самодельную

¹ Мастырит линковые очки и саргу (уг. жарг.) — делает фальшивые деньги и документы.

тушь на своей большой ладони. Когда фельдшер с доктором, вконец уставшие, вваливались в покои, он моментально испарялся. «Карты, стервец, делает для блатных», — думалось Мише.

Сейчас, после побега, Иосиф Аркадьевич и Миша знали, какие «карты» изготовлял Севастьянов. Где же ты, Сашка? На какую тропу выведет тебя кривая? Или по тебе гудит паровоз, отправляющийся от порта Ванино на Комсомольск? А может, ты лежишь с девятью граммами свинца в остывшем сердце?

Не знал, не ведал Миша, что скоро встретится с Севастьяновым в темном металлическом трюме коробки, плывущей к Колыме. И предстанут перед белым халатом придурка, выдравшись из беспредельников, ободранная казенная куртка, худящая физия, остриженный под машинку лоб. В упор зазеленеют глаза, и на изумленное Мишино: «Это ты, Севастьянов? Как же так?» — он гордо бросит:

— Кто, как не я, лепила? Пусть эти дешевки за моей спиной хоть раз подумают о свободе. Постараются стать вольными. Ну хоть на одну минуту.

ПИСЬМО

Длинные сероватые гробы барачков вкопались — один к другому — вдоль берега моря. От порога до порога — утрамбованные дорожки. Моросит мелкий дождь. У входов поблескивает скользкая холодная глина. Десяток барачков отделяется от остальных квадратом высоких заборов. По горизонтальным перекладинам столбов сверх ограды натянута колючая проволока. Ее струнные ряды пересекаются в углах, где возвышенно торчат свайные хижины вышек. На них — пулеметы, прожектора. Ну, и «попки». Вечереет. Зажигаются высокие лампы. Лучи прожекторов скользят вдоль штакетников и забора, пламенеют на соструганных сучках досок. В решетках оконцев вылупляется тусклый лампадный свет.

Через невидимо-темное море ползут светлячки.

— Скоро наш этап. Вот они, коробочки, — грустно говорит Иосиф Аркадьевич, облокотясь на перила крыльца.

— Поплывем, Аркадьевич, вместе, — успокаивает при- тулившийся рядом Миша.

Они в хлопчатобумажных темно-серых рубашках и брюках. Спереди — накладные карманы. В отличие от других, одежду им, придуркам, выдали со склада новую, первого срока. Щуплый доктор с чаплинскими усиками и залысынами да еще с комическим беспокойством чер- ных глаз кажется Паташоном рядом с фельдшером. Юный помощник на голову выше. Миша смахивает дож- девые капли, залетевшие на лоб.

— Каждый трюм рассчитан на две тысячи; если под- гонят две коробки, всех не возьмут, — чеканит рассудоч- ный Иосиф Аркадьевич. — Тогда будем гужеваться здесь всю зиму, а там отхлопочем у майора обратный этап.

— Неплохо бы, — соглашается Миша. Он вытаскивает из кармана пару папирос, аккуратно завернутых в тряпицу. Закуривают, пускают дым, наслаждаясь запахом табака.

— Что обидно, Мишка, — в голосе Иосифа Аркадь- вича фальцетом дрожит гнев, — обидно, что осталось мне до воли два года — и закандёхают хрен знает куда... Зна- ешь, — оживляется он, — боюсь за свою половину. Она у меня такая — пожар!.. Теряет сознание от страсти. Эмо- ции на первом плане. А познакомились мы чисто слу- чайно. Тогда я жил на Колхозной площади...

Миша мигом переносится в далекий, как сказка, город.

— А рядом — Трубная, — восклицает он, желая, чтобы Иосиф Аркадьевич вспомнил еще что-нибудь столичное.

— Да, рядом Трубная, Садовое кольцо, — шурится Ар- кадьевич. — Переехал я к Ленке. Тесновато: койка к кой- ке ее матери. Комнатуха обшарпанная, в старом двух- этажном домике на Мытной. Если помнишь, там угловой продовольственный магазин «Три поросенка». А зацапа- ли меня за отца. Его как старого партийца расстреляли. Мне же пришили семь тридцать пять. Социально опас- ный... Как тебе кажется, — переменял тему Иосиф Ар- кадьевич, ткнув носом Мишино ухо, — почему она не отвечает на письма? Сколько я их отправил! Может, то- го... ее сунули в конверт? Нет. Не может быть: развод

оформлен, красную корочку не отобрали. И теща отпи-сала хорошо. Что скажешь, Михаил?

Миша молчит. Он переносится на Усачевку, здоровается с восторженными друзьями, обнимает слабенькую маму, гладит валик старого дивана — там еще пружина в середине выпирает — и смотрит не насмотрится через окно на шумный от детей и домохозяек двор.

— А что, если она загуляла?.. — запинается Иосиф Аркадьевич. — Я катану ей письмо, что достану ее и на краю света. Куда бы она ни спряталась. Своей рукой выцарапаю. Не уйдет, сучара! — всхлипывает врач. — Немедленно, не теряя ни секунды! В кабинку, — Иосиф Аркадьевич хватает Мишу за руки и уводит в барак.

В маленькой кабинке санчасти, отведенной для жилья медицинского персонала, стоят вагонка, два табурета и обструганный шербатый стол с настольной лампой. За перегородкой матюкаются, покашливая, больные. На верхней полке вагонки виден лоснящийся нос спящего санитаря Петра. Доктор нагибается к нижней полке, где находится его постель, достает из-под подушки узелок, развязывает его, вытаскивает из кипы бумаг конверт, чистые листы для письма.

— Ну вот! — обнимает врач молодого земляка. — Садись! Ты ведь сочинял стишки, за что и угодил сюда. Так сделай мне доброе дело, Миха! Сочини, отрифмуй моей-то... Даю тебе полную волю. Но чтобы с чувством было, пойми меня. Правду о любви... Пусть поплачет на миг. Ну, давай же, — лихорадочно торопит он.

Миша садится у окошка, трогает решетку, глядит на снующие вдоль заборов лучи прожекторов. Напряженно сосредотачивается. Взгляд застопоривается в одной точке.

— Записывай, Аркадьич, — говорит он решительно. —

Нас разделила пропасть расстояния.
Решетки тень клеймит мое лицо.
Любимая, ты вспомни, как заранее
Мы встречи назначали... То кольцо...
Забуду ли Садовое колечко?
Меня оно кружило и вело
Опять к тебе, любимое сердечко,
Опять в Москву, в «родимое село»!

— О Леночке, о Леночке! — щебечет Иосиф Аркадьевич.

— Да... Леночка... Ты бродишь по бульварам...
Арбат, Плющиха — улицы кривы.
Тобой дышу, объятый нежным жаром.
Разлука наша до какой поры?

— «Леночке от твоего Оси. Целую крепко-крепко», — заканчивает «свое» письмо Иосиф Аркадьевич.

Письмо попало к оперуполномоченному Кулебякину. Он прочел его не спеша и, молча усмехнувшись, аккуратно разорвал.

Иосиф Аркадьевич и Миша в тот день поднимались по трапу парохода, следовавшего на Колыму...

СХОДКА

Приморский вечер залил фиолетовым лаком стекла окон. Чуткое безмолвие сулило грозу: блатари необычно тихо, почти незаметно вымелись из стационара. Омертвела и зона — в ней вместо полутора тысяч зеков осталось от силы четыре сотни, а может, и того меньше. Бараки опустели... В предпоследнем этапном угоне Чалдон предостерег Иосифа Аркадьевича, чтобы тот держал ушки на макушке — среди воря застряла на пересылке самая неуправляемая «махновщина»: мелкое шакальё. За них бы не поручился никто. Даже мелюзговые паханчики покинули санчасть. Тотчас перебрались в воровской барак. На открытом месте, посреди своего тамбура Миша обнаружил зазубренный, никуда не годный тесак. Уход воров и подкинутое не без злого умысла оружие — недоброе предзнаменование. В тревожном ожидании чего-то пакостного медики остались наедине. Иосиф Аркадьевич решил закрыться: накинул крючок, задвинул дверную щеколду. Но себя разве так спасают?

— Подскажи — как? — растерялся всегда находчивый врач.

Миша не нашел ответа. Запинаясь, сказал:

— Придется ждать!

Ждать пришлось чуток.

— Лепилы, где вы?

Грохнула щеколда, сорвался крючок. Влетела чертова дюжина неизвестных молодчиков.

— Попрятались! Ну, шевелись! Крабы вверх! Морды к стене!

— Санька, лови кишень!¹ Спихни углы!² Ишь, сколько косяков зацапал³ коновал. О-о! Шкары, правилки, лепень!⁴ Братва, кажись, бочата⁵ в заначке!

Доктор не выдержал грабежа — повернулся, изловчился выскользнуть из рук стерегущего. Влез в гущу расхитителей. Судорожно вцепился в чемодан.

— Это мое. Не отдам!

Бандиты выхватили ножи.

Миша поспешил на защиту — разорвал живую стену и заслонил собой Иосифа Аркадьевича.

— Вы что? На кого прете? Здесь — Красный Крест!

— Брысь! Отчаль, Михаил Аронович! Лепила еще спляшет на сходке. Должен дать отчет, кому чернуху кидал, кого технически угробил отравой. Фершал! Ты оставайся тут за хозяина. Канаем, хлопцы!

— Нет! Я — только с врачом и никуда больше.

— Ну и вали к своему кирюхе!

Иосифа Аркадьевича и Мишу под остриями заточек спровадили в воровской барак. Там их прислонили к столбу, уходящему к стропилам. Они сами догадались чутьем сдвинуться ближе, стать спиной к спине.

На двухъярусных нарах рисовались белые нижние рубахи, кальсоны, грязные ступни. Книзу выставились гроздья голов. Паучьи глаза так бы и съели приведенных, с любопытством предвкушая расправу.

— Попались, куркули!

— Умыть бы плешь мойкой!

— Да проще — полотенцем! Удавить, и баста!

— Атанда! Атас, огольцы!

Гвалт по ярусам сразу стих.

¹ Кишень (уг. жарг.) — сумка.

² Угол (уг. жарг.) — чемодан.

³ Сколько косяков зацапал (уг. жарг.) — сколько вещей получил обманным путем.

⁴ Шкары, правилки, лепень (уг. жарг.) — брюки, жилетки, костюм.

⁵ Бочата (уг. жарг.) — наручные часы.

«Начало сходки», — подумали одновременно пленники.

С нар спустились крепыши-распорядители, шуранули тех, кто вольно разлегся на полу. Этим решительным крепышам и предстояло открыть сходку.

— Воры! Слухай! — начал один из них. — Воры, ставим вопрос: что сотворить с лекарями? Сколько они обещали — одна брехня. Куды затырили калики? Ага, нет слов! И начальству продались, чтобы ловчее угнать нашу масть на Колыму. Порешим их? Кто «за»? Голосуйте! Лапы выше! Еще будем трёкать?

У Миши складывалось странное впечатление, будто он присутствует на захолустной партийной конференции, где некая ячейка заранее выставила оратора и подсчитывает голоса. Мелькнула мысль, что и сюда проник унизительный дух казенщины. Но время торопило, и, забыв обо всем, Манькин подался вперед:

— Я пришел сюда сам, добровольно. Разве вы имеете право судить врача? Он ликвидировал в зоне эпидемию дизентерии. Он спасал ваши жизни. Грамотный врач! Не чета самозванным лепилам. Если вы уделаете его, о том узнает верхушка ГУЛАГа... Никто из медицины...

— Спрячь язык в задницу, фершал! Рога посшибаем!

Неожиданно на общий обзор вышел Уголек — авторитет воровского центра. Его случайно задержали на пересылке из-за неудавшегося побега. Иосиф Аркадьевич не раз спасал этого наркомана-узбека, любителя больших доз какой угодно микстуры, лишь бы «ловить кайф».

— О чем речуга? — небрежно спросил он, поскрипывая щеголеватыми унтами. — Кто привел лепил?.. Чего? — вспыхнул Уголек, получив разъяснение. — Вас моль чокнула? Кого хотите превратить в мясо? Иосифа-Аркашку? Мое слово — кончай самосуд. Желая знать, кто возражает, а?

Охотников не нашлось. Миша удовлетворенно вздохнул — «народ» по-пушкински безмолвствовал. После кратких дебатов коллег водворили обратно в санчасть... Туда влетел начальник режима. Ему якобы полагалось предотвратить расправу. Как всегда опаздывая, он недо-

вольным тоном порекомендовал врачу убираться отсель подобру-поздорову.

— Вы, Манькин, оставайтесь. Вам ничего не грозит. Продолжите дело, заменив этого типа.

— Благодарю за доверие, гражданин начальник. Позвольте уйти вместе с Иосифом Аркадьевичем.

— Как хотите! На днях выметем Ванино до последнего человечка. Вы все встретитесь в трюме «Джурмы», — равнодушно резюмировал режим. — А теперь — живо — к вахте!

ТРЮМ «ДЖУРМЫ»

Заунывно завыл далекий береговой гудок. Тусклая лампочка качнулась, вырубая из темени искристые от инея шпангоуты, ряды клепки в обшивке трюма.

— Поплыли! — вздохнул сосед Иосифа Аркадьевича, остроносый блондинчик, врач соседней зоны.

— Поплыли... — прошелестели другие.

Единственный больной, ссученный вор Колокольчик, мучительно харкнул, выпростал руку из-под наваленного на него слоя одеял, погрозил кому-то кулаком.

Миша знал, к кому относилась немая угроза. Вчера, когда зоны вычистили от заключенных, из последней группы голых блатных, проигравшихся до нитки в карты и отделенных от остальных, выскочил Колокольчик. Остервенело кинулся с ножом на спокойно стоящего лейтенанта Кулебякина. Хладнокровный Кулебякин пистолетным выстрелом свалил вору у своих ног и, отвернувшись, распорядился:

— Волоките его с остальной сволочью в трюм!

Надзиратели схватили Колокольчика за ноги и волоком протащили к причалу. Тут он, отстукав головой все ступеньки трапа, попал наконец к врачам. Пуля застряла в могучей правой лопатке. Врачи успели уложить раненого на нижнюю полку, туго перевязали рану индивидуальным пакетом.

— Прости-прощай, родная сторона! — невесело улыбнулся Иосиф Аркадьевич и повел глазами по сторонам

тесного кубрика. Нары в два этажа вспухли от обилия матрасов. В верхнем левом углу чернели рюкзаки, набитые медикаментами и сухим пайком.

Врачебная команда, не мешкая, постелила наволочки, разложила на них буханки хлеба вперемежку с рыбными консервами. Блондинчик, игнорируя саркастическую мину Мальского, вскарабкался к рюкзакам и весело заверещал оттуда: «Лезьте, коллеги, на медицинскую сходку!».

Действительно, персонал должен был распределить обслуживание этапа меж собой.

Пароходный трюм набили основательно — до трех тысяч. Как и на пересылке, их разделили по воровским мастям в разные отсеки. Иосифу Аркадьевичу достался незнакомый «сучий» отсек. Миша должен был обслужить свою «махновщину».

На следующий день, утром, врачи, похватав санитарные сумки и цепляясь за поручни крутого трапа, полезли на палубу. Перед уходом Колокольчик поманил Мишу.

— Скажи, лепила, моим, что я здесь! Пушай помогут. — Одутловатое лицо его, покрытое веснушками, тревожно замаячило на подушке.

Палубу и пароходную оснастку покрыл белым-пребелым слоем пахучий снег. Врачей опьянил и он, и ослепительный простор чистого неба. За бортом кренилась набок линия горизонта. Отшлифованные прозрачно-зеленые громады волн подступали вплотную, ныряли под борта, поднимая пароход, вкатывались и выкатывались то с одной, то с другой стороны.

Равномерная качка, резкий шквальный ветер с холодными брызгами отрезвили медиков. Краснопогонный конвой беспечно покуривал у задраенных люков, небрежно пропуская подходившие белые халаты.

Не спеша открыли замки, подняли решетки и опустили в каждый отсек по лестнице. «В деревне так откупоривают погреба для приехавших гостей», — подумал Миша.

Иосиф Аркадьевич, шутливо перекрестившись, как ангел спланировал вниз, в людскую кашу. Из глубин прокисшего трюма спешили к врачу страждущие. Иосиф

Аркадьевич прорвал плотное кольцо и, взглядываясь в едва различимое нутро, пошел на свет далекого фонаря.

— Доктор, здесь человек тебя просит, — окликнули его с верхних нар.

— Айн момент! — поспешил доктор.

На крупных цветах широко расстеленного одеяла лежал парень. Под копной льняных волос ледянисто застыли голубые глаза, опрятная шелковая тельняшка скульптурно обтягивала рельефную маскулатуру груди.

— Ну, что там у тебя? — лениво потянулся парень к сумке Иосифа Аркадьевича. — Нет, не пойдет! Для меня слабо. Дуй обратно, а завтра неси в ампулах. На, задаток! — в ладонь доктора легли ручные часы.

— Что вы! — воспротивился врач, возвращая часы. — Получите свое — тогда и поговорим. — Он поспешно спрыгнул с нар и начал рассовывать в протянутые руки таблетки, порошки, мензурки.

У люка его встретило трио звонких голосов, поющих под гитару. Раздвинув ноги, обняв друг друга за плечи, поющие стояли, освещенные выходом. На их бритых затылках — невесть откуда занесенные широкополые соломенные шляпы. Обветренные физиономии подставлены под освежающий ток морского воздуха.

«На свете глупый парень жил. Ро-ле-лям, лям, ро-ле-лям-лям!»

Одну он девушку любил. Ро-ле-лям, лям, ро-ле-лям, лям!»

Иосиф Аркадьевич опять на снежной палубе, а из задраенного люка рвется к воле, разносится незамысловатая песня.

Волны, окрапленные размазанными плевками пены, сталкиваются гулко, подбрасывают пароход так, что в животе обрываются внутренности...

Весь следующий день на море штиль. Небо покрыто непроницаемыми серыми облаками.

Мишу в «махновском» трюме задерживает пара ушастых тонкошеих юнцов.

— Докторишка, погоди. Ты был в сучьем трюме?

- Был не я, а другой врач!
- Как там? Чай, рассказывал тебе?
- Говорил, говорил... Все в тельняшках... И при боча-тах...
- Эх, нашу мать! Нас бы туда...

Через несколько дней на трапах и тросах парохода появляется постоянная ледяная корка. Море спокойно, как зеркало. По водной глади плывут ледяные двух-трехметровые ватрушки. На западе — чуть заметная, слабая полоска тумана — это дальневосточные берега.

Проходит неделя плавания. Паек — на исходе, медикаментов нет. На нижних нарах бредит Колокольчик. Когда в знобящую рань врачи вяло выбираются на палубу, они столбенеют от неожиданности. Пароход приближается к четкой гряде береговых сопок, входит в ледяное серое поле протяженной бухты. Впереди черной точкой проламывается ледокол. Бухта сужается, огромными лапами отвесных скал распахивает медвежьи объятия. Постепенно на заснеженных берегах появляются квадраты построек. Вот и пирс с усами кранов. Пароход разворачивается, победно гудит. На причале из крытых брезентом грузовиков высыпают фигурки солдат. Мишу, Иосифа Аркадьевича и остальную службу из зеков выгоняют с палубы.

Они взаперти не видят, как первыми на берег выводят беспредельщину. Авторитеты выскакивают вперед, зябко кутаясь в овчинные полушубки. Они не видят, как Левка Буш, засунув руки в косые карманы полупальто, вытягивает острый носок элегантного сапога, осторожно перекатывает ногой небольшой комок смерзшейся земли.

- А грунт-то какой! — выпаливает он.

ХИПЕЖ

— Так вот он какой, гроза ванинской и магаданской пересылки! — с уважением и страхом подумал Миша, встречая у дверей барака приземистого, плотного мужчину с широкоскулым монгольским лицом и голубыми

раскосыми глазками. Одет был Олейников в чистую лагерную телогрейку, подбитую мехом, на ногах — пушистые полярные унты; лоб плотно обтягивал пилотский кожаный шлем с мотающимися ушами.

Он пронесся по помещению и остановился над нагнувшимся доктором, который перевязывал обмороженные пальцы ног этапному узнику.

— Прошу дать мне бумагу для письма! — приказал новоиспеченный вождь беспредельщины.

Не оборачиваясь, Иосиф Аркадьевич ответил просто:

— У меня нет никакой бумаги!

— Артист! Наслышался о твоём нраве. Но насколько ты — курва, настолько я — блядь! — по-змеиному прошипел Олейников.

Вышел, громко хлопнув дверью.

Когда Иосиф Аркадьевич кончил работу и сел с Мишей похлебать тюрю (накиданный в кипятком хлеб), к ним заскочил Пемпик.

— Слушай сюда! Я предупреждаю благородно — мотайте удочки, уходите сразу. Поняли? Мало вам ванинской сходки?

— Уяснили! — озадаченно промямлил доктор, хотя неясно представлял, откуда может грозить опасность.

Через десять минут Миша и Иосиф Аркадьевич в безопасной вахте вызывали дежурного офицера. Вскоре их вывели из «махновской» зоны, затем переправили в санитарный городок.

Магаданский санитарный городок на пересылке — это чистая койка вместо жестких нар, отсутствие всяких воровских владычеств, хотя живущие здесь болели, как в футболе, за «честноту».

...Прошел декабрь. Иосиф Аркадьевич с Мишей окончательно освоились, прижились в городке, только работали они теперь на разных объектах.

Однажды вечером, когда доктор уже снимал сапоги, чтобы завалиться спать, вбежал взволнованный Миша:

— Аркадьевич, на пересылке хипеж! Знаешь нашу столовую? Иду я мимо. Только завернул за угол, где калитка

в заборе, гляжу: в десяти шагах от меня — рубка. Весь цвет беспредела против мужиков и честноты. Прыгают друг на друга с ножами! Машут топорами, ломиками... визжат!.. На моих глазах убили Цыгана — кайло вошло в затылок, а из подбородка вышло. А потом с вышек как дали из пулеметов — все полегли живыми и мертвыми. Я тоже — носом в снег. Встал по приказу надзора. Он связывал тех, что остались в живых. Так-то, Аркадьевич!

Наутро от дневального Миша узнал все подробности. Из «махновской» зоны был снаряжен отряд в столовую — для получения продуктов. В кухне «махновцы» приколотли ножами главного повара, обчистили все полки и, радостные от успеха, ринулись напролом в рабочую зону. Тут-то и была поднята тревога. Мужики, только что вернувшиеся с работы, вместе с «честнотой» кинулись врукопашную на озверевших «беспредельников». Остальное Мише было известно лучше других.

Когда обеспокоенный Иосиф Аркадьевич проходил на работу мимо зоны, где помещалась честнота, у закрытых ворот стоял Олейников. В каждой руке — по колуну. На широкоскулом лице предостерегающе плавилась злые огоньки голубых глаз. Из «махновской» зоны напротив выбегали через калитку группки людей. Шмыгали мимо — в санпропускник, куда и поспешил Иосиф Аркадьевич.

А в обед Мишу увезли для работы в бане. В кузове покрытого брезентом автофургона ехали человек двадцать. Среди них, зажатый с двух сторон надзирателями, сидел, весь перебинтованный, странно знакомый человек.

— Чалдон! — вырвалось у Миши. — Чалдон, как же это так?

Чалдон утрюмо зыркнул потупленным взглядом.

Сидящий рядом с Мишей молодцеватый, лихой ворчестняга из чеченов исподтишка дернул его — молчи, мол!

Когда на полпути надзиратели остановили машину и вывели понурого Чалдона, чечен укоризненно выговорил Мише:

— Фрей ты, фершал. Нашел с кем разговаривать! Это ведь настоящий бандит и головорез. Он с тебя последнее снимет и спасибо не скажет!

.....

Золотые звезды погон аккуратно поблескивали на широких плечах капитана госбезопасности Кулебякина. Он привычно хрустнул хромом начищенных сапог, расправил бабочки галифе и, благоухая тройным одеколоном, подошел к окну. По сияющему горизонту, как по ободу тарелки, шли двое. Их тени медленно проплывали города и села. Один из них нагнулся и поднял окурок — маленькую искорку, брошенную, видимо, конвоиром.

— Падлюка ложкомойная, — остервенел другой. — Что, тебе пайки мало?!

— Пошел ты, сука! — пыхнул окурок. — Схаваю с говном!

Кулебякин сделал ладонь козырьком, сожалея, что нет бинокля. Вон они, нарушители закона и режима!

А они шли по горизонту, ожесточенно поливая друг друга матом, размахивая руками. Они шли, не отставая друг от друга ни на шаг. Тени их, круто расширяясь вниз, затопляли крыши сел и городов. Сверху плыло ошестиненное лучистыми штыками солнце.



Тоська
Пепеляева

АЛЕКСАНДРА БЕРЦИНСКАЯ

Эту рукопись — двадцать две толстые тетради, исписанные мелким аккуратным почерком, тысяча с лишним страниц! — привезли из Риги. Хранители рукописи, передавшие ее в Комиссию по творческому наследию репрессированных писателей, рассказали об авторе не много: Александра Соломоновна Берцинская была старшим другом их семьи, жила где-то на юге, потом пропала — наверное, уже нет в живых. И добавили: «Когда-то она была натуральной, самой настоящей троцкисткой...»

Кое-что о ее судьбе удалось узнать из самих тетрадей. Александра Берцинская родилась в Баку, в семье рабочего, в 1899 году. Училась в Марининской женской гимназии, в девятнадцать лет вступила в партию большевиков, участвовала в гражданской войне. Важнейшее, счастливейшее событие в жизни Александры — встреча с Тиграном Аскендаряном, тоже революционером, ставшим ее мужем. Вместе они прошли через все испытания жизни.

Революцией жили максималистски, со всем пылом молодости. Выполняли опасные подпольные задания. В 1919 году, например, были посланы для установления связи с большевистским центром в Москве. Добрались до самого Ленина, который долго беседовал с ними и направил обратно, во все еще отрезанный от Советской России Баку. (Об этой поездке вспоминает А.И.Микоян в своей книге «Дорогой борьбы», в главе «Письмо Ленину. Шура и Тигран».)

Вместе потом учились в Москве, в Горной академии, активно участвовали в разывравшихся партийных баталиях на стороне оп-

позиции... И вот результат инакомыслия: в 1928 году за защиту позиций Троцкого — исключение из партии и арест, ссылка на три года в Сибирь. Там, в Сибири, Александра и Тигран, нагледевшись на действия и правоверных, и крамольных большевиков, разочаровались в политике, публично заявили о прекращении борьбы. Отреклись от политики, но политика не оставила их. И где бы они потом ни пытались работать: на московском «Фрезере», Челябинском тракторном, — всюду снимали с работы по причине «троцкизма». А в 1936-м — новый арест и приговор Особого совещания: пять лет северных лагерей.

И на Колыму — вместе: жена — в лагерь «Верхний Сеймчан», муж — на золотые прииски. И там не расстались совсем, чудом наладили переписку. Душевная нить не прервалась. Срок заключения истек, а они все еще в неволе — война, срок автоматически продлили... Наконец освобождение, и тоже, к счастью, почти одновременно — с разницей всего в девять месяцев.

Казалось бы, все беды позади: в 1948 году Берцинская и Аскендарян уезжают с Колымы и определяются на работу на уральском заводе. Но, раз зацепив, власть уже не выпускает их из-под надзора: следуют новый арест и этап — на вечное поселение в Темиртау (Казахстан). Причина — все тот же пресловутый «троцкизм». Только после смерти Сталина пришла амнистия и затем реабилитация.

Тигран Аскендарян умер в 1968 году, после его смерти Берцинская и начала писать свою книгу — в форме посмертного разговора с ним, как памятник их общей судьбе. Рукопись без названия, но могла бы называться «Историей одной любви». Это рассказ о том, как Он и Она прошли все круги ада, не потеряв друг друга. Именно любовь и стала для них спасением.

Вот и все, что я знал об авторе двадцати двух тетрадей, пожалел, что его уже нет. И вдруг... Звонит старый магаданский приятель: «Я в Москве. У одной колымчанки...» — «У кого?» — «Да ты ее не знаешь». — «А все-таки?» — «У Берцинской». — «У кого, у кого?» — «Да у Берцинской!» Долгая пауза. «И ты можешь ее позвать?» И тут же бодрый, задорный голосок: «Я слушаю!» И через минуту: «Это чудо! А я уж те свои тетради потеряла. Приезжайте!..»

Так я встретился с «натуральной троцкисткой». И, конечно, спросил: «А как вы теперь смотрите на Троцкого?» — «Знаете, это была индивидуальность. Образованный, талантливый... Но его перманентная революция, казарменный социализм...» — «Что?» — «Преступление! Да, перед человечеством он преступник».

Умерла Александра Берцинская в 1993 году.

Предлагаем вниманию читателей фрагмент из ее рукописи.

В. Шенталинский

ТОСЬКА ПЕПЕЛЯЕВА

Была у нас в Сеймчане одна Тоська с исторической фамилией — Пепеляева. По всему видно, на Колыму она попала случайно. И преступление у нее было пустое — украла на базе кусок мыла, когда пришла из деревни в уездный городок (как известно, одно время в деревнях совершенно не было мыла), и срок «младенческий» — два года. Такого не заслуживающего уважения срока — ни у кого. Появилась Тоська на нашем лагерном горизонте в 38-м году, когда обычными были срока десять—двадцать пять лет, и ее два года в богатом обществе выглядели нищенскими. Такие нищие редко удостаивались Золотой Колымы. Богатый край требовал людей с солидными сроками, возить туда таких, как Тоська, было накладно. (Дорогой проезд, а там через каких-нибудь пару лет и отпуской! Экономика! Экономика! Денежки государственные счет любят!) Наши специалисты из УРБ¹ утверждали, что ее «подменили». Подмена на тюремном жаргоне значила, что назначение на Колыму получил кто-то другой и за малую плату тюремной охране — подсунул ее при вызове на этап. На «материке» весь тюремный люд как огня боится Колымы и потому всякими правдами и неправдами избегает оказаться в этом благо-

¹ УРБ — учетно-распределительное бюро лагеря. (Здесь и далее примеч. автора).

словенном крае. Так уголовный народ, среди которого оказалась стащившая кусок мыла Тоська, обманным путем загнал ее на Колыму.

Своей деревенской непосредственностью Тоська вносила веселое разнообразие в нашу унылую жизнь и стала общей любимицей. Забавна была уже сама внешность Тоськи. Одевалась она не как мы. Надевала на себя множество широких юбок, собранных в талии так, что казалась деревянной игрушкой, матрешкой. Такой же, как у матрешки, была одетая навывпуск кофточка, и уже полную фигуру матрешки завершал завязанный хвостиками платочек. Пестренькую свою косынку она никогда не снимала и так и спала в ней, завязав ее под подбородком. Чесала она свои волосы лишь по воскресным дням и тогда вычесывала заводившихся в голове насекомых, раскладывая на коленях свой неизменный платочек. Тогда-то и удалось обнаружить нам, что под косыночкой прячутся волосы редкой красоты — блестящие, как шелк, иссиня-черного цвета. И причесывалась она очень красиво — на прямой, тонкий, как белая нитка, пробор. На наши просьбы: «Тося, не надевай платка, смотри, как красиво», — она, тряся слегка головой, упрямо мотнув своими нескончаемыми юбками, неизменно отвечала: «А ну-ю вас! Циго пистали», — и тут же снова подвязывалась. Говорила Тоська как-то совершенно по-особому, нам непривычному. Возможно, это был выговор той местности, откуда она родом (где-то недалеко от Перми), нас это не интересовало, но всегда смешило. Она это видела и не была на нас в обиде.

Сразу же утром Тоськой вносился в барак воздух старинной деревни. Надев свои бесконечные юбки и подвязав уголкем платочек, шла она по проходу между койками, на которых все еще одевались, и, как на деревенской улице, со всеми раскланивалась. То и дело раздавалось: «Сольомоновне поцьтеньце!» — это мне первой, так как я у нее звеньевая, «Ивановне» — это моей приятельнице Верочке Щегловой, далее пойдут те, которые ей безразличны, но с которыми она считает необходимым быть вежливой: «Насе вам... поцьтеньце... низько клянюсь!» — и

отдаются направо и налево поклоны, причем все время Тоська слегка трясет головой и мотает юбками. Вот она заметила: в барак вошел бригадир; тогда очередность раздачи поклонов нарушается, она быстро направляется к нему и отвешивает особый поклон, приговаривая: «Прокофьицу поцтеньце, низко кляниюсь» — и так каждое утро, пока не выйдет из барака. Однажды она продолжала так кланяться, когда уже вышла наружу, и проглядела, что навстречу шел стрелок. Тот остановился, оскорбленный столь необычным приветствием (она ему сказала свое безадресное «насе вам»), и с угрозой спросил: «Ты с кем так здоровкаешься?» — «А съовсем и не с тьбой... Ты циго пистал? Больно нюзен... Прохьоди, куда идесь», — не растерялась наша Тоська и пошла дальше, оставив вохровца в полной растерянности. (В уставе о таких Тоськах указаний не имелось.) Необычность поведения Тоськи не раз сбивала с толку вохровцев, в поединках с ними она легко выходила победительницей.

Как-то летом мы шли в строю под конвоем — на обед. Дорога идет лесом, по бокам — кусты, тяжелые от ягод, однако никто не смеет остановиться, так как на задержавшегося стрелок сейчас же наводит винтовку и угрожает, что будет стрелять. С нами в строю и Тоська шагает. Сначала, как и мы, проходит мимо ягод, но вот заметила особенно богатый куст, долго не раздумывая, вышла из строя, стоит и ест. Стрелок остановил всех.

— Куда пошла? Становись в строй.

— Рази не видись, куда посла? Ягоды ем.

Стрелок, не угрожая винтовкой, настаивает, чтобы она вернулась в строй.

— Циго пистал? Тебе съто, ягоду зялко? Не твои ягоды — лесные.

Стрелок не разрешает никому идти, стоит и дожидается, пока она отойдет от понравившегося ей куста.

— Ты циго народ дерзись? Им зе обедать пора! Посьол, посьол, я и без тебя дойду, вот только ягод поем...

В ответ стрелок рассмеялся и повел нас дальше, оставив ее доедать ягоды. Видимо, и на стрелков действовала необычность ее поведения.

Иногда Тоська сидела молча, внимательно прислушиваясь к разговорам, происходившим в бараке, и перенимала культуру окружавших ее образованных людей. Как-то она услышала, как больная моя подруга Вера Шеглова жаловалась на отсутствие аппетита и на свое отвращение к лагерной пище: «Прямо не знаю, что с собой делать, даже ложки этой скользкой каши не могу съесть, а больше же ничего нет. Так же можно с голоду помереть. Надо заставить себя... Так нельзя...»

Наслушавшись интеллигентных разговоров, подошла ко мне Тоська и, состроив жалобную рожицу, сообщила:

— Сольомоновна, сьто мне делять приказесь? Ни кьосецьки, ни кьосецьки в рот не беру, ведь так и умереть недолго.

— Тоська! Ты чего врешь? В обед тебе повар сколько каши наложил? Чуть не банный таз! И ты все съела! Я же сама видела.

— А тебе узь и зялко! — был совершенно неожиданный ответ. (Эта Тоська была такой потешной, что ее и повар сверх нормы кормил.)

Вообще она лагерной дисциплине не подчинялась: если захочет, будет работать, а иной день и сложа руки просидит. Приходит в барак нарядчик распределять на работу, называет Тоську.

— Пойдешь на парники убирать снег.

— И не подюмаю, — раздается непривычный в лагерьном мире ответ, а то еще и добавит: — Не велик барин, мьозесь и сям убрать.

Свое «и не подюмаю» она действительно выполняла.

Как-то дали ее в мое звено, работавшее на уборке снега около теплиц. Звено у меня было особое — из одних старух колхозниц, тех самых, что сидели «за колоски». Среди них выделялась одна, совсем махонькая. Похожа она была на старушонку, которые на папертях «милостыньку собирают». Вид ее показался странным, и я решила у нее узнать, кто ж она такая. Оказалось, она действительно — нищенка.

— За что ж тебя взяли? — удивилась я.

— За Бога, родименькая, за Бога!

— А в чем все-таки дело, за что судили тебя?

И тут как прорвало ее, и пошла она мне благостной скороговоркой рассказывать:

— Сподобил Господь Бог милостью своею пострадать за него меня, убогую. И мыслить такого не могла, что за нашего Спасителя, Господа Бога нашего, страдать доведется. Убогая же я, как есть убогая, и со своим старичком вместе милостыньку на папертях собирали. И в мыслях наших того не было, что ниспошлет Господь Бог нам благость свою — пострадать за него, кормильца и поильца нашего. Ан ему-то видней. И взяли нас всех, убогих и сирых, с той паперти и присудили нам по три годочка кажинному, и страдаем мы ноне во спасение душ своих. И присудит Господь Бог нам Царствие Небесное, и благословен тот день, что нас с папертей забрали... Сподобил меня Господь Бог и старичка моего сподобил — только отпусти ты меня, родименькая, в барак поранее. Больно слаба я, да вишь, холод какой. Штанишки-то у меня все мокренькие. Как приду в барак, штанишки скидываю, у печки сушу, да больно дух от них плохой. Уж такой плохой, такой плохой, аж срамота. И перед Богом и перед людьми срамно. Ему бы, Богу, благолепный ладан воскурить, а вишь, дух какой идет, — ни то перед Богом, перед людьми срамно. Отпусти ты меня, родименькая, в барак заранее — штанишки до людей посушить. Век за тебя буду Бога молить, да ниспошлет он тебе...

Так убедительно было сочетание Бога, страданий за него и мокрых штанишек, что я эту государственную преступницу своей властью отпускала в барак до того, как извещал гудок о конце рабочего дня.

В скором времени старушонку эту куда-то увезли. Видать, забросили ее к нам по ошибке. Таких, как она, не пригодных к работе, содержали на «двадцать пятом километре» — инвалидной командировке. Командировками звались на Колыме лагерные поселения, и тут сказывалось присущее всей советской действительности лицемерие — кто нас в командировки посылал?!

В чине звеньевой я оказалась по той причине, что со мной эти старые женщины хоть как-то работали. Заби-

тые, полностью растерявшиеся в обстановке лагеря с его проверками, разводящими, обысками, вечно кричащими вохровцами, они не умели за себя постоять и зачастую, работая на улице, не могли найти места, где бы погреться. На них всюду кричали и гнали свои же лагерники.

Работая снаружи, убирая снег в пятидесятиградусный мороз, порой мы заходили греться в одну из отапливаемых теплиц. Ее использовали для стекления рам. Эту легкую работу, как и всегда в лагере, выполняли сильные, здоровые молодые женщины, заслужившие свое привилегированное положение наличием тех или иных покровителей. Теплица хорошо натоплена, работают они в одних платках, делают легкую работу — режут стекла, вставляют в лежащие на столах рамы.

Вваливаемся мы, с мороза — кайлили замерзшие глыбы снега со льдом, впрягшись в сани, вывозили в отвал, — намерзли валенки, намокли рукавицы, хотим передохнуть, погреться у топки тепличной печи... Раздается голос милостливой, курносенькой, молодой Тани Кузнецовой:

— Кто их сюда пустил? Холод наносят, а мы тут раздетые. Стекла сломать могут. Бригадир! Где бригадир? Чего он смотрит? Гнать их надо отсюда, повадились ходить, нам работать мешать.

Вот так и гнали отовсюду свои же этих старух.

В звене старух находилась и Тоська. Конечно, в моем заступничестве, чтобы погреться у печки, она не нуждалась, ее не тронь — сдачу даст и работать не пойдет.

— Тоська, пойдем немного поработаем, а потом опять греться придешь, — стараюсь я ее уговорить.

— А ню тебя, и не подюмаю. И циго ты ко мне пистала, Беретинска? Отвязись, не пойду.

Зовет она меня то Сольмоновна, то Беретинска; по-хорошему — Сольмоновна, сердится на меня — Беретинска. А если уж вовсе рассердится, тогда скажет: «Сюлемы тьебе на три копейки» — так она ругается. Почему сюлемы, было еще кое-как понятно, но почему на три копейки — не вполне ясно, а спросить Тоську нельзя: не знаешь, что ответит. Но кроме «сюлемы» никакими другими словами

Тоська не ругалась. Иногда мне все же удавалось уговорить ее работать, но тут нужно было задеть ее самолюбие.

— Тося! Может, поможешь нам? Попался лед, надо ломом, а мы не можем, не хватает сил.

— Ну лядно... показь, где?

Когда Тоська захочет, она и сильная, и ловкая, и в такой азарт входит, что лом и кайло так и мелькают в ее руках, и тогда она начинает подгонять других:

— А ню, ребятки, севелись! («Ребятки» относится к старухам.) Быстреей, быстреей, а ню, сътобы живо! Давай, давай, циго стали? Работать надо, не на печи сидись. Ню, съто вы без меня? — кричала она, торжествуя.

В лагере Тоська пользовалась некоторой свободой, за ней не очень следили. Стали мы замечать, что за этими юбками вроде живот у нее растет.

— Тоська! Кажется, ты беременна.

— С циго бы это? — был ответ наивным тоном.

— Ну, тебе об этом лучше знать, — смеялись мы.

«С циго» да «с циго» — природу не обманешь, и в одну ночь по всему бараку раздался истошный крик Тоськи:

— Вьоды ка-льод-ной! Вьоды ка-льод-ной!

Помочь ей бросилась лежавшая неподалеку от нее Циля Коган.

— Что с тобой, Тося? Дать тебе воды? Что ты живот трешь, болит?

— Нет, Цилецька, не боли, я его мулю.

— Мылишь живот? Для чего? Разве это поможет?

— Да нет, Цилецька, я не мылю, а мулю. Разве ты не знаешь, Цилецька, что надо мулить живот? У меня же там съто-то есть, Цилецька, а у нас в деревне, если в животе съто-то есть, — надо мулить. Поняла, Цилецька?

Увы! Не только Циля, но и мы все, которых она перебудила, не понимали, что за таинственные манипуляции она предельывает с животом¹.

Тоська таким спокойным тоном объясняла свои лечебные процедуры, что Циля от нее отошла. Не успела

¹ Объяснение отыскала в Толковом словаре Даля: мулить, муливать — жать, производя зуд и боль.

лечь у себя на койке, как снова по бараку разнесся истошный крик:

— Вьоды ка-льодной! Вьоды ка-льодной!

Циля вскочила, подбежала к Тоське:

— Дать тебе воды? Вот я принесла, попей, легче станет.

— Сьто ты ко мне пистала, Циляцька? Не хоцю я вьоды.

— Так что же ты орешь и воды просишь?

— Нет, я пить сьовсем не хоцю. Это в насей деревне так делают: как в зивоте сьто-то есть, надо мулить зивот и вьоды кальодной кьичать; ты очень хоросая, Циленька, а дурная — ницего не понимаесь.

Перебудила тогда Тоська весь барак своим криком «вьоды кальодной», однако никто на нее не рассердился — мы буквально катались от смеха, как тогда, когда она громогласно объявила нам, что неизвестно, «с циго бы это» она беременна.

Так, беременной, погнали Тоську со всеми в пеший этап, и вместе мы оказались на Эльгене. Беременности своей она стыдилась и по-прежнему старалась ее скрыть. Как-то, встретив во дворе лагеря свою знакомую по Сеймчану Симу Вайсберг, стала она ей жаловаться:

— Знаесь, Симоцька, посла я к насему доктору — ведь зивот у меня болит, я много каси съеля, а он мне: «Ты беременна...» С циго бы это? — уже не прежним задорным тоном, а печально сказала Тоська свою обычную фразу. И вдруг ни с того ни с сего: — А по-зьор-то какой! По-зьор какой...

— Почему же позор? — делая вид, что не понимает, спросила Сима. — Ты же сама говоришь, что живот у тебя от каши болит.

— А ню тебя, Симоцька, — рассердилась Тоська. — Будто сьама не знаесь! Ты мне только скажи, как я людям в гляза глядеть стяну?

Так и пыталась Тоська обмануть и себя, и других и наперекор всем своим хитростям — родила. Родила без врача, не в больнице, а прямо тут же, в бараке, стоя у стола. Мы были разбужены криком ребенка, сама она не издала ни звука. Позор рождения ребенка от неизвестного отца не покидал ее. Конечно, ее взяли в больницу.

Ребенка своего она не стала кормить, специально простудила, и он недели через две умер от воспаления легких. Все это произошло на глазах тех, кто лежал с ней в одной палате. Встретив вышедшую из больницы Тоську, начала я ее стыдить:

— Что же это, Тоська, ты сделала? Выходит, своего ребенка заморила! Ведь все видели.

— Не верь, Сольмоновна, не верь. Это они со зла... никому не верь, — говорит она, причем не своим обычным тоном, а скороговоркой, подобострастно. И, неожиданно переменив и тему, и тон, спрашивает:

— Ты Борисова¹ знаешь?

— Ну, знаю... а при чем тут Борисов?

— Вот и при том... Ты знаешь, съто он за рюцьку со мной здоровкался? Как в палату придет, так ко мне первой — и рюцьку: «Тоська, здравствуй».

— Все-таки я не пойму, почему ты мне про Борисова рассказываешь, когда я тебя о ребенке спрашиваю, — все еще не могу я понять, куда Тоська гнет.

— Ты зе пьонять долзна: стал бы Борисов со мной за рюцьку здоровкаться, коли бы я заморила мово англоцька? Подюмать только... да рази бы я, Сольмоновна, такой грех на дусю взяла? Тозе... сказяла... Заболела кьосецька моя, баноцьки Борисов велел поставить махонькому. Лезит ангелоцик мой на подусецьки, а на спиноцьке у него баноцьки, баноцьки, ну вот сицяс улетит кьосецька моя прямо к Богу в Царьствие его Небесное. А ты залядила — заморила да заморила... А обо мне-то ты подюмала?

— А что мне о тебе думать? Ты жива и здорова, а ребенка — уморила, — все продолжала я обвинять ее в гибели ребенка.

Вдруг Тоська перестала оправдываться и стала наступать:

— А домой мне ехать пьидетця? Ты как об етом дюмаешь? Съто бы я с ребьенком на рюках людам говорить стала? Заморила... заморила... В Царствии Небесьном

¹ Борисов — главврач лагерной больницы Эльгена.

ангелоцик мой... где з ему есьцо быть, он зе махонький, гьехов на нем нет... Ты то подумай, что хоросо ему там и у меня рюки свободные — домой поеду. Заморила... заморила... понимать надо, а тогда и гьоворить.

Так мы и расстались на Эльгене с Тоськой, которая и ребенку райскую жизнь обеспечила, и про себя не забыла.

Вот еще вспоминается Тоська — как однажды в Сеймчане она у нас вождем была.

Работали мы как-то вместе с мужчинами на берегу реки на рубке капусты. Берег был недалеко, обедать водили в лагерь, для чего приходил за нами староста. Одним ходить было запрещено под угрозой карцера. На обед отводился всего час, за который надо успеть построиться (было нас человек шестьдесят), дойти до лагеря, где постоять, пока пересчитают, ринуться всем в столовую, где и без нас полно народу, вновь построиться и без опоздания быть на месте. Времени в обрез. Не успел — без обеда остался. Как-то раз гудок на обед прогудел, все построились, ждем, что староста поведет, а его нет. И такие уж все покорные, забитые, безответные, что никто не решается пойти без этого самого старосты, который и сам не бог весть какое начальство. Главное во всей этой механике движения на обед — чтобы пошла первая шеренга. За ней без страха пойдут последующие — «Откуда мы знали, что впереди нет старосты?».

Стоим, ждем, время уходит, того и гляди без обеда останемся, а пойти первыми никто не решается. Вдруг из рядов выступила наша Тоська в деревенской косыночке, стала впереди всех, подняла призывно руку, слегка обернулась назад и бодро крикнула:

— Ребята-а-а! Не тюсюйсь!¹ Зя мной! — и пошла своей обычной походкой, слегка наклонившись вперед, помахивая широкими юбками и потряхивая головой. И все пошли за этой смешной Тоськой, которая одна среди всей этой массы мужчин и женщин, старых и молодых, образованных и ученых, — не испугалась и позвала всех идти за ней.

¹ Не тушуйтесь.

Позвала: «Ребята, не туюсь, за мной!» — да еще все время и командует, подражая старосте:

— А ню! Къто там разговаривает? Не отстывай! Сире сят, сире сят! — и идет, спотыкаясь, поматывая хвостиком косынки.

По дороге мы встретили старосту. Зная, что опоздал, он очень спешил и вдруг увидел всю процессию с Тоськой впереди.

— Ты куда их ведешь? — спросил он, давясь от смеха.

— А ты не знаешь, съто обедать пора? Ты где пропал? Мьозесь уходить, мы и безъ тебя дойдем! А ню, не месай! Хочесь с нами идти — становись в ряд! — И снова, призывно подняв руку, прокричала свое: — Ребята, не туюсь, за мной!

И мы спокойно двинулись дальше. С таким командиром не пропадешь!

Любила еще Тоська песни распевать. И песни ее тоже были особенные. Излюбленным ее репертуаром были частушки. Так, она пела:

— Нитки цьорны, нитки цьорны,
Нитицьки кьюценые.
Пишют письма кавалерам
Барысьни уценые.

Из песен она любила «Ковыль шумит, деревья гнут-ся», особо останавливалась на том месте, где поется: «А поутру она проснулась, кругом помятая трава...» Часто повторяла она и присказку: «Одет, обут, сыт, пьян, и нос в табаке...»

Где кончила свои дни Тося Пепеляева, столько раз веселившая нас, не знаю, но вспоминаю о ней всегда с удовольствием и благодарностью за ту радость, что она приносила нам в нашей унылой жизни.



Японец

ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА

Елена Федоровна Лисицына (1915–1990) родилась в г. Лихвине (ныне г. Чекалин) в семье врача-хирурга Ф.И.Лисицына, основателя местной больницы. Училась в Литературном институте имени Горького, откуда была отчислена за «идеологически вредную направленность творчества». Арестована в 1947 году по делу Даниила Андреева. Освобождена в 1955 году. После освобождения жила в Воркуте, затем вернулась в родную Тульскую область. Работала бухгалтером, библиотекарем, участвовала в областных выставках как самодеятельный художник.

ЯПОНЕЦ

Лагерная больница в Тайшете, куда я попала в 1955 году, была расположена на склоне холма в сосновом бору. Во время войны там были пленные японцы, которые оставили после себя много удивительных вещей. Там были крошечные садики — площадочки по всему склону до самого верха; круглый деревянный будто бы фонтан с деревянными же дельфинами и экзотическими рыбами. Но лучше всего был флюгер на крыше над колодцем. Это был японец высотой около 50 сантиметров, в телогрейке, старой лагерной шапке, в тонких брюках и с двумя мечами в руках. Руки японца свободно двигались и неустанно рубили ветер.

На эту деревянную фигурку можно было смотреть часами. Зимой и летом, в жару и в мороз маленький неистовый японец боролся с ветром. Его лицо было иссечено ветром, как бывает оно иссечено у охотников и пастухов, но оно было бесстрастно, и он продолжал рубить и рубить ветер.

Честное слово, когда уходила на свободу, хотелось украсть его, и я бы украла, если бы смогла его достать.

Кроме меня, на него никто не обращал внимания. Он был очень хорош и очень значителен — этот маленький неистовый японец со своей никому не нужной ожесточенной войной.



Жулик

СОЛОМОН ГОЛЬЦМАН

Инженер-строитель Соломон Иосифович Гольцман (1900–1947) был осужден по вздорному обвинению как «враг народа» и приговорен к пятнадцати годам Колымы. Умер в больнице в Сусумане.

Дочь С.И.Гольцмана Лия Соломоновна сохранила его письма из лагеря. В этих рассказах-документах — живой голос очевидца и жертвы колымской трагедии.

Вот только один такой рассказ.

ЖУЛИК
(Письмо с Колымы)

Доченька!

Я хотел рассказать тебе смешной случай про собаку. Изволь...

В 43-м году после Берелеха я попал здесь путевым сторожем на шоссейную дорогу. Жил один в избе. В трех километрах от меня — несколько лесозаготовителей-рабочих. Мне скучно было одному. Случайно завел собаку — Жулика. И жили мы с ним на пару дружно. Я ходил в обход по трассе, он караулил дом и радостно встречал меня.

Свой паек я урезал ему в половинной доле, научил есть мое варево. Вначале он от него отказывался. Особенно долго я приучал его к фасоли. Но приучил. А вот ягоды и грибы так и не научил его есть. Хорошо мы с ним жили. Полюбили друг друга.

Как-то меня встретили в лесу мои соседи-рабочие и позвали к себе в гости. Я пошел. Предложили пообедать, обещали угостить бараниной. Я согласился и похвалил баранину. А когда поел, они, смеясь, спросили меня: «А знаешь, что ты ел? Это не баран, а твоя собака, твой Жулик...» Оказывается, когда я ушел в лес, они его украли, зарезали и зажарили — и позвали меня пообедать.

Не правда ли, смешно? Очень смешно. Я, правда, плакал от этого «смеха», но поздно было. С тех пор я мяса не ем, где бы мне его ни предложили.

Хотел тебя развеселить, да неуклюже получилось. Зато правдиво. Прости, доченька. Таких смешных случаев здесь немало. Смешно же было мне и тогда, когда у меня выломали мои вставные челюсти, чтобы их прокурить.

Здесь много смешного.

А мама писала как-то, что она хочет приехать сюда и даже копит деньги на поездку.

Что за смешная мама?!

1946



**Доброта
Васильки**

ЛИДИЯ КОГАН

Лидия Евсеевна Коган (1901–1985) – известный переводчик с французского. Благодаря ее трудам русский читатель смог познакомиться с книгами Мопассана и Жорж Санд, Золя и Арагона, Роллана и Барбюса. Однако мало кто знает о драматической судьбе самого автора этих переводов, которого не миновала горькая доля, выпавшая художнику в советском тоталитарном веке. Смерч репрессий выбрасывал Л.Е.Коган на острова ГУЛАГа дважды: в юности, в 1921 году, – на Соловки и уже в преклонном возрасте, в 1949 году, – в заполярную Абезь, откуда она вернулась на «материк», в Москву, только через четыре года.

Незадолго до смерти Л.Е.Коган работала над книгой прозы, остались также неопубликованными ее воспоминания о знаменитых современниках и о лагерной жизни.

ДОБРОТА

Все сливалось в черной мгле, простроченной косыми прядями снега. Медово теплились лишь оконца барачков. И вот распахнулась скрипучая дверь. Обдало теплом, удушливым запахом женского пота, портянок, плохо переваренной пищи. В желтом свете голых электрических лампочек, покачнувшихся от ворвавшихся внутрь струй морозного воздуха, копошилось множество полуодетых женщин, разматывавших деревенские платки, стаскивавших с себя через голову широченные деревенские юбки. При виде меня кое-кто из них замер, созерцая мою московскую шубу, боярскую шапку, болтавшуюся на шнурке норковую муфту. Зашелестели комментарии, произносимые шепотом, на каком-то незнакомом языке.

Я растерянно озиралась: весь барак застроен был сплошными низкими нарами. На них, аккуратно расстеленные, лежали одеяла, подушки, какое-то барахло. Женщины посовещались меж собой и, ни слова не говоря, раздвинули свои одеяла и освободили местечко где-то посередине. Поманив меня рукой, они гостеприимно пригласили его занять. Что делать? Надзирательница, которая меня привела, уже давно захлопнула за собой дверь. Деваться некуда. Я потерянно таращила глаза, одурев от мороза, секущего снега, ходьбы, тяжести груза — всего, что

обрушилось на меня за эти дни. Покорно швырнув на освободившиеся доски ненавистный груз одеяла, волглый от снега рюкзак, я стала снимать шубу. Неуклюже перелезая через коренастые туловища уже засыпавших женщин, я кое-как примостилась боком на освободившихся досках.

Привалившись тесно друг к дружке, как сардины в коробке или как бревна, погруженные вплотную на платформу, женщины лежали без зазора между ними. Незнакомая соседка заботливо укрыла меня краем своего стеганого одеяла, при этом что-то шепотом приговаривая все на том же непонятном языке. Не помню, она ли мне сказала: «Мы литовки» — или я сама по каким-то признакам догадалась — в бараке живут литовские крестьянки. От них веяло каким-то изысканным уютом, каким-то душевным миром и равновесием. И дружелюбием, даже странным в этом краю невзгод. Дружелюбием даже по отношению ко мне — пришельце из страны Советов, горожанке, еврейке. Правда, пришельце отнюдь не добровольной.

Обессиленная, умиротворенная, я мечтала заснуть. Но густой дух плохо переваренной пищи, повисший над нами и щедро испускаемый уснувшими крестьянками, ударял в нос. Я долго терзалась, пыталась дышать, защищая нос платочком — ничто не помогало. Зловоние просачивалось в легкие, отравляло сознание. Хотелось одного: вытолкнуть из своих легких этот зловонный дух, вдохнуть чистый, не пропитанный этими запахами воздух. Наконец я догадалась: стараясь не ворочаться, не шуршать, чтобы не привлечь внимание соседок, я воровато засунула руку в свой рюкзак, брошенный под голову вместо подушки, и, нащупав кусок туалетного мыла, осторожно извлекла его оттуда. Незаметно зажав пахучее «средство» в руке, я уткнулась носом в ладони. Стало легче. Я старалась думать о чем-нибудь приятном, вспоминала легкие ароматы луга, духов, полагая, что меня никто не видит и моя спасительная уловка пройдет незамеченной. Но не тут-то было: по веселому блеску глаз

приподнявшейся соседки я поняла, что она догадывается о моей стратегии. Я попыталась отодвинуть ладони от моего избалованного носа, но густой дух, повисший над нарами, не давал дышать. Его плотную густую массу, казалось, можно было рубить топором.

На следующую ночь, ложась спать, я сразу же вооружилась розовым овальным куском, стараясь незаметно зажать его в ладонях. Но, к великому моему стыду, хитрость моя на сей раз была сразу же обнаружена. Как ни старалась я действовать незаметно, чтобы не обидеть добрых женщин, первой заметила мою уловку вчерашняя соседка и тут же поделилась своими наблюдениями с остальными. Все оживленно залопотали по-литовски, явно обсуждая эпизод. Съездившись от неловкости, я с трепетом ждала, какие последуют «санкции», ждала, что на меня обрушатся с упреками, чуть ли не с бранью: вот, мол, барыня, чистюля! еще не такого нанюхаешься — и все это было бы верно и справедливо, и я заранее склонила голову перед настигавшим ураганом. Но вместо злобных упреков женщины, оживленно переговариваясь, сочувственно, соболезнующе поглядывали на меня, гладили по плечу, похлопывали по руке и, неожиданно сдвинув одеяла, освободили мне крайнее место на нарах: здесь дышать было легче. Сконфуженная, растроганная и обескураженная, стыдливо пытаюсь незаметно запихнуть в рюкзак предательский, вызывающе-розовый, как пасхальный поросенок, кусок душистого мыла, я смогла только дрожащими губами пролепетать: «Спасибо!»

ВАСИЛЬКИ

Нет, это не цветные нитки пропали, это растоптали васильки, взлелеянные в ее душе, захотели вырвать их с корнем, васильки, расцветавшие под ее пальцами наперекор колючей проволоке и дулам нацеленных на нее автоматов, наперекор окрикам стражи и вечному мраку заполярной ночи, — солнечные васильки в золотистой ржи ее забытого лета.

Как она кричала, как билась простоволосой головой, соломенной, как то далекое поле, как ревела белугой, как стонала! Из-за похищенного мотка синих ниток? Нет, из-за разбитой жизни, канувшей в ничто, как эти шелковинки, из-за несмелой надежды, похищенной у нее вместе с радостью запретного обладания, из-за так от-радно согревавшей душу и внезапно уворованной утечи, из-за растоптанных васильков, расцветавших в этой искалеченной душе вместе с наивным узором, который вышивали ее пальцы. Оставались только нацеленные ду-ла автоматов, стылый мрак заполярной ночи, затхлая, непереносимая духота барака.

Под этой плотной завесой низкого, нависшего, гне-тущего неба, среди визга и желтой полумглы барака, скрючившись на «верхотуре», на аккуратно застеленных тряпьем верхних нарах, они выводили наивные узоры и часами, слепя глаза, отводили душу в хитросплетения шелковых крестиков и многоречивости знакомых до бо-ли орнаментов, и под низко нависшим над склоненными головами потолком расстилались поля их родины, колы-халась золотая пшеница, звучали милые голоса, звенели родимые песни — и раздвигались стены барака, и лугом пахло его затхлое нутро, и утренней росой сверкала туск-лая изморозь на стенах. Душу свою влетали они в эти узо-ры: были то порою деревенские часовенки, «капельюшки», как они их называли, а не то милые цветы их отчизны в традиционном стилизованном орнаменте, — и оказалось: то великий грех, преступление против режима — без разре-шения начальства хранить эти манящие шелковые ни-точки, любоваться радугой их разноцветья, с какой-то сладостной негой перебирать скользящие моточки, бе-режно укладывать под подушку расшитые крестиком и любовно разглаженные рукою белые тряпочки, до голо-вокружения самозабвенно вдыхая запах домашности, трепетно окунаясь в прошлое. Вот эта домашность — в ней-то и заключалось преступление. И, дабы пресечь его, шелковые моточки конфисковали вместе с расшитыми крестиком наивными тряпочками. Начальство «бдило».



**Сила
слова**

НИНА ГАГЕН-ТОРН

Нина Ивановна Гаген-Торн (1900–1986). Красавица и умница. Дочь профессора Военно-медицинской академии. Выпускница Петербургского университета. Поэт и прозаик – ученица Андрея Белого. Ученый-этнограф – ученица Тана-Богораза и Штернберга. В юности – экспедиции на русский Север, самостоятельная научная работа. Блестящее, многообещающее начало.

Такой была увертюра. А потом – жизнь: тюрьмы и лагеря Колымы – Сеймчан, Эльген, Мылга. После небольшого перерыва, за который Нина Ивановна успела вернуться в Академию наук, подготовила кандидатскую диссертацию, – новый арест, на этот раз – мордовские лагеря. И там, в лагерях, огромная духовная работа: запомнить, запечатлеть в слове, сплавив воедино лиричность поэта и точность ученого.

«В страшной жизни, где люди носили платье с номерами, не имели связи с нормальным бытием, встретить человека, как бы витающего над всем лагерным ужасом, – чудо. И этим чудом была встреча с Ниной Ивановной Гаген-Торн...»

Это из воспоминаний К.С.Хлебниковой-Смирновой из Таллина. И дальше: «Встретилась я с Ниной Ивановной в Мордовии, в Потье, в 1949 году. Я после брюшного тифа находилась в полустационаре третьего лагпункта. Лежали мы на сплошных нарах, больные, занятые своим горем. Почти все были обвинены в преступлениях, которых не совершали. К нам приходила, нам служи-

ла известная своей добротой Нина Ивановна. Она не только старалась облегчить нам физические страдания, но и душевные. Читала свои и чужие стихи, рассказывала об экспедициях. И мы на какое-то время забывали о своей доле горькой...

Нина Ивановна работала в лагерной обслуге “конем”. Она говорила: “Конь — благородное животное. Хорошо быть конем!” (Несколько женщин впрягались в телегу летом, в сани зимой и возили бочку с водой то в столовую, то в больницу. Возили они и дрова. Труд тяжелый, а женщины были пожилые...)

На 10-м лагпункте было много украинских больных девушек. Нина Ивановна устроила академию — занималась с девушками русской литературой и историей. Впоследствии некоторые из них поступили в университет на филологический. Кроме академии Нина Ивановна написала там большую поэму о Ломоносове, которую во время обыска отобрали лагерные надзиратели. Оперуполномоченный сказал Нине Ивановне: “Пишите и приносите ко мне на хранение. Когда освободитесь, я ее вам пришлю по почте...” Сдержал слово, прислал в Красноярский край, где Нина Ивановна оказалась в ссылке...»

Ничто не изуродовало ее души, не сломило. Улыбка — на всю жизнь. Когда однажды фотография Нины Гаген-Торн была опубликована в газете, в редакцию посыпались письма, некоторые просто с фотографиями неопознанных загадочных женщин: «А может быть, это она?..» Само явление красоты взволновало, растревожило.

Возвратившись после освобождения в родной Ленинград, Нина Ивановна еще много лет работала в этнографическом музее, опубликовала более полусотни научных статей, две книги. И не прерывала литературного творчества: написала две книги прозы, воспоминания, книгу стихов (ее поэтический дар знали и ценили А.Ахматова и Б.Пастернак)...

Илья Сельвинский писал Нине Гаген-Торн в 1964 году: «Дорогая Нина Ивановна! С глубоким волнением прочитал Ваши стихи. В них захватывает подлинность переживания. Это гораздо выше искренности, которая иногда у некоторых поэтов как бы смакует боль и этим впадает в кощунство. Вы очень верно сказали: “О боли надо говорить простыми строгими словами...” Именно так Вы и говорите.

Ужасно жаль, что в наше время, запутавшееся в далеко не диалектических противоречиях, Ваших стихов нельзя опубликовать. Но не падайте духом: придет и для них время — иное, освобождающее.

Вы в этом отношении не одиноки: целые романы и трагедии спят в берлогах, ожидая весны».

В. Шенталинский

СИЛА СЛОВА

Они шли гуськом, друг другу в затылок, чтобы не сбиться с тропки и не провалиться в промоины, где быстрый поток пробил лед, образуя черные полыньи. Снег, острый и колючий, как град, хлестал в спины. Они все сжались, втягивая шеи в бушлаты и стараясь защитить щелки, куда забивался ветер. Был восьмой час, и до рассвета оставалось еще часа два. Не сбиться с тропы помогала белизна снега: на этой непорочной чистоте была ясна и чернота полыньи, и тени от поваленных, засыпанных снегом деревьев. Опасность оставалась в том, что мелькающий падающий снег слепил глаза и накрывал белым покровом кашицу воды по наледям. В нее легко было ступить, и тогда ледяная вода сразу пропитывала валенки. Они шли молча, думая только о том, сохранились ли горячие угли под пеплом костра в заслоне. Если сохранились — можно сразу разжечь костер, сесть кругом него на баланы дров, дожидаясь рассвета; валить лес можно, только когда рассветет, в десятом часу утра. Развод заключенных на работы проходил в семь. Если все будет благополучно, они за час дойдут до места и там, в яме под корнями плавника, будет защита от ветра. Будет золотой милый огонь, к которому можно протянуть руки, подставить намокшие валенки, иссеченные снегом

бушлаты. Можно вздохнуть: теперь уже никто не попал под лед, все в безопасности! И, бездумно уставившись, кормить золотое пламя крупными сухими ветками. В черное небо от лиственничных ветвей взвываются золотые искры, мешаясь с белыми снежинками. Можно сесть, сохранять неподвижность, не боясь, что мороз охватит тебя и ты уже не сможешь встать.

Почти все были слабые или больные женщины, они легко могли уснуть на морозе. Но что-то заставляло их еще не хотеть уснуть навсегда, заставляло двигаться, жить... Упорно они переставляли ноги, нащупывая тропинку, и шли. Они были расконвоированные и шли без стрелка: зачем гонять стрелка с этой доходяжной командой 58-х? Куда они убегут, они, которые мечтают только о том, чтобы немного отдохнуть? Это понимало и начальство.

— Тут? — сказала передовая, вглядываясь в темневшие из снежной мути верхушки лиственниц. — Тут. Поднимаемся с реки, и по берегу останется метров сто до нашего кострища.

— А вы не сбиваетесь, Марина? — робко сказала Бася Лазаревна, высовывая нос из укутывавшего ее платка. — Я, извините, не представляю себе, как это можно узнать, что надо подниматься именно здесь?

— По деревьям. Да и по реке: видите, вон изгиб — просвет между деревьями. Это она сворачивает в сторону, — отвечала Марина, легко подтягиваясь по стволу на береговой обрыв и протягивая руку следующей.

Пока они втягивали друг друга на крутой, но не высокий береговой откос, Марина вдоль наваленной стены весеннего плавника прошла в ложбинку и опустилась в снег у кострища. Кострище было устроено так, чтобы снег не забивал его. Под навесом корней принесенной водой лиственницы Марина разрыла груды пепла. Под ней еще тлели красные угольки.

Торопливо вынула из-за пазухи кусок лучины, достала из-под корней спрятанный пучок сухой травы и, положив на угольки, припала к ним лицом, раздувая пламя.

— Как? — спросили сразу несколько голосов. — Сохранились?

— Благодарение Богу, — отвечала Бася Лазаревна. — Марина такая удивительная женщина, чтоб она была здорова: угли совсем красные!

В это время сухая трава вспыхнула, и Марина, не вставая с колен, стала подкладывать мелкие веточки. Катя, с выбившимися из-под ушанки льняными прядями, с раскрасневшимся лицом, вступила в круг разгорающегося огня и бросила большую охапку хвороста. Снежинки сверкали, легким паром стаивая на ее черном бушлате. Другие девушки тоже приволокли хворост и бросили в костер несколько двухметровых поленьев с замеренного уже штабеля. Костер горел веселым золотым снопом, кидая искры до самого неба. Наиболее уставшие, не помогая, сидели кругом на поваленных стволах, раскутывая платки, отряхиваясь от снега, грея иззябшие руки. Марина, подняв голову, смотрела, как путались в пляске белые и огненные снежинки, водоворотом поднимаясь в мутно-черное небо. Лапы ветвей, еще более черные, окаймляли его. У костра было тепло, ветер обегал защищенную яму, и становилось непонятным: как могли они пройти в этой белой колющей мути по замерзшей, стерегущей черными промоинами у водоворотов реке?

Марина скинула шапку, обила с нее снег о колено и села, оглядывая женщин. Четыре пильщицких пары — восемь, Катя, ее напарница, девятая.

— Все дошли, — сказала она.

— Могли и не дойти, — со смехом отвечала Катя, — у меня под ногами здорово лед трещал, думала, провалюсь...

Бася Лазаревна испуганно подняла на нее черные влажные глаза, а Анисья Романовна, грузная женщина лет сорока, торопливо перекрестилась. Она уже достала из-за пазухи ломоть хлеба и поджаривала его на огне, наткнув на длинный прутик. Аня, которая в прежней жизни была аспиранткой Казанского университета, и

Галина Ивановна, бывший секретарь обкома партии, за-спорили из-за пилы.

— Я тебе говорю, Аня, что это пила моя, мне ее специально наточил Николай, я дала ему осьмушку махорки и вовсе не намерена уступать ее кому-то другому.

— А я тебе говорю, — отвечала Аня, — что я сама выбрала эту пилу еще в начале зимы и сделала на ней пометку. Видишь буквы «АГ»? Что — видишь?

— Ну и что же, что буквы? Я вчера ее взяла и отдала точить с этими самыми буквами.

— А не надо было отдавать чужую! Надо было смотреть, которая твоя! Тоже мне, работничек! — сердито говорила Аня, блестя глазами и не выпуская рукоятки. Наточенные зубья пилы поблескивали красным в отсветах костра, она гнулась и звенела в Аниных руках. Галина Ивановна отшвырнула в снег окурок и сказала, отворачиваясь:

— Я не намерена лишать себя махорки для того, чтобы вы получили наточенную пилу! Тогда верни мне пачку махорки.

— А я не торгую махоркой, — дерзко отвечала Аня. — Я и так всю ее отдала ребятам с конбазы.

— Почему же ребятам, а не женщинам, которые курят? — уничтожающе поджимая губа, спросила Галина Ивановна. Остальные молча смотрели на них, держа на расставленных руках перед огнем мокрые платки. От платков исходил пар. От человеческих лиц исходило — только ли усталое равнодушие, или примесь злорадства тоже?

— Вот, — медленно сказала Марина, — мы сидим здесь и ничего особенного не переживаем, ни о чем не думаем. А подумайте-ка, если кто-нибудь со стороны, в кино например, увидел бы, как мы шли. Ночь... Пурга... Пурга метет такая, что глаз не раскрыть, ветер сечет в спину и в шею. Тропочка узенькая-узенькая. Передняя идет и видит: там полынья и тут полынья. Провалится — может унести под лед.

— Очень даже просто! — весело сказала Катя, но Марина остановила ее рукой.

— Идут женщины и не знают: сохранились угольки или не сохранились. А ведь спичек-то не дают! И у дневальной выпросили всего три спички. Не удастся развести костер, тогда что?

Марина обвела сидевших глазами. Освещенные огнем лица переменились: равнодушие исчезло, пошли по ним ожившие тени тревоги, напряженности, боли.

— Каждый, — продолжала Марина, — кто посмотрел бы такой фильм, сказал бы: «Боже мой, какой снег! Какая страшная темнота... Куда идут эти бедные женщины? Они такие слабые, усталые, куда они идут ночью? И за что должны они так страдать?..»

Марина говорила медленно, глядя в огонь, изредка подбрасывая в него мелкие веточки. А все девять пильщиц смотрели на нее. Лица их, освещенные костром, все больше и больше менялись: маска равнодушия таяла, как снег на бушлатах, — видно было, как становилось им все больше и больше жаль себя. Вот Анисья Романовна подняла свой красный толстый байковый платок к голубым глазам и сказала, отирая слезы:

— Бедные мы, женщины! Каково-то нашим близким увидеть все это! Бедные они, бедные!

Катя заплакала громко, припав к Маринину плечу. По ее пухлым и румяным молодым щекам текли слезы. Она воскликнула:

— Старенькие такие! Больше тридцати лет им, голодные... И за что они мучатся? Кому это надо? Провались он пропадом, этот лесоповал!

— Кому? — повторила Бася Лазаревна, смахивая слезы, и посмотрела на Галину Ивановну. Но Галина Ивановна молчала, закусив губу.

А Марина медленно ответила:

— Кому? Мы не знаем, кому. Но что все мы несчастны, у всякой горе и всякую пожалеть надо, — это мы знаем. И это вот — правда.

Женщины улыбнулись сквозь слезы и посмотрели друг на друга жалостными глазами.

«Очнулись! Увидали себя со стороны, в поданном им готовом образе, и очнулись. Показать, осветить, дать почувствовать собственное и чужое несчастье может слово, — подумала Марина. — Оно дает силы быть человеком...»

Снег перестал идти.

Небо уже светлело, красные пятна выступили с краю и разливались все шире, обливая вершины лиственниц, расходясь по облакам, как круги по воде. И выступили на белой земле твердые, замершие стволы деревьев, что лежали поваленные, принесенные паводком, и тех, которые женщинам еще предстояло свалить с корня.



Конный милиционер

БОРИС АНТОНЕНКО-ДАВИДОВИЧ

«Мой папа далеко, но скоро вернется» — так отвечала четырехлетняя Ярина на вопрос об отце. А когда увидала его в тюрьме, во время свидания, спросила: «Таточку, чому тебе посадили в клітку?» Отец засмеялся и ничего не ответил. Да и как объяснишь ребенку, что такое террористическая организация, которой на самом деле нет?

Борис Дмитриевич Антоненко-Давидович (1899—1986) — украинский писатель, автор повестей, рассказов, романов (более 20 книг), вышедших на украинском и английском языках далеко за пределами родины (Австралия, Англия). Перу его принадлежат повести «Смерть» и «Дуэль», роман «За ширмой», сборник рассказов «Землею украинской», филологическое исследование «Как мы говорим».

Он был арестован 2 ноября 1935 года, в лагерях и на поселении пробыл 22 года, реабилитирован в 1957 году.

Два тома его произведений вышли недавно на Украине, о нем подробно рассказывает дочь писателя Ярина Голуб («Мій батько — Борис Антоненко-Давидович». Полтава, 1995).

КОННЫЙ МИЛИЦИОНЕР

Это только на первый взгляд Беймбет Кунанбаев кажется дикарем и нелюдимом, но стоит присмотреться к нему внимательнее, попробовать с ним поговорить, и вы увидите, что этот немолодой казах, которому уже за пятьдесят, человек добродушный, но очень обиженный судьбой. Она обошлась с ним так жестоко, что он никак не может прийти в себя, несмотря на то что с тех пор, как свершилась эта страшная несправедливость, минуло четыре года. Легко сказать — четыре года, а сколько горя за это время перенес несчастный Беймбет! Сколько мытарств и лишений выпало на его долю, голод, холод, мучения... Куда только не бросало его взбаламученное житейское море, словно жалкую щепку, в какие снега не заносило Беймбета, какие морозы его не морозили! Если бы кто-нибудь раньше сказал ему, что все это случится с ним на самом деле, а не приснится в кошмарном сне, — Беймбет не поверил бы. А ведь нужно еще шесть лет ждать, когда он сможет вернуться в свой степной аул и будет спать не на верхних нарах, а в юрте, на кошме, пасти коней, пить кумыс, перекочевывать летом на свежие пастбища Алатау... Да и дождется ли этого Беймбет, выдержит ли еще шесть лет, если за четыре года он так подорвал здоровье, что Беймбета взяли из шахты как не пригодного

к тяжелому труду под землей и дали работу на поверхности — в вентиляции?

Работа не трудная, да, собственно, это и не работа: выведут Беймбета вместе с другими за лагерную зону и оставят под надзором конвоира с дудоргой¹ возле шурфа, через который сбрасывают в шахту крепильный лес. Возле шурфа раскорячил четыре железные ноги вентилятор, за ним и должен следить Беймбет: включить рубильник, чтобы вентилятор нагнетал в шахту свежий воздух, и время от времени проверять, потрогав его железные бока: не перегрелся ли мотор. Если зима или ранняя весна, Беймбет должен насобирать щепок и всякого мусора, оставшегося от крепильного леса, и развести костер, потому что надо греться конвоиру и ему самому. Вот и вся работа, а потом сиди себе и думай невеселые думы.

Беймбет и хотел бы перекинуться словом с конвоиром, да конвоиру из ВОХРЫ не положено общаться с зеками, но если бы он от скуки и нарушил запрет, все равно Беймбет не смог бы с ним разговориться. Камнем преткновения стал бы русский язык: его Беймбет, человек из глухого, отдаленного аула, до ареста совсем не знал, а очутившись в лагере, по старости не смог выучить как следует.

Конечно, за четыре года Беймбет научился кое-как объясняться по-русски, у него даже накопился небольшой запас русских слов, но какие же это слова, почерпнутые из лагерного окружения, — ненадежные, более того, даже опасные!

Заболел как-то Беймбет — колело в боку и сводило ногу. Едва доплелся до медпункта со своей бедой и, дождавшись очереди, говорит врачихе:

— У меня в боку очень х...

Врачиху прямо передернуло от такого неприличного слова, да еще из уст пожилого казаха.

— Это еще что такое, Кунанбаев? Ты как выражаешься? Я не желаю тебя и слушать!

¹ Дудорга (лаг. жарг.) — винтовка.

Не верит, видно, врачаха Беймбету, думает, что он с какой-то мастыркой¹ пришел, чтобы закосить² освобождение. Но если врачаха не освободит Беймбета от работы, то как ему спускаться в шахту, когда он едва держится на ногах? И Беймбет стал умолять:

— Полина Сергеевна! Я не косарик, нет, косить не надо, нехорошо это. Я правду говорю: мне джуда джаман!³ — вырвалось у него невольно, но в отчаянии он спохватился: вдруг докторша по-казахски не поймет, и он снова повторил неприличное русское слово.

Сама осужденная неизвестно за что на десять лет, доктор Староверова не выносила похабной лагерной ругани и уже готова была выгнать Беймбета, если бы не бывший адвокат Гостицкий, стоявший за ним в очереди, который, улыбаясь, объяснил докторше:

— Да он же иначе и не может сказать, Полина Сергеевна. Это невинное дитя природы уже немного перевоспиталось в исправительных лагерях, и вот последствия...

Врачиха, все еще сердито посматривая на Беймбета, натерла ему бок какой-то мазью, записала на освобождение от работы, но напоследок еще раз отчитала:

— Смотри мне, Кунанбаев, чтоб я от тебя такого больше не слышала!

Вот и говори после этого по-русски, если каждый раз можешь сесть в калошу из-за какого-нибудь вроде простого, а на самом деле очень коварного слова! Особенно, когда говоришь с начальством. Одно-единственное и есть у русских верное слово — «давай». Его и начальники каждый раз повторяют: «Давай на допрос», «Давай на этап», «Давай на работу»; и даже если зеку в кои веки выпадает что-то приятное, все равно — давай: «Давай в баню», «Давай получай посылку». Этим словом и пользуется Беймбет во всех случаях жизни: то ли просит в столовой свою порцию баланды, добродушно говоря: «Давай-давай-

¹ Мастырка (*лаг. жарг.*) — рана или отек, которые умышленно делают заключенные, чтобы получить освобождение от работы.

² Закосить (*лаг. жарг.*) — незаконно, симулируя, получить освобождение от работы.

³ Джуда джаман (*казах.*) — очень плохо.

давай», то ли когда конвоир возле шурфа прикажет развести костер, бросив: «Давай огонь!» — Беймбет и тогда соглашается: «Давай-давай-давай», хоть конвоир после этого подозрительно косится на него: не издевается ли эта азиатская контра?.. Вот потому чаще всего и молчит Беймбет. Залезает в барак на свою верхотуру — верхние нары, куда загнали его более расторопные и помоложе его зеки, сядет по-турецки на разостланном старом бушлате и думает.

Не выходит из головы у него та ночь, когда в аул за Беймбетом приехали на машине русский в гражданском и казах в полушубке и с наганом на боку. Перевернули все вверх дном в юрте, что-то искали и, ничего не обнаружив, повезли Беймбета сначала в Джамбул, а потом в Алма-Ату.

Еще раньше, тоже ночью, забрали в ауле учителя и колхозного зоотехника, а люди не знали, что и думать. Что же теперь говорят в ауле про Беймбета, ведь его все знали как доброго, тихого человека, который никому никогда не причинил зла, никого никогда не обидел? Возможно, его забрали по ошибке, подозревая, что Беймбет украл что-то или прячет ворованное, так нет же — ничего чужого у Беймбета не нашли, только взяли старую-престарую газету, в которую жена когда-то заворачивала платок, купленный на базаре в Джамбуле для маленькой единственной дочки: когда подрастет, станет девушкой на выданье, тогда и будет его носить, а пока пусть лежит в сундуке.

Непонятно было, почему взяли не платок, который стоил немалые деньги, а — газету, никому не нужную бумагу, какой у любого начальника сколько угодно. Однако не в той ли газетной бумаге и таилась та злая сила, что повлекла за собой все дальнейшие несчастья Беймбета? Не раз на допросах в Алма-Ате следователь-русский потрясал этой газетой и с презрением выкрикивал Беймбету:

— Ах ты, левосерый конный милиционер!

Что такое «левосерый», Беймбет и до сих пор не разгадал — слишком уж мудреное русское слово, но почему следователь упрекал его службой в милиции, и к тому же еще в конной, — Беймбет диву давался. Да разве за

службу в милиции наказывают? Ни в тюрьме, ни на этапах, ни в лагере Беймбет еще ни разу не видел бывшего милиционера. Всяких людей доводилось встречать по эту сторону жизни — колхозников, рабочих, ученых, даже из начальства попадались иногда зеки, но милиционера — ни одного. В ауле, где жил Беймбет, вообще не было милиции, в Джамбуле, куда изредка приезжал Беймбет на базар, ему случалось видеть милиционеров, но он всегда обходил стороной вооруженных людей. Дела к ним у Беймбета не было, а случайно столкнуться — не приведи Бог: у кого есть сабля и наган, на той стороне и закон, и сила, так что лучше держаться от них подальше.

И все же следователь считал его конным милиционером...

Беймбет увидел-таки учителя из аула. В Алма-Ате на очной ставке их свели, чтобы они признались в своих преступлениях, разоблачая друг друга.

Учитель, исхудавший, бледный, видимо, чем-то очень напуганный, говоря по-русски, подтверждал, что он сам и Кунанбаев были-таки «левосерыми». Однако как ни напрягал мысль Беймбет, но так и не мог объяснить значения этого загадочного русского слова и только знай себе твердил, что он ни в конной, ни в пешей милиции никогда не служил... Расспросить учителя про «левосерого» Беймбету не удалось: их быстро развели по разным камерам. Свели их еще раз всех троих — Беймбета, учителя и зоотехника — на суде, но там подсудимым разговаривать не разрешалось, и Беймбет ни о чем не мог расспросить учителя. На суде, хоть учитель говорил по-русски, Беймбет понял, что он признал себя «левосерым», зоотехник что-то отрицал, а Беймбет — ни два ни полтора; впрочем, это не помогло никому из них, и суд приговорил каждого к десяти годам далеких лагерей.

Кто его знает, может быть, учитель и на самом деле был каким-то «левосерым» — он человек ученый, знает не только арабское письмо, но и русское, и Беймбету с ним не равняться. Но почему Беймбета приплели к этой странной истории? Не иначе как кто-то наговорил на Беймбета. Но для чего? Кто? Ведь Беймбет ни с кем не ссорился, никому не сделал ничего плохого...

И опять — мысли, догадки, предположения, от которых только болит голова, а ни до чего так и не додумаешься.

Особенно преследуют Беймбета мысли и воспоминания весной, когда и в Букачаче начинает пригревать красное солнышко и даже во дворе лагерного пункта из земли, утопанной множеством ног, пробивается зеленая травка. В такие дни Беймбет не выдерживает своего вынужденного одиночества и слезает с верхотуры, подходит к заброшенному сюда откуда-то с Украины бывшему колхозному счетоводу Бондаренко и садится рядом с ним на нарах.

Немного помолчав, Беймбет глубоко вздыхает и говорит:

— Эх, Бондаренко, если бы ты видел, как у нас в эту пору растет трава в степи, а по степи идет один верблюд, за ним — другой, третий, четвертый, а сбоку бежит маленький верблюжонок и шиплет зеленую травку, — ты бы плакал большой слезой!..

Бондаренко не смеется над Беймбетом, не прогоняет его, как другие, он только молча кивает головой в знак согласия и продолжает писать, подложив под бумагу дощечку себе на колени. Пишет он в свободное от работы время жалобы для заключенных и немного этим подрабатывает, получая в благодарность деньги или продукты из посылок. В бараке есть еще один человек, который пишет людям жалобы, — это бывший адвокат Гостицкий, разбирающийся в законах и даже имеющий маленькую книжечку Уголовного кодекса. Но как убедительно Гостицкий ни написал бы, доказывая, что следствие и суд подошли к делу обвиняемого однобоко, не учли, мол, того-то и того-то, да к тому же нарушили еще такую-то статью Уголовно-процессуального кодекса, ответ на его жалобы всегда один: оснований для пересмотра дела нет. Даже самому себе, несмотря на неоднократные обжалования, он не может добиться хотя бы сокращения срока. Поэтому Гостицкий мало популярен как *жалобщик*, и к нему обращаются за помощью либо новички в лагере, либо глубокомысленные интеллигенты, которых столько намела в лагеря за последнее время ежовская метла.

Зато Бондаренко завоевал большую популярность среди зеков своими жалобами, и к нему обращаются даже из других лагерных пунктов, обещая за написание жалобы хорошее вознаграждение. Пишет он безо всяких юридических премудростей, не ссылаясь ни на статьи Уголовного кодекса, ни на правительственные постановления, а просто: «Меня жестоко били на следствии, и я наговорил на себя черт знает что. Но в действительности я не такой, а вот какой». Тут Бондаренко кратко излагает биографию осужденного и в конце обычно пишет: «Где в советских законах сказано, что людей можно мучить и заставлять наговаривать на себя? Это же не старый режим!..»

Кое-кто опасался: как бы такие резкие высказывания не повлекли за собой новой беды и того, кто жалуется, не постигла бы еще бóльшая кара из Москвы, но то ли немудреная писанина Бондаренко вызывала жалость у кого-то в Верховной прокуратуре и Верховном суде, то ли у Бондаренко была просто легкая рука на жалобы, — не раз уже бывало, что человеку уменьшали срок, а один раз заключенного даже совсем выпустили на волю, хотя за плечами у него было пятнадцать лет далеких лагерей.

Вот если бы Бондаренко написал жалобу и Беймбету — может, и его быстрее отпустили бы в родной аул! Эта мысль не раз уже приходила в голову Беймбету. Он и сегодня подсел к Бондаренке не только для того, чтобы поделиться воспоминаниями про весеннюю казахскую степь, но и с практической целью — попросить написать ему жалобу. Однако как к нему подступиться? Ведь за составление жалобы надо отблагодарить, а что может дать Беймбет, если ни денег у него нет, ни посылок он не получает?

С тех пор как забрали Беймбета ночью из аула, затерялся и след его. Ни жена с дочкой не знают, куда он девался, ни Беймбет не представляет, живы ли они, что делают, как на хлеб зарабатывают... Хоть бы кто-нибудь из Казахстана тут был — тогда, может, Беймбет и разузнал бы что-нибудь про родню. Но на весь лагерный пункт только он один казах. Все остальные — из разных краев, о каких Беймбет и не слышал раньше в своем ауле. Много было казахов в алма-атинской казарме, немало их ехало с ним степями, да всех их рассеяло на долгой

дороге, которая затянулась едва ли не на месяц, и в Букачачу из Казахстана привезли только одного Беймбета.

Однако жалобу непременно надо писать — может, и над Беймбетом смилостивится-таки если не Аллах на небе, то прокурор в Москве. И Беймбет наконец решается просить:

— Слушай, Бондаренко, давай пиши жалоба. Сколько скажешь, столько буду давать тебе балык и горбушка.

Балыком Беймбет называет по-казахски кусочек соленой рыбы-горбуши, что дают зекам на обед, а горбушкой заключенные окрестили хлебную пайку. Не такая уж это и привлекательная плата, ведь «горбушка» у Беймбета — не шахтерская теперь, а как у всех, кто работает на поверхности, каких-то там шестьсот граммов, и хоть придется Беймбету какое-то время жить впроголодь, но ему не привыкать — лишь бы согласился взять такую плату признанный мастер по делам жалоб Бондаренко.

— Жалобу, говоришь? — спрашивает, задумавшись, Бондаренко и почесывает затылок.

— Жалоба, жалоба! — оживился Беймбет, чувствуя, что дело вроде идет на лад. — Давай пиши! Балык, горбушка тебе — сколько скажешь.

Бондаренко еще подумал, вздохнул и согласился. Что ж — в лагерной житухе пригодится и лишний кусок хлеба с горбушей.

Через несколько дней Бондаренко позвал к себе на нары Беймбета и стал расспрашивать:

— Ну, так рассказывай, что именно тебе шили¹, чтобы я знал, как писать.

Бондаренко положил на колени дощечку с вырванной из тетради страницей и взял карандаш.

— Следователь шил — милицию. Говорил: «Ты, Кунанбаев, левосерый конный милиционер», — а я ни в конной, ни в пешей милиции не служил. Неправду говорил следователь.

— Погоди, погоди, — останавливает Беймбета Бондаренко, который ничего не может понять. — Какой конный милиционер? А что такое «левосерый»?

¹ Шить (*лаг. жарг.*) — предъявлять ложное обвинение.

— Следовательно так говорил, так писал: суд говорил — «левосерый», десять лет давал... — разводит руками Беймбет и опять повторяет: — Я ни в конной, ни в пешей милиции не служил.

Видя, что от Кунанбаева ничего не добьешься, Бондаренко решает:

— Придется идти к трудиле¹ — расспросить про твое дело: что-то ты не так объясняешь.

— Все так, все так! «Левосерый конный милиционер», а я ни в конной, ни в пешей... — уверяет Беймбет, и Бондаренко верит ему, но от этого густой туман в его таинственном деле, которое заинтересовало уже и самого Бондаренко, не рассеивается.

Вечером он пошел к завурчу спросить, по какой статье осужден Беймбет.

Завурч достал из шкафа формуляр з/к Кунанбаева и сказал:

— Статья 58, пункт 10 и 11, то есть контрреволюционная агитация и контрреволюционная организация, да к тому же еще и пять лет по рогам². А что такое?

Бондаренко рассказал про непонятого «конного милиционера», но завурч презрительно махнул рукой:

— Врет, падло! Привык морочить голову следователям, так и тут темнит.

Не добившись ничего от завурча, Бондаренко, которого уже охватил азарт следопыта, обратился к Гостицкому, хотя обычно избегал советоваться с ним по юридическим делам.

— «Конный милиционер»? — пожал плечами Гостицкий, одеваясь на ночную смену. — Может, обругал какого-то милиционера или дал, то ли не дал взятку? — высказал догадку Гостицкий, и Бондаренко сразу побежал расспрашивать Беймбета:

— Кунанбаев! А может, ты обругал какого-нибудь конного милиционера? Вспомни хорошенько.

— Никогда и не говорил ни с каким милиционером.

— Может, калым давал?

¹ Трудила (лаг. жарг.) — завурч, заведующий учетно-регистрационной частью.

² По рогам (лаг. жарг.) — поражение в правах после отбытия наказания.

— Калым джок¹, — ответил по-казахски Беймбет, услышав от Бондаренко родное слово «калым».

Так ничего и не выяснив, Бондаренко поспешил на ночную смену, чтобы по дороге в шахту еще поговорить с Гостицким.

— Мне кажется, дело тут не в милиционере, а в чем-то другом. Может быть, это какое-то восклицание, которое часто слышал Кунанбаев от следователя, но истолковал по-своему, — сказал задумчиво Гостицкий и добавил: — Однако это относится не столько к сфере юстиции, сколько к обыкновенным кроссвордам, а я не мастак разгадывать их.

И все же на следующее утро Гостицкий, вернувшись с работы и, видимо, сам заинтересовавшись этой юридической головоломкой, подошел к Бондаренко:

— А не означает ли этот «конный милиционер» — контрреволюционера?

Они оба поспешили к Беймбету, и Бондаренко нетерпеливо спросил:

— А может, следователь говорил тебе, Кунанбаев, — «контрреволюционер»?

— Ну да, да! Сказал: «конный милиционер», — подтвердил Беймбет.

— Ну, вот видите! — улыбаясь, развел руками Гостицкий. — А теперь нужно расшифровать «левосерого».

Но «левосерый» не поддавался никакому истолкованию. Сколько ни бились с ним и Гостицкий, и Бондаренко, ничего не выходило. Сбивал с толку невыразительный цвет — серый, который был в основе инкриминированного определения. Всякий другой цвет еще можно было бы понять: красный — что-то революционное, черный — имеет отношение к анархизму, даже зеленый — чем-то связан с исламом, но — серый? Да к тому же еще — левосерый?

— Ничего не пойму, какая-то чепуха! — пожал плечами Гостицкий и уже хотел было идти, но остановился и посоветовал Бондаренко: — А вы спросите про «левосерого» у нашего воспитателя Делова...

¹ Джок (казах.) — нет.

— А что может сказать этот обленившийся придурок? — удивился Бондаренко столь несерьезному предложению серьезного человека, каким все считали Гостицкого.

— Не говорите, не говорите, — возразил Гостицкий. — Во-первых, Делов — бывший оперативник из органов, только проворовался и схватил за это десятку. Не исключена возможность, что он посвящен в тайны специфической терминологии. Во-вторых, он, кажется, работал какое-то время в Казахстане.

И все же Бондаренко считал, что от Делова в этом неясном деле мало толку, но иного выхода не было, и он, хочешь не хочешь, пошел искать Делова.

Найти воспитателя Делова в лагерном пункте было нелегкое дело. Осужденный за бытовое преступление, Делов принадлежал к привилегированному сословию заключенных и не имел ни постоянного места работы, ни каких-либо определенных обязанностей. В этом лагерном пункте, где были собраны политические преступники, он чувствовал себя во враждебном окружении. Зная наперед, что перевоспитать этих людей, которые считают себя невиновно осужденными, все равно не удастся, воспитатель Делов ограничил свою деятельность раздачей газет и писем да обязательным присутствием на разводах и проверках. В порядке воспитательского контроля он частенько наведывался к хлеборезу и на кухню и выходил оттуда сытый и довольный. Такая вольготная жизнь довела до того, что Делов сам стал подумывать о необходимости как-то активизироваться. Особенно после того, как кто-то на дверях его каморки написал карандашом: «У Делова нет делов». Это, бесспорно, была явная контрреволюция, и не мешало бы на автора этой надписи завести новое лагерное дело, но как ты его найдешь среди массы затаившихся людей?

А впрочем, может быть, именно это и привело к тому, что Делов заинтересовался Беймбетом и его следственными материалами.

— Пункт десятый и одиннадцатый? — переспросил он Бондаренко. — Но в какой же организации он мог быть?

Они вдвоем пошли расспрашивать Беймбета.

– Ты в Алаш-Орде¹ был? – строго спросил Делов. Но простодушный Беймбет отрицательно замотал головой:

– Ни в Алаш-Орда, ни в Кзыл-Орда² никогда не был. Только в Джамбул на базар ездил.

– Значит, Алаш-Орда отпадает, – сказал, раздумывая, Делов. – А ты эсером не был случайно? – спросил он подозрительно и шепотом объяснил Бондаренко: – В Казахстане попадались с таким обвинением, но это были в большинстве случаев русские...

– Сером? – удивленно переспросил Беймбет и приложил руку ладонью к уху, чтобы лучше расслышать странное слово. – Сером не был. Колхозником был, пас коней, овец...

– А может, ты – левый эсер? – испытующе сощурил глаз Делов, и Беймбет сразу закивал головой:

– Да, да, следовательно говорил: «Ты левосерый конный милиционер», а я ни в конной, ни в пешей...

– Ну, теперь все ясно – ему сказали: «Ты левый эсер, контрреволюционер», – закончил консультацию Делов и пошел из барака по своим воспитательским делам к хлеборезу.

– М-н-да, политик!.. – саркастически процедил Гостицкий, который издали наблюдал сцену допроса, а Бондаренко, довольный, что наконец выяснил вину Кунанбаева, сел рядом с ним на нарах писать жалобу.

– Давай-давай! – радостно потирает руки Беймбет. Он счастлив, что и ему напишут жалобу. – Так и пиши: ни в конной, ни в пешей милиции не служил...

Перевод с украинского Ярины Голуб

¹ Алаш-Орда – националистическая контрреволюционная организация с несколькими филиалами, в том числе в Казахстане (1917–1920).

² Кзыл-Орда – областной город в Казахстане.



Мамки

ГАЛИНА ВОРОНСКАЯ

Галина Александровна Воронская (1914–1991) – дочь известного революционера, писателя и критика, организатора литературного процесса А.К.Воронского. В 20-е годы он был редактором первого советского «толстого» журнала «Красная новь», возглавлял писательскую группу «Перевал».

Галина Воронская училась в Литературном институте, должна была окончить его в составе первого выпуска, но в феврале 1937 года арестовали ее отца, в марте пришли за ней, а затем забрали и мать – С.С.Воронскую. Отца расстреляли в августе 37-го, мать во время войны освободили из лагеря как неизлечимо больную, и вскоре она умерла.

Их дочь Галина была приговорена к пяти годам лагерей: обвинение – КРТД (контрреволюционная, троцкистская деятельность). Свой срок она отбывала на Колыме, в совхозе «Эльген».

После освобождения в 1944 году она выходит замуж за И.С.Исаева, с которым была знакома еще по Литинституту, тоже бывшего узника колымских лагерей. Спустя пять лет, в 1949 году, Галина Александровна подверглась аресту во второй раз и получила «ссылку до особого распоряжения».

Лишь в 1957 году она была реабилитирована, посмертно реабилитировали и ее родителей. Вскоре удалось вернуться в Моск-

ву. Здесь Галина Александровна работала над романом «Северянка» и мемуарами. Последние два года перед кончиной полиартрит и тяжелая онкологическая операция сделали ее абсолютно беспомощной. Чтобы как-то отвлечь ее от боли, дочь записывала рассказы под ее диктовку.

МАМКИ

(Из романа «Северянка»)

...За Ниной пришли в воскресенье. Был морозный ветреный день. Пришли трое: в штатском, военный и немолодая женщина в черном пальто с каракулевым воротником. Сначала Нина не обратила на нее внимания. Нина прочитала ордер и начала собирать ребенка: бутылочки, пеленки, комбинезон. Андрюшка сидел в кровати и грыз белого резинового зайца. Великокняжескую няню пришлось рассчитать, Нина носила теперь ребенка в институтские ясли.

— Детские вещи вам не понадобятся!

Нина застыла с простынкой в руках.

— Этот товарищ, — штатский кивнул в сторону женщины, — заведующая Домом младенца, она заберет вашего ребенка.

— Я бы попросила поскорее, — женщина переступила с ноги на ногу в блестящих высоких ботиках, — белье не собирайте, у нас свое, только самое необходимое, чтобы довести ребенка. Сегодня холодно, оденьте его потеплее.

Нина все стояла неподвижно с простынкой в руках.

— Вы не понимаете, что ли? — раздраженно спросил штатский.

И крик Нины:

— Я не отдам ребенка!

— Глупости. Он не может находиться с вами в камере. Андрюшка озабоченно грыз у зайца длинное ухо.

— Очень милый ребенок, — сказала заведующая, — но я бы попросила поскорее. Я опаздываю, — она взглянула на узкие часы-браслет.

Нина не двигалась.

— Не будете собирать ребенка — его оденет товарищ заведующая. Вы слышали, она торопится?

Тогда Нина медленными заученными движениями натянула на Андрюшу шерстяной костюмчик, носки, повязала голову косынкой, надела шапку, белую мохнатую шубку, завернула в розовое атласное одеяло. Нина хотела перевязать его широкой лентой, но заведующая решительно отстранила ее, быстро завязала ленту — не так, как обычно завязывала Нина, пышным бантом, а на простой двойной узел. Привычным жестом подхватила ребенка и заторопилась к выходу. Человек в штатском последовал за ней.

— Отвезем ребенка, подкину заведующую и вернусь сюда, — на ходу бросил он.

Хлопнула дверь, потом вторая. Нина стояла у стола, где заворачивала ребенка, и растерянно смотрела то на застекленную дверь, то на пустой пеленальный столик.

Прошло довольно много времени. Военный нехотя и небрежно делал обыск.

— Вы сядьте, — сказал военный и подвинул стул. Нина покорно села. — Я принесу вам воды.

Военный пошел на кухню и принес запотевший стакан с водой. Нина посмотрела на стакан долгим непонимающим взглядом и, расплескав, поставила его на стол.

— Почему я его не покормила? — вдруг спросила Нина. — Андрюшу обязательно надо покормить.

Военный молчал и смотрел в окно на Кремль. Над куполом здания ЦИК в синем небе судорожно трепетал красный флаг.

Вернулся штатский.

— Пригнал машину. Вы одевайтесь, гражданка. У нас еще делов много.

Нина безучастно надела серую беличью шубку.

— Возьмите с собой смену белья, мыло, полотенце, — подсказал военный.

Нина как будто ничего не слышала. Она стояла одетая, полузакрыв глаза, посередине комнаты. Военный нашел маленький чемоданчик, запихал в него белье, туалетные мелочи, деньги, найденные при обыске. Отдал чемоданчик Нине.

— Почему я его не покормила? — спросила Нина у военного.

Он отвел глаза.

Нину куда-то везли на машине. Нина не думала ни о своем аресте, ни о том, что ждет ее. Она не думала в эти минуты даже о муже. Розовый сероглазый Андриушка с густыми темными волосами, грызущий ухо резинового зайца, стоял перед ней.

Ее привезли к кирпичному зданию, обыскивали, что-то спрашивали, она ничего не понимала. Ее отвели в душ и велели мыться. Нина разделась и встала под тугие теплые струйки воды. Но Нина не мылась, она просто стояла под душем, она могла стоять так очень долго, может быть, сутки.

Грузная надзирательница в черной гимнастерке с широким кожаным поясом и в черном берете велела Нине закрыть душ.

— Плохо мылась, совсем не мылась, — шепеляво сказала надзирательница.

Нина одевалась и посмотрела на нее такими удивленными глазами, что надзирательнице стало не по себе. Она заметила капельку молока на левой груди Нины и шумно вздохнула.

Общая камера не произвела на Нину никакого впечатления. Она просто не обратила внимания на эту огромную сводчатую комнату с нарами и железной бочкой-парашей в углу.

Приближался час кормления, и к грудям приливалось молоко.

Полуодетые женщины с испитыми лицами окружили Нину, тормошили ее, расспрашивали. А Нина стояла с плохо завязанным узелком — чемоданчик у нее отобрали при обыске в тюрьме, с распущенными мокрыми волосами, мяла в руке меховую шапочку и не знала, что ей делать и кому отвечать.

— Дайте человеку опомниться! — крикнула пожилая женщина с густыми сросшимися бровями и властным

тонким ртом, одетая в махровый халат. Половина головы у нее была седая, половина русая. Женщина взяла Нину за руку, среди груды тел нашла ей на нарах место, усадила. — Чья же ты такая раскрасавица?

Нина назвала свою фамилию.

— А-а, — понимающе протянула женщина, и Нина догадалась, что она знает историю ее замужества. Она покраснела.

— То-то мне лицо твое показалось знакомым, видела я тебя года полтора назад на одном приеме. Была там с Григорием Семеновичем? Чай будешь пить? Тогда спи.

Ничего более дикого, чем пить сейчас чай или спать, Нина не могла себе представить. Женщина улыбнулась, показала ровные желтоватые зубы.

— Чудно тебе кажется? И спать надо, и чай пить надо. Надо силы беречь для допросов, для борьбы.

— Бороться? Зачем?

— Затем, чтобы человеком остаться. Защищать мужа, себя, правду. Я — староста камеры, а фамилия моя Зырянова. Анастасия Зырянова. Наверное, слышали обо мне от Григория Семеновича или от родителей.

Помогла Нине сделать постель: вывернула шубку, в голову положила шапочку и узел с вещами, накрыла их полотенцем.

Нина не спала, лежала вытянувшись, с открытыми глазами, и не могла простить себе, что не накормила Андрюшку. Ей казалось это сейчас таким страшным, страшнее, чем разлука с ним. Она еще не осознала разлуки.

Постепенно затихал гул в камере. Тускло горела большая электрическая лампа. Щелкал «глазок», кого-то вызывали на допрос, кого-то привели с допроса.

Давно уже прошел час кормления ребенка. Груды набухли, стали как каменные. Болела голова. Нина протяжно застонала. Соседки недовольно заворчали, подняли растрепанные головы.

— Людям спать не даешь, — Зырянова осторожно перешагивала через спящих, подошла к Нине, яростно зашептала: — Соседку справа скоро опять возьмут на допрос. У нее следователь — суший дьявол, на три часа в

сутки в камеру отпускает. Тут всем тошно. А с людьми считаться надо, нельзя себя распускать. Что с тобой?

Нина, тяжело дыша, показала на набухшие груди.

— Вот оно что, — голос у Зыряновой стал мягче. Она подошла к двери.

— Дежурная, вызови фельдшера, нужно кормящей матери грудь перебинтовать.

— Еще чего, — сонно ответила надзирательница, — спех какой, потерпит до утра. Утром на обходе фельдшер перебинтует.

— Бессердечная ты. Небось сама мать.

«Глазок» с треском захлопнулся.

— Вот тюремное отродье! Что ж теперь делать? До утра ты измучишься. Я тебе сама перевяжу. Вали, — Зырянова растолкала квадратную женщину с короткой шеей и близорукими глазами, — Вали, помогай и давай твои немецкие полотенца, они длинные.

— Что вы? — испугалась Нина. — У меня пропадет молоко.

— Тебе ребенка больше не кормить, понять надо. А мучиться до утра — с ума сойдешь. Молоко может в голову броситься. Ну-ну, вот так, повернись, ничего, милая, не поделаешь.

Ловко и быстро туго-натуго перетянула полотенцами грудь. Разбудила высокую женщину с длинными каштановыми косами, обладательницу камерных драгоценностей — двух английских булавок. Зырянова усадила Нину рядом с собой, обняла:

— У всех тут горе. Не ты первая, не ты последняя. Вон та, в розовом халате, у окна, оставила парализованную мать и двух детей-крошек, а муж у нее тоже сидит. Забирали — в доме ни копейки денег не было. А как держится, слезинки не уронила. А у той стриженной блондинки ребенок с менингитом в больнице лежит, третий месяц не может добиться сведений о его здоровье. А у тебя уже большой, его все равно к весне отнимать от груди надо. Я недавно инспектировала дома младенцев. Это тебе не царские приюты. Знаешь, как все поставлено: чистота, врачи, все по-научному. Иная мать так за своим ребенком не смотрит, как там обхаживают. Ничего с твоим

малышом не случится. Вырастет не хуже, чем при тебе. Если очень тяжело — поплачь. Соседка твоя на допросах так намаялась, что ей сейчас над ухом хоть из пушки пали. Ты поплачь погромче, не стесняйся. Легче будет.

Нина металась, стонала, но не могла заплакать. До утра сидела с ней Зырянова, уговаривала, убаюкивала, как ребенка. Утром пришел фельдшер и забинтовал Нине грудь.

...Ребенок родился синим февральским утром.

— Почему он не плачет? — испуганно спросила Рада.

В эту минуту ребенок заплакал тоненько и, как ей показалось, жалобно.

— Вот и заплакал. Немножко худенький, но хороший мальчуган.

— Мальчик? — удивилась Рада.

— Отличный мальчик, и все у него в порядке.

Рада почувствовала себя обманутой. Мальчик. А ей хотелось девочку. Но все-таки ребенок родился, и Михаил, наверное, будет рад сыну, и больше ей не будет больно. Самое главное — ей не будет больно.

Медсестра Маша показала ей ребенка, запеленутого, с красным личиком и глубокими морщинками на лбу.

— Какой некрасивый!

— А ты, думаешь, лучше была? — рассмеялась Маша. — Еще какой молодец вырастет, весь в отца.

Рада попросила еще раз показать ей ребенка. Нет, на Михаила он не похож, и вообще неизвестно, на кого похож. И очень уж некрасивый!

Рада измучилась и теперь, когда прекратились боли, ей захотелось спать.

Огромный мрачный санитар в застиранном желтом халате и в малюсенькой мятой шапочке отнес Раду на руках в чисто выбеленную палату с зарешеченным окном. Рядом с кроватью стояла маленькая деревянная детская кроватка, там уже спал ее сын.

Раду положили на спину и велели лежать так все время. Спать ей расхотелось. От Михаила уже месяц не было писем, а раньше он писал ей часто, и письма ходили недолго — его курсы находились на Дальнем Востоке. С середины декабря Михаил был на фронте.

Ксения и Яна уверяли ее, что месяц в военное время — просто ерундовый срок. И до войны письма на Колыму ходили с пятого на десятое. Может быть, часть Михаила перебрасывают с одного места на другое, а иногда посылают в тыл врага с особым заданием. И люди по многу месяцев не могут писать писем.

Рада повторяла про себя все эти доводы, но успокоение не приходило. За решетчатым окном угасал фиолетовый день, и Раде вдруг пришла мысль, что она родила своего сына в тюремной больнице, и в тюремной больнице родила ее мать. Она, наверное, тоже лежала и смотрела на решетку. О чем она думала? Наверное, об отце своего ребенка — как думала и тосковала сейчас Рада о Михаиле. Еще Рада вспомнила Андрюшку, сына Нины и дяди Гриши. Рада вспомнила жаркий августовский день на даче, Андрюша лежал в белоснежной кровати, весь в кружевах и в заграничном шелковом комбинезончике. А ее ребенок был завернут в четверть лагерного серого грубошерстного одеяла, а голова была повязана старой косынкой. Вероятно, так же была укутана и Рада, когда родилась в тюремной больнице. Ах, все это чепуха, она выросла, вырастет и ее сын. Лишь бы получить письмо от Михаила! Чтобы немного успокоиться, она представила себе, как обрадовались бы Опальный Боярин и Аннушка, и Дарские, и милая Настя, если бы ее ребенок родился в Москве и если бы все было по-прежнему. Она представила себе, какие подарки, цветы и поздравления она получила бы. Если бы все было по-старому... Рада задумалась над именем ребенка. Она была уверена, что у нее родится дочь, и приготовила ей прекрасное имя Наталья. Михаил дал в письме на это согласие. Женщины в лагере осмотрели фигуру Рады и по каким-то таинственным признакам единогласно объявили, что у нее будет дочь.

Три имени нравились Раде: имя ее отца — Николай, имя Опального Боярина — Егор и Григорий, в честь дяди Гриши. Она решила назвать сына Николаем. Надо будет написать об этом Михаилу — может быть, он захочет другое имя? И опять ее мысли вернулись к Михаилу. Почему он не пишет? Ее просто утешают, что месяц —

небольшой срок для войны. Месяц — это очень много. Раньше он часто писал даже с фронта. Почему он замолчал? Может быть, тяжело ранен и лежит в госпитале? А может быть... нет, нет, об этом лучше не думать.

Рада смотрела на пустынное темнеющее небо, на гряды снежно-голубых сопок. Ребенок спал, худенький, похожий на куклу. По больничному коридору ходили, гремели ведрами, тяжело бросали охапки дров у печек. Зашла медсестра Маша, посмотрела на ребенка.

— Почему не спишь? Перестань терзать себя, напишет тебе Михаил. Будешь нервничать — испортишь молоко.

Ночная санитарка принесла из лагеря поздравительные записки и подарки — двести граммов хлеба, тонкую селедку и три ярко-розовые конфеты без бумажек. А письма от Михаила не было. Ее опять утешали: на перевалах метет, трасса закрыта, говорят, в Магадане скопилось много писем. Наконец Рада уснула, но спала недолго, тот же здоровый мрачный санитар принес на руках другую роженицу, белокурую Соньку-Огонек, известную Раде по илгинскому покосу. Она родила тоже мальчика.

Утром у Рады поднялась температура. Ей подали кормить ребенка. Рада внимательно рассмотрела его: худенький, ручки как у паучка, густые черные волосы. Мальчик шевелил губками, морщины на лбу у него разгладились, и он уже не был таким красным. Рада нашла его даже хорошеньким; странно, что он так изменился в лучшую сторону за одни сутки. Ребенок сразу взял грудь и начал сосать.

— Ишь, какой жадный, — заметила Сонька-Огонек и встала, чтобы посмотреть на него.

На замечание Рады, что надо лежать на спине, только рассмеялась.

— Ну их, докторов. Да меня хоть сейчас можно на лесоповал отправлять. Но я, конечно, этим докторам «протяну резину»: набыю температуру — плохо мне, что ли, здесь кантоваться? Ты какой раз рожаеть?

— Первый.

— А я четвертый.

— Где же твои дети?

— А раздала.

— Как это? — не поняла Рада.

— Ну, которые бездетные, а очень хотят иметь ребеночка, приезжают в деткомбинат и берут на воспитание.

— То есть как это берут на воспитание? — заволновалась Рада. — А если я этого не хочу?

— Не хочешь — не отдадут. Им дают, которые без матери — ну, там умерла или в расход вывели, — или по согласию. У меня один ребенок помер младенческий, другого врачи взяли, муж и жена, уже не молодые, а девочку прошлый год учителька забрала. Хорошенькая такая девочка была, беленькая, губки бантиком — чистый ангел, даже жалко было.

— Раз жалеешь, зачем отдаешь?

— А на кой они мне? Чему я их выучу? Парней — воровать, а девку — по улицам шляться? Я неграмотная и окромя воровства ничего не умею. А они их до ума доведут. Я вот пятый срок сижу и буду сидеть до самой смерти. Дети у меня крупные, красивые, не успею в деткомбинат отнести — сразу подхватывают.

Пришел врачебный обход — Сан Саныч, медсестра Маша и тоненькая, очень бледная, стриженная под мальчика начальница санчасти.

Сонька-Огонек лежала на кровати, закатив глаза, и тихо ойкала, температура у нее оказалась около тридцати восьми.

— Что с тобой? — Сан Саныч остановился у ее кровати.

— Живот болит, сил нет терпеть.

— Поболит да перестанет. Эх ты, горе-мамаша!

— Хороший он, Сан Саныч, — после ухода врачей Сонька моментально встала, — думаешь, он не догадался, что я кантуюсь? А при начальнице санчасти виду не подал. Она пока тебя осматривала, он мне пульс сосчитал и пальцем погрозил. Курить до смерти хочется, хоть бы чинарик какой раздобыть.

Через полчаса Сонька-Огонек курила в уборной самокрутку, великодушно подаренную мрачным санитаром.

Раду лихорадило. Ей было то жарко, то холодно. Стоило ей закрыть глаза, как ей чудились какие-то белые пузыри, они нарастали, множились, пропадали, и вместо них появлялась ослепительно белая стена...

Через несколько дней к ним заглянула начальница, ей никак не сиделось в лагере. Сонька-Огонек собралась было идти в гости в соседнюю мужскую палату и едва успела юркнуть под одеяло.

— Родили?

Начальница стояла в дверях в небрежно накинутом белом халате поверх синего шерстяного платья, угловатая, недобрая, с жилистой высокой шеей.

— Рожаете и детей своих государству на воспитание спихиваете. Стране и так трудно, а она должна о ваших детях заботиться. Кого родили? Мальчиков, девочек?

— Мальчиков.

Ответ немного смягчил начальницу.

— Мальчики — это хорошо! Родине нужны солдаты!

— Гражданин начальник! Да неужто, пока они подрастут, война с Гитлером не кончится? — дурашливым голосом спросила Сонька-Огонек.

— Дура! — отрезала начальница и ушла.

У Рады то ли от температуры, то ли от неотступных дум о Михаиле почти пропало молоко, Сонька-Огонек подкармливала ее ребенка. Она заливалась молоком. Ее ребенок был крупный, бело-розовый, с «перевязочками» на ручках и ножках и орал басом, как годовалый. Рада с завистью отметила, что Сонькин ребенок здоровее и красивее, чем ее.

Матрена Петровна принесла кофточку и шапочку, связанные на самодельных спицах из старого свитера Рады. Каждый день ей присылали из лагеря записки, ломти хлеба, малюсенькие кусочки сахара. С начала войны посылки из дома уже никто не получал. Лагерь сидел на «четырёхсотке». Больничный повар, старый вор, посылал в их палату двойные порции супов и каш, а однажды даже передал пол-литровую банку молока. Трассу давно уже расчистили, и в лагерь пришло много писем, но для Рады опять ничего не было.

Первой выписали Соньку-Огонек. Она ушла, матерясь, что не удалось «протянуть резину», а на другой день пришел смущенный Сан Саныч.

— Влетело мне за тебя. Начальница санчасти разоралась и велела немедленно выписать. Все считает койко-дни, скоро на них помешается.

Вечером Рада уходила в лагерь, а маленького Колю завернули в полушубок и отнесли в деткомбинат. Рада назвала ребенка Николаем — пора было дать ему имя. А писем от Михаила все не было.

Полшестого утра «мамки» собирались у вахты. В темном небе еще по-ночному горели звезды. Февраль в этом году был метельный и холодный. «Мамки» замерзали у вахты и ждали, пока все соберутся. Больше всех им досаждала Малявка — низкорослая девчонка с длинными ресницами и с длинным бледным лицом. Она хотела избавиться от ребенка и старалась пропускать кормежки. Малявка пряталась в уборных и по баракам, блатнячки разыскивали ее, лупили и силой притаскивали к вахте.

— Иди, дрянь такая, — дальше следовал набор ужасных ругательств. — Родила, а кормить не хочешь. Мы — люди потерянной жизни — и то заботимся, а ты, такая и разэтакая, собственное дите не жалеешь.

Несмотря на колотушки и брань, Малявка продолжала прятаться. У нее кончался срок, и она мечтала выйти замуж за какого-нибудь договорника-инженера, ребенок же мог помешать ее великолепным расчетам.

Из-за этой чертовой Малявки они дрогли на холоде, опаздывали на кормления и к деткомбинату, обнесенному высоким забором с колючей проволокой, не шли, а бежали. Это было дикое и странное зрелище: толпа женщин в лохмотьях, а то и завернутых в одеяла, большинство — в задубевших от мороза ботинках (не работающим валенки не полагались), мчалась через сонный поселок, и, кажется, только здесь конвоем не приходилось подгонять заключенных. Рада бежала вместе с другими, такая же нетерпеливая и замерзшая, как и все, и ждала благословенной минуты, когда ей разрешат взять своего ребенка.

Иззябшие, они вваливались в теплую, уставленную табуретками кормилку. Заспанные няни выносили им кричащих детей. Какое-то время в кормилке было слышно только чмоканье детских губок и тихий, счастливый смех матерей. Сонька-Огонек усаживалась возле Малявки и следила, чтобы она кормила ребенка. Маляв-

ка делала вид, что прикладывает ребенка к груди, но не кормила его. Врач Ханна Лазаревна на днях сказала, что придется все-таки перевести ребенка Малявки на искусственное питание: от такого кормления все равно никакого толку. Жаль, конечно, — здесь, на Севере, при недостатке витаминов материнское молоко имеет исключительное значение. Почти ежедневно Сонька-Огонек по старой памяти подкармливала Колю.

Рада любила утренние часы кормления. Завкомбинатом еще спала, и «мамки», и няни, и медсестры чувствовали себя свободно. В девять утра, в следующую кормежку, было уже совсем не то. Приходила заведующая в ярких лыжных костюмах. У нее было мучнистого цвета лицо с мелкими, стертými чертами, белесыми волосами и бровями. Она походила на переводную картинку, еще не проявленную. Она казалась тихой и доброй, и такой ее все сначала считали.

Преыдушая заведующая, мясистая чернобровая украинка с двойным подбородком, была самодуркой и грубиянкой. Она постоянно скандалила, обзывала всех непотребными словами, швыряла на пол выглаженный халат, заставляла нянечек стирать свое белье, но не любила ябед и не писала рапортов на провинившихся. Она входила в любое время к директору совхоза, стучала большим белым кулаком по столу, требовала добавочного молока, сливок, творога. В трескучие морозы надевала ватные брюки, а поверх них — цветастое шелковое платье, ездила на попутных машинах за сто километров в райцентр, опять стучала кулаком по столу у начальства и привозила для деткомбината все, что требовалось. Когда ее мужа, механика, перевели работать в соседний поселок, в деткомбинате обрадовались: слишком устали от ее воплей.

Новая заведующая была женой замполита совхоза. Работать она пошла потому, что вышел указ: женщины, не имеющие детей, обязаны работать. На Севере этот указ соблюдался не слишком строго, но жене видного человека на поселке неудобно было сидеть дома. Нынешняя заведующая не кричала, не отшвыривала ногами криво постеленные половики, называла всех на «вы» и никогда

не скандалила с начальством. Когда врач посоветовала ей поехать в райцентр и добиться ордера на бумагею, она только удивленно подняла брови:

— Ехать в такие морозы? Да вы с ума сошли!

Она не опаздывала на работу, но и уходила точно в шесть часов. Ни одного ребенка она ни разу не взяла на руки.

Почувствовав «слабинку», директор совхоза сократил отпуск молочных продуктов, и заведующая не пошла к нему объясняться. Но ей по-прежнему каждый день подавали в кабинет тарелку творога со сметаной, густо посыпанными сахарным песком. Не хватало дров — не беда, ее кабинет отапливался в первую очередь. В конце концов здесь были всего лишь дети заключенных, их преступные матери должны быть благодарны и за то, что для них делали. Главврач деткомбината, заключенная Ханна Лазаревна, изможденная, с большими скорбными глазами и растрепанными седыми волосами, бегала к директору совхоза, умоляла о молоке, о дровах, о мыле, но ей обычно отвечали:

— Если бы дела обстояли так плохо, как вы говорите, ваша заведующая сама бы обратилась к нам. У вас ведь есть заведующая.

Няни, медсестры, «мамки» глухо роптали. Новая заведующая ввела в моду лишать материнства. За дерзкий ответ, за любую провинность матери ее ребенка переводили на искусственное питание, а мать не пускали в деткомбинат даже на свидание.

Дети болели, многие умирали. В кормилке почти каждый день истошно кричала какая-нибудь «мамка»: умер ее ребенок, на похороны «мамку» не пускали.

За беготней в деткомбинат Рада и не заметила, как подошел ее срок освобождения и она присоединилась к армии «пересидчиков».

Как-то перед сном в барак в сопровождении дежурного и вохровцев вошла начальница.

— Разобрать свою обувь!

Все недоуменно исполнили ее приказ. Начальница собственноручно отобрала у всех «мамок» валенки — не помогли уверения, что они куплены на собственные деньги или получены из дома в посылках.

— Хватит того, что государство содержит ваших детей. Не работаете, можете на свои кормежки и в ботиночках побегать.

Хорошие черные валенки, подарок Михаила, полетели тоже в мешок — его услужливо таскал за начальницей дежурный.

Теперь все без исключения «мамки» ходили в ботинках, и сколько ни наматывали на ноги тряпок, ноги все равно отчаянно мерзли.

А писем от Михаила все не было.

Обычно за письмами ходила дневальная в хозчасть и приносила на весь барак. Первое время Рада спрашивала:

— А мне?

Потом перестала спрашивать, только нетерпеливо ждала прихода дневальной и все надеялась, что вот-вот назовут ее фамилию и протянут письмо.

Как-то между кормлениями Рада задремала на нижней койке. Яна укрыла ее бушлатом. Принесли письма.

— Раде опять ничего нет? — узнала Рада сквозь полусон голос Яны.

— Нет.

— У нее стали ужасные глаза. Она так смотрит, когда раздают письма... Честное слово, я предпочла бы, чтобы мне не писали, а чтобы Раде пришло письмо. Почему Михаил молчит?

И чей-то незнакомый низкий женский голос ответил:

— Война!

И это слово, так же как в июне, когда она впервые его услышала, ударило Раду в сердце. Она старалась больше не смотреть на дневальную с письмами, но все равно ждала, ждала, ждала...

Коля плохо поправлялся и был худеньким. Рада с завистью смотрела на толстого круглолицего ребенка Соньки. Он уже держал головку и улыбался.

Все лагерные знакомые совали Раде что-нибудь поесть: лишнюю ложку перловой каши, мороженный турнепс, кусок селедки. Она все ела, но была всегда голодной и все щупала себе грудь: не пришло ли молоко. И хотя Рада, как и другие кормящие «мамки», не работала, она исхудала — ей мало приходилось спать. Пока

«мамки» возвращались с кормления, проходило много времени. Им нужно было пройти через весь поселок, мороз подгонял их лучше конвоира, и едва они успевали отогреться в бараке, надо было опять бежать.

В апреле Коля заболел. У него расстроился желудок, началась рвота. Его выносили Раде красного, разомлевшего от жара. Коля совсем не брал грудь.

В эти дни Рада даже перестала думать о Михаиле. Ей все чудилось, что вот сейчас, в эту минуту, без нее, в маленькой комнатке изолятора умирает Коля, а дежурная нянька спит крепким сном. Коля задыхается, синееет, может быть, уже перестал дышать. Рада вскакивала с нар, стараясь определить время. Сонно дышал притихший барак, за обледенелыми окнами лежала черная глухая ночь. Дремала у печки дневальная, почти весь барак был погружен во тьму, только возле печки плясали красные отсветы да на столе горела бледная трехфитильная коптилка. Рада уже больше не могла уснуть, покусывала губы, нетерпеливо ждала пяти часов. Ей почему-то казалось, что Коля не может умереть днем. Ханна Лазаревна сначала утешала Раду и посмеивалась над ее тревогой:

— Без болезней дети не растут. Привыкай.

Но когда у Коли началось двустороннее воспаление легких, она переполошилась и вызвала на консультацию Сан Саныча и начальницу санчасти. Консилиум пришел к выводу, что положение Коли серьезно. Ханна Лазаревна отправилась вместе с Радой к начальнице просить разрешения дежурить возле ребенка.

— Ты сама понимаешь, нянечек у нас мало, а из тех, что есть, половина не годится: нам разрешают брать только бытовичек.

Начальница сидела в жарко натопленном кабинете за письменным столом. Деревянный пол был выскоблен и вымыт до желтизны, на окнах висели белые занавески с филейной вышивкой.

Рада и Ханна Лазаревна стояли на почтительном расстоянии от письменного стола. Ханна Лазаревна сказала, что жизнь ребенка в опасности, это подтвердил консилиум. Рада все равно сейчас не работает. Как только ребенку станет лучше, дежурство немедленно отменят.

— Какая у нее статья? — спросила начальница, старательно оттачивая толстый красный карандаш.

— Пятьдесят восьмая.

— Точнее. Кто судил?

— Особое совещание. Контрреволюционная троцкистская деятельность.

— Молодая, а ухитрилась заработать такую тяжелую статью. Не могу разрешить. Эта статья находится на особом режиме и за зону не выпускается.

— В деткомбинате есть зона.

Начальница повысила голос:

— Там только видимость зоны. К сожалению, сейчас не хватает бойцов для охраны. Кроме того, дай повадку одной — половину «мамок» придется оставить дежурить. Я бы вас, Фишер, с вашей статьей давно сняла с работы, да время военное — некем заменить. С «материка» сейчас никто не едет.

— Вернемся к ребенку Ганшиной, гражданин начальник. Это исключительный случай...

— Я очень прошу вас, — взмолилась Рада. Она решила, что без разрешения не уйдет из кабинета. Она должна быть с Колей. Должна.

— Бесплезно меня упрашивать. Я поступаю согласно правил.

— Гражданин начальник, я очень прошу вас, всего несколько дней. Вы тоже мать, вы должны понять меня. Речь идет о жизни ребенка, — голос у Рады дрогнул.

— Гражданин начальник! Я ручаюсь за нее, все будет в порядке. У ребенка тяжелая форма диспепсии, осложненная двусторонним воспалением легких. Позвоните начальнику санчасти, она присутствовала на консилиуме.

— Никому я звонить не буду, — начальница опять принялась затачивать красный карандаш, — я не нуждаюсь в советах. Нарожали детей, спихнули их государству и еще ходите и канючите. Я своего ребенка сама воспитываю. Уходите из кабинета, вы мне надоели!

— Гражданин начальник! — Рада чувствовала, что сейчас разрыдается. Ей казалось, судьба Коли уже решена.

— Что ж мне, вохру приглашать, чтобы вас вывели?

Ханна Лазаревна вывела Раду за руку, на улице обняла ее.

— Вот ведьма! Не плачь, мы его выходим. Не смей плакать, пропадет молоко, теперь все спасение в твоём молоке. Будет грудное молоко — ребенок выживет. Сегодня дежурит Катя Богатырева. Хотя она и воровка, но неплохая девка. Деньги у тебя есть?

Рада покачала головой. Деньги, оставленные Михаилом, давно уже кончились.

— Подари ей что-нибудь из вещей, это даже лучше.

Задыхаясь от слез, Рада побежала в барак. Торопливо рылась в чемодане: вещи ей казались недостаточно хорошими, чтобы подарить. Наконец она остановилась на бостоновой юбке и палевом вискозном платье. Кое-как свернув их, она побежала к Кате Богатыревой.

Катя, миловидная, с румяными щеками и черной челкой на лбу, охорашивалась перед зеркалом. На запястьях ее рук, как браслеты, была синяя татуировка.

— Конечно, присмотрю, нешто я не мать! Сама все понимаю. Твой-то, говорят, на войне. И подарков мне не надо, так погляжу.

Но новое платье и добротная юбка с молнией были слишком соблазнительны. С одеждой было плохо, вольным и то давали только по ордерам. Катя разрешила себя упросить. Она тут же надела платье и пошла в нем на дежурство.

Еще три дня Коля находился в тяжелом состоянии. Опять созвали консилиум. Сам Сан Саныч сумел достать сульфидин. Рада подарила Кате Богатыревой блузку, шелковую комбинацию и пару чулок — несметное богатство. Эти вещи были подарками Михаила, и Рада берегла их, но теперь они не имели для нее значения. Она старалась не плакать, чтобы не испортить молоко.

В эту декаду выработавшим свыше ста тридцати одного процента давали ларек: пайку хлеба и сто граммов сахарного песка. «Мамкам» ларек не полагался. Ксения, Яна и Матрена Петровна отдали Раде весь свой хлеб и сахар. Даша притащила кусок соленой горбуши, Зина Халова — горсть сушеного урюка. Рада брала еду без всякого стеснения. Она жила теперь только часами кормления, чтобы хоть недолго подержать горячего исхудавшего ребенка и убедиться, что он еще жив. Она почти не

вспоминала о Михаиле — он был где-то далеко, так же как и война.

Наконец у Коли упала температура, и на вечернем кормлении он впервые хорошо взял грудь. С этого вечера он стал поправляться и, хотя оставался еще очень худеньким и бледным, начал прибавлять в весе и с большим опозданием улыбнулся Раде слабой улыбкой.

Михаил снился Раде теперь по ночам то веселый, то очень грустный. И Рада опять спрашивала себя: почему Михаил не отвечает на письма? Почему?

Яна и Ксения утешали Раду тем, что закрыта навигация и в лагере никто не получает писем, а только телеграммы. Известно: телеграммы посылать с фронта не разрешают. Надо ждать до весны. Рада верила и не верила их словам. И ждала. Ждала с надеждой и тревогой. Действительно, в лагере сейчас писем не получали. А если она не получит их и весной, когда начнется навигация?

Как-то в кормилку вошла заведующая. Кормилка была по-дурацки устроена: не имела тамбура, и дверь открывалась прямо на улицу. Заведующая плохо прикрыла дверь, и струя холодного воздуха ворвалась в кормилку.

— Дверь закройте, — закричала Сонька-Огонек. Широко расставив ноги, она держала на коленях ребенка. — Без понятия вы, что ли?

— Поменьше разговаривайте, — заведующая вернулась и плотно закрыла дверь.

— А чего не разговаривать? — вскинулась Сонька. — На дворе вон какой холодуга, а вы настезь.

— Заключение, помолчите.

— Знаю, что заключенная, куда не повернешься, только и слышишь — заключенная да заключенная. Небось были бы у вас дети, вы бы наших больше жалели.

У заведующей не было детей, а ей и мужу очень хотелось их иметь.

— Как разговариваешь, дрянь! — мучнистое лицо заведующей зарделось. — Лишаю материнства!

Она побежала по коридору и хлопнула дверь в своем кабинете. Через несколько минут в кормилку вошла Ханна Лазаревна, еще более растрепанная, чем всегда.

— Нашла, Соня, с кем ругаться! Теперь придется перевести ребенка на искусственное питание.

— А пошто она... — Сонька длинно и цинично выругалась, — извиняюсь, Ханна Лазаревна, пошто она меня тычет, что я заключенная. У себя дома небось двери закрывает, а наши дети ей как щенки.

По дороге в лагерь Сонька-Огонек немного успокоилась.

— Все едино ребенка заберут, — сказала она Раде. — До осени пришлось бы ждать: летом-то от груди не отнимают, — а искусственника и летом возьмут.

Раде подарили пачку махорки и пайку хлеба. Полпачки она отдала Зине Халовой, а вторую половину и горбушку решила отнести Соньке в благодарность, что подкармливала Колю. Сонька-Огонек в ботинках лежала на нарах, уткнувшись в розовую пышную подушку, и плакала.

— Что с тобой?

— Семка мой помер сегодня. Разве не знаешь?

Рада вспомнила: сегодня во время утреннего кормления «мамки» говорили про умершего ребенка. Но за последнее время дети так часто умирали, что обычно расспрашивали только про знакомых. Рада не знала даже, что Сема болел. С распухшим красным носом, со спутанными волосами, Сонька села на нары. Рада робко протянула ей хлеб и махорку.

— Махорка! Во, здорово! Курить до смерти хочется, — Сонька свернула самокрутку. — Такой здоровенный парень был... А все эта заведующая, — и Сонька разразилась дикой бранью. Отводила душу.

В один из метельных вечеров, запорошенная снегом, с деревянным чемоданчиком и мешком за плечами, вошла в барак Ханна Лазаревна, попросила дневальную указать ей место.

— Буду теперь жить в лагере, — сухо ответила на расспросы Ханна Лазаревна. И Рада не стала ее больше расспрашивать.

Рада, Ксения и Яна пили кипяток. У Яны было два кусочка сахара (сунула заказчица), она умудрилась разделить их на троих. Они прихлебывали горячую воду и старались как можно дольше сосать сахар. Лучшее всего это

удавалось Ксене, а у Рады и Яны не получалось. С тех пор как Яна узнала, что ее дочка и родители живут в Сибири, она повеселела. Каждые десять дней ей присылали телеграмму.

Они сидели все на нижних нарах и вполголоса разговаривали о войне. Ксеню на фронт не взяли, так же как и других заключенных, подававших заявления. Немцев от Москвы отогнали, но положение было еще тяжелое. Подошла Ханна Лазаревна. Ей налили кружку кипятку, и Ксения протянула ей микроскопический кусочек сахара — Яна и Рада уже свои съели.

— Завтра выхожу на общие работы, кайлить навоз на агробазе.

Все перестали пить и уставились на Ханну Лазаревну.

— Сняли меня с деткомбината. Пошла вчера к замполиту и выложила ему все: как дети умирают, как не хватает продуктов и как его драгоценная жена каждый день лопает творог, сметану и сливки. Додумалась — лишать материнства! Это только суд имеет право делать. У Сони-Огонек какой прелестный ребенок был! Перевели на искусственное питание — сейчас же диспепсия и конец. Страшно сказать, какая у нас смертность. Замполит выгнал меня из кабинета, а сегодня начальница объявила, что снимает меня с деткомбината.

— Что же теперь будет с нашими детьми? — заволновалась Рада.

— Может быть, найдут педиатра. Лучше бы вольного, у него руки развязаны. Это преступление — лишать крошек грудного молока.

Прибежали «мамки» из других барачков, и все наперебой спрашивали, правда ли, что сняли Ханну Лазаревну.

А Раде в эту ночь опять приснился сон о Михаиле. Будто ярким солнечным днем они сажают вместе капусту на поле. Михаил идет впереди ее, иногда оборачивается, смеется, что-то говорит ей, но она никак не может разобрать слова. Она пытается подойти к нему, но Михаил от нее убегает и все время сажает длинную, тонкую, переросшую рассаду капусты.

До начала навигации оставался месяц.

Песнь о Великой матери 1.

Там шумит-шумит Онега,
Плеск волн на лесостроверской
В час, как мушкетерская
С грудой пулемета и воя
Побеждает злобу лесной,
И тамний лесная, нева,
Ель с карельского бережной.
пришли

ПОЭЗИЯ

Как свая. Родиле. Сломать,
Их карийки думают Вудкой
От березовой таинственности
Перед образом прелестным.

Там ветки - родят ели,
Что ильвети рывая, играя,
Лосот с вами, что из воды,
Лес с Меря, идеальной меря
Бок шодран в лонной драке
За лачурную ллотинцу,
Но кончить одна не рывает
Мочей елвотую сираницу. -

Кто пречной и слухом золотой,
Замы бидерки не раскочене,
Как береза ветром клямоле,
И кто перебелем едессе,
Связан с родимой. Родившей,
Тот а елвоту на сираницу,
Тот же же - крепой неона елвоту,
И тамний елвоту водилеги
По тропинкам междустрогий
Красоте замечней. Рови -
Светлой девушки с померя.



**Россия
Бога
не забыла**

АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН

О судьбе Анатолия Владимировича Жигулина нет нужды говорить подробно: он сам рассказал о себе в своих стихах и прозе. Напомним лишь, что А.Жигулин родился в Воронеже в 1930 году. Потомок декабриста и поэта В.Ф.Раевского, он подтвердил своей жизнью неслучайность такого родства. В ставшей бестселлером книге «Черные камни» А.Жигулин рассказал о юношеской подпольной антисталинской организации, за участие в которой в 1949 г. начал путь по кругам гулаговского ада: тюрьмы, лагеря Прибайкалья, Колыма. Реабилитирован в 1956 году. Живет в Москве.

РОССИЯ БОГА НЕ ЗАБЫЛА...

Из больничной тетради¹

Ничего не могу и не значу.
Будто хрустнуло что-то во мне.
От судьбы получаю в придачу
Психбольницу –
К моей Колыме.

Отчужденные, странные лица.
Настроение – хоть удавись.
Что поделать – такая больница
И такая «веселая жизнь».

Ничего, постепенно привыкну.
Ну, а если начнут донимать,
Оглушительным голосом крикну:
– Отъе... вашу в Сталина мать!..

Впрочем, дудки! Привяжут к кровати.
С этим делом давно я знаком.
Санитар в грязно-белом халате
Приголубит в живот кулаком.

Шум и выкрики – как на вокзале.
Целый день – матюки, сквозняки.

¹ Полностью публикуется впервые.

Вот уже одного привязали,
Притянули в четыре руки.

Вот он мечется в белой горячке —
Изможденный алкаш-инвалид:
— Расстреляйте, убейте, упрячьте!
Тридцать лет мое сердце болит!

У меня боевые награды,
Золотые мои ордена...
Ну, стреляйте, стреляйте же, гады!
Только дайте глоточек вина...

Не касайся меня, пропадлина!..
Я великой победе помог.
Я ногами дошел до Берлина,
А назад возвратился без ног!..

— Ну-ка, батя, кончай горлопанить!
Это, батя, тебе не война!..
— Отключите, пожалуйста, память
Или дайте глоточек вина!..

Рядом койка другого больного.
Отрешенно за всей суетой
Наблюдает глазами святого
Вор-карманник по кличке Святой.

В сорок пятом начал с «малолетки».
Он ГУЛАГа безропотный сын.
Он прилежно глотает таблетки:
Френолон, терален, тизерцин.

Только нет, к сожалению, средства,
Чтобы жить, никого не коря,
Чтоб забыть беспризорное детство,
Пересылки, суды, лагеря...

Гаснут дали в проеме оконном...
Психбольница — совсем как тюрьма.
И слегка призабытым жаргоном
Примерещилась вновь Колыма...

Только здесь, в этом шуме и гвалте,
Есть картинки еще почудней.
Атеист, краснощекий бухгалтер,
Ловит кепкой зеленых чертей.

Ничего, постепенно привыкну.
Было хуже мне тысячу раз.
Оглушительным голосом крикну:
– Х.. ловишь ты их, педераст?

...От жестокого времени спрячу
Эти строки в худую суму.
Ничего не могу и не значу
И не нужен уже никому.

Лишь какой-то товарищ неблизкий
Вдруг попросит, прогнав мелюзгу:
– Толик, сделай чифир по-колымски!..
Это я еще, точно, смогу.

Все смогу! Постепенно привыкну.
Не умолкнут мои соловьи.
Оглушительным голосом крикну:
– Х.. вам в рот, дорогие мои!..

1975

* * *

Дым струится, и сладкий, и горький.
Дым далекие годы открыл.
Курим с сыном сигарки с махоркой,
Как я в лагере прежде курил.

И припомнились долгие версты
И костер, догоревший дотла...
А свернуть-то сигарку не просто.
Память пальцев скрутить помогла.

Эта память со мною повсюду.
С ней невзгоду легко приручить.
Никогда я не думал, что буду
Сына этому делу учить.

1992

* * *

Россия Бога не забыла.
Хоть муки крестные прошла,
Но все же свято сохранила
Частицу веры и тепла.

И от одной от малой свечки
Зажглась могучая заря.
И стало ясно: вера вечна,
Как вечны солнце и земля.

Старинной улицей московской
С названием новым и чужим
Идем, спешим по кромке скользкой,
К своим троллейбусам бежим.

Еще февраль сгущает краски.
Еще под наледью трава.
Но близок день вселенской Пасхи,
Пора святого торжества.

И верба расцветает в банке
В лучах нежаркого тепла.
И дерзко церковь на Лубянке
Звонит во все колокола.

1991

* * *

Белый-белый торжественный снег
И холодная свежесть окраин.
И машины стремительный бег.
И рябины горят, не сгорая.

И по-прежнему сердце влечет
Эта радость равнины окрестной,
Этот тонкий сверкающий лед
У обрыва над речкой безвестной.

Эта в поле сухая трава,
Эта заметь у старого тына.
Эти в первом снегу дерева.
Больше прочих, конечно, рябина.

1991

* * *

Храм белел сквозь черные деревья,
И хрустел вечерний темный снег.
Улетело солнечное время,
И умолк короткий летний смех.

Лето, лето! Молодость и сила.
И слеза живицы на сосне.
Слава Богу, — все когда-то было
И осталось памятью во мне.

Долго ли продлится эта память,
Эта тень деревьев на снегу?
Многое могу переупрямить.
Только время... Время — не могу!

И когда меня осилит время
И душа отправится в полет,
Пусть белеет храм среди деревьев
И далекий колокол поет.

1991

* * *

Е.М. Раевской

Ах, мама, мама! Как ты пела, мама.
Тебя уж нет, но голос твой во мне.
Он все звучит и нежно, и упрямо,
И сердце стынет в горьком полусне.

В той тихой песне было много боли.
Про черный омут, вербы, тростники,
Про васильки, которые для Лели
Вы собирали в поле у реки.

Ушло навеки все, что было близко,
Лишь васильков — косою не скосить.
Забыл слова из песни материнской.
Забыл слова, и некого спросить.

12.5.1998

* * *

Мама! Дворянка Раевская.
(Польша, двенадцатый век.)
Древнему роду отместкою —
Холмик без знаков и вех.

Рядом сосна разветвленная.
Легче могилу найти.
Крона густая, зеленая —
Метой поможет в пути.

С Ирой и сыном Володею
В город поедem опять.
Родина, родина, родина! —
Будут колеса стучать.

Крест православный березовый
Нежно поглажу рукой.
Розовый, розовый, розовый
Будет закат за рекой.

12.5.1998

* * *

Дальние предки — католики.
Это теперь все равно.
Столики, столики, столики,
Белое злое вино.

Что же, помянем родителей,
Раз уж обычай такой.
Крепко их в жизни обидели.
Только в могилах — покой.

Били, стреляли, кулачили —
Город, деревня, село...
Было судьбою назначено
Долгое, долгое зло.

Долгие тюрьмы с погостами.
В памяти это свежо.
Пусть же хотя бы у Господа
Будет вам всем хорошо.

12.5.1998

Воспоминание о воронежских садах

Клубится в близком редколесье
Подземный атомный завод.
Сады и кладбища за весью —
Спасение от тех невзгод.

В садах писалось мне прекрасно,
Но продан сад и сломан дом.
И над заводом жить опасно,
Но мы не ведали о том.

Он под землей гудит ракетой,
Вулканом пышет из леска,
Но яблоня в цветы одета
И сердцу моему близка.

И бьль-Чернобыль мне не страшен –
Над ним я вырастил свой сад
Среди полей, лесов и пашен,
Среди кладбищенских оград.

Я перенес из леса ясень,
Березу, елки, бересклет.
В их окружении прекрасном
Стихи писал я много лет.

И мне плевать на излученье,
Пока в глазах моих живет
Весенней яблони свеченье
И елки радостный полет.

Что мир спасется красотой,
Наивно знал я в те года.
Но вот стою над пустотою...
Как ошибался я тогда!

12.5.1998



**Два письма
А. Жигулину**

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Два письма А. Жигулину

20.4.65.
Рязань

Дорогой Анатолий Владимирович!

Хорошее у Вас письмо, нравится мне в нем многое.

Рассматриваемые под таким углом курсы помогут Вам насытиться литературной жизнью. Но вот кончите их и — хватит. Имея специальность, да еще лесотехническую, да еще *любя ее*, — слушайте, возвращайтесь на эту работу! Чтобы стихи у Вас совсем не ассоциировались с «заработком». И тогда (только тогда!) Вы напишете свои лучшие, настоящие и, надеюсь, вечные вещи. Необходимость же ладить с редактором помешает Вам писать стихи высокого качества — на пять и выше. А стихов в двадцатом веке так много, так много, что никаких, кроме отличных и лучше отличных, уже *не нужно*. Уже «просто хорошие» стихотворения не оправдывают себя, отнимают время и голову забивают. Поставьте задачу: писать или отлично, или никак! «Хорошо» — не надо...

Я не смею никогда судить о теории поэзии (тем более что, по-моему, поэты и сами еще ни разу не договорились о том, что такое поэзия), но, мне кажется, Шаламов, говоря Вам о стихе-символе, за которым главное должно стоять неназванным, только предчувствуемым, — распространяет на всю по-

эзию метод только одного ее направления, хотя и очень ценного, очень нежного, очень плодотворного. У нас это направление началось с Блока (не ручаюсь за точность), включает Ахматову, Пастернака (перечислять тоже не берусь) и, очевидно, самого Шаламова. Со всех сторон мне толкуют, что вот это и есть единственная и истинная поэзия — когда слова даже не имеют прямого смысла, когда переходы неуловимы, алогичны, но вдруг на что-то тебе намекают, что-то навевают. Я согласен — поэзия эта великая, тонкая, изящная, настоящая, я их всех очень люблю. И все-таки никогда не соглашусь, что другой поэзии быть не может. По-моему, большинство стихов Пушкина и Лермонтова совершенно не отвечают этим критериям — но ниже ли они? Едва ли. Не уступлю их. (И, что меня очень удивило, Ахматова довольно высоко ставит Некрасова — а уж, кажется, противоположной поэзии и найти нельзя.)

Поэтому я все-таки хочу Вам посоветовать не верить Варламу Тихоновичу, что «Кострожоги», «Бурундук» и «Хлеб» — не поэзия. Самая настоящая и самая нужная! И если пишется так — пишите!!

С остальными мыслями Вашего письма я согласен.

Крепко жму руку, желаю здоровья и удачи!

А. Солженицын.

А прозу Шаламова постарайтесь прочесть.

10.1.65 г.

Рязань

Дорогой
Анатолий Владимирович!

Очень я перед Вами виноват, что так долго Вы не могли дожидаться моего ответа. А пришли Ваши письмо и книга после моего отъезда и за это время попали не в пачку писем, а в пачку рукописей, на рукописи же у меня никогда времени не остается. И вот сейчас перед новым отъездом, подчищая дела, откопал случайно все Ваше.

Как-то этой осенью, когда я был в «Н<овом> М<ире>», мне прочли Вашего «Врага», и теперь я сразу вспомнил Вашу фамилию.

Анатолий Владимирович! Я вообще отношусь к поэзии XX века настороженно — крикливая, куда-то лезет, хочет как-то изощриться особенно, обязательно поразить и удивить. Но я рад сказать, что все это *совершенно* не относится к Вам. Ваши стихи сердечно тронули меня, это бывает *очень* редко. Вы человек — честный, душевный и думающий. И все это очень хорошо передают стихи. «Кострожоги» Ваши великолепны, очень хорош «Бурундук». Ощущаю чрезвычайно родственно: «Я был назначен бригадиром», «Осенью». Да в машинописном прило-

жени ни одного не значительного нет. Второй раздел сборника прочел, только не весь, но большей частью. Там есть неровности, бывают досадные прозаизмы (редко, впрочем), есть иногда и тот недостаток, к-рый Вы заметили сами, — а в общем, хоть автор работал на общих, но удивляет светлый оттенок, который выше всего, — удивляет и радует. Без всякого насилия, круто и аппетитно (вот диво!) замешивается у Вас и лагерный быт, и разные виды работ, и стихи («Золото», «Хлеб», «Ночная смена» и др.). Интересно сопоставить Вас с Шаламовым. Вы читали его?

Как Ваша лесотехническая специальность? Бросили? Верно ли это? Очень ли нужна высшая лит. школа? Что это Вам дает?

Напишите сюда, мне перешлют.

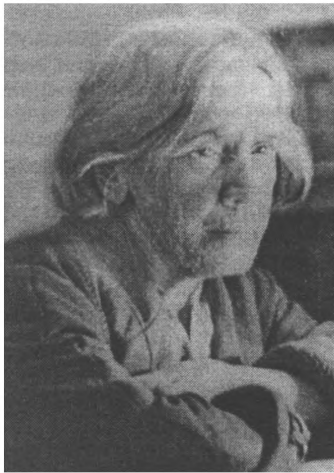
Будьте здоровы — здоровы-здоровы!!

Я надеюсь, что мы с Вами еще повидаемся.

Крепко жму руку!

А. Солженицын.

Улицу переименовали,
и мой адрес звучит так:
Рязань, 23, ул. Урицкого, 17,
кв. № 3.



Как дух наш
горестный
живуч

АННА БАРКОВА

Долгие годы имя Анны Барковой не значилось в списках существующей поэзии. Слово и не было блестящего дебюта молодой поэтессы из Иваново-Вознесенска в начале 20-х годов, когда о ее стихах сочувственно отзывались Блок, Брюсов, Воронский. Канул в забвение первый и последний при жизни Барковой стихотворный сборник «Женщина» (Петроград, 1922) с восторженным предисловием А.В.Луначарского, где, в частности, утверждалось: «Совсем свое лицо у этого юного человека. Я нисколько не рискую, говоря, что у товарища Барковой большое будущее...»

Знал бы Анатолий Васильевич, каким страшным образом обернется его пророчество! Более двадцати лет ГУЛАГа, жуткое одиночество, безвестность...

А начиналось все с черного фабричного города, где она родилась в 1901 году, где прошли ее детство и юность:

Городская изба, не сельская,
В ней не пахло медовой травой,
Пахло водкой, заботой житейскою,
Жизнью злобной, еле живой.

Очень рано обозначается центральная коллизия жизни и творчества: злой здешний мир и тайное подвижничество души... На какой-то миг, в революционные годы, Барковой покажется, что

наконец-то душа и повседневность слились в нечто единое. Запреты сняты. Все позволено... Тогда-то и будет ею создана «Женщина» — одна из самых странных, косноязычных книг в поэзии того времени. Что-то было в этой книге «поверх барьеров», поверх самой тогдашней Барковой, тяготевшей к пролеткультовским представлениям о происходящем. Отозвались, быть может, Достоевский, Ницше, Эдгар По — к ним тянулась она еще девочкой из той «мутной избы» под закопченным небом.

Мир двоится, человек двоится. Поэтический ключ к «Женщине» — образ души, которая каждый миг зарождается и каждый миг умирает, *вечно не та*. Воспев революцию и красноармейку со звездой на рукаве, Баркова предрекала гибель тому, кто доверился той же революции. Гибель поэту, опьяненному революционным бунтарством. Гибель России. Завершало книгу стихотворение «Прокаженная»:

Это тело проказа источит,
 Растерзают сердце ножи.
 Не смотрите в кровавые очи,
 Я вам издали буду служить.
 Моя песнь все страстней и печальней
 Провожает последний закат,
 И приветствует кто-то дальний
 Мой торжественно-грустный взгляд.

Стихи написаны как раз тогда, когда обласканная Луначарским Баркова жила не где-нибудь, а в самом Кремле. Была личным секретарем наркома. Значит, именно здесь поняла она всю дьявольскую подоплеку происходящего? Именно в этой цитадели марксизма-большевизма прозрела она ложность своего недавнего революционно-романтического порыва? Убежден: все так и было.

В Кремле написана и пьеса «Настасья Костер» (издана в 1923 году и больше никогда не переиздавалась). В ней рассказывается об огневолосой атаманше, поднимающей холопов на бунт (действие происходит в XVII веке). Читаешь пьесу, вспоминаешь то, о чем в свое время писал Н.Бердяев: «Россия — страна бесконечной свободы и духовных далей, страна странников и искателей, страна мятежная и жуткая в своей стихийности, в своем народном дионисизме, не желающем знать формы». Что скрывать: Баркова в пьесе своей любит такой Россией — и ужасается, видит гибельность ее пути. Геронья сгорает в огне, зажженном ею самой. Она проиграла, потому что сделала ставку на *краденую икону*. Злом хотела победить зло. Таким образом, Баркова предьявляла

счет и тем, кто программно обманывал народ в революции, и тем, кто невольно обманывался посулами свободы.

Анна Баркова всегда додумывала мысли до конца, до поступка. Кремлевские «иконы» — краденые. И она ушла в ночь, в долгую безвестность. За три года до первого ареста в своем «ночном» блокнотике (потом он окажется на Лубянке) она пишет:

Все вижу призрачный и душный,
И длинный коридор,
И ряд винтовок равнодушных,
Направленных в упор...

В марте 1935 года она ознакомилась с первым своим приговором: 5 лет ГУЛАГа. Будто жизнь кончилась. Там, куда ее посылают, не будет стихов... И она пишет заявление на имя наркома Ягоды, где *просит подвергнуть ее высшей мере наказания — расстрелу*. Это была одна из редких ошибок поэта. В гулаговском аду она не только не перестала быть собой, но именно там обрела полную уверенность в себе! Позже она писала друзьям о Карлаге: «В общем, я не жалею, что пять лет жарилась и морозилась в монгольских степях. Как часто я вспоминала пророческие стихи из моей первой книги:

Взлечу же хоть раз и кану
В монгольских глубоких степях.
.....
Посею последнюю силу
В сожженной монгольской степи.

Избави Бог от досужего красноречия в таком разговоре, но, кажется, «щуку бросили в реку». Таланту и духу Барковой и должны были противостоять и крепь лубянских гранитных стен, и мертвое пространство степи, простреливаемое с вышек. Такова была «форма» для этой неистойвой души, для этой воли. Такова уникальность Барковой.

Неоценим и неотделим опыт ее жизни и творчества от трагического опыта пореволюционной России, да и всего XX столетия. Прав Лев Аннинский, назвавший Баркову великим русским поэтом. Добро и зло, ненависть и обожанье, правда и ложь, низость и святость явились в ее стихах в таком бесстрашном и резком драматическом переплетении, какого наша словесность еще не видела. Соблазн подмен, искушение всякого рода беллетристической она отвергла с брезгливостью, не вступая в литературные игры, которых не чуждались именитые и талантливые ее современники.

Любимым ее фольклорным героем, правда, был Иван-дурак, но она ценила в нем, по-видимому, что-то свое, отнюдь не шутовское. Тут она оказалась в согласии с постоянным своим оппонентом В.В.Розановым: оба видели в Иванушке некий залог неистребимости русского характера, способного пережить грандиозные утопии, небывалые помрачения... Таковы стихи Барковой об Иване-дураке.

Поразительно, но именно этой женщине, низводимой ежедневно и годами до состояния ничтожества, лагерной пыли, — открывалось в стихах, прозе, заметках (за что она и *«путешествовала» трижды* в «творческие командировки») — мировое пространство Истории. Парадокс! Ведь убедил нас Варлам Шаламов в сугубо отрицательном значении лагерного опыта.

Анна Александровна Баркова не говорит, что лагерь — это хорошо. Она рисует ад — покромешнее Дантова... Но в этом аду, оставшись человеком, стала она русским поэтом, значение которого открывается и растет с каждым годом. И в самом деле: живуч народ наш, нынешний Иван, которого не дурачит, не грабит, не позорит и не топчет только ленивый... О России Баркова пишет:

Лошадьми татарскими топтана,/И в разбойных приказах пытана,
/И петровским калечена опытом,/И петровской дубиной воспитана.
/И пруссаками замуштрована,/И своими кругом обворована.
/Тебя всеми крутило течениями,/Сбило с толку чужими учениями.
/Ты к Европе лицом повернута,/На дыбы над бездною вздернута,
/Ошарашена, огорошена,/В ту же самую бездну и сброшена.
/И жива ты, живым-живехонька...

Горек наш оптимизм и прискорбен — другого нам не дано.

Л. Таганов

КАК ДУХ НАШ ГОРЕСТНЫЙ ЖИВУЧ...

Отец

Я хотел бы стать угрюмым волком
И тоскливо выть в ночной степи.
Дочь хочу увидеть только,
А потом пусть держат на цепи.

Полон безысходной, горькой скорби
Лишь о ней, а больше ни о ком.
Мимо всех пройду, пугливо сгорбясь,
Беззащитным, жалким стариком.

Дочь моя, теперь тебе семнадцать,
В возрасте твоём цветут сердца.
Ты любила плакать и смеяться
И искать защиты у отца.

Я измучен тяжестью изгнания,
И болезнью, и тупым трудом,
Но об этой муке без названья
Не узнает мой родимый дом.

Счастливым рассказами твоими,
О своем при встрече промолчу...
Все забыл и лишь родное имя,
Как молитву тайную, шепчу.

Пусть больные вены разорвутся,
Помутившись, свет уйдет из глаз,

Дайте лишь на миг домой вернуться
И увидеть дочь в последний раз.

1938

* * *

Если б жизнь повернуть на обратное,
Если бы сызнова все начинать!
Где ты, «время мое невозвратное»?
Золотая и гордая стать!
Ну, а что бы я все-таки делала,
Если б новенькой стала, иной?
Стала б я на все руки умелая,
С очень гибкой душой и спиной.
Неприменно пролезла бы в прессу я,
Хоть бы с заднего – черт с ним! – крыльца,
Замечательной поэтессою,
Патриоткою без конца.
...Наторевши в Священном Писании,
Я разила бы ересь кругом,
Завела бы себе автосани я
И коттеджного облика дом.
Молодежь бы встречала ощерясь я
И вгоняя цитатами в дрожь,
Потому что кощунственной ересью
Зачастую живет молодежь.
И за это большими медалями
На меня бы просыпалась высь,
И, быть может, мне премию дали бы:
– Окаянная, на! Подавись!
Наконец, благодарная родина
Труп мой хладный забила бы в гроб,
В пышный гроб цвета красной смородины.
Все достигнуто. Кончено, стоп!
И внимала бы публика видная
Очень скорбным надгробным словам
(Наконец-то подохла, ехидная,
И дорогу очистила нам!):
Мы украсим, друзья, монументами
Этот славный и творческий путь...
И потом истуканом цементным мне
Придавили бы мертвую грудь.
И вот это, до одури пошрое,
Мы значительной жизнью зовем.

Ах, и вчуже становится тошно мне
В арестантском бушлате моем.
Хорошо, что другое мне выпало:
Нищета, и война, и острог,
Что меня и снегами засыпало,
И сбивало метелями с ног.
И что грозных смятений созвездия
Ослепляют весь мир и меня,
И что я доживу до возмездия,
До великого судного дня.

1953

Платон

Не допускать в республику поэтов,
Сынов лукавой музыкальной лжи,
Они влекут нас за пределы света,
За тесные земные рубежи,
В запретный мир идей первоначальных,
В пронизанный благим сияньем день.
Наш косный мир, неясный и печальный,
Лишь тень оттуда, сумрачная тень.
Мы — искаженье красоты предвечной,
Мы — отзвук грубый музыки высот.
И нас туда влечет поэт беспечный,
Где сам — бессильный — гибель обретет.
Мы двойственность навеки возвеличим,
Два мира воедино не сольем.
Стремление законом ограничим
И усмирим и мерой, и числом.
Мятежным чувством, мыслью опьяненной,
Гармонией опасной ярких слов
Мы не нарушим грозного закона
О вечном разделении миров.

26 октября 1953

Нечто автобиографическое

В коллективной яме, без гробницы,
Я закончу жизненный свой путь.
Полустертые мои страницы,
Может быть, отыщет кто-нибудь.

И придется чудаку по нраву
Едкость злых, царапающих строк,
И решит он: — Вот достойный славы
Полугений и полупророк.
А по окончаниям глагольным
Я скажу, что то была *она*,
Беспокойна, вечно недовольна
И умом терзающим умна.
Пусть ученики мои обрышут
Все заброшенные чердаки,
И они, надеюсь я, отыщут
Письмена загадочной руки
И найдут, разрывши хлам бумажный,
Очень много всякой чепухи.
И к моим грехам припишут важно
И чужие скучные грехи.
Уж они сумеют постараться,
В поученье людям и себе,
Написать десятки диссертаций
О моей заглохнувшей судьбе.
Педантично, страстно и дотошно
Наплодят гипотез всяких тьму,
Так что в общей яме станет тошно,
Станет тошно праху моему.
За таинственное преступление —
Кто из нас проникнет в эту тьму? —
Поэтессу нашу, к сожаленью,
В каторжную бросили тюрьму,
Нет нигде малейшего намека,
Что она свершила и зачем.
Верно, преступление столь жестоко,
Что пришлось бы содрогнуться всем.
А в тюрьме ее, как видно, били
(Это мнение частное мое),
Но ученики ее любили,
Чтили почитатели ее.
Вывод из отрывка номер восемь:
Спас ее какой-то меценат.
Но установить не удалось нам
Обстоятельств всех и точных дат.
И в дальнейшем (там же) есть пробелы,
Нам гадать придется много лет:
За какое сумрачное дело

Пострадал блистательный поэт.
Не поэт — простите! — поэтесса!
Впрочем, если углубиться в суть,
То и здесь какая-то завеса
К истине нам преграждает путь.
Едкий ум, не знающий пощады,
О, коллеги, не мужской ли ум?
О, душа, отмеченная хладом,
Нрав сухой и жгучий, как самум.
С женственностью это все несхоже.
Факты надо! Факты нам на стол!
А когда мы факты приумножим,
Мы определим лицо и пол.
Сколько здесь волнующих моментов,
Сколько завлекательнейших тем!
В поиски! Ловите документы,
Строчки прозы, писем и поэм!
Кажется, поэт достиг предела
Творчества, и славы, и годов.
И за честь покоить его тело
Спорили десятки городов.
Но его похоронила втайне
Прозелитов преданных толпа.
Их вела по городской окраине
К месту погребения тропа.
Ночь их звездным трауром покрыла,
Пламенели факелы в пути...
Только знаменитую могилу
До сих пор не можем мы найти.
Тут с негодованьем мои кости
О чужие кости застучат:
— Я лежу на северном погосте.
Лжешь постыдно, наглый кандидат.
Знаю, что на доктора ты метишь,
С важностью цитатами звеня.
Но в твоём паршивом винегрете
Мой читатель не найдет меня.
В пол мужской за гробом записали...
Я всегда, всю жизнь была она.
Меценатов к черту! Не спасали
Меценаты в наши времена.
И учеников я не имела,
И никто в тюрьме меня не бил,
И за самое смешное дело

Смехотворный суд меня судил.
Я жила средь молодежи глупой
И среди помешанных старух.
От тюремного пустого супа
Угасали плоть моя и дух.
Факельное шествие к могиле —
Выдумка бездарная твоя.
В яму коллективную свалили
Пятерых, таких же, как и я.

Октябрь 1953

* * *

Днем они все подобны пороху,
А ночью тихи, как мыши.
Они прислушиваются к каждому шороху,
Который откуда-то слышен.

Там, на лестнице... Боже! Кто это?
Звонок... К кому? Не ко мне ли?
А сердце-то ноет, а сердце ноет-то!
А с совестью — канители!

Вспоминается каждый мелкий поступок,
Боже мой! Не за это ли?
С таким подозрительным — как это глупо! —
Пил водку и ел котлеты!

Утром встают. Под глазами отеки.
Но страх ушел вместе с ночью.
И песню свистят о стране широкой,
Где так вольно дышит... и прочее.

1954

Во время прогулки

Сегодня чужое веселье,
Как крест, на душе я несу.
Бежать бы и спрятаться в келью
В каком-нибудь диком лесу.

Охрипли чахоточно струны
Надорванной скрипки больной...

Здесь нет несозревших и юных.
Все старятся вместе со мной.

Здесь старят, наверно, не годы,
А ветер, пурга, облака.
И тусклое слово «невзгода»,
И мутное слово «тоска».

Здесь старят весна и морозы,
И жизни безжизненный строй,
И чьи-то тупые угрозы,
Приказы: «Иди!» или «Стой!».

Охрипли чахоточно струны
Надорванной скрипки больной.
Здесь тот, кто считается юным,
Бессильно дряхлеет со мной.

1955

Лермонтову

Московской ночью, в сонном перепуте,
Недвижима в постели жалкой я.
И снится ночь мне на Полярном Круге,
Моей любимой родины края.
Я не одна. Мы разные. Нас много.
Но всех свела единая судьба.
Мы вопием и к Сатане, и к Богу,
Смешались чертыханья и божба,
Но это все, конечно, полушепот,
Подземный, дальний неопасный гул.
Но если кто решается на ропот,
Он оборвется криком: караул!
И смертью под колючею оградой
(Непобедимый, чуткий наш заслон).
Один патрон — а больше и не надо, —
И человек навеки укрощен.
Не человек. Иное имя носим,
Короткое и звучное: з/к.
И снится нам, что милости мы просим
И милость получаем от ЦК.
Хоть трижды мне дарована свобода,
Хоть трижды я была осуждена,

Но у всего советского народа
Одна со мной безвинная вина.
Мне снится не долина Дагестана, —
Землянка, нары, где ни лечь, ни встать.
И кто-то очень бдительный и рьяный
Сулит еще подальше нас заслать.
Спокойно обещает: будет хлеще!
Вспомянете и эту вонь и мусть.
Не только чемоданчики и вещи —
Себя вам будет некуда воткнуть.
Проснулась я. Удушье без исхода.
Я в комнате. И днем в ней полутьма.
Затем, чтобы в дарованной свободе
Мне непрерывно чуялась тюрьма.

1970

* * *

Что в крови прижилось, то не минется,
Я и в нежности очень груба.
Воспитала меня в провинции
В три окошечка мутных изба.

Городская изба, не сельская,
В ней не пахло медовой травой,
Пахло водкой, заботой житейскою,
Жизнью злобной, еле живой.

Только в книгах раскрылось мне странное
Сквозь российскую серую пыль,
Сквозь уныние окаянное
Мне чужая привиделась быть.

Золотая, преступная, гордая
Даже в пытке, в огне костра.
А у нас обрубали бороды
По приказу царя Петра.

А у нас на конюшне сékли,
До сих пор по-иному секут,
До сих пор горим в нашем пекле
И клянем подневольный труд.

Я как все, не хуже, не лучше,
Только ум острее и сильней.

Я живу, покоряясь случаю,
Под насилием наших дней.

Оттого я грубо неловкая,
Как неловок закованный раб.
Человеческой нет сноровки
У моих неуклюжих лап.

1971

* * *

От веры или от неверия
Отречься, право, все равно.
Вздохнем мы с тихим лицемерием:
Что делать? Видно, суждено.

Все для того, чтобы потомство
Текло в грядущее рекой,
С таким же кротким вероломством,
С продажной нищенской рукой.

Мы окровавленного бога
Прославим рабским языком,
Заткнем мы пасть свою убогую
Господским брошенным куском.

И надо отречься, надо,
Во имя лишних дней, минут.
Во имя стад мы входим в стадо,
Целуем на коленях кнут.

* * *

О, если б за мои грехи
Без вести мне пропасть!
Без похоронной чепухи
Попасть безносой в пасть!
Как наши сгнули, как те,
Кто не пришел назад.
Как те, что в вечной мерзлоте
Нетленными лежат.

Шутка

В переулке арбатском глухом
Очень темный и дряхлый дом

Спешил прохожим признаться:
«Здесь дедушка русской авиации».
А я бабушка чья?
Пролетарская поэзия внука моя —
Раньше бабушки внука скончалась —
Какая жалость!

1975

* * *

Как пронзительное страданье,
Этой нежности благодать.
Ее можно только рыданием
Оборвавшимся передать.

1975

* * *

Себе чужая, я иду,
Клонясь к концу пути.
Себя ищу, ловлю и жду,
И не могу найти.

Кто в этом теле — не понять,
И думой душу не обнять,
И сердца не постичь.
Мое неведомое «я»,
Душа заблудшая моя,
На мой откликнись клич!

11 июля 1975



Всенощная

АЛЕКСАНДР СОЛОДОВНИКОВ

Человек глубоко религиозный, Александр Солодовников (1893–1974) представляет особый, редкий пласт поэтического творчества – духовный стих, вдохновленный верой в Бога. После первых публикаций Солодовникова в 1989 году в журнале «Новый мир» и сборнике «Воскрешение» у поэта появились горячие поклонники.

Александр Александрович Солодовников родился в Москве, в семье учителя правоведения, выходца из старинного купеческого рода. Окончил Императорскую академию коммерческих наук, а в годы Первой мировой войны учился в Алексеевском пехотном училище. В Гражданскую воевал в кавалерии у Деникина, после войны работал экономистом. Трижды подвергался арестам. В 1920 году его взяли по ошибке и, продержав несколько месяцев в Саратовской тюрьме, отпустили. В 1937 году он был арестован вторично и тоже вскоре освобожден, но после ареста 1938 года осужден на десять лет и отправлен в лагерь Сеймчан, на Колыму.

Освободившись в 1948 году, Солодовников не стал сразу возвращаться на «материк», а остался на Колыме как вольнонаемный и работал в детском саду для детей зеков до 1957 года.

Всю жизнь он писал стихи, но опубликованы они были впервые лишь после смерти поэта.

Солодовников не оставил после себя автобиографических записей, да, вероятно, и не делал их. «Я весь в стихах!» — говорил он и этим ставил себя в один ряд с древнерусскими изографами, которые не подписывали созданных ими икон, поскольку считали себя недостойными подмастерьями Великого Мастера.

Это отвечало мироощущению поэта. Он творил из жизни жите и сознательно выбрал себе роль чудака. Работал он... Дедом Морозом — выступал в детсадах, сочиняя и разыгрывая целые новогодние мистерии, и получал за это, разумеется, гроши. Жил нищенски. Родственница-врач, видя, как он задыхается в шубе Деда Мороза, не раз предупреждала: «Шура, вам это нельзя. Это плохо кончится...»

Он отмахивался — не мог иначе. Даже в лагере он оставался Дедом Морозом: однажды на Новый год отлил изо льда вазы, поставил в каждую по свече и устроил праздничную аллею таких трепетных огоньков, уходящих в небо, к звездам...

Умер А. Солодовников в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище.

В. Шенталинский

ВСЕНОЩНАЯ

Преподобный Сергей

Нас излечит не подъем энергии,
А молитвенно-глубокий взлет.
В чудотворце Радонежском Сергии
Положил я свой оплот.

Черпать воду чашей берестовою,
Сытым быть от малого ломтя,
Чтоб открылась пред душою новою
Глубина и высота.

Как с живыми, говорить с березками
И с лесным медведем, как с ручным.
Сделать руки грубыми и жесткими,
Сердце — нежным и большим.

1920

* * *

За дверью кашляет тюремщик,
А за окном вздыхает май.
И переполнил звездный жемчуг
Тайницу неба через край.

Взволнованный весенний шорох.
Минуты — заостренной стрел.

А рядом — спутавшийся ворох
Обезразличившихся тел.

Огромный ключ тюрьмы холодной
И плесень кельи гробовой.
А я — безудержно свободный
И нестареюще живой.

1920

Осанна

В бело-розовых яблонях пчелы гудят,
В лазури мая сияет сад,
Пчелы поют органно —
Осанна!

Кукушка кукует в лесу молодом,
Светел, как новый, наш старый дом,
Все зелено, юно, туманно —
Осанна!

Каштаны белые свечи зажгли,
Курится нежный туман земли,
Зяблик звенит неустанно —
Осанна!

И все я прощаю жестокой зиме,
Глубокой печали, отчаянью, тьме,
Чтоб Господу петь невозбранно —
Осанна!

1922—1931

Тюрьма

Благо мне, что я пострадал,
дабы научиться уставам Твоим.
Псалом

1

Решетка ржавая, — спасибо,
Спасибо, старая тюрьма!
Такую волю дать могли бы
Мне только посох да сума.

Мной не владеют больше вещи,
Всё потемняя и глуша,

Но Солнце, Солнце, Солнце блещет,
И тихо говорит душа.

Запоры крепкие, — спасибо!
Спасибо, лезвие штыка!
Такую мудрость дать могли бы
Мне только долгие века.

Не напрягая больше слуха,
Чтоб уцелеть в тревоге дня,
Я слышу всё томленье духа
С Екклесиаста до меня.

Спасибо, свет коптилки слабый,
Спасибо, жесткая постель.
Такую радость дать могла бы
Мне только детства колыбель.

Уж я не бьюсь в сетях словесных,
Ища причин добру и злу,
Но в ожиданье тайн чудесных
Надеюсь, верю и люблю.

1920

2

Лен, голубой цветочек,
Сколько муки тебе суждено.
Мнут тебя, треплют и мочат,
Из травинки творя полотно.

Всё в тебе обрекли умиранью,
Только часть уцелеть должна,
Чтобы стать драгоценною тканью,
Что бела, и тонка, и прочна.

Трепли, трепли меня, Боже!
Разминай, как зеленый лен,
Чтобы стал я судьбой своей тоже
В полотно из травы превращен.

1938—1956

3

Дорожу я воспоминаньем,
Как отец меня плавать учил.
Покидал средь реки на купанье,
Но рядом со мною плыл.

И когда я в испуге и муке
Задыхался и шел ко дну,
Отцовские сильные руки
Поднимали меня в вышину.

И теперь, когда я утопаю
И воочию вижу конец,
Я, как мальчик тот, уповаю,
Что рядом со мною Отец.

Он вернет из любой разлуки,
Вознесет из любой глубины,
Предаюсь в Его крепкие руки
И спокойные вижу сны.

1938–1956

4

Святися, святися
Тюрьмой, душа моя!
Стань чище нарцисса,
Свежее ручья.

Оденься, омойся,
Пучочки трав развесь,
Как домик на Троицу
В березках весь.

Темница чем жестче,
Суровее и темней,
Тем солнечней в роше
Души моей.

Чем яростней крики
И толще прут в окне,
Тем льнут повилики
Нежнее ко мне.

5

«Всякий огнем осолится».
«Имейте соль в себе»...
Не огонь ли – моя темница,
Не соль ли – в моей судьбе?
В огне размягчилось сердце,
Очистила душу соль.
Влеком евангельской вершей,
Забыл я неволи боль.

Воскреснет вольная птица
И в самом жалком рабе.
«Всякий огнем осолится».
«Имейте соль в себе».

1919—1921

* * *

Бродя во мгле, вдыхая гарь
Катастрофического века,
Как Диоген, зажгу фонарь
Искать на людях человека.
Хотя бы призрак красоты,
Хотя бы тень ума и чести,
И я поверю, что цветы
Растут на оскверненном месте.

1938—1956

Сентябрь 1939-го

В святилище времени доступ
Открылся... Душа зажжена.
Истории тяжкая поступь
В осеннем затишье слышна.

При вешем молчанье природы,
Под грустные вскрики синиц,
Как листья, кружатся народы,
Взлетают и падают ниц.

И белые крылья молитвы
Взволнованный дух понесли,
Чтоб слышать грядущие битвы
И пень летящей Земли.

Ночь под звездами

Свершает ночь свое Богослужение,
Мерцающая движется созвездий крестный ход.
По храму неба стройное движение
Одной струей торжественно течет.

Едва свилась закатная завеса,
Пошли огни, которым нет числа:
Крест Лебеда, светильник Геркулеса,
Тройной огонь созвездия Орла.

Прекрасной Веги нежная лампада,
Кассиопей знак, а вслед за ней
Снопом свечей горящие Плеяды,
Пегас, и Андромеда, и Персей.

Кастор и Поллукс друг за другом близко
Идут вдвоем. Капеллы хор поет,
И Орион, небес архиепископ,
Великолепный совершает ход.

Обходят все вокруг чаши драгоценной
Медведицы... Таинственно она
В глубинах неба, в алтаре Вселенной
Векам веков

Творцом
утверждена.

Но вот прошли небесные светила,
Исполнен чин, творимый бездны лет,
И вспыхнуло зари паникадило,
Хвала Тебе,

явившему
нам
Свет!

1940. Кольма. Ночная смена

Счастье

Утром хожу по дороге на службу
Медленным шагом. Лелею дружбу
С миром безмолвным, тайно знакомым,
С каждым деревом, с каждым домом.
Тени деревьев на гладкой стене
В сладостном счастье кивают мне.
Солнечный свет в листве за оградой
Зажигается сердцу зеленой лампадой.
Господи Боже, какое счастье,
Что мира живого часть я.
Слышу я: детский звенит голосок,
Вижу: стоит ясноглазый цветок
И говорит, доверчиво глядя:
— Сколько сейчас времени, дядя?
Спасибо! Спасибо! Какое счастье,
Что этого мира живая часть я. —
В грудь мою ударяют лучи.
Она — тимпан и звенит в ответ:

Свет! Свет! Божественный Свет!
 Ликуй, радуйся, царствуй, звучи!
 Пойте, блаженные люди,
 О мире-тайне, о мире-чуде!
 Господи Боже, какое счастье,
 Что Божьего мира живая часть я!

Две заутрени

Светлая заутреня в отрочестве

В домово́й церкви тлеет золото,
 Поблескивая в полумраке,
 На грудь сестры сирень приколота,
 Вся в белом мать, отец во фраке.

Мучительно волнуясь внутренне,
 Гляжу я на входные двери.
 Не так, не так светла заутреня
 Без кружевного платья Мэри.

Вдруг, по таинственному голосу
 Переступив, я вижу сбоку
 Ее распущенные волосы,
 Ее зардевшуюся щеку́.

И в тот же миг паникадилами
 Зажглись и города, и веси,
 И полетело легкокрылое,
 Блаженное:

Христос
 Воскресе!

1914

Светлая заутреня в старости

По небу темными волокнами
 Несутся тучи...
 Блудный сын,
 У храма я стою под окнами
 В большой толпе как перст один.

Там свет, заутреня пасхальная,
 Там пир. Там Отчий дом родной
 Для всех, кому дорога дальняя
 И кто закончил путь земной.

За возносящимися дымами,
 В сиянии паникадил

Мне мнится — полон храм любимыми,
Которых я похоронил.

Там мама празднично-лучистая,
Отец с улыбкой доброты,
Головка дочки шелковистая
И братьев милые черты.

Но отделен решеткой кованой
От мира тайны и чудес,
Молюсь: да будет уготовано
Обнять их мне...
Христос Воскрес!

1960-е гг.

Предупреждение

Старцу Андронику

Я долго мечтой обольщался,
Что старцу запомнились мы,
Все те, кто с ним близко общался
В распадах седой Колымы.

Я с ним комариной тайгою
В толпе обреченных шагал,
Сгибался в шахтерском забое,
На лагерных нарах лежал.

По прихоти десятилетий
Капризные смены судьбы
Всё стерли... И старец ответил:
— Не знаю, не помню, забыл...

Боюсь, когда ангел суровый
Предстанет, о сроке трубя,
Я снова услышу то слово:
— Не знаю, не помню тебя...

1960-е гг.

Вербная всенощная

Пришел я ко всенощной с вербой в руках,
С расцветшими ветками в нежных пушках.
Пушистые шарики трогаю я:
Вот этот — умершая дочка моя,

Тот мяконецкий птенчик —
Сын мой младенец,
Двоешка под крепким брусничным листом —
Во всем неразлучные мать с отцом,
Тот шарик без зелени —
Друг мой расстрелянный,
К веткам прильнувший —
Племянш утонувший,
Смятый и скрученный —
Брат мой замученный,
А тот глянцевиный —
Брат мой убитый.
Шариков хватит на ветках тугих
Для всех отошедших моих дорогих.
Лица людей — лики окон,
Каждый свечою своей озарен.
Вербная роща в храм внесена,
В каждое сердце входит весна.
Радостно пение:
Всем воскресение!
Общее, общее всем воскресение!

Трепетны свечи
Радостью встречи,
Смысл уясняется в каждой судьбе.
Слава Тебе!

Слава Тебе!

2 апреля 1961

* * *

Как дерево в саду, Ты подстригал меня,
Побеги счастья все срезал, не дав развиться.
Угас ребенок мой, что был мне краше дня.
Рассыпалась семья, и вот я сам в темнице.

Но я люблю Тебя, Отцовская Рука,
Мне наносящая пронзительные раны.
И сердце полнит мне блаженство, как тоска.
Люблю Тебя, люблю

и в гимнах

славить стану.



**Полным
голосом**

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Елена Львовна Владимирова (1902–1962) родилась в Петербурге, в семье потомственных моряков. Училась в Институте благородных девиц, но рано прониклась революционными идеями, порвала с семьей и ушла из дома. В Гражданскую войну сражалась с басмачами в Средней Азии рядовым бойцом.

Вернувшись в родной город, Владимирова становится журналистом, выходит замуж за одного из вожаков петроградского комсомола, редактора «Красной газеты» Леонида Сыркина. В 1937 году все оборвалось: Сыркина арестовали и расстреляли, а ее как жену врага народа отправили в лагерь. В заключении Владимирова провела восемнадцать лет.

На Колыме она родилась как поэт и получила «высшее признание» — за стихи была приговорена к расстрелу, замененному после восьмидесяти девяти дней в камере смертников пятнадцатью годами каторжных работ. О том, как это было, рассказывают письма-воспоминания ее друзей.

«Направляю вам сохранившиеся у меня стихи Елены Владимировой, переданные в свое время ее другу по колымскому лагерю, моей жене А.С.Герценштейн. Обе тогда отбывали заключение в роли нянек в инфекционном детском отделении магаданской больницы, где Владимирова по ночам писала стихи, в то время как ее

«напарница» Герценштейн стояла на «цинке», чтобы, не дай Господь, начальство не застало поэта на месте «преступления». К сожалению, многие стихи пропали во время неоднократных обысков. Известно ли вам, что Владимирова была осуждена в Магадане на второй срок за свои стихи? Выдала ее врач, тоже заключенная...»

Другие подробности сообщил поэт Юрий Люба, друг Владимировой. После вторичного осуждения она продолжала писать стихи, только в уме, доверяя памяти, а не бумаге. Так рождалась ее поэма «Северная повесть» объемом около четырех тысяч строк. Здоровье Владимировой было уже подорвано, открылся туберкулез, и в 1945 году ее этапировали в Караганду. Там она закончила поэму и занесла на бумагу. Вот как рассказывала об этом автор: «Писать надо было обязательно открыто, не прячась, потому что иначе все сразу бы провалилось. Это “открыто” значило — под самым носом у начальства, на глазах у всех, но незаметно для них. Я брала иголку и какую-нибудь починку, кусочек карандаша и маленькие листочки папиросной бумаги и делала свои два дела одновременно. Садилась обычно поближе к воде, на всякий случай, — чтобы утопить всю “папиросную” работу в луже, ведре, кувшине и отделаться карцером. Страхovala меня одна приятельница, большой друг, рисковавший разделить мою судьбу...»

Поэму удалось вынести из зоны, спрятав в вышитую подушечку, тоже с помощью друзей...

Литературное наследие Владимировой — пять поэм и 260 стихотворений — сберег ленинградский поэт Юрий Люба.

В. Шенталинский

ПОЛНЫМ ГОЛОСОМ

*** * ***

Я всего лишь тюремный поэт,
я пишу о неволе.
О черте, разделяющей свет
на неравные доли.

Ограничена тема моя
обстановкой и местом.
Только тюрьмы, этап, лагеря
мне сегодня известны.

И в двойном оцепленье штыков
и тюремных затворов
вижу только сословье рабов
и сословье надзора.

Вышка. Вахта. Параша. Конвой.
Номера на бушлатах.
Пайка хлеба. Бачок с баландой.
Бирка с смертной датой.

Ограничена тема моя,
но за этой границей —
лагеря, лагеря, лагеря
от тайги до столицы.

Не ищи никаких картотек,
не трудись над учетом:

три доски и на них человек —
мера нашего счета.

Искалечен, но все-таки жив,
человек, как и раньше,
он живет, ничего не забыв
в своей жизни вчерашней.

И хотя запрещают о нем
говорить или слышать —
его грудь под тюремным тряпьем
и страдает и дышит.

.....
Мы придем с моей темой вдвоем
в час душевной тревоги
за поддержкою к вам, за теплом,
за посильной подмогой.

Мы идем с моей темой сквозь строй
слишком грозных явлений,
мы идем с ней по жизни самой —
по местам заключений.

Мы с ней мучимся вместе с людьми
под угрозой расстрéла,
мы с ней вместе слагаем стихи,
как нам совесть велела.

И хотя моя тема мала,
я горжусь этой темой,
раз поднять она голос могла
за стеною тюремной.

Кольма

Соседу

Мальчишка-сосед! За тюремной стеной
Ты так же грустишь, как и я.
И снятся тебе городские огни,
И улица манит тебя.

И я согласиться готова на то,
Что больше не выйду на свет,
Лишь только бы солнце, деревья, весну
Увидел мой юный сосед.

Ведь все, что от счастья осталось у нас —
Заложено в счастье детей.
И я не хочу, чтобы плакал в тюрьме
Один из моих сыновей.

И я не хочу, чтобы вместе со мной
Делил этот тягостный бред
Взращенный и вскормленный нашей страной
Юнец девятнадцати лет.

А впрочем, хочу я того или нет,
Что толку в хотеньях моих?!
Я только могу эту песню сложить,
Чтоб боль разделить на троих.

И вот моя песня готова. Увы!
Какой необдуманый шаг!
Забуть о тебе, отдохнуть от тебя
Теперь не смогу я никак.

Ты будешь со мной среди трудных дорог,
Подернутых грозною тьмой.
И горе твое, как дорожный мешок,
Я буду носить за спиной.

*Челябинск. Камера осужденных,
рядом с которой сидела группа
арестованных школьников старших классов*

В. Б.

Отстрадала, замолкла, отмучилась
и уходит, строга и бледна,
боль познавшая самую жгучую,
из несчитанных тысяч — одна.
Ее волосы спутаны черные,
ее бледные руки, как лед.
Исказило страданье упорное
отзвучавший, измученный рот.
Но идут еще толпы бескрайние
по дорогам нужды и тоски,
и перо выпадает в отчаянье
из моей неумелой руки.

1940. Магадан

Палач

Мне все равно, кем был палач,
пока он не был палачом.
Все то, чем жил, что сделал он —
перечеркнул он топором.

И если верили ему
за то, чем он когда-то был —
своею собственной рукой
он это прошлое убил...

* * *

В отбросах рылся человек,
такой оборванный и грязный,
что ты взглянула краем век
и мимо поспешила сразу.
А он взглянул тебе вослед
с такою силою презренья,
что ты за сотни долгих лет
не смоешь пятен осужденья.

1939—1941. Магадан

* * *

На межу сегодняшнего дня
я ступила вечером одна.
Были годы — камень и песок.
Как сложить куски моих дорог?
Как собрать, поднять, соединить —
не связать, а в целое срастить?
Я сказала детству: — Помоги! —
Отозвались сверстники мои:
голоса пробились, как ручей,
от истоков жизненных путей.
Я сказала юности: — Приди! —
И она откликнулась — людьми.
И они заполнили разрыв,
берега времен соединив.
Я сказала зрелости: — А ты? —
И пришли товарищи, седые,
и, к плечу притронувшись плечом:
— Что стоять? — сказали мне. — Пойдем!

Больничное

Старуха одна умирала в больнице.
Мечтала о воле, а вышло не так:
не выпало доли домой воротиться —
свезли умирать в лазаретный барак.
Лежала она на больничной постели.
Тяжелое, крупное тело ее,
как будто на смех, неудобно одели
в мужское, негодное бабе белье.
Лежала старуха и все шевелила
своей онемевшей, чужою рукой.
И жгучее горе ей щеки мочило
никем не утертой тяжелой слезой.
Старалась поймать она встречные взгляды.
Поймав, улыбалась. Улыбка была
такою просящей, как будто пощады
искала и помощи чьей-то ждала.
А речь не давалась ей. Трудно срывалось
нечеткое слово, мешались слога.
Старуха, волнуясь, напрасно старалась
яснее сказать — и никак не могла.
За окнами стлалась степей бесконечность
в некрупных увалах, в унылых песках.
Кончалась короткая жизнь человечья,
как малая речка в безводных степях.
Тоска наши души тисками сжимала.
Был тяжек покой лазаретного дня.
И только старуха, что здесь умирала,
глядела сквозь стены в родные края.
И видела то, без чего невозможно,
казалось, ей здесь, в чужинé, умирать...
Но чем мы могли в этих стенах острожных
помочь ей, и что мы могли ей сказать?!
Немногого, правда, бедняга хотела:
домой свои старые кости снести.
Мечтала о воле, да вот — не успела!
Свобода замешкалась где-то в пути.
Не мы ей могли приказать торопиться,
привести к умирающей бабке ее...
Старуха одна умирала в больнице.
Подумаешь, дело! Зароют — и все.

* * *

И мы виноваты, и нам исправлять
былое — сегодняшним делом.
Но тот, кто сегодня захочет солгать —
напрасно он выжил!

Его оправдать
ничто бы теперь не сумело.

* * *

Они мне дали, что могли:
постель, вниманье, пищу.
Но я была с другой земли
и в их сегодня — лишней.
У горя — грубые бока,
тяжелый взгляд и поступь.
Пойми сама, как далека,
побудь недолго гостьей.

* * *

Привыкнув жить среди изгоев,
как мы войдем под мирный кров,
лишая веры и покоя
того, кто к правде не готов?
Но, ран полученных не пряча,
открыв истоптанную грудь,
не в силах поступить иначе,
мы все ж пойдем в обратный путь.
Науке жизни доверяя,
в ней до конца не усомнясь,
кулисы виденных окраин
мы приподнимем, не таясь.
И все, что пряталось подспудно,
чего, казалось, в мире нет, —
одной лишь совести подсудны,
мы грубо вытащим на свет.
Пусть рвутся лживые хоругви,
открыв измену и обман, —
мы верим в острый нож хирурга,
любых касающийся ран.
Товарищ! Труден путь скитанья,
не нам сидеть у очага.

Пойдем назад не для свиданья,
пойдем на поиски врага.
Таков наш путь. Иного нету.
И не пристало выбирать
тому, кто совестью поэта
обязан видеть — и не лгать.

Колыма

* * *

Мои стихи шагали по этапам,
Не спали ночь под нарами тюрьмы.
Их трудный путь страданиями впечатан
В нагую, злую почву Колымы.

...Такой простор, что мыслью не охватишь,
Такая даль, что слово не дойдет.
Зачем ты здесь? Какого бреда ради
Несешь, склоняясь, безликий этот гнет?

Идешь в метель, в отрепьях и опорках,
От голода почти не человек,
И брезжит чуть осадок боли горький
Из-под твоих отекавших век.

Идешь, согнув ослабшие колени,
Как труп, как тень, из года в год подряд —
И сквозь тебя в спокойствии отменном
Твои друзья и родичи глядят.

Так нет же, нет! Тебя должны увидеть
Таким, как есть, в упряжке коробов,
У вахты стынушим, бредущим без укрытья,
На трассе поднятым под реплику «готов».

Кем сломлен ты? Кто выдумал такое?
Как смеют там принять твои труды?..
Взрывай, мой стих, условный мир покоя,
Стеною поднятые льды.

Своей стране, родной Стране Советов,
Скажи все то, что видно, что есть,
Скажи с бесстрашием поэта,
Родных знамен хранящим честь.

Словам запрет, усталость пересилив,
Пройди страну отсюда до Москвы,
Чтоб нас с тобой однажды не спросили:
«А почему молчали вы?»

Кольма

* * *

О любви — шепчут или поют.
От боли — кричат или стискивают зубы.
О мертвых — или молчат,
или говорят полным голосом.

* * *

Мы шли этапом. И не раз,
колонне крикнув: «Стой!» —
садиться наземь, в снег и в грязь
приказывал конвой.

И, равнодушны и немые,
как бессловесный скот,
на корточках сидели мы
до окрика: «Вперед!»

Что пересылок нам пройти
пришлось за этот срок!
И люди новые в пути
вливались в наш поток.

И раз случился среди нас,
пригнувшихся опять,
один, кто выслушал приказ
и продолжал стоять.

И хоть он тоже знал устав,
в пути зачтенный нам, —
стоял он, будто не слышав,
все так же прост и прям.

Спокоен, прям и очень прост,
среди склоненных всех
стоял мужчина в полный рост,
над нами, глядя вверх.

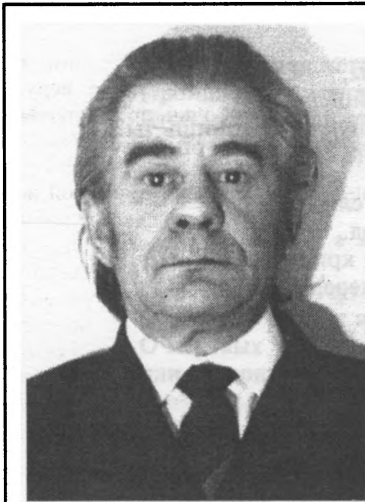
Минуя нижние ряды,
конвойный взял прицел.
«Садись! – он крикнул. – Слышишь ты?!
Садись!» – Но тот не сел.

Так было тихо, что слышать
могли мы сердца ход.
И вдруг конвойный крикнул: «Встать!
Колонна! Марш! Вперед!»

И мы опять месили грязь,
не ведая куда.
Кто – с облегчением смеясь,
кто – бледный от стыда.

По лагерям – куда кого –
нас растолкали врозь.
И даже имени его
узнать мне не пришлось.

Но мне – высокий и прямой –
запомнился навек
над нашей согнутой толпой
стоящий человек.



Друзья

МИХАИЛ БУГРОВ

Михаилу Дмитриевичу Бугрову (1921–1991), как и многим из его современников, выпала тяжелая судьба. Призванный в 1941 году в ряды Красной Армии из Ижевского театрального училища, он вскоре был арестован по ложному обвинению и приговорен к высшей мере наказания. Но, приняв во внимание молодость обвиняемого, приговор смягчили, заменив расстрел лагерями. Десять лет жизни провел Михаил Бугров на Северном Урале, в Ивдельлаге, также известном под названием «Кровавый Ивдель».

Лагерной сетью опутан Урал...
Где ж твоя, старче, отвага?
В вихре войны я нежданно попал
В жадную пасть Ивдельлага, —

напишет поэт позднее в стихотворении «Пережитое».

На себе испытав все ужасы бесчеловечной машины уничтожения, Михаил Бугров признается, что в том аду участь людей пишущих была еще тяжелее. «“Лагерной пылью” стали не только писатели и поэты, но и их произведения, написанные кровью сердца», — это слова из письма Михаила Бугрова в Комиссию по творческому наследию репрессированных писателей. С началом ее работы для поэта зажегся лучик надежды: все выстраданное, написанное за долгие годы, может наконец кем-то быть прочитанным, понятым и заново пережитым. «Многие, очень многие так и ушли из жизни, не оставив после себя ни одной строчки. Но есть еще, пока есть еще

писатели и поэты, прошедшие через все круги гулаговского ада, выжившие, все понимающие и, главное, не потерявшие веру. А многих ли мы знаем? В основном это люди, еще до заключения имевшие какую-то известность. Но были и такие, а их большинство, которые пришли в лагерь с любовью к слову, но не успев сформироваться в писателей. Они учились слову у жизни, лагерной жизни. Они читали свои стихи и рассказы сокамерникам по ночам, при свете дежурных коптилок, с постоянной оглядкой на барачные двери — вдруг надзиратель? Они пели свои песни в редкие минуты отдыха под аккомпанемент немудрящих музыкальных инструментов, сделанных из подручных материалов...» Действительно, человека, «уличенного в творчестве», ждали дополнительные пытки. Но в то же время свободному духу в закабаленном теле стихи помогали выжить. Именно творчество помогло Михаилу Бугрову в те страшные годы сохранить себе жизнь.

Муза Бугрова — несколько «приблатненная бабенка», как он сам признается в стихотворении «Гость»:

— Александр Сергеевич, прошу!
Извините, что в бараке грязно.
Здесь живу я, здесь стихи пишу,
С Музой ругаюсь безобразно.
Потому что Муза у меня —
Слишком приблатненная бабенка,
Села на меня, как на коня,
И бранит, как малого ребенка, —

вынужден оправдываться поэт перед своим великим предшественником. А вот перед читателями у поэта нет необходимости в оправданиях, ибо и тот и другой отлично понимают, что такое поведение Музы оправдано уже самим объектом поэтического творчества:

Не забывай про встречу нашу,
И как в шалмане средь воров
Воспел тюремную парашу
Какой-то Михаил Бугров.

(Стихотворение «Другу».)

Подобная тональность придает стихам Михаила Бугрова определенный колорит, помогающий ярче почувствовать эмоционально-нравственную, а вернее — безнравственную атмосферу лагерей.

Прикованный к постели тяжелой болезнью, Михаил Бугров до последнего дня жизни продолжал писать свои горькие стихи-воспоминания, стихи-откровения, которые, несмотря ни на какие испытания, выпавшие на долю их создателя, не превратились в «лагерную пыль».

ДРУЗЬЯ

(Коротенькая повесть)

Жили Шошин да Ерошин, за плечами — жизни ноша, непосильный тяжкий груз. Странен был друзей союз. Шошин часто жил «на зонах», а Ерошин был в погонах, назывался кратко — «кум». Медный лоб и тугодум, презирал он всех «чучмеков», ненавидел кровно «зеков», верно Сталину служил, сладко ел и горько пил.

Пролетели быстро годы. Изменяются народы: стали здраво рассуждать и партзнать критиковать. Та сперва сопротивлялась, а потом сама призналась, что вела нас не туда, куда метил «Борода» и за что боролся Ленин... Расплодились, словно тени, бюрократы всех мастей. Звали «фактором» людей! Ладно. Речь здесь не про них, это ж повесть, а не стих...

У винного магазина, сами знаете, картина не для нервных: тут стоят люди мужественно в ряд, ждут, когда откроют двери, — и рванут туда, как звери, будут драться, материть, чтоб быстрее «чернил» купить, за углами их распить и еще раз повторить... Встретил Шошин раз Ерошу, вспомнил жизнь свою «хорошу» и спросил:

— А ты зачем? Или охренел совсем? Если здесь тебя узнают, быстренько хребет сломают — и тогда тебе кранты. Понимаешь это ты?

— Все я, Шошин, понимаю, потому что твердо знаю: алконавт — вернейший друг «праведников», а не «сук».

— Правду молвишь, опер бывший, в лагере сам «сук» плодивший, обнаглевших стукачей, бригадиров-палачей и другой подобной мрази, в князи вылезших из грязи...

— Прав ты, Шошин, прав во всем. Каюсь я в грехе своем. Винават Великий Кормчий, что довел страну до корчей и себе был на уме, мы ж не знали — ни бельме.

— Ясно дело — ни бельмеса, коль вскормили наркомеса...

— Ну, а я что говорю?

— Понял, значит. Мать твою!..

— Стой! Не надо этой брани, без того хватает дряни: по уши народ в дерьме, чище было жить в тюрьме.

— Верно, я с тобой согласен. Для меня ты не опасен, если понял, хоть и сед, кто источник наших бед.

Так они вот толковали и друг друга понимали.

— Да, нельзя так больше жить, не поймешь — кому служить.

— Ах, служить! Но ты ж не шавка, чтобы по приказу тв-каться...

— Не про то я, а о том, как спасти наш общий Дом.

— Отспасались мы с тобою, не годимся больше к бою.

— Это как еще сказать. В бога, в господа и в мать!

Тут они раздухарились, на полмитрия сложились, закусили рукавом, килькой, луковым пером. Раз пошла такая пьянка, куплена еще полбанка. Пировать — так пировать! — и о прошлом вспоминать.

— Мы с тобой — пенсионеры, нет у нас уж прежней веры. Ты и я — навек друзья!

— Подтверждаю это я!

С той поры два новых друга жить не могут друг без друга. Митингуют, водку пьют, песни старые поют.

— На пеньки нас становили, раздевали, дрыном били, — начинал обычно Шошин, и подхватывал Ерошин:

— Широка страна родная... я другой страны не знаю...

Пили, пели до утра:

— Спать еще нам не пора!

Шошин в старом жил бараке, в том, где зимовали раки, «бомжи», попросту сказать, те, которым негде спать. А Ерошин жил в дурдоме, спал на лавочке в завкоме. Числился он в сторожах, хоть и был в больших чинах.

Дружба с Шошей все сломала, понял он, что знает мало, что дружок его умней с правдой лагерной своей. Бросил службу он в дурдоме, забрал лавочку в завкоме и пошел в Шошин барак. «Знать, судьба! — решил он так. — Против лома нет приема, окромя другого лома. Жизнь прошла вперекосяк...»

Ремонтируют барак — Шоша рядышком с Ерошей. Дай Бог жизни им хорошей, чтоб хотя бы пред концом им построить Новый Дом!

«Кум» и зек в одной упряжке? Их грехи сверх меры тяжести! Шошин — вор, Ерошин — «кум», медный лоб и тугодум! Автор их сдружил напрасно, это даже дурню ясно. Как нам это понимать? Что хотел он тем сказать?

Отвечаю: мир наш болен. Автор, волен иль неволен, должен был их примирить, чтобы миром в мире жить.



У жизни на краю

ЮРИЙ ГАЛЬ

Юрию Владимировичу Галю было отпущено всего 26 лет жизни. Он родился в 1921 г. в Ленинграде. Добровольцем ушел на войну, не воспользовавшись правом на бронь (по болезни). Под Пушкином попал в немецкий плен, был перемещен в Эстонию, жил и работал в Таллинне. В 1944 г., когда немцы начали отступать, уехал в Германию, спасаясь от неминуемого ареста советскими органами, но, не мысля жизни вне родины, вскоре вернулся. Чудом избежав немедленного расстрела, некоторое время находился в тюрьме. Его приговорили к десяти годам ссылки и отправили этапом в Сибирь, в Баим — инвалидный лагерь для туберкулезников. Лагерь окончательно разрушил его здоровье. Он умер 8 ноября 1947 г.

В 50-х гг. несколько стихотворений Юрия Галя появились в зарубежных альманахах, в 1990 г. — в Тарту в XI Блоковском сборнике. В замечательную книгу Тамары Павловны Милютиной «Люди моей жизни» (Тарту, 1997) включены воспоминания о поэте и его лагерные стихи. Справедливость требует вернуть русской культуре чистейший звук этой лиры, вдохновленной земной любовью и глубокой верой в Творца.

У ЖИЗНИ НА КРАЮ

* * *

Не надо милостей. Ни чуда, ни спасенья.
Каких еще просить мне у Тебя щедрот?
Пусть сердце не найдет в себе успокоенья
И грешная душа бессмертья не найдет.
Ты дал мне высший дар. Дар примиренной веры.
Вся роскошь рядом с ним становится тщетой.
И мы, своих судеб творцы и инженеры, —
Ничтожный прах и тлен пред этой нищетой.
Не от беды стоят вот эти спазмы в горле,
И губы эту пьют солоноватость слез.
Я слышу ангелов Мелоццо делла Форли,
Они трубят на суд. Меня зовет Христос.

1943

* * *

Ветер, ледяной простор и воля,
Дикое неезженное поле,
Ледяная жгучая звезда...
Есть где снам несбыточным сбываться,
Есть где русской тройке разгуляться,
Сердцу — надорваться навсегда.
Разогналась тройка вдоль околиц,

Плачет и тоскует колоколец,
Дальше, дальше — дух не перевесть.
А пространства русского начала
Небо звездной пылью раскидало,
Только не прочесть...

1944

* * *

О ней, о детской, о напрасной,
О человеческой мечте,
О вечной, горестной, прекрасной,
Всепоглощающей тщете
Нам повествуют пирамиды,
И лики строгие икон,
И мрамор греческой хламиды,
И руки тонкие Мадонн.
Труды мечтателей в забвеньи,
Бессмертья нету на земле,
Но этот ветер вдохновенья...
Но эта складка на челе...
Немногое найдут раскопки
Под слоем пепла и песка.
Круты заоблачные тропки.
Но это зренье за века...
Заслышав пение пэонов,
Парит над временем певец,
Пред Божеством в земных поклонах
Не знает времени чернец.

1944

* * *

Я изойду счастливыми слезами.
Меня не будет. Будешь только Ты.
Ужели нет преграды между нами?
Из всех препон последние сняты?
О, Господи! Мне плоть моя любезна,
А плоть горит. Но слезы не о ней.
Ты мне сказал, что впереди не бездна,
А сплошь сиянье благодати Твоей.
В слезах, в жару, прикованный к постели,

Я в первый раз беседую с Тобой.
Тебе ли мне не верить? При Тебе ли
О плоти сетовать, о Боже мой?

1944

* * *

В закате камень розовеет,
Цветет на яблоне побег,
Потерянная птица реет,
В лазури тает человек.
Дыхание все реже, реже,
И побеждает синий свет,
Свет розоватый, воздух свежий,
Недолгий яблоневый цвет.
Легко мгновенья исчезают,
И на ладонь мужской руки
Фарфоровые опадают,
Еще живые лепестки.

1944

* * *

Нас двадцать смертников в клетушке,
К нам не доходит солнца луч,
Но с нами Гете, с нами Пушкин,
И дух наш светел и могуч.
Как ночь — гремит ключами стража:
«На двор!» — Проверка иль расстрел?
Мы к этому привыкли даже,
Никто пощады не хотел.
Дни перед казнью. Будто роды,
Мучительная благодать.
Но приобщившихся свободы
Уже ничем не запугать.
Как Божий мир премудр и чуден!
Высокая стена. Тюрьма.
Внутри: свобода, правда, люди.
Снаружи: рабство, звери, тьма.

1944

* * *

Я знаю, как я мало значу
В сем мире, в брэнной жизни сей.
Последних сил моих не трачу,
Чтоб что-нибудь исправить в ней.
И песнь моя не с песней схожа,
Пред музами не погрешу.
Не стоны, чтоб мороз по коже,
А вздох и выдох — я дышу.

1946—1947

* * *

Морозы, зима, ледяная звезда,
Как утро — горит зеленее смарагда.
Что в том, что ломается жизнь звонче льда?
— Правда.

1946—1947

* * *

Я — псалмопевец царь Давид.
Моими беглыми перстами
Сам Бог в игре руководит,
И я дарю народ псалмами.
Кто счастлив так и так богат,
Чтобы с моей сравниться долей?
А что в душе моей за ад,
Я даже высказать не волен.
Спит бедный мой народ. Лишь мне
Покоя нету и во сне,
Пока не убелю свой грех,
Пока Вирсавии не смою.
Я, взысканный превыше всех,
Ее мизинчика не стою.

1947

* * *

Нежности моей исхода нету —
Я ее, как ненависть, коплю,
Ненависть к большому злему свету,

Где живу, болею и люблю.
Я любви печальнее не видел,
Только лишь и света, что в окне!
Только бы тебя кто не обидел —
Речь не обо мне...

1947

Лестница Иакова

Есть лестница в проклятом нашем мире.
Чу! — Музыка, лады, полутона,
И голоса звенят в надзвездном клире,
Дрожит у арфы тонкая струна.

А я старинные крюки рисую —
Какой для пенья сольного простор!
И вот божественную аллилуйю
На верхних нотах покрывает хор.

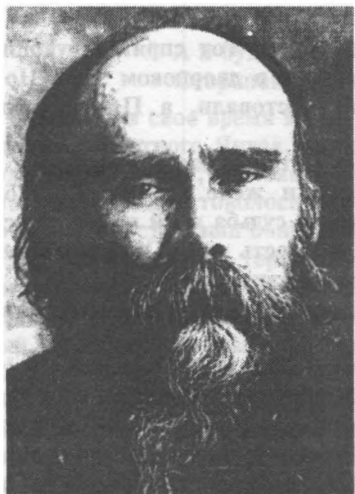
А ты, любовь, в одном лишь этом пенье.
Не ты, не ты, а музыка сама
Захватит, проведет по всем ступеням,
Уронит в пропасть и сведет с ума.

1947

Панорама

Над темным миром льется свет Господень
Потоками космических лучей.
В его лучах я вечен, я свободен —
В затмении я смертен, я ничей.
Голгофа. Синька, жженая сиена,
Две краски, три креста, глубокий фон.
Зачем я жив? Куда себя я дену?
Когда б не этот выцветший картон...

1946—1947



Песнь о Великой Матери

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

Об этой поэме давно ходили слухи и легенды. Современники Клюева вспоминали, как читал поэт отрывки из нее, вписывал в альбомы знакомым. Известен лишь начальный фрагмент, хранившийся в бумагах близкого друга Клюева – художника А.Н.Яр-Кравченко (Н.Клюев. Завещание. М., Библиотека «Огонек», № 22, 1988). В Томске ссыльный поэт часто навещал дом В.В.Ильиной, которая потом вспоминала: «Прекрасны были его отрывки из неоконченной поэмы о матери, особенно в его передаче. Многие он забыл и дополнял просто рассказом. Мы очень просили его записать хоть то, что он помнит, но он этого не сделал и продолжить ее уже не мог...» Однако другой свидетель, литературный критик и литературовед Р.В.Иванов-Разумник, хорошо знавший Клюева и получавший от него письма из ссылки, говорит: «Там он жил в самых ужасных условиях, но продолжал заканчивать “Песнь о Великой Матери” и написал такие стихи, выше которых еще никогда не поднимался...»

Лучшие, самые зрелые и выстраданные стихи Клюева, в том числе и первая часть «Песни», вместе с письмами хранились в квартире Иванова-Разумника в Пушкине (Царском Селе). И погибли при фашистском нашествии зимой 1941–1942 годов. Была у Иванова-Разумника и вторая часть поэмы, которую он сумел переслать из своей ссылки писателю Николаю Архипову, в то время –

хранителю Петергофского Дворца-музея. Тот спрятал рукопись на одной из высоких кафельных печей в дворцовом зале. Но и это не спасло. Вскоре Архипова арестовали, а Петергофский дворец разрушила война.

Поэма была потеряна. Навсегда — так думал и сам Клюев. В июле 1935 года он писал из ссылки жене Сергея Клычкова В.Н.Горбачевой: «Пронзает мое сердце судьба моей поэмы “Песнь о Великой Матери”. Создавал я ее шесть лет. Сбирал по зернышку русские тайны... Нестерпимо жалко...»

И вот поэма — перед нами, чудесная, как град Китеж, поднявшийся со дна Светлояра.

Что представляет собой рукопись? Это пачка больших листов разного формата, исписанных рукой поэта, его своеобразным почерком, со всеми следами мук творчества — исправлениями, вычеркиваниями, вариантами, пометками. Поэма огромная — около четырех тысяч строк. Пришлось сначала собирать ее, составлять по листочку из вороха разнообразных бумаг. Немалое время ушло на расшифровку, переписку и анализ текста, выяснение темных мест, работу со словарями... Впрочем, время и место для работы на Лубянке, в архиве КГБ (где рукопись пролежала с грифом «Совершенно секретно» пятьдесят семь лет!) — было предоставлено...

Найденная вещь состоит из трех частей, или, как назвал одну из них сам Клюев, — «гнезд». Поэма не закончена, хотя внутри текста есть запись с планом продолжения. Обозначены и годы написания: 1930—1931-й. Там же дан вариант названия — «Последняя Русь».

В самых общих чертах содержание можно определить так: первая часть — юность матери, вторая — детство героя-автора и становление его как певца, народного поэта, третья часть — Мировая война, конец старой России и надвигающиеся на нее новые бедствия. История дана изнутри уже советского времени — его Клюев бескомпромиссно рисует как Апокалипсис, царство Антихриста.

Этим, конечно, не исчерпывается содержание — поэма столь полифонична, многопланова, что вмещает в себя и прошлое, и настоящее, и даже будущее России, то, которое мы сейчас переживаем. Разве не о нас всех в грозный час Чернобыля — вещее слово поэта?

...Тут ниспала польнная звезда, —
 Стали воды и воздухи желчью,
 Осмердили жизнь человечью,

А и будет Русь безулыбной,
Стороной нептичной и нерыбной!..

Троцкий в свое время верно угадал в Клюеве «двойственность мужика, лапотного Януса, одним лицом к прошлому, другим — к будущему». Думал, что заклеил, — на самом деле воздал хвалу. Так опростоволосилась перед истинным величием «образованность наша вопиющая» (выражение Клюева)!

Прообраз главной героини «Песни» — мать поэта Прасковья Дмитриевна. Клюев писал о ней: «Отроковицей прилепилась родительница моя ко всякой речи, в которой звон цветет знаменый, крюковой, скрытный, столбовой... Памятовала она несколько тысяч словесных гнезд стихами и полууставно, знала Лебеда и Розу из Шестокрыла, огненные письма протопопы Аввакума и много другого, что потайно осоляет народную душу — слово, сон, молитву, что осолонило и меня до костей, до преисподних глубин моего духа и песни...» И еще: «Тысячи стихов моих ли или тех поэтов, которых я знаю в России, не стоят одного распевца моей светлой матери...»

Плачя и сказительница, «златая отрасль Аввакума», мать научила поэта грамоте и тайнам слова, укрепила в вере — древней вере предков-старообрядцев. Тут будет кстати напомнить суждение Андрея Платонова о старообрядчестве — этом еще не разгаданном, скорее, загаданном нам явлении: «Старообрядчество — это серьезно, это всемирное принципиальное движение; причем — из него неизвестно что могло бы еще выйти, а из прогресса известно что...»

Кульминация в поэме достигается к концу — это бегство героя и его «посмертного друга» — в нем угадывается Есенин: «Бежим, бежим, посмертный друг, от черных и от красных вьюг!..» — из проклятого настоящего, и навстречу им, за «последним перевалом» — мистическое шествие с хоругвями русских святых. Эта картина, исполненная высшей поэзии и света, — не только озарение, в ней заключен громадный провидческий смысл. Христос — не *впереди* отряда красногвардейцев, как у Блока, Он *выходит навстречу* поэтам! И слияние душ — живой и иконной — рисуется как подготовка к отплытию в невидимый Град-Китеж, который, по Клюеву, — вовсе не прошлое России, а будущее ее.

Современный Апокалипсис и грядущее преображение, воскресение России — эти темы пронизывают всю поэму. «Песнь» не просто поэтическая мечта, утопия. Клюев родился, чтобы подать нам пророческую весть о глубинной, сокровенной судьбе Родины.

Русь — Китеж. Град видимый падет, чтобы в муках поднялся
Град Невидимый, чаемый, заветный.

Безбожие свиной хребет
О звезды утренние чешет,
И в зыбуны косматый леший
Народ развенчанный ведет,
Никола наг, Егорий пеший
Стоят у китежских ворот!..
Но дивен Спас! Змею копыта,
За нас, пред ханом павших ниц,
Егорий вздыбит на граните
Наследье скифских кобылиц!

Жанр поэмы — лирический эпос, сказание, в ней Клюев предстает как единственный в русской, да и во всей мировой поэзии мифотворец двадцатого века. Миф, эпос. Не старое или новое — вечное. Это книга народной судьбы — «мужицкие Веды». Здесь и речи не может быть о какой-то стилизации «под народ». Клюев говорит от имени и голосом народа, он сам — народ. Поэма прямо восходит к «рублевским заветам» — в иконописи и зодчестве, в старопечатных книгах и церковной музыке, но более всего — к фольклору, народному песнетворчеству — или исходит от них. А еще глубже, в человеческой истории, она подхватывает и несет тот священный огонь, который с христианством перешел на Русь от высоких светильников Византии и Эллады.

В. Шенталинский

ПЕСНЬ О ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ

Эти гусли – глубь Онега,
Плеск волны палеостровской,
В час, как лунная телега
С грузом жемчуга и воска
Проезжает зыбью лоской,
И томит лесная нега
Ель с карельскою березкой.

Эти притчи – в день Купалы
Звон на Кижях многоглавых,
Где в горящих покрывалах,
В заревых и рыбьих славах
Плещут ангелы крылами.

Эти тайны парусами
Убаюкивал шелоник.
В келье кожаный часовник,
Как совят в дупле смолистом,
Их кормил душистой взяткой
От берестяной лампадки
Перед образом пречистым.

Эти вести – рыба стая,
Что плывет, резвясь, играя,
Лосось с Ваги, Язь из Водлы,
Лещ с Мегры, где ставят мёрды,
Бок изодран в лютой драке
За лазурную плотицу,

Но испить до дна не всякий
Может глыбкую страницу.

Кто пречист и слухом золот,
Злым безверьем не расколот,
Как береза острым клином,
И кто жребием единым
Связан с родиной-вдовицей,
Тот слезами на странице
Выжжет крест неопалимый
И, таинственно водимый
По тропинкам междустрочий,
Красоте заглянет в очи —
Светлой девушке с поморья.

Броженица ли воронья —
На снегу вороньи лапки,
Или трав лесных охапки,
На песке реки таежной
След от крохотных лапотцев —
Хитрый волок соболиный,
Нудят сердце болью нежной,
Как слюду в резном оконце,
Разузорить стих сурьюмою,
Команикой и малиной,
Чтоб под крышкой гробовою
Улыбнулись дед и мама,
Что возлюбленное чадо,
Лебеденок их рожевый,
Из железного полона
Черных истин, злого срама
Светит тихую лампадой, —
Светит их крестам, криницам,
Домовищам и колодам!..
Нет прекраснее народа,
У которого в глазницах,
Бороздя раздумий воды,
Лебедей плывет станица!
Нет премудрее народа,
У которого межбровье —
Голубых лосей зимовье,
Бор незнаемый кедровый,
Где надменным нет прохода

В наговорный терем слова! —
Человеческого рода,
Струн и крыльев там истоки...
Но допрядены, знать, сроки,
Все пророчества сбылися,
И у русского народа
Меж бровей не прыщут рыси!
Ах, обожжен лик иконный
Гарью адских перепутий,
И славянских глаз затоны
Лось волшебный не замутит!
Ах, заколот вещей лебедь
На обед вороньей стае,
И хвостом ослиным в небе
Дьявол звезды выметает!

<ЧАСТЬ ПЕРВАЯ>

* * *

А жили по звездам, где Белое море,
В ладонях избы, на лесном косогоре.
В бору же кукушка, всех сказок залог,
Серебряным клювом клевала горох.
Олень изумрудный с крестом меж рогов
Пил кедровый сбитень и марево мхов,
И матка сорочья — сорока сорок
Крылом раздувала заклятый грудок.
То плящий костер из глазастых перстней
С бурмитским зерном, чтоб жилось веселей.
Чтоб в нижнем селе пахло сытой мучной,
А в горней светелке проталой вербой,
Сурмленим письмом на листах Цветника,
Где тень от ресниц, как душа, глубока!

Ах, звезды поморья, двенадцатый век
Вас черпал иконой обильнее рек.
Полнеба глядится в речное окно,
Но только в иконе лазурное дно.

Хоромных святынь, как на отмели гаг,
Чуланых, овинных, что брезжат впотьмах,
Скромных и постных, на сон, на улов,

Сверчку за лежанку, в сундук от жуков,
На сшив парусов, на постройку ладьи,
На выбор мирской старшины и судьи —
На все откликалась блаженная злать.
Сажали судью, как бобриху на гать,
И отроком Митей (вдомек ли уму?)
«Заклания» образ — вручался ему.
Потом старики, чтобы суд был лёгк,
Несли старшине жемчугов кузовок,
От рыбных же весей пекли косовик,
С молоками шаньги, а девичий лик
Морошковой брагой в черпугах резных
Честил поморян и бояр волостных.

Ах, звезды помория, сладостно вас
Ловить по излучинам дружеских глаз
Мережею губ, языка гарпуном,
И вдруг разрыдаться с любимым вдвоем!
Ах, лебедь небесный, лазоревый крин,
В Архангельских дебрях у синих долин!
Бревенчатый сон предстает наяву:
Я вижу над кедрами храма главу,
Она разузорена в лемех и слань,
Цветет в сутемёнки, пылает в зарань.
С товарищи мастер Аким Зяблецов
Воздвигли акафист из рудых столпов,
И тепля ущербы — Христова рука
Крестом увенчала труды мужика.

Три тысячи сосен — печальных сестер
Рядил в аксамиты и пестовал бор;
Пустынные девы всегда под фатой,
Зимой в горностаях, в убрусах весной,
С кудрявым Купалой единойды в год
Водили в тайге золотой хоровод
И вновь засыпали в смолистых фатах.
Линяла куница, олень на рогах
Отметиной пегой зазимки вершил,
Вдруг Сирина голос провеял в тиши:
«Лесные невесты, готовьтесь к венцу,
Красе ненаглядной и саван к лицу!
Отозван Владыкой дубрав херувим, —
Идут мужики, с ними мастер Аким;

Из ваших телес Богородице в дар
Смирненные руки построят стожар,
И многие годы на страх сатане
Вы будете плакать и петь в тишине!
Руда ваших ран, малый паз и сучец
Увидят Руси осиянной конец,
Чтоб снова в нездешнем безбольном краю
Найти лебединую радость свою!»
И только замолкла свирель бирюча,
На каждой сосне воссияла свеча.
Древесные руки скрестив под фатой,
Прощалась сестрица с любимой сестрой.
Готовьтесь, невесты, идут женихи!..
Вместят ли сказанье глухие стихи?
Успение леса поведает тот,
Кто слово, как жемчуг, со дна достает.

Меж тем мужики, отложив топоры,
Склонили колени у мхов и коры
И крепко молились, прося у лесов
Укладистых матиц, кокор и столпов.
Поднялся Аким и топор окрестил:
«Ну, братцы, радейте, сколь пота и сил!»
Три тысячи бревен скатили с бугра
В речную излучку — котел серебра:
Плывите, родные, укажет Христос
Нагорье иль поле, где ставить погост!
И видел Аким, как лучом впереди
Плыл лебедь янтарный с крестом на груди.
Где устье полого и сизы холмы,
Пристал караван в час предутренней тьмы,
И кормчая птица златистым крылом
Отцам указала на кедровый холм.

Церковное место на диво красно:
На утро — алтарь, а на полдень — окно,
На запад врата, чтобы люди из мглы,
Испив купины, уходили светлы.
Николин придел — бревна рублены в крюк,
Чтоб капали вздохи и тонок был звук.
Егорью же строят сусеком придел,
Чтоб конь-змееборец испил и поел.
Всепетая в недрах соборных живет, —
Над ней парусами бревенчатый свод,

И кровля шатром — восемь пламенных крыл,
Развеянных долу дыханием сил.

С товарищи мастер Аким Зяблецов
Учились у кедров порядку венцов,
А рубке у капли, что камень долбит,
Узорности ж крылец у белых раки —
Когда над рекою плывет синева,
И вербы плетут из нее кружева,
Кувшинами крылец стволы их глядят,
И легкою кровлей кокошников скат.
С товарищи мастер предивный Аким
Срубили акафист и слышен и зрим,
Чтоб многие годы на страх сатане
Саронская роза цвела в тишине.

Поется: «Украшенный вижу чертог», —
Такой и Покров у Лебязьких дорог:
Наружу — кузнечного дела врата,
Притвором — калик переходжих места,
Вторые врата серебрятся слюдой,
Как плесо, где стая лещей под водой.
Соборная клеть — восковое дупло,
Здесь горлицам-душам добро и тепло.
Столбов осетры на резных плавниках
Взыграли горé, где молчания страх.
Там белке пушистой и глуби озер
Печальница твари виет омофор.
В пергаменных святцах есть лист выходной,
Цветя живописной поблекшей строкой:
Творение рая, Индикт, Шестоднев,
Писал, дескать, Гурий — изограф царев.
Хоть титла не в лад, но не ложна строка,
Что Русь украшала сновидца рука!

* * *

Мой братец, мой зяблик весенний,
Поющий в березовой сени,
Тебя ли сычу над дуплом
Уверить в прекрасном былом!

Взгляни на сиянье лазури —
Земле улыбается Гурий,
И киноварь, нежный бакан
Льет в пестрые мисы полян!

На тундровый месяц взгляни —
Дремливей рыбачьей ладьи,
То он же, улов эскимос,
Везет груды перлов и слез!

Закинь невода твоих глаз
В речной голубиный атлас,
Там рыбу отару зограф
Пасет средь кауровых трав!

Когда мы с тобою вдвоем
Отлетным грустим журавлем,
Твой облик — дымок над золой
Очерчен иконной графьей!

И сизые прошвы от лыж,
Капели с берестяных крыш,
Все Гурия вапы и сны
О розе нетленной весны!

Мой мальчик, лосенок больной,
С кем делится хлеб трудовой,
Приветен лопарский очаг,
И пастью не лязгает враг!

Мне сиверко в бороду вплел,
Как изморозь, сивый помол,
Чтоб милый лосенок зимой
Укрылся под елью седой!

Берлогой глядит борода,
Где спят медвежата-года
И беличьим выводком дни...
Усни, мой подснежник, усни!

Лапландия кроткая спит,
Не слышно оленьих копыт,
Лишь месяц по кости ножом
Тебе вырезает псалом!

< * * * >

Мы жили у Белого моря,
В избе на лесном косогоре:
Отец богатырь и рыбак,
А мать — бледнорозовый мак

На грядке, где я, василек,
Аукал в хрустальный рожок.

На мне пестрядная рубашка,
Расшита, как зяблик, запашка,
И в пояс родная вплела
Молитву от лиха и зла.
Плясала у тетушки Анны
По плису игла неустанно,
Вприсядку и дыбом ушко, —
Порты сотворить не легко!
Колешки, глухое гузёнце,
Для пуговки совье оконце,
Карман, где от волчьих погонь
Укроется сахарный конь.

Пожрали сусального волки,
Оконце разбито в осколки,
И детство — зайченок слепой
Заклевано галок гурьбой!

* * *

Я помню зипун и сапожки
Веселой сафьянной гармошкой,
Шушукался с ними зипун:
«Вас делал в избушке колдун,
Водил по носкам, голенищам
Кривым наговорным ножищем
И скрип поселил в каблуки
От весел с далекой реки!
Чтоб крепок был кожаный дом,
Прямил вас колодкой потом,
Поставил и тын гвоздяной,
Чтоб скрип не уплелся домой.
Аленушка дратву пряла,
От мглицы сафьянной смугла,
И пела, как иволга в елях,
Про ясного Финиста-леля!»
Шептали в ответ сапожки:
«Тебя привезли рыбаки,
И звали аглицким сукном,
Опосле ты стал зипуном!
Сменяла сукно на икру,

Придачей подложку-сестру,
И тетушка Анна отрез
Снесла под куриный навес,
Чтоб петел обновку опел,
Где дух некрещеный сидел.
Потом завернули в тебя
Ковчежец с мощами, любя,
Крестом повязали тесьму —
Повывесть заморскую тьму,
И семь безутешных недель
Ларец был тебе колыбель,
Пока кипарис и тимьян
На гостя, что за морем ткан,
Не пролили мирра ковши,
Чтоб не был зипун без души!

Однажды, когда Растегай
Мурлыкал про масляный рай,
И горенка была светла,
Вспорхнула со швейки игла, —
Ей нитку продели в ушко,
Плясать стрекозою легко.
И вышло сукно из ларца
Синё, бархатисто с лица,
Но с тонкой тимьянной душой...
Кроил его иннок-портной,
Из желтого воска персты...
Прекрасное помнишь ли ты?»
Увы! Наговорный зипун
Похитил косматый колдун!

* * *

Усни, мой совеноч, усни!
Чуть брезжат по чумам огни, —
Лапландия кроткая спит,
За сельдью не гонится кит.

Уснули во мхах глухари
До тундровой карей зари,
И дремам гусиный базар
Распродали пуховый товар!

Полярной березке светляк
Затешил зеленый маяк, —

Мол, спи! Я тебя сторожу,
Не выдам седому моржу!

Не дам и корове морской
С пятнистою жадной треской,
Баюкает их океан,
Раскинув, как полог, туман!
Под лыковым кровом у нас
Из тихого Углича Спас,
Весной, васильками во ржи,
Он веет на кудри твои!

Родимое, сказкою став,
Пречистей озерных купав,
Лосенку в затишьи лесном
Смежает ресницы крылом:
Бай, бай, кареглазый, баю!
Тебе в глухаринном краю
Про светлую маму пою!

* * *

Как лебедь в первый час прилета,
Окрай проталого-болота
К гнезду родимому плывет
И пух буланый узнает,
Для носки пригнутые травы,
Трепещет весь, о стебель ржавый
Изнеможенный чистя клюв,
На ракушки, на рыхлый туф
Влюбленной лапкой наступает,
И с тихим стоном оправляет
Зимой изгрызенный тростник, —
Так сердце робко воскрешает
Среди могильных павилик
Купавой материнский лик,
И друга юности старик —
Любимый, ты ли? — вопрошает,
И свой костыль — удел калик
Весенней травкой украшает.

* * *

У горенки есть много таин,
В ней свет и сумрак не случаен,

И на лежанке кот трехмастный
До марта с осени ненастной
Прядет просонки неспроста.
Над дверью медного креста
Неопалимое сиянье, —
При выходе ему метанье,
Входящему — в углу заря
Финифти, черни, янтаря,
И очи глубже океана,
Где млечный кит, шатры Харрана,
И ангелы, как чаек стадо,
Завороженное лампадой —
Гнездом из нитей серебра,
Сквозистой гагачья пера.
Она устюжского сканья,
Искусной грани и бранья,
Ушки — на лозах алконосты,
Цепочки — скреп и звеньев до ста,
А скал серебряник Гервасий
И сказкой келейку украсил.
Когда лампаду возжигали
На Утоли Моя Печали,
На Стратилата и на пост,
Казалось, изумрудный мост
Струился к благостному раю,
И серафимов павью стаю,
Как с гор нежданный снегопад,
К нам высылает Стратилат!

Суббота горенку любила,
Песком с дерюгой, что есть силы,
Полы и лавицы скребла
И для душистого тепла
Лежанку пихтою топила,
Опосле охрой подводила
Цветули на ее боках...
Среда — вдова, Четверг — монах,
А Пятница — Господни страсти.
По Воскресеньям были сласти —
Пирог и команичный сбитель,
Медушники с морошкой в сыте,
И в тихий рай входил отец.
«Поставить крест аль голубец

По тестю Митрию, Параша?»
 «На то, кормилец, воля ваша...»
 Я голос из-под плата слышал,
 Подобно голубю на крыше,
 Или свирели за рекой.
 «Уймись, касатка! Что с тобой?
 Покойному за девяносто...»
 Вспорхнув с лампы, алконосты
 Садилась на печальный плат,
 И была горенка, как сад,
 Где белой яблоней под платом
 Благоухала жизнь богато.

* * *

Ей было восемнадцать весен,
 Уж Сирин с прозелени сосен
 Не раз налаживал свирель,
 Чтобы в крещенскую метель
 Или на красной ярой горке
 Параше, по румяной зорьке,
 Взыграть сладчайшее люблю...
 Она на молодость свою
 Смотрела в венецийский складень,
 При свечке, уморясь за день,
 В большом хозяйстве хлопоча.
 На косы в пядь, на скат плеча
 Глядело зеркало со свечкой,
 А Сирин, притаясь за печкой,
 Свирель настраивал сверчком,
 Боясь встревожить строгий дом
 И сердце девушки пригожей.
 Она шептала: «Боже, Боже!
 Зачем родилась я такой, —
 С червонной, блёскою косою,
 С глазами речки голубее?!
 Уйду в леса, найду злодея,
 Пускай ограбит и прибьет,
 Но только душеньку спасет!..
 Люблю я Федю Стратилата
 В наряде, убранном богато
 Топазием и бирюзой!..
 Егорья с лютою змеей, —

Он к Алисафии прилежен...
Димитрий из Солуня реже
Приходит грешнице на ум,
И от его иконы шум
Я чую вещей, многокрылый...
Возьму и выйду за Вавила,
Он смолокур и древодел!..»
Тут ясный Сирин не стерпел
И на волхвующей свирели,
Как льдинка в икромет форели,
Повывел сладкое «люблю»...
Метель откликнулась: фи-ю!..
Параша к зеркалу все ближе,
Свеча горит и бисер ниже,
И вдруг расплакалась она —
Вавилы рыжего жена:
«Одна я — серая кукушка!..
Была б Аринушка подружка, —
Поплакала бы с ней вдвоем!..»
За ужином был свежий сом.
«К Аринушке поеду, тятя, —
Благословите погостить!»
«Кибитку легче на раскате, —
Дорога ноне, что финить,
В хоромах векше не сидится!..»
Отец обычаем бранится.

* * *

На петухах легла Прасковья, —
Ей чудилось: у изголовья
Стоит Феодор Стратилат,
Горит топазием наряд,
В десной — золотое копие.
Победоносец на коне,
И япанча — зари осколок...
В заранки с пряжею иголок
Плакуша ворох набрала
И села, помоясь, за пальцы;
Но непрворны стали пальцы
И непослушлива игла.
Знать, перед утренней иконой
Она девических поклонов
Одну лишь лестовку прошла.

Слагали короб понемногу...
И Одигитрией в дорогу
Благословил лебедку тятя.
«Кибитку легче на раскате,
Дорога ноне, что финить!
Счастливо, доченька, гостить,
Не осрами отца покрутой!..»
Шесть сарафанов с лентой гнутой,
Расшитой золотом в Горицах,
Шугай бухарский – пава птица –
По сборкам кованный галун,
Да плат – атласный Гамаюн –
Углы отливом, лапы, меты, –
В изъяне с матери ответы.
Сорочек пласт, в них гуси спят,
Что первопуток серебрят.
К ним утиральников стопой,
Чтоб не утерлася в чужой,
Не перешла б краса к дурнушке,
Опосле с селезня подушки,
Афонский ладон в уголках –
Пугать лукавого впотъмах.
Все мать поклала в коробью,
Как осетровый лов в ладью,
А цельбоносную икону
По стародавнему канону
Себе повесила на грудь,
Чтоб пухом расстился путь.
Простилась с теткой-вековушей,
Со скотьей бабой и Феклушей,
Им на две круглые недели
Хозяйство соблюдать велели.
И под раскаты бубенца
Сошли с перёного крыльца.

Кибитка сложена на славу!
Исподом выведены травы
По домотканому сукну,
В ней сделать сотню не одну
И верст, и перегонов можно.
От вьюги синей подорожной
У ней заслон и напередник,
Для ротозеев хитрый медник
Рассыпал искры по бокам,

На спинку же уселся сам
Луною с медными усами,
И с агарянскими белками,
В одной руке число и год,
В другой созвездий хоровод.

Запряжены лошадки гусем,
По дебренской медвежьей Руси
Не ладит дядя Евстигней
Моздокской тройкою коней.
Здесь нужен гусь, езда продолом,
В снегах и по дремучим долам,
Где волок верст на девяносто, —
От Соловецкого погоста
До Лебединого скита,
Потом Денисова креста
Завьются хвойные сузёмки, —
Не хватит хлебушка в котомке
И каньги в дыры раздерешь,
Пока к ночлегу прибредешь!
Зато в малёванной кибитке,
Считая звезды, как на свитке,
И ели в шапках ледяных,
Как сладко ехать на своих
Развалистым залётным гусем
И слышать: Господи-Исусе!
То Евстигней, разиня рот,
В утробу ангела зовет.

Такой дорогой и Прасковья
Свершила волок, где в скиту
От лиха и за дар здоровья
Животворящему Кресту
Служили путницы молебен.
Как ясны были сосны в небе!
И снежным лебедем погост,
Казалось, выплыл на мороз
Из тихой заводи хрустальной!
Перед иконой огнепальной
Молились жарко дочь и мать.
Какие беды их томили
Из чародейной русской были,
Одной Всепетой разгадать!

«Ну, трогай, Евстигней, лошадок!..»
 «Как было терпко от лампадок...» —
 Родной Параша говорит
 Под заунывный лад копыт.
 «Отселе будет девяносто...»
 Глядь, у морозного погоста,
 Как рог у лося, вырос крин,
 На нем финифтяный павлин.
 Но светел лик и в рясах плечи...
 «Не уезжай, дитя, далече!..»
 Свирелит он дурманней сот
 И взором в горнее зовет,
 Трепещет, отряхаясь снежно...
 Как цветик, в колее тележной
 Под шубкой девушка дрожит:
 «Он, он!.. Феодор... бархат рыт!..»

* * *

На небе звезды, что волвянки,
 Как грузди на лесной полянке,
 Мороз в оленьем совике
 Сидит на льдистом облучке.
 Осыпана слюдой кибитка,
 И смазней радужная нитка
 Повисла в гриве у гнедка.
 Ни избяного огонька
 И ни овинного дымка —
 Все лес да лес... Скрипят полозья...
 Вон леший — бороденка козья —
 Нырнул в ощерое дупло!
 Вот черномазое крыло —
 Знать бесы с пакостною ношей...
 «Он, он!.. Рыт бархат... Мой хороший!..» —
 Спросонок девушка бормочет,
 И открывает робко очи.

У матушки девятый сон —
 Ей чудится покровский звон
 У лебединых перепутий,
 И яблоки на райском пруте,
 И будто девушка она
 В кисейно пенном сарафане,
 Цветы срывает на поляне,

А ладо смотрит из окна
В жилетке плисовой с цепочкой.
Опосле с маленькою дочкой
Она ходила к пупорезке
И заблудилась в перелеске.
Ау! Ау!.. Вдруг видит — леший
С носатым вороном на плеши.
«Ага, попалась!..» «Ой, ой, ой!..»
«Окстись! Что, маменька, с тобой?..»
И крепко крестится мамаша.
«Ну вот и палестина наша!» —
Мороз зашмакал с облучка.
Трущобы хвойная рука
В последки шарит по кибитке,
Река дымится, месяц прыткий,
Как сиг в серебряной бадье,
Нырять в черной полынье, —
Знать ключевые здесь места...
Над глыбкой чернью брезг креста
Граненым бледным изумрудом.
Святой Покров, где церковь-чудо!
Ее Акимушка срубил
Из инея и белых крыл.
Уже проехали окраи...
Вот огонек, собачьи лаи,
Густой, как брага, дых избы
Из нахлобученной трубы.

Деревня, милое поморье,
Где пряха тянет волокно,
Дозоря светлого Егорья
В тысячелетнее окно!
Прискачет витязь из тумана,
Литого золота шелом,
Испепелить Левиафана
Двоперстным огненным крестом!
Чтоб посолонь текли просонки,
Медведи-ночи, лоси-дни,
И что любимо искони
От звезд до крашеной солонки
Не обернулось в гать и пни!
Родимое, прости, прости!
Я, пес, сосал твои молоки
И страстнотерпных гроздий соки

Извергнул желчью при пути!
Что случилось со мной и где я?
В аду или в когтях у змея,
С рожком заливчатым в кости?
Как пращур, я сын двоперстья,
Христа баюкаю в ночи,
Но на остуженной печи
Ни бубенца, ни многоверстья.
Везет не дядя Евстигней
В собольей шубоньке Парашу —
Стада ночных нетопырей
Запряжены в кибитку нашу,
И ни избы, ни милых братьев
Среди безглазой тьмы болот,
Лишь пни горелые да гати!
Кибитку легче на раскате —
Рыданьем в памяти встает.
Спаси нас, Господи Иисусе!
Но запряглися бесы гусем, —
Близки знать адские врата.
Чу! Молонья с небесных взгорий!
Не жжет ли гада свет Егорий
Огнем двоперстного креста?!

* * *

Умыться сладостно слезами,
Прозрев, что сердце соловьями,
Как сад задумчивый, полно,
Что не персты чужих магнолий,
А травы Куликова поля
К поэту тянутся в окно!

Моя Параша тоже травка,
К ее бежбровью камилавка
С царьградской опушкой пошла б.
В обнимку с душенькой Аришей
Она уснула, мягко дышит,
Перемогая юный храп.
Так молодая куропатка,
Морошкой наполнив сладко
Атласистый крутой зобок,
Под комариный говорок
Себя баюкает — кок, кок!

Мне скажут — дальше опиши
Красу двух елочек полесных!
Побольше было в них души,
Чем обольщений всем известных.
Вот разве косы — карь и злать —
Параше заплетала мать
На канифасовых подушках,
А далее... Моя избушка
Дымится в слове на краю, —
Я свет очей моих пою!

Торопит кулебяку сбитень:
«Остыну, гостейку будите!
Уже у стряпки Василисы
Полны студенцы, крынки, мисы,
В печи вотрушка-кашалот,
И шаньги водят хоровод,
Рогульки в масленом потопе,
Калач в меду усладу копит,
И пряник пестрым городком,
С двуглавым писаным орлом,
Плывет, как барка по Двине,
Наперекор ржаной стряпне!
А в новом пихтовом чулане,
Завялым стогом на поляне,
Благоухает сдобный рай...» —
Хоть пали гости невзначай,
Как скатерть браная с сушил...
«Ахти, касатики, остыл! —
Торопит кулебяку сбитень, —
Скорее девушек будите!»
Уже умылись, чешут пряди,
Нельзя в моленной не в обряде
Поклоны утренние класть,
За сбитнем же хозяин — власть,
Еще осудит ненароком —
Родительское зорко око!
На Пашеньке простой саян,
В нем, как березка, ровен стан,
И косы прибраны вязейкой.
Арина же грудь сулейкой
И в пышных сборах сарафан,
В Сольвычегодске шит и бран.

Красна домашняя моленна,
Горя оковкою басменной,
Иконы – греческая прорись,
Что за двоперстие боролись,
От Никона и Питирима
Укрыла их лесная схи́ма.
Параша – ах!.. Как осень, злат,
Пред ней Феодор Стратилат.
Мамаша ахнула за дочкой,
Чтоб первый блин не вышел кочкой,
Как бы на греческую вязь
По бабьей простоте дивясь.
Опосле краткого канона
Пошли хозяину поклоны.
«Здоров ли кум? Здоров ли сват?
Что лов семуженый богат,
На котика в Норвегах цены,
Что в океане горы пены –
Того гляди прибьет суда!
Как Пашенька?.. Моя – руда!»
И девушка, оправя косы,
Морскому волку на вопросы
Прядет лазурный тихий лен.
«Мои хоромы – не полон,
И гости – не белуга в трюме!
Без дальних, доченька, раздумий
Зови подруг на посиделки!..»
«Ох, батюшка, плетешь безделки,
Не для Парашы вольный дух!..»
«Тюлень и под водою сух!..
Еще молодчиков покраше,
Авось, приглянутся Параше,
Не мы – усатые моржи!..»
Что куколь розовый по ржи,
Цвели в прирубке посиделки.
Опосле утушки и белки
Пошли в досюльный строгий шин.
«Я Федор, Калистрата сын,
Отложите прялицу в сторонку!..»
И вышла Пашенька на гонку.
Обут детинушка в пимы,
И по рубахе две каймы
Испещрены лопарским швом.

«Заплескала сера утушка крылом,
Ой-ли, ой-ли, ой-ли!
Добру молодцу поклоны до земли!
Ты на реченьке крыла не положи,
Сиза селезня напрасно не ищи!
Ой-ли, ой-ли, ой-ли!
Выплывали в сине море корабли!
Сизый селезень злым кречетом убит,
Под зеленою ракикою лежит!
Ой-ли, ой-ли, ой-ли!
Во лузах цветы лазоревы цвели!
Еще Федор Парасковьюшку
Не ищи по чисту полюшку!
Ой-ли, ой-ли, ой-ли!
Поклевали те цветочки журавли!
Парасковья дочь отецкая,
На ней скрута не немецкая!
Ой-ли, ой-ли, ой-ли!
Серу утушку ко прялке подвели...»
Все девушки: «Ахти-ахти!
Красивее нельзя пройти
Размеренным досюльным шином
Речной лебедушке с павлином!..»
«Спасибо, Федор Калистратыч!..
Подладь у прялки спицу на стыч!..»
И поправляет паслю он,
Лосенок, что в зарю влюблен.
И кисть от пояса на спице
Алеет памяткой девице:
Мол, кисточкой кудрявый Федя
В кибитке с лапушкой поедет.
Запело вновь веретено...
Глядь, филин плячется в окно!
Не ясно видно за морозом.
Перепорхнул к седым березам,
Ушаст, моржовые усы...
Хозяин!.. У чужой красы!..
Но вьются хмелем посиделки —
Детина пляшет под сопелки
То голубым песцом в снегах,
То статным лосем в ягелях,
Плакучим лозняком у вод —
Заглянет в омут и замрет.

В лопарских вышивках пимы...
Чу! Петухом из пегой тьмы
Оповещает ночь полати,
Лежанки, лавицы, кровати,
Что сон за дверью в кошелях
Несет косматых росомах
И векшу — серую липушу
Угомонить людскую душу!

* * *

Как лен, допрялася неделя.
Свистун поземок на свирелях
Жалкует, правя панихиды,
И филин плачет от обиды,
Что приморозил к ветке хвост.
На вечерюющий погост
Зарница капает сусалом.
Вон огонек, там в срубце малом
Живет беглец из Соловков —
Остатний скрытник и спасалец,
Ночной печальник и рыдалец
За колыбель родных лесов.
И стало горестно Параше,
Что есть молитва за леса, —
Неупиваемые чаши
Земле готовят небеса.
Сподоби, Господи, сподоби
Уснуть невестой в белом гробе
До чаши с яростной полынью!..
А вечер манит нежной синью,
И ель, как схимник в манатейке...
«Не приросла же я к скамейке!
Пойду к отцу Нафанаилу
Пожалковать на вражью силу,
Что ретивое мне грызет!»
Самая не зная как по крыльцам
Она бежит, балясин рыльца
Собольим рукавом метет,
Спеша испить от ярых сот.
Вот на сугробе волчий след,
Ни огонька, ни сруба нет.
Вот слезка просочилась в ели,
Тропинку выкрали метели...
Опять сугроб — медвежья шапка...

Ай, волк, что растерзал арапка!
Бирюк матер, зеленоглаз,
Знать утка выплыла не в час!
Котлом дымится полынья...
«Пусть растерзает и меня,
Чтоб не ходила красным шином!...»
Касатка в стаде ястребином,
Бесстрашна внучка Аввакума.
В тенётах сокол — в сердце дума
Затрепетала по борьбе
Без терпкой жалости к себе.
И как Морозова Федосья,
Оправя мокрые волосья,
Она свой тельник золотой,
Не чуя, что руда сгорает,
Над зверем, над ощерой тьмой
Рукою трезвой поднимает
И трижды грозно осеняет!
Как от стрелы, метнулся волк,
Завыл, скликаая бесов полк,
И в миг издох... Параша к срубам,
Слюдою осыпая шубу
И обронив с косы вязейку,
Упала в сенцах на скамейку.
Пахнуло тепелью от сердца...
Омыты тишиною сенцы.
Вот гроб колодовый, на нем,
Пушистым кутаясь хвостом,
Уселась белка буквой в святцах...
«С рассудком видно не собраться...»
Чу! В келье плач глухой и палый!..
«Что, Парасковьюшка, застряла?
На темя капают слова,
Уймися, девка не вдова!..
Намедни спрос чинил я белке:
Что, полюбились посиделки
У сарафанистой Ариши?
Запрыскала, усами пишет,
На Федьку сердится... Да, да!
Пльиви, лебедушка, сюда!»
И очутилась Паша в келье.
Какое светлое веселье!
Пред нею в мантии дерюжной,
Не подъяремный и досужный,
Сиял отец Нафанаил.

Веянием незримых крыл
Дышали матицы, оконце...
«Не хошь ли сусла с толоконцем?
Вот ложка – корабли по краю!
Ведь новобрачную встречаю, –
Богато жить да сусло пить!..»
«Я, батюшка!..» «Эх, волчья сыть!» –
И старец указал брадою.
Возрилась гостья, что такое?
Хозяин... Морж... стоит у печи,
Усы в слезах, как судно в течи,
Как паруса в осенний ливень!..
«Мотри, голубка, Спас-от дивен,
Не поругаем никогда!..»
«Ах, батюшка!..» «Пройдут года,
Вы вспомните мои заветы, –
Руси погаснут самоцветы!
Уже дочитаны все свитки,
Златые распиты напитки,
И у святых корсунских врат
Топор острит свирепый кат!..
В царьградской шапке Мономаха
Гнездится ворон – вестник страха,
Святители лежат в коросте,
И на обугленном погосте,
Сдирая злать и мусикию,
Родимый сын предаст Россию
На крючья, вервие, колеса!..
До сатанинского покоса
Ваш плод и отпрыск доживет,
В последний раз пригубить мед
От сладких пасек Византии!..
Прощайте, детушки! Благие
Вам уготованы сады
За чистоту и за труды!..»
И старец скрылся в подземельи.
Березкой срубленной средь кельи
Лежит Параша на полу,
И как к лебяжьему крылу
Припал к ней морж в ребячьем страхе,
Не смея ворота рубахи
Тяжелым пальцем отогнуть,
И не водой опрыскал грудь,
А долголетними слезами,
Что накопил под парусами.

«Моя любовь, мой осетренок!..»
Легка невеста, как ребенок,
Для китобойщика руки.
Через сугробы, напрямки,
На избяные огоньки,
Понес ларец бирюк матерый...

Цветут сарматские озера
Гусиной прázеленью, синью...
Не запрокинут рог с полынью
В людские веси, в темный бор,
Где тур рогатый и бобер.
Парашу брачную царевной,
В простой ладье, рекой напевной,
В полесья северной земли
От Цареграда привезли.
Она Палеолог София,
Зовут Москвой ея удел,
Супруг на яхонты драгие
Иваном Третьим править сёл.
Дубовый терем тих и мирен,
Ордынский не грозит полон,
И в горнице двуглавый Сирин
Поет Кирие елейсон.
И снится Паше гроб убранный,
Рубин востока смертью взят,
Отныне кто ее желанный?
Он, он, в кольчуге филигранной,
Умбрийских красок Стратилат!
Дочитан корсунский псалтырь,
Заключена колода в клетки,
И Воскресенский монастырь
Рубин баюкал шесть столетий.
Но вот очнулася она
От рева, посвиста и гама, —
Топор разламывает мрамор,
Бежит от гроба тишина,
И кто-то черный пятерню
К сидонским перлам жадно тянет...
«Знать угорела в чадной бане!
Ходила к старцу по кутью,
Да волка лютого спужалась...
Иль домовой... На губках алость!..

Иль ворон человечесий зуб
Занес на девичий прируб —
Примета злая!..» Так над ладою,
Стрижами над вечерним садом,
Гуторил пестрый бабий рой.
И как тростник береговой,
Примятый бурейю вчерашней,
Почуя ласточек над пашней,
К лазури тянет лист и цвет,
Так наша ладушка в ответ
На вопли матери, сестрицы,
Раскрыла тяжкие ресницы.

От горницы до черной клетки,
На василистином совете,
У скотьей бабы в повалуше,
Решили: порча девку сушит!
Могильным враном на прируб
Обронен человечесий зуб.
Ох, ох! Хвороба неминуча,
Голубку до смерти замучит!
Недаром полыньи черны
И волчьи зубы у луны!
Не домекнет гусыня мать
Поворожить да отчитать!
И вот Аринушка с Васихой,
Рогатиной на злое лихо,
Приводят в горенку ведка,
В оленьих шкурах старика,
В монистах из когтей медвежьих.
По желтой лопи, в заонежьях,
По дымным чумам Вайгача,
Трепещут вещего сыча.
Он темной древности посланец,
По яру — леший, в речке — сом,
И даже поп никонианец
Дарил шамана табаком.
Кудесник не томил Парашу,
Опрыскав каменную чашу
Тресковой желчью, дудку взял
И чародейно заиграл:
Га-га-ра га-га сайма-ал,
Ай-ла учима трю-вью-рю,
Ты не ходила по кутью!
Одна болезнь, чью-ри-чирок,

Что любит девку паренек!..
Но, айна-ала чам-ера,
Вдовец, чам-ра, убьет бобра!..
Вставай, вставай! Медведю пень,
Гагаре же румяный день!..
«Ох, дедушка, горю, горю!..
Отдайте серьги лопарю,
И ленту, шитую в Горицах!..»
А уж ведун на задних крыльцах;
Арина с теткой Василистой
Уладили отчитки чисто.

* * *

Поморский дом плывет китом,
Ему смарагдовым копьем
В предутрия, просонки, зори
Указывает путь Егорий.

Столетие, мгновенье, день —
Копье роняет ту же тень
Все на восток, где Брама спит, —
С ним покумиться хочет кит.

Все на восток, где сфинкс седой
Встает щербатой головой,
Печаль у старого кита
Клубится дымом из хребта.

Скрипят ворота-плавники —
Друзья все так же далеки,
Им с журавлями всякий год
Забывтый кум поклоны шлет.

Сегодня у него в молоке,
Где сердца жаркие истоки,
О тайне сумерек лесных
Поют две птахи расписных.

Аринушка с душой Прасковьей,
Два горностая на зимовье,
В светелке низенькой сошлись
И потихоньку заперлись.
«Крепки затворы, нас не слышат», —
Поет малиновкой Ариша, —

«Уснула лавка, потолок
И кот — пузатый лежебок,
А домовому за лежанку
Положим черствую баранку,
Чтоб грыз досужливым сверчком!...»
«Не обернулась бы грехом
Беседа наша!..» «Что ты, Паня!
Отмоемся золою в бане,
Оденем новые станушки,
Чай не тонули в пьяной кружке!»
«Аринушка, я виновата!..»
«С Федюшей, сыном Калистрата?...»
«Ох, что ты, что ты!.. Видит Бог...
Живой не выйти за порог!..»
«Так кто ж обидчик?...» «Твой отец...»
«Окстись, Параня!.. Пес, выжлец!..
Повыйдет матушка из гроба!..»
«Тогда, у волчьего сугроба,
Спознала я свою судьбу...
Прости, Владычица, рабу!
Святой Феодор Стратилат,
Ты мой жених и сладкий брат!
Тебе вручается душа,
А плоть, как стены шалаша,
Я китобойцу отдаю!..»
(Свирель от иконы:)
С тобою встретимся в раю!
«Аринушка, ты слышишь гласы?...»
«Ах он выжлец, кобель саврасый!..
Повыйду замуж не в угодые
За калистратово отродье,
За Федьку в рыболовный чум!..»
«В горящих письмах Аввакум
Глаголет: детушки, горите!..
Я нажилась в добре и сыте,
Теперь сгорю огнем тягучим,
Как в море лодка без уключин,
О камни груди разобью!..»
(Свирель от иконы:)
С тобою встретимся в раю!..
«Аринушка, поет свирель!..»
«То синеперая метель...»
«Подруженька, люби Федюшу,
Ему отдай навеки душу!..
Целуй покрепче да ласкай,

Ведь по хозяйке каравай —
Пригож, волосья — красный яр,
Смолистый кедр в лесной пожар
Он опалает!..» «Что ты, Паня?
Аль любишь?.. Знала бы заране,
Тебе бы сердца не открыла...»
«Пророчество Нафанаила —
Мне быть супругою вдовца
И твоего ласкать отца!..»
А Феде — белому оленю,
Когда посадит на колени
Он ясноглазую дочурку,
Скажи, что рысь убила... курку!
Что поминальный голубец
Дознает повести конец!..
Ты любишь Федора, Арина?...»
«Под осень не трясси осины,
Не то рудою изойдет!..
Олень же вербу любит яро...»
Тут кит дохнул морозным жаром,
И из его оконных глаз
Полился желтый канифас,
Потом кауровый камлот,
Знать офень-вечер у ворот
Огнистый короб разложил —
Мохры, бубенчики, гужи...
Но вот погасла чудо полка, —
Дудец запел перед светелкой,
То Федя — нерполова сын
Идет в метелицу один
И в синеперой ранней мгле,
На непонятном веселе,
Как другу, жалостной волынке
Вверяет милые старинки:

Пчелы белояровья-а-а-а!
Тю вью верею павы я-а-а-а!
Ко двору-двору,
Ту-ру-ру-ру-ру,
К Парасковьину
Прививались-а-а-а!
У медведя животы,
Ах, по меду у топты-ы-ы-

Гина растужилися-а-а-а!..
Ах, пошел медведь
На поклоны в клеть —
Ти-ли вью-вью-вью,
Пиво во-во, да люблю-ю-ю!..
Парасковья свет
Подала ответ:
Ох, да медведь косолап,
Лапой сам зацап!..
Трю-вью, ох да я —
Пчёлы белояровья-а-а-а!

* * *

Тебе, совеноч кареглазый,
Слюду и горные топазы,
Морские зерна, кремешки
Я нижу на лесу строки.

Взгляни, какое ожерелье,
Играет радугою келья,
И шкуры золотистой ржи
В родимом поле у межи!

Шепни, дитя, сквозь дымку сна:
Ну, молодчина, старина!..
Но звезды спят, всхрапнул очаг,
В дупло забился филин-страх.

Тебе на мерную лесу
Я нижу яхонтом слезу,
А сердца алый уголек
Стяну последним в узелок!

Я знаю, молодость прошла,
Вернется филин из дупла
Вцепиться в душу напослед,
Чтоб навсегда умолкнул дед!

Как прялка, голос устает,
И улы глаз не точат мед,
Лишь сединою борода
Цветет, как травами вода

Среди болотных мочежин...
Усни, дитя, изгнанья сын!

Костлявой смерти на беду
Я нить звенящую пряду.

И, может быть, далекий внук
Уловит в пряже дятла стук,
В кострике точек и тире
Гусиный гомон на заре.
По дебрям строк медвежий след
Слепым загадкам даст ответ,
Что из когтей Руси дудец
Себе нанизывал венец.
Что лесовик дуду унес
В глухую топь, в пургу, мороз!..
Но скучно внуков поминать,
Целуя пепельную прядь.
Им Погорельщины угли
Мы в грудку звонкую сгребли,
Слова же сук, паук и внук
Напоминают дятла стук.
Чуждаясь осминогих слов,
Я смерть костлявой звать готов
И прятке прочу в женихи
Ефрема Сирина стихи!

< * * * >

.....
Господи владыко,
Метелицей дикой
Сжигает твое поморье!
Кибитку, шубоньку соболью,
Залетную русскую долю.
Бубенец и копые Егорья!..

Уймись, умолкни, сердце!
Вон пряничною дверцей
Скрипит зари изба, —
В реку упали крыльца,
Наличники, копыльца,
Резная городьба.

Живет Параша дома —
Без васильков солома
Пустая полова.

Неделя канет за день,
Но в веницейский складень
Не падает коса.

Не окунутся руки
От девичьей прилуки
В заморское стекло.
В приятстве моль со свечкой,
И не цветет за печкой
Сусальное крыло.

Ау, прекрасный Сирин!
В тиши каких кумирен
Твой сладостный притин?
Уж отплясали святки
Татарские присядки,
Эх-ма и брынский трын.

На постные капели,
На дымчатые ели
Не улыбнется <пропуск? – В.Ш.>
Плющица Евдокия
Снежинки голубые
Сбирает в решето.

Глядь, Алексей калика
Из бирюзы да лыка
Сплетает неводок,
И веткой Гавриила
В оконце к деве милой
Стучится ветерок.

Почуяла Прасковья,
Что кончилось зимовье —
Христос во гробе спит,
Что ноне дедов души
По зорьке лапти сушат
У голубцов да плит.

Утечь бы солнпеком,
Доколе видит око,
В лазоревый Царьград —
Там лапушку приветит
В незаходимом свете
Феодор Стратилат!

Написано в Прологе,
Что встретил по дороге
Отроковицу мних.
Кормил ее изюмом,
И вторя травным шумам,
Слагал индийский стих.

Узорно бает книга,
Как урожаем рига,
Смарагдами полна.
Уйду на солнпеки,
В индийский край далекий,
Где зори шьет весна!

И вот от скотьей бабы
В узлу коты-расхлябы
Да нищая сума,
Затих базар сорочий,
И повернулась к ночи
Небесная корма.

За ужином Прасковья
Спросила о здоровье
Любимого отца,
К родимой приласкалась,
Знать в час, на щеки алость
Струилась от светца.
Уж мглицы да потемы
Закутали хоромы
В косматый балахон,
Низги затренькал в норке,
И снится холмогорке
В хлеву зеленый сон.

В котях, сума коровья,
Повышла Парасковья
На деревенский зад
И в голубые насты,
Гду жуть да ельник частый,
Отправилась в Царьград.

Бегут навстречу елки —
«К нам гостья из светелки», —
И тянут лапы ей.

Ой, пеньшки, макушки,
Не застите кукушке
На Индию путей!

Глядит, с развалом сани,
В павлиньих перьях Ваня —
Купецкий ямщикек:
«Садитесь, ваша милость,
К заутрене на клирос
Примчу за целкачок!»

Летит беркутом карий,
Вон огоньки на яре —
Из грошиков блесня,
Чай в Цареграде бабы
Не ждут через ухабы
Павлиного коня?

Подъехали к палатам, —
Горя парчовым платом,
Хозяйка на крыльце:
«Раба Парасковия,
Вот бисеры драгие
И маргарит в ларце!»

Как в смерти дивно Паше!
А горницы все краше,
Благоуханней сот.
Она пчелою дале
И Утоли Печали
В хозяйке узнает!

«Вот горенка Миколы,
Подснежники — престолы,
На лавке лапоток.
Здесь — Варлаам с Хутиня
И мать слез — пустыня,
Одетая в поток.

Иона яшезерский,
С уздечкой, цветик сельский, —
Из Веркольска Артём.
Се — Аввакум горящий,
Из свитка, меда слаше,
Питается огнем!

На выструге ж в светлице,
Где будут зори шиться,
Для гостыюшки покой.
Черемухою белой
Пройдя земное тело,
В него войдешь душой!

Как я, вдовцом укрыта,
Ты росною раkitой
Под платом отцветешь
И сына сладкопевца
Повыпустишь из сердца,
Как жаворонка в рожь!

Он будет нищ и светел —
Во мраке вещей петел —
Трубить в дозорный рог,
Но бесы гнусной грудой
Славянской песни чудо
Повергнут у дорог.

Запомни, Параскева —
Близка година гнева,
В гробу святая Русь!..
Чай, опозднился Ваня,
Продрогли с карим сани.
Прощай!..» «Я остаюсь!..

Владычица!.. Мария!..
Кругом места глухие.
Сопит глухарь-рассвет.
И глухо сердце млеет...
Пролей, Господь, елеи
На многоскорбный след!

Страшат беглянку дебри,
Уж солнышко на кедре
Прядет у векш хвосты,
Проснулся пень зобатый.
Присесь бы... Пар от плата
И снег залез в коты.

Когтит тетерку кречет,
И дупла словно печи,

Повыкрал враг суму.
Прощай, любимый тятя,
Кибиткой на раскате
Я брошена во тьму!

Но что за марь прогалом, —
Ужели в срубце малом
Спасается бегун?
Скорей к нему в избушку,
За нищую пирушку,
Где кот — лесной баюн!

Как цепки буреломы!..
Наверно, скрытник дома —
Округок ни следка.
Ай, увязают ноги!..
А уж теплом берлоги
Обожжена щека.

Ай, на хвосте у белки
Медвежьи посиделки
Параше суждены!
В шубейке, легким комом,
Лежать под буреломом
До ангельской весны!

Во те поры топтыгин,
Бегун с дремучей Выги,
Усладный видел сон, —
Как будто он в малине,
Румяной, карей, синей,
Берет любовь в полон.

Как смерть, сильна дремота,
Но завести охота
Звериную семью.
Храпя, слюнявя ветки,
Он обнял напоследки
Разлапушку свою.

Еще снега округой,
И черная лешуга
К просонкам не зовет...
На быстрых лыжах Федя

Спешит силки проведать,
Пока солноворот.

Нейдет лукавый соболь,
Рядками ли, особо ль
На лазах петли ставь!
Верст сорок от становищ,
По дебрям дух берложищ —
С оглядкой лыжи правь.

Прошит сугроб котами, —
По ярам соболями
Не бабе промышлять!
Где пень — сума коровья,
Следы же до логовья, —
Там хворост лижет чадь.

Насупился Федюша
И ну, как выдра, слушать,
Заглядывать в суму.
Мережкой ловят уши,
Как белка лапки сушит,
Лишайник бахрому.

Сума же кладом дразнит,
В ней правит тихий праздник
Басменный образок
И с кисточкой вязейка...
Но где же душегрейка
И Гамаюн-платок!

У сына Калистрата
В глазах сугроб лобатый
Пошел с корягой в шин.
Она, она!.. Параня!..
Недаром снились сани —
За ямщика — павлин!

«Увез мою кровинку
К медведю на поминку!..
Не в час родился я!»
«Мой цветик, соболенок!..»
А голос хрупко-звонок,
Как подо льдом струя.

«Параша!.. Паша!.. Паня!..»
Лисицей на поляне
Резвится солнопек.
«Пророче, Елисее,
Повызволь от злодея
Кровинку-перстенок!»

«Я на твою божницу
Дам бурую куницу
И жемчугу конец!..»
Скрепя молитвой душу,
Прислушался Федюша:
Храпит лесной чернец.

Меж тем щегленок-лучик
Прокрался на онучи,
На Парасковьин плат,
Погрелся у косицы, —
Авось пошевелится,
На крошку бросит взгляд!

Ай, лапя по шубейке,
Оборочусь в копейки,
Капелью побренчу:
То-ли, сё-ли,
Ну-ли, что-ли, —
Дай копеечку лучу!

И дрогнули ресницы...
Душа в ребро стучится...
Жива иль не жива?
И в кровавом прибое
Плывет, страшнее вдвое,
Медвежья голова.

Потемки гуще дегтя,
Лежат, как гребень, когти
На девичьих сосцах.
«Пророче Елисее,
Повызволь от злодея», —
Запел бубенчик-страх.

«Я на твою божницу
Дам с тельника златницу
И пряник испеку!..»
В обет смертельный веря,

Она втишок от зверя
Ползет, как по ложку.

«Параша!.. Паша!.. Паня!..»
Знать Сирин на поляне, —
И покатилося в лог!..
Взбурлила келья ревом,
И в куколе еловом
Над нею чернобог.

«Пророче Елисее!..»
Топор прошел от шеи
По становой костец.
Захлебываясь кровью,
Спасает Парасковью
Неведомый боец.

Как филин с куропаткой,
Топтыгин в лютой схватке
С Федюшкой-плясуном!..
Отколь взяла отвагу,
На ворога корягу
Набросить хомутом?

И бить колючей елкой
По скулам и по холкам,
Неистово молясь?
Вот пошатнулся Федя, —
Топор ушел в медведя
От лысины — по хрясь.

«Параша!..» «Федя!.. Сокол!..»
«Поранен я глубоко...
Тебя Господь упас?..
Ох, тяжело!..» «Братец милый,
Коль сердце не остыло, —
Христос венчает нас!»

«Ах, радость, радость, радость
Пожить женатым малость...
Того не стою я...»
«Вот тельник из Афона,
Вдоветь да класть поклоны
Благослови меня!»

«Благословляю... Паша!...»
И стал полудня краше
Феодор — Божий раб.
От горести в капели
Свои запястья ели
Пообронили с лап.

И кедр, раздув кадило,
Над брачною могилой
Запел: подаждь покой!
А солнопек на брата
Расшил покров богато
Коралловой иглой.

К невиданной находке
Слетелись зимородки,
Знать кудри — житный сноп.
На них глаза супруги
Наплавили от туги
Горючих слез поток.

И видела трущоба,
Как вырос из сугроба
Огнистый слезный крин,
На нем с лицом Федюши,
Чтоб жальче было слушать,
Малиновый павлин.

* * *

Усни, мой лосенок больной!
По чумам проходит покой,
Он мерности весла несет
Тому, кто отчизну поет.

Смежи своих глаз янтари,
Еще далеко до зари,
Лапландия кроткая спит,
Не слышно оленьих копыт,

Не лает голубый песец,
От жира советует светец,
За кожаной дверью покой
Стучит в колоток костяной.

Войди и садись к очагу,
Но только про смерть ни гу-гу!
Пускай не приходит она,
Пока голубеет сосна,

И трется, линия, олень
О теплый березовый пень!

Покуда цветут берега,
От пули не ноет нога.
И пахарь за кровлю и хлеб
Над песней от слез не ослеп.

Не лучше ли в свой колоток
Пришельцу потренькать часок,
Чтоб милый лосенок янтарь
Смежил, как в счастливую старь!

Где бабкины спицы цвели
Кибиткой в морозной пыли,
Медведем, малиной, рекой
И русской ямщицкой тоской!

Затренькал ночной колоток.
Усни, мой болотный цветок.
Лапландия кроткая спит,
Не слышно ни трав, ни раки!

Лишь пальцы зайченком в кустах
Плутают в любимых кудрях,
Да сердце — завьюженный чум —
Тревожит таинственный шум.

То стая фрегатов морских —
Стихов острокрылых, живых,
У каждого в клюве улов —
Матросская горсть жемчугов.

У каждого в крыльях закат,
Чтоб рдян был поэзии сад.
Послушай фрегатов, дитя,
В безбрежной груди у меня!

Послушай и крепче усни.
Уж зорче по чумам огни.
С провидящих кротких ресниц
Лапландия гонит ночниц,

И дробью оленьих копыт
Судьба в колотушку стучит.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

* * *

...И в горенку входил отец...
«Поставить крест аль голубец
По тестю Митрию, Параша?..»
Неупиваемая чаша,
Как ласточки звенящих лет,
Я дал пред родиной обет
Тебя в созвучья перелить,
Из лосьих мыков выпрясть нить,
Чтоб из нее сплести мережи!
Авось любовь, как ветер свежий,
Загонит в сети осетра,
Арабской черни, серебра,
Узорной яри, аксамита,
Чем сказка русская расшита!
Что критик и газетный плут,
Чихнув, архаикой зовут.
Но это было! Было! Было!
Порукой – лик нездешней силы –
Владимирская Божья Мать!
В ее очах Коринфа злать,
Мемфис и пурпур Финикии
Сквозят берёстою России
И нежной просинью вифезды
В глухом Семеновском уезде!
Кто Светлояра не видал,
Тому и схи́ма – чертов бал!
Но это было! Было! Было!
Порукой образ тихокрылый
Из радонежеских лесов!
Его писал Андрей Рублев
Смиренной кисточкой из белки.
Века понатрудили стрелки,
Чтобы измерить светлый мир,
Черемух пробель и сапфир –
Шести очей и крыл над чашей!
То русской женщины Параша,

Простой насельницы избы,
Душа — под песенку судьбы!
Но... многоточие — синицы,
Без журавля пусты страницы...
Увы... волшебный журавель
Издох в октябрьскую метель!
Его лодыжкой в запал
Я книжку ... намарал,
В ней мошкара и жуть болота.
От птичьей желчи и помета
Слезами отмываюсь я,
И не сковать по мне гвоздя,
Чтобы повесить стыд на двери!..
В художнике, как в лицемере,
Гнездятся тысячи личин,
Но в кедре много ль сердцевин
С несметною пучиной игол? —
Таков и я!.. Мне в плач и в иго
Громокипящий пир машин,
И в буйном мире я один —
Гадатель над кудесной книгой!
Мне скажут: жизнь — стальная пасть,
Крушит во прах народы, классы...
Родной поэзии атласы
Не износил Руси дудец, —
Взгляните, полон коробец,
Вот объярь, штоф и канифасы!
Любуйтесь и поплачьте всласть!
Принять, как антидора часть,
Пригоршню слез не всякий сможет...
Я помню лик... О Боже, Боже!
С апрельскою березкой схожий
Или с полосынькой льняной
Под платом куколя и мяты,
Или с гумном, где луч заката
Касаток гонит на покой
К стропилам в кровле восковой,
Где в гнездышках пищат малютки!..
Она любила незабудки
И синий бархат васильков.
В ее прирубке от цветов
Тянуло пряником суропным,
Как будто за лежанку копны

Рожков, изюма, миндаля
С неведомого корабля
Дано повыгрузить арапам.
Оконца синие накрапы
И синий строгий сарафан —
Над речкой мглица и туман,
Моленный плат одет на кромки...
Лишь золотом, струисто ломкий,
Зарел Феодор Стратилат.
Мои сегодня именины, —
Как листопадом котловины,
Я светлой радостью богат:
Атласной с бисером рубашкой
И сердоликовой букашкой
На перстеньке — подарке тяти.
«Не надо ль розанцев соскати,
Аль хватит колоба с наливом?»
Как ветерок по никлым ивам,
На стол и брашна веял плат.
«Обед-то ноне конопат, —
Забыли про кулич с рогулей,
Да именинника на стуле
Не покачати без отца,
Чтоб рос до пятого венца,
А матерел, как столб запечный.
Придется, грешнице, самой
Повеселить приплод родной!»
И вот сундук с резьбой насечной,
Замок о двадцати зубцах,
В сладчайший повергая страх,
Как рай, как терем, разверзался,
И, жмурия смазни, появлялся
На свет кокошник осыпной,
За ним зарею на рябинах
Саян и в розанах купинных
Бухарской ткани рукава.
Однажды в год цвели слова
Волнистого, как травы, шина,
И маменька, пышней павлина,
По горенке пускалась в пляс
Жар-птицей и лисой-огневкой,
Пока серебряной подковкой
Не отбивался «подзараз»,

И гаснул танец-хризопрас.
«Ах, греховодница-умыка!
От богородичного лика
Укроется ли бабий срам?!»
И вновь сундук – суровый храм
Скрипел железными зубами.
Слезилась кика жемчугами,
Бледнел, как облачко, саян.
Однажды в год, чудесным пьян,
Я целовал кота и прялку,
И становилось смутно жалко
Родимую – платок по бровь.
Она же солнцем, вся любовь,
Ко мне кидалась с жадной лаской:
«Николенька, пора с указкой
Читать славянские зады!..»
И в кельице до синей мглицы,
До хризопрасовой звезды,
Цвели словесные сады.
Пылали Цветника страницы,
Глотал слюду струфокамил,
И снился фараону Нил
Из умбры, киновари, яри...
В павлино-радужном пожаре
Тонула мама, именины...
Мои стихи не от перины
И не от прели самоварной
С грошовой выкладкой базарной,
А от видения Мемфиса
И золотого кипариса,
Чьи ветви пестуют созвездья.
В самосожженческом уезде
Глядятся звезды в Светлояр, –
От них мой сон и певчий дар!

* * *

Двенадцать снов царя Мамера
И Соломонова пещера,
Аврора, книга Маргарит,
Златая Чепь и Веры Щит,
Четвертый список белозерский,
Иосиф Флавий – муж еврейский,

Зерцало, Русский виноград —
Сиречь Прохладный вертоград,
С Воронограем Список Вед,
Из Лхасы Шолковую книгу,
И Гороскоп — Будды веригу
Я прочитал в пятнадцать лет —
Скитов и келий самоцвет.
И вот от Кеми до Афона
Пошли малиновые звоны,
Что на водах у Покрова
Растет Адамова трава.
Кто от живого злака вкусит —
Найдет зарочный перстень Руси,
Его Тишайший Алексей
В палатах и среди полей
Носил на пальце безымянном;
Унесен кречетом буланым
С миропомазаной руки,
Он теплит в топах огоньки,
Но лишь Адамовой травой
Закликать сокола домой!
И что у Клюевой Прасковьи
Цветок в тесовом изголовьи,
Недаром первенец сынок
Нашел курганный котелок
С новгородскими рублями
И с аравийскими крестами,
При них, как жар, епистолия,
Гласит — чем кончится Россия!
На слухи — щокоты сорочьи
У василька тускнули очи,
Полоска куколя и льна
Бывала трепетно бледна.
«Николенька, на нас мережи
Плетутся лапою медвежьей!
Китайские несториане
В поморском северном тумане
Нашли улыбчивый цветок,
И метят на тебя, дружок!
Кричит ослица Валаама,
Из звездоликой Лхасы Лама
В леса наводит изумруд...
Крадутся в гагачий закут
Скопцы с дамасскими ножами!..

Ах, не веселыми руками
Я отдаю тебя в затвор —
Под соловецкий омофор!
Открою завтра же калитку
На ободворные зады,
Пускай до утренней звезды
Входящий вынесет по свитку —
На это доки бегуны!»
И вот под оловом луны,
В глухой бревенчатый тайник
Сошелся непоседный лик:
Старик со шрамом, как просека,
И с бородой Максима Грека,
В веригах богатырь-мужик,
Детина — поводырь калик
По прозвищу Оленьи Ноги,
Что ходят в пуще без дороги,
И баба с лестовкой буддийской.
От Пустозерска и до Бийска,
И от Хвалыни на Багдад
Течет невидимый Ефрат, —
Его бесплотным кораблям
Притины — Китеж и Сиам.

Златая отрасль Аввакума,
Чтоб не поднять в хоробах шума,
Одела заячьи коты,
И крест великой маяты,
Который с прадедом горел
И под золой заматорел, —
По тайникам, по срубам келий,
Пред ним сердца, как свечи, рдели.

«Отцам, собратиям и сестрам,
Христовым трудникам, невестам,
Любви и веры адамантам,
Сребра разженного талантам,
Орлам ретивым пренебесным,
Пустынным скименам безвестным
Лев грома в духе говорит,
Что от дьявольских копыт
Болеет мать земля сырая,
И от Норвеги до Китая
Железный демон тризну правит!
К дувану адскому, не к славе,

Ведут Петровские пути!..
 В церковной мертвенной груди
 Гнездится змей девятиглавый...
 Се Лев радельцам веры правой
 Велит собраться на собор —
 Тропой, через Вороний бор,
 К Денисову кресту и дале
 На Утоли Моя Печали!..
 А на собор пресветлый просим
 Макария — с Алтая лося,
 От Белой пагоды Дракона,
 Агата — столпника с Афона,
 С Ветлуги деву Елпатею,
 От суфиев — Абаза-змея,
 Да от рязанских кораблей
 Чету пречистых Голубей,
 Еще Секиру от скопцов!..
 Поморских братий и отцов,
 Как ель, цветущих недалеко,
 Мы известим особь сорокой!»
 Так мамыны гласили свитки —
 Громов никейских пережитки.
 Земным поклоном бегуны
 Почтили отзвуки струны
 Узорной корсунской псалтыри,
 Чтоб разнести по русской шири,
 Как вьюга, искры серебра
 От пустозерского костра.¹

1930. На Покров день.

Денисов крест с Вороньим бором
 Стоят, как воины дозором,
 Где тропы сходятся узлом.
 Здесь некогда живым костром,
 Белее ледовитых пен,
 Две тысячи отцов и жен
 Пристали к берегу Христову.
 Не скудному мирскому слову

¹ Здесь в рукописи имеется запись: «Поэма Последняя Русь еще не кончена. 1) собор отцов, 2) смерть матери, 3) явление матери падчерице Арише с предупреждением о страшной опасности, 4) Ариша с дочерью Настенькой на могиле Пашеньки».

Узорить отчие гроба,
Пока архангела труба
Не воззовет их к веси новой,
Где кедром в роще бирюзовой
Доспеет русская судьба.

< * * * >

Денисов крест — потайный знак,
Что есть заклятый буерак,
Что сорок верст зыбучих мхов
Подземной храмины покров.
В нее, по цвету костяники,
Стеклись взыскующие лики:
Скопец-Секира и Халдей,
Двенадцать вещей медведей
С Макарием — лесным Христом,
Над чьим смиренным клобуком
Язык огня из хризолита,
И Елпатея — риза скита
Из омофорных подопок —
Все объявились в час и срок.
В подземной горнице, как в чаше,
Незримым опахалом машет
И улыбается слюда —
Окаменелая вода
Со стен, где олова прослой
И скопы золота, как рой,
По ульям кварца залегли, —
То груди Матери-земли
Удоем вспенили родник.
Недаром керженский мужик,
Поморец и бегун от Оби
Так величавы в бедном гробе.
«Образ есть неизреченной славы», —
Поют над ними крыльев сплавы,
Очей, улыбок, снежных лилий.
В их бороды из древних былей
Упали башни городов,
Как в озеро зубцы лесов.
И в саванах, по мхам олени, —
Блуждают сонмы поколений
От Вавилона и до Выга...
Цвети, таинственная книга
Призоров чарых и метелей,

Быть может, в праздник новоселий
Кудрявый внук в твои разливы
Забросит невод глаз пытливых,
Чтоб выловить колдунью рыбу —
Певучеротую улыбу!
Но ты, железный вороненок,
Кому свирель лесных просонок
Невнятна, как ежу купава,
Не прилетай к узорным травам,
Оне обожжены грозой —
России крестною слезой!
И ты, кровавый, злобный ящер,
Кому убийство песни слаще
И кровь дурманнее вина,
Не для тебя стихов весна,
Где под ольхою, в пестрой зыбке
Роятся иволги-улыбки,
И ель смолистой едкой титькой
Поит Аленушку с Микиткой
(То бишь, Федюшу с Парасковьей.
К чему приводит цветословье!)

Собор пресветлый вел Макарий,
Весь в хризолитовом пожаре,
И с ним апостолы-медведи —
В убрусах из закатной меди,
Венцы нездешней филиграни.
«Отцы и сестры, на Уране
Меч указывает судный час,
Разодран сакоса атлас,
И веред на церковной плоти,
Как лось, увязнувший в болоте,
Смердящим оводом клокочет.
Смежила солнечные очи
София на семи столпах.
И сатана в мужицких снах
Пасет быков железнорогих.
Полесья наши, нивы, логи
Ад истощает ясаком, —
Удавленника языком
Он прозывается машиной!..
(Слышатся удары адского молота,
храмина содрогается,
слюда точит слезы, колчеданы
обливаются кровью.)

За остяка, араба, финна
Пред вечным светом Русь порука —
Ее пожрет стальная щука!
И зарный цвет во мгле увянет,
Пока на яростном Уране
Приюта Сирин не совет,
Чтоб славить Крест и новый род,
Поправший смертью черный ад!
И будет Русь, как светлый сад,
Где заступ с мачехой могилой,
Как сторож полночью унылой,
Не зазывает в колотушку
Гостей на горькую пирушку!
Нам адский молот ворожит,
Что сгибнет бархат, ал и рыт,
И в русский рай, где кот баюн,
Стучатся с голодом колтун.
И в красном саване пришлец,
Ему фонарь возжет мертвец.
А в плошку вытопили жир
С могильным аспидом вампир...
О горе, горе! Вижу я
В огне родимые поля, —
Душа гумна, душа избы,
Посева, жатвы, бороньбы,
Отлетным стонет журавлем!..
Убита мать, разграблен дом,
И сын злодей на пепелище
Приюта милого не сыщет,
Как зачумленный волк без стаи!..
Но нерушимы Гималаи —
Блаженных сеней покрывало.
Под океан, тропинкой малой,
Отбудем мы в алмазный город,
Где роковой не слышен молот,
Не полыхает саван злой,
Туда жемчужною тропой
К святым собратиям в соседи
Нас поведут отцы-медведи!»
Собор отвечивал: аминь! —
Макарию, с Алтая лосю,
Абаз поднялся, смугл, как осень
В тигриных зарослях Памира,
В его руках сияла лира,
И цвет одежд был снежно синь.

Как полевой тысячецвет
Звенит, подругу опыляя,
Так лира чарая, чужая,
Запела горлицей из рая
Медвежьей мудрости в ответ:
«От розы и змеи рожден,
Я помню сладостный Сарон
И голубой Генисарет,
Где несмываем легкий след
Стопы прекраснейшего мужа —
По нем струна рыдать досужа!
Ему в пастушеском Харране
Передо мной дано заране
Горящим тернием цвести, —

Не потому ли у Абаза
Сосцы — две розы из Шираза
И пламя терпкое в кости?!
Велик Сиам и древни Хмеры,
Порфирный Сива пьет луну
И видит Пермскую весну
Из глубины своей пещеры.
Цветет береста, лыко, прель,
В смолистых иглах муравейник,
И внуку дедушка-затейник
Из древесины свил свирель.
Туру-ру-ру! Пасись, олень,
Рядись, земля, в янтарь и ситцы.
Но не в березовый златень
Родятся матереубийцы!
Есть месяц жадных волчьих стай,
Погонь и хохотов совиных,
Когда на пастбищах ослиных
С бодягой пляшет молочай.
Тогда у матери родящей
Змея вселяется в приплод,
И в светлый мир приходит кот,
Лобато-рыжий и смердящий.
На роженичное мяу
Ад вышлет нянюшку — змею
Питать дитя полынным жалом,
И под неслышным покрывалом
Котенка выхолит рогатый...
Он народился вороватый,
С нетопырем заместо сердца,

Железо — ребра, сталь — коленцы,
Убийца матери великой!..»

И блюдом с алой земляникой
Оборотилась лира с певчим —
Все причастились телом вещим
И кровью сладостно певучей.
Меж тем с базальтовых излучин,
Хрустальный колоколец в горле
(Ее с икон недавно стерли),
Монисто из рублей хазарских, —
Запела птица роц цесарских:

«К нам вести горькие пришли,
Что зыбь Арала в мертвой тине,
Что редки аисты на Украине,
Моздокские не звонки ковыли,
И в светлой Саровской пустыне
Скрипят подземные рули!

К нам тучи вести занесли,
Что Волга синяя мелеет,
И жгут по Керженцу злодеи
Зеленохвойные кремли,
Что нивы суздальские, тлея,
Родят лишайник да комли!

Нас окликают журавли
Прилетной тягою в последки,
И сгибли зябликов наседки
От колтуна и жадной тли,
Лишь сыроежкам многолетки
Хрипят мохнатые шмели!

К нам вести черные пришли,
Что больше нет родной земли,
Как нет черемух в октябре,
Когда потемки на дворе
Считают сердце колуном,
Чтобы согреть продрогший дом,
Но не послушны колуну,
Поленья воют на луну.
И больно сердцу замирать,
А в доме друг, седая мать!..
Ах, страшно песню распинать!

Нам вести душу обожгли,
Что больше нет родной земли,
Что зыбь Арала в мертвой тине,
Замолк Грицько на Украине,
И Север – лебедь ледяной
Истек бездомною волной,
Оповещающая корабли,
Что больше нет родной земли!»

Разбился бубенец хрустальный,
И как над мисой поминальной,
Сединами поникли старцы.
Бураном перекрылись кварцы,
И тихо плакала слюда –
Окаменелая вода.
А маменька и Елпатея
От половчанина-злодея
Оборонялись силой крестной.
Но вот из рощи пренебесной
В тайник дохнуло фимиамом,
И ясно зримы храм за храмом,
Как гуси по излучке синей,
Над беломорскою пустыней
Святыни русские вспарили,
Все в лалах, яхонтах, берилле:
Егорий ладожский, София,
Спас на Бору, Антоний с Сии
И с Верхотурья Симеон,
Нередицы в атласном корзне
Четою брачною и в розне
Текли и таяли, как сон.
И золотой прощальный звон
Поил, как грудью, напоследки
Озера, камни, травы, ветки,
Малиновок в дупле корявом...
Прощайте, возопил собор,
Святая Русь отходит к славам,
К заливам светлым и купавам
Под мирликийский омофор!
Вот пронеслись, как парус, Кижы –
Олонецкая купина,
И всех приземистей и ниже,
Кого, как челку, кедры лижут,
Чтоб не ушла от них она,
Проплыл Покров, как пелена,

Расшитая жемчужным стёгом.
К отлетным выпреним дорогам
Мы долго простирали руки...
«Беру Владычицу в поруки,
Что не покину я тебя,
О Русь, о горлица моя!..» –
Рыдала дева Елпатея.
«Пусть у диавола и змея
В железной кише таин тьма, –
Моя сиротская сума
Благоуханнее Ширази.
В подземном граде из алмаза
Березке ль керженской цвести?
Садовник вечный, обрати
Меня в убогую былинку,
Чтобы не в сыть на сиротинку
Овце камолой набрести!»
И голос был: «Да будет тако!»
И полевым плакучим маком
Оборотило Елпатею, –
Его не скосят, не посеют
За горечь девичьих слезинок,
Пока для злаков и былинки
Приходит лекарем апрель...
«Проснись, Николенька, кудель
Уже допрялася по спицу!..»
Гляжу, домашние все лица,
И в горенку от заряницы
Летят малиновки, касатки,
И сказка из сулейки сладкой
Меня поит цветистым суслом...
Готов наш ужин, крепко взгусло
В лесном чумазом котелке,
Но не лазурно на реке,
Пока не полноводно русло.
Так я лишь в сорок страдных лет
Даю за родину ответ,
Что распознал ее ракиты
И месяц, ложкою изрытый,
Пирог румяный на отжинки –
Месопотамии поминки,
И что сады Александрии
Цвели предчувствием России!

Усни, дитя, забыв гоненье,
Пока вскипает песнопенье!

* * *

У лосенка моего
Нет копытца одного.
Где ты, милое копытце? —
Дано облачку напиться.

Звонок ковшик золотой,
Полон солнечной водой,
А на дне резвится рыбка,
Предрасветная улыбка.

Скоро розовый хромуша
Задудит: дед, дай покушать!
И хоть беден котелок,
Да зато горяч кусок!

На заедку сизый лось
Выпьет душу — ягод гроздь.
Будет в чуме жить душа,
Веретенцем верезжа.

Чтобы пряла эскимоска
Из крапивы нитку лоско —
Сказку вьюжную про нас
С ярким инеем прикрас:

Жил да был медвежий дед,
Самый вещий самоед,
С ним серебряный лосенок,
От черемухи ребенок.

Знать, черемуха-девица —
Заревая рукавица,
Заняла красы у шубы,
И родился лось голубый!

Золоченые копытца!..
Сказка длится, длится, длится!
Села ближе к очагу —
Я, мол, клад устерегу!

* * *

Клад ты мой цареградский —
Песня — лапоть бурлацкий,

Расписная волжская беляна,
Убаюкала царевича Романа,
Распрекрасную зазнобу — Василису, —
Полонит их ворог котобрысый!
Аksamиты, объяри разграбит,
Чистоту лебязью распахобит.
Приволочит красоту на рынок:
За косушку — груди-пара свинок,
А за шкалик — очи-сине море,
Маргариты, зерна на уборе!
За алтын — в рублях арабских косы,
Песню-сокола, плеч снежные заносы,
На закуску сердце-рыбник свежий,
Глубже звезд, певучей заонежий!
Ах, ты клад заклятый, огнепальный,
Стал ты шлюхой пьяной да охальной,
Ворон, пес ли — всяк тебя облает:
«В октябре родилось чучело, не в мае...»

Аржаное мое чучело,

Что тебя замучило?

Солоду, гречихи да гороху

Без тебя бездомно, дюже плохо.

Жило ты в домашности — печь с развалом,
Сермяжное, овчинное, лаптем щи хлебало,
А ши-те костромские, ядреные,
Котлы-те черемисиной долбленные,
А полати-те — пазуха теплушая,
А баба-те гладкая, радушая,
А Бог-те в углу с хлебной милостью,
Борода, как стог, глаза с разливностью,
По разливам, по заглазьям, лукоморьям
В светлый Град проложен путь Егорьем.
Тем бы волоком доступить околицы,
Вышли бы устрет все богородицы.
Семиозерная, Толгская, Запечная,
Нерушимая Стена, Звездотечная,
Сладкое Лобзание, Надежда Ненадежных,
Спасение На Водах безбрежных,
Узорешительница, Споручница Грешных,
Умягчение Злых Сердец кромешных,
Спорительница с манным коробом,
Повышли бы к Федоре целым городом.
Мол, кровинушка наша, Федора,
Ждет тебя Микола у собора,

Петр, Алексей, Иона, —
Для тебя сошли они с иконы.
Сергий с Пересветом да Ослябей
Не помянут твоей дурости бабьей.
Варвара, Парасковья-пятница
С чашой, что вовек не убавится,
Ефросинья — из Полоцка письмовница,
А за ними вся небесная конница!
Да не сподобил Господь, чтобы чучело
Купиною розвальни навьючило,
Напустил змею котобрысую
На беляну с распрекрасной Василисою.
А и стали красоту пытаться-крестовать:
Ты ли заря, всем зарницам мать?
Отвечала краса: Да!
Тут ниспала полынная звезда, —
Стали воды и воздуха желчью,
Осмердили жизнь человечью.
А и будет Русь безулыбной,
Стороной нептичной и нерыбной!
Взяли красоту в зубы да пилы:
Ты ли плачешь чайкой белокрылой?
Отвечала невеста: Да!..
Тут пошли огнем города —
Дудя на волчьих свирелях,
Закрутились бесы в метелях,
Верхом на черепе Верефер,
Молот в когтях против сил и вер:
«Стань-ка, Русь, барабанной шкурой,
Дескать, была дубовою дурой,
Верила в малиновые звоны,
В ясли с младенцем да в месяц посконный!»
Томили деву черным бесчестьем —
Ты ли по валдайским безвестьям
Рыдала бубенцом поддужным
И фатой метельной, перстнем выюжным
Обручилась с Финистом залетным?
И калымом сукам подворотным
Ярославне выкололи очи...
Ой, Каял-река! Ой, грай сорочий!
Ой, бебрян рукав! Ой, раны княжьи!

Гляжу: на материнской пряже
Горит купальский светлячок —
Его бы в брачный перстенок

Или в иконную репейку.
Вот переполз на душегрейку
И таять стал... Слеза родимой
Сберется пчелкою незримой,
Чтоб в божьем улье каплей меда
Благоухать за жизнь народа —
От матери за мать златница!..
«Николенька, тебе синица
Нашебетала лапотки
И легкий путь на Соловки
К отцу Савватию с Зосимой,
Чтоб алмаантовою схимой
Тебя укрыть от вражьей сети!
Пройдет немного зим, пролетий,
И для меня сошьют коты —
Идти в селенья красоты,
Кувшинке к светлости озер, —
Так кличет лебедем — собор,
И семилетняя разлука —
За прялкой зимняя доука,
Лишь сердца сладостный порез, —
Христос воскрес! Христос воскрес!
Запомни, дитятко, годину,
Как белоцветную калину, —
Твою невесту под окном,
Что я усну в калинов цвет
Чрез семь плакучих легких лет
Невозмутимым гробным сном!
Я не страшусь могильной кельи,
Но жалко ивовой свирели
И колокольцев за рекой!
Тебе дается завещанье,
Чтоб мира божьего сиянье
Ты черпал горсткой золотой,
Любил рублевские заветы,
Как петел синие рассветы
Иль пальцы девичья игла:
Красоделатель Савватий
На голубом небесном плате
Не шьет свиного крыла!
Поморью любви души-чайки,
Как печь беленая хозяйке,
Оне приветны и моржу...»
«Родимая, ужель последний

Я за твоей стою обедней
И святцы красные твержу?»
«Уже пятнадцать миновало,
У лося огрубело сало,
А ты досель игрок в лапту, —
Пора и пострадать немного
За Русь, за дебренского Бога
В суровом Анзерском скиту!
Там старцы Никона новиной,
Как вербу белую осиной,
Украдкой застыт древний чин.
Вот почему старообрядцы
Елиазаровские святцы
Не отличают от старин!»

* * *

«Преподобне отче Елиазаре,
моли Бога о нас!»
И так пятьсот кукушьих раз
Иль иволги свирельных плачей.
Но послушанье меда паче,
Белей подснежников лесных.
«Скиту поружен, как жених
Иль колоб алый, земляничный,
Николенька сладкоязычный,
Зело прилежный ко триоди.
Уж в черном лапотном народе
Гагаркою звенит молва,
Что Иоаннова глава
Явила отрочати чудо
И кровью кануло на блюдо».
Так обо мне отец Никита
Оповестил архимандрита.
Игумен душ, лесных скитов,
Где мерен хвойный часослов,
Весь борода, клубук да посох,
Осенним стогом на покосах
Прошелестел: «Зело, зело!..
Покуль бесовское крыло
Не смыло злата с отрочати,
Пусть поначалится Савватий!
У схимника теплы полати
И чудотворны сухари,

А квас-от — солод от зари,
А лестовки — семужьи зерны,
А Спас-от ярый, тайновзорный!
Опосле Мишка-балагур,
Хоть косолап и чернобур,
Зато, как азбука живая,
Научит восходить до рая!»
Честнóму Авве боле сотни,
Он сизобрад, как пух болотный,
С заливами лазурных глаз,
Где мягкий зыблется атлас,
И помавают тростники —
Сюда не помыслов чирки,
А нежный лебедь прилетает
И берег вежд крылом ласкает,
Чтоб золотилися пески.
Кто видел речку на бору,
Глубокую, с водою вкусной,
С игрою струй прозрачно грустной,
Как след резца по серебру, —
Она пригоршней на юру
Сосновой яри почерпнула
И вновь, чураясь шири, гула,
Лобзает светлую сестру —
Молчание корней, прогалов...
Лишь звезд высоких покрывало
Над нею ткется невозбранно —
Таков, вечерне осиянный,
И древний схимник Савватий.
К нему с небесных византий
Являлся житель чудодейный,
Как одуванчик легковейный,
С лотком оладий, калачей,
Похожих на озерный месяц
Косым прозрачным пирожком,
И звал в нерукотворный дом
От мочежин и перелесиц.
«Погодь маленько, паренек,
Пока доспеет лапоток
И заживет у мишки ухо,
Его разъела вошь да муха,
Да выбродит в лубянке квас».
И с той поры ущербный лапоть
Не устает берестой капать,

Медведь развел на шубе улей,
А квас зарницею в июле
То искрится, то крепнет дюже,
Святой же брезжит, не остужен,
Речной лазурной глубиной,
И сруб с колодой грбовой
Напрасно ждет мощей нетленных.
Как хорошо в смолисто-пенных
И в строгих северных лесах!
«Подъязик ты, а не монах,
Иль под корягой ерш вилавый!
Послушай, молятся ли травы,
Благословясь ли снегири
Клюют в кормушке сухари?
Как у топтыгина с ушами?..»
И было в келье мне, как в храме,
Как в тайной завязи зерну...
«Ну, подплывай, мой ерш, к окну!
Я покажу тебе цветулю!..» —
И Авва, взяв сухую дулю,
Тихонько дул на кожуру.
И чудо, дуля, как хомяк,
От зимней дремы воскресала,
Рождала листья, цвет, кору
И деревцем в ручей проталый
Гляделась в слюдяный мрак,
Меж тем, как вечной жизни знак,
В дупельце пестрая синичка,
Сложив янтарное яичко,
Звенела бисерным органцем...
Обожжен страхом и румянцем,
Я целовал у старца ряску
И преподобный локоток.
«Плыви, ершонок, на восток
Дивиться на сорочью сказку.
Она с далекого Кавказья
На Соловки летит с оказьей,
С письмом от столпника Агапа,
А чтоб беркут гонца не сцапал,
На грудку, яхонтом пылая,
Надета сетка золотая —
В такой одежине сороку
Не закогтит ни вран, ни сокол.
Перекрестясь, воззрись в печурку, —

Авось закличешь балагурку!
Ау! Ау! Сорока, где ты?»
Гляжу, предутрием одеты,
Горища, лысиной до тучи,
И столп ступенчатый у кручи,
Вершина — русским голубцом,
Цветет отеческим крестом.
На подоконнике сорока,
Зеленый хвост и волоока,
Пылает яхонтом кольчуга.
На Соловки примчатся с юга —
Пот птичий и гусиной стае!..
Вот поднялась, в тумане тая,
Скатилась звездочкою в дол...
«Ох, батюшка, летит орел!..»
Но вестник плещет против солнца,
И лучик, кольче веретенца,
Пугает страшного орла...
Вот день, закаты, снова мгла.
Клубок летучий ближе, ближе,
Уже полощется, где Кижы,
Онего, синий Палеостров
И Кемский берег нерпой пестрой.
Сюда!.. Сюда!.. «Чир-чир! Чок-чок!»
«Встречай туркиню, голубок!»
И схимник поднимал заслонец.
Не от молитвенных бессонниц,
Постов, вериг семифунтовых,
Я пил из ковшиков еловых
Нездешних зорь живое пиво, —
Есть Бог и для сороки сивой!
Что ковш, то год... Четыре... Пять...
И бледной голубикой мать
Цвела в прогалине душевной.
Топтыгин шубою пригревной
Неясный растоплял озноб...
Откуда он — спорынный сноп
На ниве, вспаханной крылами
Пустынных ангелов и зорь?
Есть горе — сом и короб — горь.
Одно, как заводи, зрачки
Лопатой плавников взрывает,
Седому короб не с руки,
А юный горе отряхает,

Как тину резвая казарка,
Но есть зловещая знахарка
С гнилым дуплом заместо рта,
Чьи заклинания — песта
В ночном помоле стук унылый,
В нем плаха, скрежеты, могилы,
На трупе слизи черныи ужин!..
Я помню месяц неуклюжий
Верхом на ели бородатой
И по-козлиному рогатой,
Он кровью красил перевал.
Затворник, бледный, как опал,
В оправе схимы вороненой,
Тягчайше плакал пред иконой
Под колокольный зык в сутёмы.
А с неба низвергались ломы,
Серпы, рогатины, кирьги...
Какие тайные враги
Страшны лазурной благостыне?
«Узнай, лосенок, что отныне
Затворены небес заставы,
И ад свирепую облавой,
Как волк на выводок олений,
Идет для ран и заколений
На Русь, на Крест необоримый.
Уж отлетели херувимы
От нив и человечьих гнезд,
И никнет колосом средь звезд,
Терновой кровью истекая,
Звезда монарха Николая, —
Златницей срежется она
Для судной жатвы и гумна!
Чу! Бесы мельницей стучат,
Песты размалывают души, —
И сестрин терем ворог-брат
Под жалкий плач дуваном рушит.
Уж радонежеских лампад
Тускнеют перлы, зори глуше!
Я вижу белую Москву
Простоволоосою гуленой,
Ее малиновые звоны
Родят чудовищ наяву,
И чудотворные иконы
Не опаляют татарву!»

«Безбожие свиной хребет
О звезды утренние чешет,
И в зыбуны косматый леший
Народ развенчанный ведет,
Никола наг, Егорий пеший
Стоят у китежских ворот!
Деревня в пазухе овчинной,
Вскормившая судьбу-змею,
Свивает мертвую петлю
И под зарею пестрядиной —
Как под иудиной осиной,
Клянёт питомицу свою!

О Русь! О солнечная мати!
Ты плачешь роем едких ос,
И речкой, парусом берез
Еще вздыхаешь на закате.
Но позабыл о Коловрате
Твой костромич и белорусс!

В шатре Батя мертвый витязь,
Дремуч и скорбен бор ресниц,
Не счесть ударов от сулиц,
От копий на рязанской свите.
Но дивен Спас! Змею копытя,
За нас, пред ханом павших ниц,
Егорий вздыбит на граните
Наследье скифских кобылиц!»

Так плакал схимник Савватий!
И зверь, печалуясь о брате,
Лизал слезинки на полу.
И в смокве плакала синичка,
Уж без янтарного яичка,
Навек обручена дуплу —
Необоримому острогу...
Ах, взвиться б жаворонком к Богу!
Душа моя, проснись, что спишь!..
Но месяц показал нам шиш,
Грозя кровавыми рогами, —
И я затрепетал по маме,
О сундуке, где Еруслан
Дозорит сполох-сарафан,
Галченком, в двадцать крепких лет...
Прощай, мой пестун, бурый дед!

Дай лапу в бодожок дорожный!..
И спрятав когти, осторожно,
Топтыгин обнимал меня,
И слезы, как смола из пня,
Катились по щекам бурнастым...
Идут кривым тюленьим ластам
Мои словесные браслеты!..

* * *

На куполах живут рассветы,
Ночам — колокола — светелка,
Оне стрижами, как иголкой,
Под ними штопают шугаи.
Но лишь дойдет игла до края,
Предутрие старух сметает
Пушистой розовой метлой,
И ангел ковшик золотой
С румяною зарничной брагой
Подносит колоколу Благо.
Опосле Лебедю, Сиону —
Для чистоты святого звона.
Колоколам есть имена.
О том вещают письма
И годы светлого рожденья,
Чтобы роили поколенья
Узорных сиринов в ушах
Дырявым штопалкам на страх!
Качает Лебеда звонарь,
И мягко вздрагивает хмарь,
Как на карельских гусях жилы.
То Лебедь — звон золотокрылый!
Он в перьях носит бубенцы,
Жалеет, дудочек ларцы.
А клюв и лапки из малины,
И где плывет, там цвет кувшинный
Алеет с ягодой звончатой.
Недаром за двоперстной хатой,
Таясь, ликом на восток,
Зорит малиновый садок —
Для девичьей души услада.
Пока Ильинская лампада
В моленной теплит огонек,
И в лыке облачном пророк

Милотью плещет Елисею,
Сама себя стыдясь и млея,
За первой ягодкой — обновой
Идет невестою Христовой
Дочь древлей веры и креста.
И трижды прошептав «Достоинно»,
Купает в пурпуре уста,
Чтоб слаже была красота!
Сион же парусом спокойно,
Из медной заводи своей,
Без зорких кормчих, якорей,
Выходит в океан небесный,
И грудь напружа, льет глаголы,
Чтоб слышали холмы и доли,
Что Богородице полесной
Приносят иноки дары
И протопопы осетры,
Тресковый род, сигов дворы
Обедню служат по Сиону.
Во Благо клонятся к канону
И на отход души блаженной.
Чтоб гусем или сайкой нежной
Летела чистая к Николе,
Опосле в сельдяное поле
Отведать рыбки да икрицы...
Есть в океане водяницы,
Княжны мариские, царицы,
Их ледяные города
Живой не видел никогда,
Лишь мертвецы лопарской крови
Там обретают снесь и кровы,
Оленей, псов по горносталям, —
Что поморяне кличут раем;
Вот почему мужик ловецкий,
Скуластый инок соловецкий
По смерти птицами слывут
С весенней тягой в изумруд,
В зеленый жемчуг эскимосский,
Им крылья — гробовые доски,
А саван уподоблен перьям
Лететь к божаткам и деверьям,
Как чайкам, в голубые чумы.
Колоколам созвучны думы
Далеких княжичей мариских,

Оне на плитах ассирийских
Живут доселе — птицы те же,
Оленьи матки, сыр и вежи!

Усни, дитя! Колокола
В мои сказанья ночь вплела,
Но чайка-утро скоро, скоро
Посеребрит крылом озера!

Твой дед тенёта доплетет,
Утиный хитрый перемет,
Чтобы увесистый гусак
Порезал шею натошак

О сыромятную лесу,
Иль заманил в капкан лису
На шапку добрый лесовик...
Не то забормотал старик!

Колокола... Колокола...
И саван с гробом — два крыла!
Уж пятьдесят прошло с тех пор,
Как за ресницей жил бобер,
Любовь ревниво зазирая,
И искры с шубки отряхая,
Жила куница над губой,
Но все прошло с лихой судьбой!

Не то старик забормотал!
Подброшу хвороста в чувал
И с забиякой огоньком
Спою акафист о былом!

Как жила Русь, молилась мать,
Умея скорби расшивать
Шелками сказок, ярью слов
Под звон святых колоколов!

* * *

В калигах и в посконной рясе,
В пузатом сумском тарантасе,
От хмурой Колы на Крякву
Я пробирался к Покрову,
Что на лебязьих перепутьях.
Поземок-ветер в палых прутьях

Запутался крылом тетерым,
По избам Домнам и Лукерьям
Мерещатся медвежьи сны,
Как будто зубы у луны,
И полиняли пестрядины
У непокладистой Арины, —
Крамольницу карает Влас...
Что ал на штофнике атлас
У Настеньки, купецкой дщери,
И бык подземный на Печере,
Знать, к неулову берег рушит,
Что глухаринные кладуши
В осоке вывели цыплят —
К полесной гари... «Эй, Кондрат,
Отложь натруженные возжи,
И бороду — каурый стог
Развей по ветру вдоль дорог!..»
«С никонианцем нам не гоже...»
«Скажи, Кондратушко, давно ли
Помор кручинится недолей?
И плат по брови поморянке
Какие сулят лихоманки?
Святая наша сторона,
Чай, не едала толокна
Ни расписной, ни красной ложкой
И без повойницы расплошкой
У нас не видывана баба!..»
«Никонианцы — нам расслаба!»
И вновь ныряет тарантас —
Затертый хвоями баркас.
Но что за блеск в еловой клетке?
Не лесовик ли сушит сети,
Не крест ли меж рогов лосиных,
Или кобыл золотоспинных
Пасет полудник, гривы чешет?
То вырубок седые плечи
В щетине рудо-желтых пней!
Вон обезглавлен иерей —
Сосна в растерзанной фелони,
Вон сучьев пади, словно кони
Забросили копыта в синь.
Березынька — краса пустынь.
Она пошла к ручью с ведрцем
И перерублена по сердце,

В криницу обронила душу.
Укрой, Владычица, горяшу
Безбольным милосердным платом!..
Вон ель – крестом с Петром распятым
Вниз головой – брада на ветре...
Ольха рыдает: Петре! Петре!
Вон кедр – поверженный орел
В смертельной муке взрыл когтями
Лесное чрево и зрачками,
Казалось, жжет небесный дол,
Где непогодный мгlistый вол
Развил рога, как судный свиток.
Из волчьих лазов голь калиток,
Настигло лихо мать-пустыню,
И кто ограбил бора скрыню, –
Златницы, бисеры и смазни,
Злодей и печенег по казни, –
Скажи, земляк!.. И вдруг Кондратий,
Как воин булавой на рати,
В прогалы указал кнутом:
«Знать ён, с кукуйским языком!»
Гляжу – подобие сыча,
И в шапке бабе до плеча,
Треногую наводит трубку
На страсотерпную порубку.
Так вот он, вражий поселенец,
Козява, короед и немец,
Что комаром в лесном рожке
Зовет к убийству и тоске!
Он – в лапу мишкину заноза,
Савватию – мирские слезы,
Подземный молот для собора!..
И солью перекрыло взоры
Мои, ямщицкие Кондрата,
Где версты, вьюги, перекаты,
Судьба – бубенчик, хмель, ночлеги...
«Эх, не белы снежки – да снеги!..»
Так сорок поприщ пели мы –
Колодники в окно тюрьмы,
В последний раз целуя солнце.
И нам рыдало в колокольце:
«Антихрист близок! Гибель, гибель
Лесам, озерам, птицам, рыбе!..»
И соль струилась по щекам...

По рыболовным огонькам,
По яри кедровых полесий
Я узнавал родные веси.
Вот потянуло парусами,
Прибойным плеском, неводами,
А вот и дядя Евстигней
С подковным цокком, звоном шлей
Повыслан маменькой навстречу!..
Усекновенного предтечу
Отпраздновать с родимой вместе!
В раю, где писан на бересте
Благоуханный патерик —
Поминок Куликова поля,
В нем реки слезотечной соли
Донского омывают лик.
О радость! О сердечный мед!
И вот покровский поворот
У кряковиных подорожий!
Голубоокий и пригожий,
Смолисторудый, пестрядной,
Мне улыбался край родной,
Широкоскуло, как Вавила, —
Баркасодел с моржовой силой,
Приветом же теплей полатей!
Плеща и радуясь о брате,
На серебристом языке
Перекликались озера,
Как хлопья снега в тростнике,
Смыкаясь в пасмы и узоры,
Плясали лебеди... Знать, к рыбе
Лебяжьи свадьбы застят зыби!
Князь брачный, оброни перо
Проезжим людям на добро,
На хлеб и щи — с густым приваром,
И на икру в налиме яром,
На лен, на солод, на пушнину,
На песню — разлюли малину,
На бусы праздничной избы,
С вязижным дымом из трубы!
Вот захлебнулись бубенцы —
По гостю верные гонцы,
Заперешептывались шлеи,
И не спросясь у Евстигнея,
К хоромам повернул буланный, —

Хлестнуло веткой росно пряной,
И прямо в губы, как волчек,
Лизнул домашний ветерок, —
Волчку же пир за караваем,
Чтобы усердным пустолаем
Обрядной встречи не спугнуть.
К коленям материнским путь
Пестрел ромашкой, можжевелем,
Пчелиной кашкой, смолкой, хмелем,
А на крылечных рундуках
С рассветным облачком в руках —
Владычицей Семиозёрной,
Как белый воск, огню покорный,
Сияла матушка... Станицей
За нею хоры с головщицей,
Мужицкий велегласный полк,
И с бородой, как сизый шелк,
Начетчик Савва Стародуб, —
Он для меня покинул сруб
Среди болотных ляг и чарус,
Его брада, как лодку парус,
Влекла по океану хвой,
Чтобы пристать к избе мирской,
Где соловецкой бедной рясе
Кадят тимьяном катавасий!
Но предоволен прозорливец,
На рундуке перёных крылец
Семь крат положено метанье,
И погрузив лицо в сиянье
Рассветной тучки на убрусе,
Я поклонился прядью русой
И парусовой бороде:
«Христу почет, а не руде,
Не праху в старческом азяме!..»
А сердце билось: к маме, к маме!
Так отзвенели Соловки —
Серебряные кулики
Над речкой юности хрустальной,
Где облачко фатой венчальной,
Слеза смолистая медвежья.
Не плел из прошлого мереж я
И не нанизывал событий
Трескою на шесты и нити,
Пускай для камбалы шесты!..

Стучат сердечные песты,
И жернов-дума мерно мелет
Медыни месяца, метели
И вести с Маточкина Шара,
Где китобойные стожары
Плывут на огненных судах,
И где в седых зубастых льдах
Десятый год затерт отец.
Оставя матери ларец
По весу в новгородский пуд —
Самосожженцев дедов труд.
Клад хоронился в тайнике,
А ключ в запечном городке
Жил в колдобоине кирпичной,
И лишь по нуде необычной
На свет казал коровье рыльце.
Про то лишь знает ночь да крыльца.
Избу рубили в шестисотом,
Когда по дебрям и болотам
Бродила лютая Литва,
И словно селезня сова,
Терзала русские погосты.
В краю, где на царевы версты
Еще не мерена земля.
По ранне-синим половодьям,
К семужьим плесам и угодьям
Пристала крытая ладья.
И вышел воин исполин
На материк в шеломе — клювом,
И лопь прозвала гостя — Клюев —
Чудесной шапке на помин!
Вот от кого мой род и корень,
Но смыло все столетий море,
Одна изба кольчужной рубки
Стоит пред роком без отступки,
И ластами в бугор вперясь,
Все ждет, когда вернется князь.
Однажды в горнице ночной,
Когда хорек крадется к курам
И поит мороком каурым
Молодок теплзобых рой,
Дохнула турицею лавка,
И как пищальная затравка,
Зазеленелись деда взоры:

«Почто дружиною поморы
Не ратят тушинских воров,
Иль Богородицы покров
Им домоседная онуча?
И горлиц на костер горючий
Не кличет Финист-Аввакум?
Почто мой терем, словно чум,
Убог и скуден ратной сбруей,
И конь, как облако, кочует
Под самоедскую луной?!
Я князь и вотчиной родной,
Как раб, не кланяюсь Сапеге!
Мое кормленье от Онеги
До ледяного Вайгача,
Шелом татарского меча
Изведал с честью не однажды...
Ах, сердце плавится от жажды
Воздать обидчикам Руси!..
Мой внук, немедля приноси
Заклятый ключ – стальное рыльце!»
И выходили мы на крыльца
Под желтоглазою луной,
И дед на камень гробовой,
В глубоком избяном подполье,
Меня сводил и горше соли
Поил кровавой укоризной:
«Вот булава с братиной тризной,
Ганзейских рыцарей оброк.
Златницы, жемчуга моток,
Икры белужниной крупнее!
Восстань, дитя, убей злодея,
Что душу русскую, как моль,
Незримо точит в прах и боль.
Орла Софии повергая!..»
И до зари моя родная
Светца в те ночи не гасила.

* * *

«Николенька, меня могила
Зовет, как няня, тихой сказкой, –
Орлице ли чужой указкой
Господне солнце лицезреть?
Приземную оставя клеть,
Отчалою в Русь в ладье сосновой,

Чтобы с волною солодовой
Пристать к лебяжьим островам,
Где не стучит по теремам
Железным посохом хромец,
Тоски жалейщик и дудец.
Я умираю от тоски,
От черной ледяной руки,
Что шарит ветром листодером
По перелесицам, озерам,
По лазам, пастбищам лосиным,
Девичьим прялицам, холстинам,
В печи по колобу ржаному,
По непоказному, родному,
Слезе, молитве, поцелую.
Я сказкою в ином ночую,
Где златоносный Феодосий
Святителю дары приносит,
И Ольга черпает в Корсуни
Сапфир афинских полнолуний, —
Знать неспроста Нафанаил
Меня по-гречески учил,
А по-арабски старец Савва!..
Меж уток радужная пава,
Я чувствую у горла нож
И маюсь маятой всемирной —
Абаза песенкою пирной,
Что завелась стальная вошь
В волосьях времени и дней, —
Неумолимый страшный змей
По крови русский и ничей!»
Свое усмение провидя,
Родная походя и сидя
Христос воскресе напевала
Иль из латинского хорала
Дориносимые псалмы.
Еще поминками зимы
Горел снежок на дне оврагов,
Когда дорогой звездных магов
К нам гости дивные пришли,
Три старца — Перския земли.
Они по виду тазовляне,
Не черемисы, не зыряне,
Шафран на лицах, а по речи —
Как звон поленницы из печи.

Подарки матушке – коты,
Венец и саван из тафты,
А лестовку она сама
Связала как бы из псалма
Или из утренних снежинок,
В ней нити легче паутинок,
И лестовки – евангелисты,
Как лепестки, от слез росисты!
Пошел живой сорокоуст.
Моленна, как горящий куст
Иль яблоня в цвету тяжелом,
Лучилась матицами, полом...
И в купине неопалимой,
Как хризопраз, лицо родимой
Сияло тонко и прозрачно.
Казалось, фатою брачной
Ее покроет Стратилат,
Чтоб повести в блаженный сад,
Где преподобную София
Нарядит в бисеры драгие!
И вот на смертные каноны
Пахнуло миррой от иконы,
И голос был: «Иду! Иду!...»
И голубым сигом во льду,
Весь в чешуе кольчуги бранной
Сошел с божницы друг желанный
И рядом с мученицей встал,
Чтоб положить скитской начал
Перед отбытьем в путь далекий.
Запели суфии: Иокки!
Чамарадан, эхма-цан-цан!..
Проплыл видений караван:
Неведомые города
И пилигримами года
В покровах шелестных, с клюками.
И зорькой улыбался маме
То светлый Божий Цареград.
Меж тем дворовый палисад
С поемной ласковой лужайкой
Пестрели, словно отмель чайкой,
Толпой коленопреклоненной,
Чтоб гробом праведным, иконой,
Как полным ульем, подышать.
Дымилась водь, скрипела гать,

Все прибывали китежане, —
От Ясных Ляг, где гон кабаней,
Из городища Турий Лоб,
И от Печёр, где узел троп
Подземной рыбы пачераги,
Что роет темные овраги,
Бездонный чарус, родники...
Явились в бусах остяки,
В хвостах собольих орочены,
Услышав росомашьи стоны,
Волыночный лосиный плач...
И паволок венчальных ткач,
Цвела карельская калина.

«Николенька, моя кончина
Пусть будет свадьбой для тебя, —
Я умираю не кляня
Ни демона, ни человека!..
Мое добро ловец, калека,
Под гусли славы панихидной,
Пускай поделят безобидно —
Сусеки, коробки, закуты,
Шесть сарафанов с лентой гнутой,
Расшитой золотом в Горицах,
Шугай бухарский павой птицей,
По сборкам кованый галун,
И плат — атласный Гамаюн,
Они новехоньки доселе,
Как и... в федюшины метели...
Все по рукам сестриц да братий!..»
Кибитку легче на раскате,
Дорога ноне, что финить!
Счастливо, Пашенька, гостить
В светлице с бирюзовой печью!..
И невозвратно, как поречье
Сквозь травы в озеро родное,
Скатилось солнце избяное
В колодовый глубокий гроб,
Чтоб замереть в величьи строгом,
И убеляя прошвы троп,
Погоста холм и сад над логом,
Цвела карельская калина!

Милый друг, моя кручина —
Не чувальная зола,

Что зайченком прилегла
У лопарского котла.
Дунет ветер и зайчек
Вздыбит лапки наутек.
А колдунье головешке
Не до пепельной услезки,
Ей чесать кудрявый дым,
Что никем не уловим,
Ни белугой, ни орланом,
Только с утренним туманом
Он в ладах и платьем схож,
Князь крылатый без вельмож!
Пал в долину на калину
Непроглядный синь-туман, —
Не найдет гнезда орлан.
Океан ворчит сердито:
Где утесные граниты —
Обсушить седой кафтан?
И не плещутся пингвины,
Мертвы гаги, рыба спит, —
Это цвет моей калины —
В пенном саване гранит!
Это сосны на Урале,
Лык рязанских волокно,
Утоли Моя Печали,
В глубине веретено!
Чу! Скрипит мерезный ворот,
Знать известье рыбакам,
Что плывет хрустальный город
По калиновым волнам!
Милый друг, в чувале нашем
Лишь зола да едкий чад, —
Это девушки Параши
Заревой сгоревший плат!

ГНЕЗДО ТРЕТЬЕ

* * *

Три тысячи верст до уезда,
Их мерил нечистый пурговой клюкой,
Баркасом — по соли, долбленкой — рекой,
Опосле путина — пролазы, проезды,
В домашнее след заметай бородой!

Двуглавый орел — государево слово
Перо обронил: с супостатом война!
Затучилась сила — Парфен от гумна,
Земля ячменем и у нас не скудна,
Сысой от медведя, Кондратий с улова,
Вавила из кузни, а Пров от рядна, —
Любуйся, царь-батюшка, ратью еловой!
Допржеде страды мужики поговели,
Отпарили в банях житейскую прель,
Чтоб лоснилась душенька — росная ель
Иль речка лесная — пролетья купель,
Где месяц — игрок на хрустальной свирели.
На праздник разлук привезли плачею —
Сток песенных трав, словозвучий ладью.
В беседной избе усадить на скамью
Все сказки, закляття и клады
Устинья Прокопьевна рада!
Она сызмальства по напеву пошла,
Варила настои и пряник пекла,
Орлений, разлапый и писанный тоже.
В невестах же кликана Устей пригожей.
Как ива под ветром, вопила она —
Мирская обида, полыни волна,
Когда же в оконце двуглавый орел
Заклёкал, что ставится судный престол,
Что книги разгнуты — одна живота,
Другая же смерти, словес красота,
Как горная просинь, повеяла небом...
То было на праздник Бориса и Глеба —
Двух сиринов красных, умученных братом.
Спешилися морем — китищем горбатым —
Подводная баба кричала: Ау!
И срамом дразнила: хи-хи да ху-ху.
Но мы открестились от нечисти тинной.
Глядь, в шубе из пены хозяин глубинный,
Как снежная туча, грозит бородой!
Ему поклонились с ковригой ржаной
Да руги собрали по гривне с ладони,
Чтоб не было больше бесовской погони,
Чтоб царь благоверный дождался нас здравых, —
Чай, солнцем не сходит с палат златоглавых
И с башни дозорной глаза проглядел,
А сам, словно яхонт, и душенькой бел!..
Ужо-тко покажем мы ворогу прятки,

Портки растеряет в бегах без оглядки!..
Сысоя на тысчу, Вавила же на пять...
Мужик государю — лукошко да лапотъ,
А царь мужику, словно ведро, ломоть!
За веру лесную поможет Господь!
И пели мы стих про Снафиду,
Чтоб черную птицу обиду
Узорчатым словом заклясть:
Как цвела Снафида Чуриле всласть,
Откушала зелья из чарочки сладкой,
За нею Чурила, чтоб лечь под лампадкой.
Вырастала на Снафиде золота верба,
На Чуриле яблоня кудрявая! —
Эта песня велесова, старая,
Певали ее и на поле Куликовом, —
Непомерное ведкое слово!
Все реже полесья, безрыбнее губы,
Селенья ребрасты, обглоданы срубы,
Бревно на избе не в медвежий обхват,
И баба пошла — прощальный обряд, —
Платок не по брови и речью соромна,
Сама на Ояти, а бает Коломной.
Отхлынули в хмару леса и поречья,
Взьерошено небо, как шуба овечья,
Что шашель изгрыз да чуланная мышь.
Под ним логовище из труб да из крыш.
То, бают, уезд, где исправник живет,
И давит чугушка захожий народ.
Капралы орут: Ну, садись, мужики!
«Да будет ли гоже, моржу ли клыки
Совать под колеса железному змию?
Померимте, други, котами Россию!»
Лосей смироглазых пугали вагоны,
Мы короб открыли, подъяли иконы,
И облаком серым, живая божница,
Пошли в ветросвисты, где царь да столица.
Что дале то горше... Цигарки, матюг,
Народишко чалый и нет молодух,
Домишки гноятся сивухой
Без русской улыбки и духа!
А вот и столица — железная клеть,
В ней негде поплакать и душу согреть, —
Погнали сохатых в казармы...
Где ж Сирина и царские бармы?

Капралы орут: Становись, мужики!
Идет благородие с правой руки...
Аась, два! Ась, два!
Эх, ты родина — ковыль-трава!..
«Какой губернии, братцы?»
«Русские, боярин, лопарцы!..
«Взгляните, полковник, — королевич Бова!»
«Типы с картины Сурикова...»
«Назначаю вас в Царское Село,
В Феодоровский собор на правое крыло!
Тебя и вот этого парю!..
Наверно, понравится государю.
Он любит пожитный... стебель.
Распорядись доставкой, фельдфебель!»

Господи, ужели меня,
В кудрях из лесного огня?..

Царь-от живет в селе,
Как мужик... на живой земле!..

«Пролетарии всех стран...» Глядь, стрюцкий!
«Не замай! Я не из стран, — калуцкий!»

* * *

Феодоровский собор —
Кувшинка со дна Светлояра,
Ярославны плакучий взор
В путивльские вьюги да хмары.

Какой метелицей ты
Занесен в чухонское поле?
В зыбных пасмах медузы — кресты
Средиземные теплят соли.

Что ни камень, то княжья гривна!..
Закомары, печурки, зубцы,
К вам порожей розовой сливной
Приплывали с нагорий ловцы.

Не однажды метали сети
В глубь мозаик, резьбы, янтаря
В девятьсот пятнадцатом лете,
Когда штопала саван заря.

Тош улов. Космы тины да ила
В галилейских живых неводах,
Не тогда ли душа застыла
Гололедицей на полях?!

Только раз принесли мережи
Запеклый багровый ком.
С той поры полевые омежи
Дыбят желчь и траву костолом.

Я, прохожий, тельник на шее,
Светлоярной кувшинке молюсь:
Кличь кукушкой царя от Рассеи
В соловецкую белую Русь!

Иль навеки шальная рубаха
И цыганского плиса порты
Замели, как пургою, с размаха
Мономаховых грамот листы?!

Вон он, речки Смородины заводь,
Где с оглядкой, под крики сыча,
Взбаламутила стиркой кровавой
Черный омут жена палача!

Вон он, праведный Нил с Селигера,
Листопадный задумчивый граб.
Кондовая сибирская вера
С мановением благостных пап!

С ним тайга, подорожие ссылок,
Варгузи, пошевеливай вал,
Воровской поселили подпилоч,
Как сверчка, в Александровский зал.

И сверчок по короткой минуте
Выпил время, как тени закат...
Я тебя содрогаюсь, Распутин, —
Домовому и облачку брат!

Не за истовый крест и лампадки,
Их узор и слезами не стерт,
Но за маску рысиной оглядки,
Где с дитятей голубится черт.

Но за лунную глубь Селигера,
Где утопленниц пряжа на дне.

Ты зеленых русалок пещера
В царской ночи, в царицыном сне!

Ярым воском расплавились души
От купальских малиновых трав,
Чтоб из гулких подземных конюшен
Прискакал краснозубый центавр.

Слишком тяжкая выпала ноша
За нечистым брести через гать,
Чтобы смог лебеденок Алеша
Бородатую адскую лошадь
Полудетской рукой обуздать!

* * *

Был светел царский сад,
Струился вдоль оград
Смолистый воздух с медом почек,
Плутовки осы нектар строчек
Носили с пушкинской скамьи
В свое дупло. Казалось, дни
Здесь так безоблачны и сини,
Что жалко мраморной богине
Кувшин наполнить через край.
Один чугунный попугай
Пугает нимфу толстым клювом.
Ах, посмотрел бы Рюрик, Трувор
На эту северную благодать!
Не променяли б битвы сладость
На грот плющевый и они?!..
«Я православный искони
И Богородицу люблю,
Как подколотную змею,
Что сердце мне сосет всечасно!
С крутыми тучами, ненастный,
Мой бог обрядней, чем Христос
Под утиральником берез,
Фольговый, ноженьки из воска!
Моя кремнистая полоска
Взборонена когтями...» «Что ты!
Не вспоминай крошечной злоты!
Пусть нивы Царского Села
Благоухают, как пчела,
Родя фиалки, росный мак...»

«А ну ты к лешему, земляк!
Не жги меня пустой селедкой,
Давай икры с цимлянской водкой,
Чтоб кровью вышибало зубы!..
Самосожженческие срубы
Годятся Алексею в сказки,
Я разотру левкас и краски
Уж не на рябином яйце!
Гнездятся чертики в отце,
Зеленые, как червь капустный,
Ему открыт рецепт искусный,
Как в сердце разводить гусей —
Ловить рогатых карасей —
Забава царская... Ха! Ха!..
Царица же дрожит греха,
Как староверка общей мисы,
Ей снятся море, кипарисы
И на утесе белый крест —
Приют покинутых невест,
И вдов, в покойников влюбленных!
Я для нее из бус иконных
Сварил, как щи из топора,
Каких не знают повара,
Два киселя — один из мысли,
Чтобы ресницы ливнем висли,
Другой из бабьего пупка,
Чтоб слез наплавилась река!..
Вот этот корень азиатский
С тобою делится по-братски.
Надрежь меж удом и лобком,
Где жилы сходятся крестом,
И в ранку, сладостнее сот,
Вложи индийский приворот,
Чрез сорок дней сними удильце,
Чтобы пчелою в пьяной пыльце
Влететь, как в улей, в круг людской
И жалить души простотой,
Лесной черемухи душистей,
Что обронила в ключ игристый
Кисейный девичий платок!..
Про зелье знает лишь восток
Под пляс факиров у костра!..
Возьми мой крест из серебра
С мидийской надписью...

в нем корень!..»

Я прошептал: «Оставь, Григорий!...»
Но талисман нырнул в ладони —
И в тот же миг, как от погони,
Из грота выбежал козел,
Руно по бедра, грудью гол,
С загуслым золотом на рожках...
И закопытилась дорожка,
Распутин заплясал с козлом,
Как иволга, над кувшином
Заплакала из камня баба,
У грота же, на ветке граба
Качалась нимфа белой векшей.
И царский сад, уже померкший,
Весь просквозил нетопырями,
Рогами, крыльями, хвостами...
Окрест же сельского чертога
Залег чешуйчатой дорогой
С глазами барса страшный змей.
«Ладони порознать не смей,
Не то малявкой сгинешь, паря!»
И увидел я государя.
Он тихо шел окрай пруда.
Казалось, черная беда
Его крылом не задевала,
И по ночам под одеяло
Не заползал холодный уж.
В час тишины он был досуж
Припасть к еловому ковшу,
К румяной тучке, камышу,
Но ласков, в кителе простом,
Он все же выглядел царем.
Свершилось давнее. Народ,
Пречистый воск потайных сот,
Ковер, сказаньями расшитый,
Где вьюги, сирины, ракиты, —
Как перл на дне, увидел я
Впервые русского царя.
Царь говорил тепло, с развальцем.
Купецкий сын перед зеркальцем,
С Коломны — города церквей.
Напрасно ставнями ушей
Я хлопал, напрягая слух, —
В дом головы не лился дух,
И в сердце — низенькой светлице,

Как встарь, молчальницы-сестрицы
Беззвучно шили плат жемчужный.
Свершалось давнее. Семужный,
Поречный, хвойный, избяной,
Я повстречался вьявь с судьбой
России – матери матерой,
И слезы застилали взоры, –
Дождем душистый сенокос,
Душа же рощею берез
Шумела в поисках луча,
Бездомной иволгой крича,
Но между рощей и царем
Лежал багровый липкий ком!
С недоуменною улыбкой,
Простой, по-юношески гибкий,
Пошел обратно государь
В вечерний палевый янтарь,
Где в дымке арок и террас
Залег с хвостом змеиным барс.
«Коль славен наш» поет заря
Над петропавловской твердыней
И к милосердной благостыне
Вздывает крылья-якоря
На шпиге ангел бирюзовый.
Чу! Звякнул медною подковой
Кентавр на площади сенатской.
Сегодня корень азиатский
С ботвою срежет князь Димитрий,
Чтоб не плясал в плющевой митре
Козлообраз в несчастном Царском.
Пусть византийским и татарским
Европе кажется оно,
Но только б не ночлежки дно,
Не белена в цыганском плисе!
Не от мальчишеской ли рыси
Я заплутал в бурьяне черном
И с Пуришкевичем задорным
Варю кровавую похлебку?
Ах, тяжело выкогтить заклепку
Из Царскосельского котла,
Чтоб не слепила злая мгла
Отечества святые очи!..
Так самому себе пророчил

Гусарским красноречьем князь —
В утробу филина садясь
(Авто не называл Григорий).
И каркнул флюгер: горе, горе!
Беда! Мигнул фонарь воротам.

В ту ночь индийским приворотом
Моя душа — овин снопами,
Благоухала васильками,
И на радении хлыстовском,
Как дед на поле Куликовском
Изгнал духовного Мамаю
Из златоордного сарая,
Спалив поганые кибитки,
Какие сладкие напитки
Сварил нам старец Селиверст!
Круг нецелованных невест
Смыкал, как слезка перстенёк,
Из стран рязанских паренек.
Ему на кудри меда ковш
Пролили ветлы, хаты, рожь,
И стаей, в коноплю синицы
Слетелись сказки за ресницы.
Его, не зная, где опаска,
Из виноградников Дамаска
Я одарил причастной дулей,
Он, как подсолнечник в июле,
Тянулся в знойную любовь,
И Селиверст, всех душ свекровь,
Рязанцу за уста-соловку
Дал лист бумаги и... веревку.
Четою с братчины радельной
Мы вышли в сад седой, метельный,
Под оловянную луну.
«Овсяня кликать да весну
Ты будешь ли, учитель светлый?..
У нас в Рязани сини ветлы,
И месяц подарил узду
Дощатой лодке на пруду —
Она повыглядит кобылой,
Заржет, окатит теплым илом,
Я ж, уцепимшись за мохры,
Быстринкой еду до поры,
Пока мой дед под серп померкший

Карасьи не расставит верши!
Ах, возвратится б на Оку,
В землянку к деду рыбаку,
Не то здесь душу водкой мучить
Меня писатели научат!»
«Мой богоданный вещий братец,
Я от избы, резных полатец
Да от рублевской купины,
И для языческой весны
Неуязвим, как крест ростовский.
Мужицкой верой беспоповский,
Мой дух в апостольник обряжен:
Ни лунной, ни ученой пряжей
Его вовек не замережить!..
Но чу! На Черной речке скрежет —
В капкане росомахи стон!..
Любезный братец, это он,
В богатых тобольских енотах,
В губе сугроба, как в воротах,
Повис над глыбкой полыньей!...»
«Учитель светлый, что с тобой?
Не обнажайся на морозе!..
Быть может, пьяница в навозе,
В тени косматого ствола!...»
Ему не виделось козла,
Сатир же под луною хныкал,
И снежной пасмой павилика
Свисала с ледяных рогов...
Под мост, ныряя меж быков,
И метя валенком в копыто,
Достигли мы губы-корыта,
Где, от хорька петух в закуте,
Лежал дымящийся Распутин!
Кто знает зимний Петербург,
Исхлестанный бичами пург
Под лунной перистой дугой,
Тот видел душ проклятых рой,
И в полыньях скелетов пляски.
В одной костяк в драгунской каске,
На Мойке, в Невке... Мимо, мимо!
Их съели раки да налимы!
«Григорий что ли?!» И зрачок —
В пучине рыбий городок

Раскрыл ворота — бочку жира,
Разбитую на водной шири —
Крушенья знак и гиблых мест.
«Земляк... Спаси!.. Мой крест!..
Мой крест!

Не подходи к подножной глыбе,
Не то конец... Прямая гибель!..
Держуся я, поверь на слово,
За одеяние Христово.
Крестом мидийским целься в скулы...
Мотри вернее!..» Словно дуло,
Навел я руку в мгlistый рот,
И... ринул страшный приворот!
Со стоном обломилась льдина...
Всю ночь пуховая перина
Нас убаюкать не могла.
Меж тем из адского котла,
Где варятся грехи людские,
Клубились тучи грозовые.
Они ударили нежданно,
Кровавою и серной манной
В проталый тихозвонный пост,
Когда на Вятке белят холст,
А во незнаемой губернии
Гнут коробье да зубят гребни,
И в стружках липовых лошкарь
Старообрядческий тропарь
Малюет писанкой на ложке!
Ты показал крутые рожки
Сквозь бранный порох, козлозад,
И вывел тигров да волчат
От случки со змеей могильной!
России, ранами обильной,
Ты прободал живую печень,
Но не тебе поставит свечи
Лошкарь, кудрявый гребнедел!
Есть дивный образ, ризой бел,
С горящим сердцем, солнцеликий.
Пред ним лукошко с земляникой,
Свеча с узорным куличом!
Чтоб не дружить вовек с сычом
Малиновке, в чьей росной грудке
Поют лесные незабудки!

На Богом проклятой земле!..
Как ворон, ночь. И лес костляв.
Змеиные глаза у трав.
Кустарником в трясине руки —
Навеки с радостью в разлуке!
Вот бык — поток, рога — утес,
На ребрах смрадный сенокос.
Знать, новоселье правят бесы
И продают печенку с весу,
Кровавых замыслов вязигу.
Вот адский дьяк читает книгу.
Листы из висельника кожи,
Где в строчках смерть могилы множит
Безкrestные, как дом без кровли!..
Повышла Техника для ловли, —
В мереже, рыбами в потоке,
Индустриальные пороки —
Молитва, милостыня, ласка,
В повойнике парчовом сказка
И песня про снежки пушисты,
Что ненавидят коммунисты!
Бежим, бежим, посмертный друг,
От черных и от красных вьюг,
На четверговый огонек,
Через Предательства поток,
Сквозь Лес лукавых размышлений,
Где лбы — комолые олени
Тучны змеиною слюной,
Там нет подснежников весной,
И к старым соснам, где сторожка,
Не вьется робкая дорожка,
Чтоб юноша купал ресницы
В смоле и яри до зарницы,
Питая сердце медом встречи...
Вот ласточки — зари предтечи!
Им лишь оплакивать дано
Резное русское окно
И колоколен светлый сон,
Где не живет вечерний звон,
Окно же с девичьей иголкой
Запыхало комсомолкой,
Кумачным смехом и махрой
Над гробом матери родной!

Вот журавли, как хоровод, —
На лапках костромских болот
Сусанинский озимый ил.
Им не хватило птичьих сил,
Чтоб заметелить пухом ширь,
Где был Ипатьев монастырь.
Там виноградарем Феодор,
В лихие тушинские годы,
Нашел укромную лозу
Собрать алмазы, бирюзу
В неуязвимое точило...
«Подайте нам крупицу ила,
Чтоб причаститься Костромой!»
И журавли кричат: «Домой,
На огонек идите прямо,
Там в белой роше дед и мама!»
Уже последний перевал.
Крылатый страж на гребне скал
Нас окликает звонким рогом,
Но крест на нас, и по острогам,
С хоругвями, навстречу нам
Идет Хутынский Варлаам,
С ним Сорский Нил, с Печеньги Трифон,
Борис и Глеб — два борзых грифа,
Зареет утро от попон.
И Анна с кашинских икон —
Смирненное тверское поле.
С пути отведать хлеба-соли
Нас повели в дубовый терем...
Святая Русь, мы верим, верим!
И посохи слезами мочим...
До впадин выплакать бы очи,
Иль стать подстрешным воробьем,
Но только бы с родным гнездом,
Чтоб бедной песенкой чи-ри
Встречать заутреню зари
И знать, что зернышки, солому
Никто не выгонит из дому,
Что в сад распахнуто давно
Резное русское окно,
И в жимолость упали косы!..

*На Рождество Богородично.
1931.*

* * *

На преподобного Салоса —
Угодника с Большой торговой,
Цветистей в Новгороде слово,
И пряжею густой, шелковой,
Прошит софийский перезвон
На ипостасный вдовый сон.
На листопад осин опальных,
К прибытку в избах катовальных,
Где шерсть да валенок пушистый.
Аринушка вдовела чисто.
И уж шестнадцать дочке Насте,
Как от неведомой напасти
Ушел в могилу катовал,
Чтоб на оплаканном погосте
Крестом из мамонтовой кости
Глядеться в утренний опал!
Там некогда и я сиял,
Но отягченный скатным словом,
Как рябчик к травам солодовым,
На землю скудную ниспал!
Аринушка вдовела свято,
Как остров под туманным платом,
Плакучий вереск по колени.
Уж океан в саврасой пене
Не раз ей косы искупал.
И памяткой ревнивый вал
В зрачки забросил парус дальний.
Но чем прекрасней, тем печальней
Лен времени вдова пряла,
И материнского крыла
Всю теплоту и многострунность
Испила Настенькина юность!
Зато до каменной Норвеги
Прибоя пенные телеги
Пух гаги — слухи развезли,
Что материнские кремли
И сердца кедр, шатра укромней,
Как бирюзу в каменоломне
Укрыли девичью красу!

Как златно-бурую лису
Полесник чует по умётам,
Не правя лыжницу болотом.
Ведь сказка с филином не дружит,
Араиной дозоры выужит,

И на березовой коре –
Следы резца на серебре,
Находит волосок жар-зверя,
И ревностью снега измеря,
Пустым притащится к зимовью, –
Так, обуянные любовью
И Капарулин с Кулда оя¹,
И Лопарев от Выдро оя. –
Купцы, кудрявичи и шуры
В сеть сватовства лисы каурой
Словить, как счастья, не могли!
Цветисты моря хрустали,
Но есть у Насти журавли
Средь голубик и трав раздумных,
Златистее поречий лунных,
Когда голуборогий лось,
В молоках и опаре плес,
Куст головы, как факел, топит!
В Помории, в скуластой Лопи
Залетней нету журавля,
Чем с Гоголиного ручья –
Селения, где птичьи воды, –
Сын косторезчика – Феодор!
Он поставец, резьбой украшен,
С кувшинцами нездешних брашен,
Но парус плеч в морях кафтанных
Напружен туго. Для желанных
Нет слов и в девичьем ларце.
И о супружеском венце
Не пелось Анастасии...
Святые девушки России –
Купавы, чайки и березки,
Вас гробовые давят доски,
И кости обглодали волки,
Но грянет час – в лазурном шелке
Вы явитесь, как звезды, миру!
Полюбит ли сосна секиру,
Хвой волосами, мясом корня,
И станет ли в избе просторней
От гробовой глухой доски?
Так песнь стерляжьей плавники
Сдирает о соображенье,
Испепелися, наважденье –
Понятие – иглистый еж!

¹ Золотой ручей – карельское. (Примеч. автора).

Пусть будет стих с белугой схож,
Но не полюбит он бетона!..
Для Настеньки заря – икона,
А лестовка – калины ветка –
Оконца росная насадка.
Вся в бабку, девушка в семнадцать
Любила платом покрываться
По брови, строгим, уставным.
И сквозь келейный воск и дым,
Как озарение опала,
Любимый облик прозревала.
Он на купеческого сына,
На объярь – серая холстина –
Не походил и малой складкой,
И за колдующей лампадкой
Пил морок и горячий сон,
В березку раннюю влюблен.
Так две души, одна земная,
И живописная другая,
Связались сладостною нитью,
Как челн, готовые к отплытью,
В живую водь, где Китеж-град,
И спеет слезный виноград,
Куда фиалкой голубой
Уйдешь и ты, любимый мой!
Бай-бай, изгнания дитя!
Крадется к чуму, шелестя,
Лисенок с радужным хвостом,
За ним доверчивым чирком
Вспорхнул рассветный ветерок,
И ожил беличий клубок
В дупле, где смоль, сухая соть!..
Вдовицын дом хранил Господь
От черной немочи, пожара,
И человеческая свара
Бежала щедрого двора,
Где от ларца до топора
Дышало все ухой да квасом
И осенялось ярым Спасом,
Как льдиной прорубь сельдяная,
Куда лишь звездочка ночная
Роняет изумрудный усик...

*Подготовка текста и публикация
В. Шенталинского*

СЛОВАРЬ-КОММЕНТАРИЙ

Мы отнеслись к тексту предельно бережно и лишь в необходимых случаях приблизили орфографию и пунктуацию к современным нормам. В ряде мест сохранено авторское, особенное написание слов, чтобы не нарушить звучания и вкуса клюевской речи. Конъектуры в публикуемом тексте обозначены угловыми скобками. Словарь-комментарий составила фольклорист Татьяна Шенталинская.

Абаз — священнослужитель у мусульман.

Аксамит — бархат.

Алисафия — царица, которую святой Егорий (Георгий) спасает от змия.

Антидор — освященный хлеб, большая просфора, раздаваемая частицами народу.

Апостольник — плат, которым монахи прикрывают грудь и шею.

Араина — низкое, пойменное место.

Бакан — ярко-красная, багряная краска.

Бармы — оплечье, ожерелье на торжественной одежде церковных иерархов и царей.

Бегун — раскольник особого толка беспоповцев, скрывающийся от государственных повинностей.

Беляна — деревянная баржа.

Бирюч — глашатай.

Блесня — украшение в виде подвесок из серебряных монет.

Вапа — краска.

Варгузи — так передает Клюев слово *баргузин* — северо-восточный ветер на Байкале.

Вежа — шатер, лопарский шалаш.

Веред — чирей, нарыв.

Вифезда — купальня, где исцелялись больные и где, по Евангелию, Иисус исцелил человека, болевшего тридцать восемь лет.

Волвянка — гриб, близкий к рыжику.

Выг — Выговская старообрядческая община или пустынь в Заонежье.

Головшица — руководительница певчих на церковном клиросе.

Грицько на Украине — очевидно, «человек Божий Гриц» — известный блаженный прорицатель из Черниговской губ. — Григорий Мирошников (ум. в 1885 г.).

Дебренский — от дебри — лесная земля. Про странников из раскольников говорили — «из дебрей». Для поэта «дебренская Русь» — образ его родины, лесного русского Севера, одного из оплотов старообрядчества.

Денисовы — братья Андрей и Семен Денисовы, настоятели Выговского старообрядческого общежительства, авторы религиозных сочинений.

Домовище — гроб.

Досюльный — стародавний.

Дуван — дележ и место дележа награбленного добра; открытое высокое место; сильный порывистый ветер, вихрь.

Епистолия — послание в форме письма, грамоты.

Зограф, изограф — иконописец.

Калиги — обувь странников, стянутый ремнем лоскут кожи.

Каньги — зимняя обувь.

Катавасия — разновидность церковных песнопений.

Кирие елейсон (греч.) — «Господи помилуй», начальные слова молитвы.

Кирьга — то же, что кирка.

Колода — долбленный гроб.

Корабль — название религиозной общины, распространенное у староверов.

Корзно — широкий плащ, обычно застегивающийся на левом плече.

Крин — лилия, а также сад-цветник.

Кукуйский язык — немецкий, от названия немецкой слободы на ручье Кукуй в Москве в XVII в.

Лестовка — кожаные четки.

Ляга — непросыхающая лужа, колдобина, болото.

Манатейка — монашеская мантия.

Маргарит — жемчуг.

Милоть (греч. церк.) — меховое одеяние.

Мочезжина, мочажина — твердое, нетопкое болотце.

Муסיкия — здесь от *мусия* — мозаика.

Несториане — христианское еретическое течение, названное по имени Нестория — Патриарха Константинопольского.

Ночница — бессонница.

Омежа — плуг, сошник.

Омофор — святительский убор, часть облачения архиереев.

Пасмо, пасма — моток пряжи.

Патерик — сборник жизнеописаний отцов-монахов.

Повалуша — спальня, обычно общая, холодная.

«*Погорельщина*» — поэма Н. Клюева.

Поприще (церк.) — путевая мера.

Поружен — от ружить, платить ругу (см.).

Посолонь — в направлении по ходу солнца.

Репейка — украшение в виде цветка, завитка, бантика.

Руга — податная плата на содержание священнослужителей.

Рясно — ожерелье, подвески.

- Сакос* – архиерейское облачение.
Саян – распашной сарафан.
Светлояр – святое озеро в Нижегородской обл., в которое, по преданию, погрузился град Китеж.
Скать – крутить, свивая (проволоку, пряжу); раскатывать тесто.
Скимен – молодой лев.
Скрута – нарядная, праздничная одежда.
Скрыня – сундук, ларец.
Слава – символ божественного сияния на иконах.
Смазни – цветные камни.
Совик – верхняя одежда из оленьих шкур.
Станушка – нижняя часть женской рубахи.
Струфокавил – страус.
Стрюцкий – дрянной, презренный.
Суземки – дремучий лес.
Сулейка – сосуд с узким горлышком, бутылка.
Сулица – копье.
Сыр – участок леса, отведенный смолокурам.
Сыта – мед на воде, взвар.
Тельник – нательный крест.
Триодь – богослужбная книга.
Чарус, чаруса – непроходимое болото, топь.
Шин – деревенский танец.
Шмоха – то же, что шмонка – распутница.
Штофник – шелковый сарафан.
Шугай – короткополая кофта.
Шур – щеголь.



Тюрьмы

МИХАИЛ ШАНГИН

Михаил Леонтьевич Шангин родился в 1919 году в селе Чаша Курганской области. Молодой журналист, комсомолец, он был арестован в 1937 году по доносу. Месяц в одиночной камере. Курганская тюрьма, Челябинский централ... В ноябре 1938 года осужден «тройкой» на 10 лет исправительно-трудовых лагерей по 58-й статье. Срок отбывал в лагерях Архангельской области, ссылку – в Сибири (Катунь). В 1957 году реабилитирован.

ТЮРЬМЫ

Ночь с 3-го на 4-е июля 1937 года. Сидим в редакции, каждый занят своим делом. Егора нет, корректуру гранок и полос читаю я. Редактор Августа Петровна, ее заместитель Алексей Григорьевич Резепин молча склонились над столами. Подступает дрема, надо ее согнать. Самый большой стол у Тюменева, он сплошь завален бумагами. Встал Василий Александрович, протер очки, улыбнулся широко и, сделав артистический жест рукой, торжественно произнес:

— Навести большевистский порядок на своем большевистском столе!

Он принялся за уборку, удаляя ненужные бумаги. В этот момент без стука открылась дверь, и вошел милиционер:

— Я за вами, товарищ Тюменев!

Тюменев побледнел, опустился на стул, открыл и тихо задвинул ящик и сказал:

— Прощайте, товарищи. Прощайте навсегда. Не поминайте лихом...

А через час пришли за мной. Вела меня предсовета Виноградова, можно было убежать, но я думал: не надолго же, спрыснут о чем-то и отпустят, не украд я, не ограбил...

Сразу обыскали, забрали комсомольский билет. Сразу, как звякнул замок, зачастило ударами сердце... мысль лихорадочно крутится на одном: как же так? За что? Где ты, мама? Выручай...

Маленькая одиночка с крохотным оконцем вровень с землей, голый топчан, бетонный пол.

Два дня спустя — руки за спину! — повели наверх на допрос. Следователь Егоров, пожилой, небритый, с серыми, без зрач-

ков, глазами, в форме НКВД, достал из стола какую-то бумагу, прочел и хрипло процедил:

— Так кто же это похож на Карла Маркса?

Ошеломленный, я промолчал, полагая, что «дядя шутит». Но дядя не шутил. Сейчас он сорвет маску с опасного государственного преступника, согнет его, вражину, в дугу, хребет ему переломит, но заставит признаться в совершении тяжкого зла.

Егоров схватил лист и затряс им передо мной:

— Че молчишь, сволочь контрреволюционная? Вот тут подробно и точно написано, че ты говорил на Бабоне двенадцатого июня!

Бабон — это толстое, без коры бревно, уже много лет оно лежит на берегу озера, в заулке у огорода Косенихи. На нем обычно вечерами собираются парни и девчата, пляшут, поют под гармошку. Но что я говорил там двенадцатого июня?! Много чего мы говорим, разве все упомнишь? Не записывать же!

— Я напому! — напирал Егоров. — Ты показал на Кольку Тимина и сказал: «Смотрите, ребята, он на Карла Маркса похож!»

Я попробовал оправдываться:

— А разве плохо походить на великого человека? Песня даже такая есть: «Мы хотим быть похожими на Ленина, на Владимира Ильича...» — Куплет этот я ему пропел. Но Егоров расценил мое пение как издевку и совсем взбеленился:

— Ты мне тут дурочку не пори, я те вмиг памротки¹ вышибу!..

Смотрю на идиота и дивлюсь: мне ли, пацану, доказывать аксиомы взрослому человеку? Кто он: тупой колун или фанатик-циник? На столе лежит папка, на ней крупно: «Уголовное дело № 1374». Значит, я — преступник? Егоров зачитал еще одну бумагу, в ней сказано, что Нелюбин (он ее и написал) и я ходили к Тюменеву домой, и он подсовывал нам для чтения запрещенные книги: «Человек меняет кожу» Бруно Ясенского и «По ту сторону» Виктора Кина.

Это спустя десятилетия по повести Кина поставят фильм и Пахмутова напишет для него песню «Забота у нас простая», а тогда эти книги считали крамолой, как и сочинения Есенина. Кроме того, Тюменев был знаком с Киршоном и Авербахом. Их «раздели», ну, и Василия туда же, как друга «врагов».

¹ Памротки (диалектн.) — память, сознание.

Помимо этих грехов нас с Тюменевым обвинили в том, что мы будто бы хранили в подвале редакции клише с портретами «врагов»: Кабакова, председателя Свердловского облисполкома, Рындина, бывшего секретаря Челябинского обкома партии, наркома связи Рыкова. Клише в подвале было несколько ящиков, годами никто их не перебирал, не знаю, были в них эти или нет.

Прошел месяц одиночки. Опять привели наверх. Следователь положил передо мной то же «дело», прижал его рукой и многозначительно спросил:

— Брата жалко? Один будешь сидеть или с ним на пару?

У брата Александра нога туберкулезная, шариком опухшая, ему даже самая короткая каторга — смерть. Я подписал дело, не читая. Может, там было написано, что я крестник царя, сподручный Гитлера или пил вино с Тухачевским. Мне уже было все равно, творись, как говорят на Руси, воля Божья.

...В то утро у ворот райотдела НКВД собрались родственники уходящих на этап: кто-то шепнул им об отправке. Стоит и моя мать с мешочком. Наверное, сухари. Конвоир не разрешил передать. Машина тронулась — провожающие заголосили. Кто-то попрощался навсегда...

Вот и город. Огромная вывеска на воротах: «Курганская тюрьма». Вылезли. Всех повели налево, меня одного направо. Толкнули в комнату: полумрак, фонарь «летучая мышь» на стене, лавки некрашенные, шайки на них деревянные. Да это ж баня! Мыться? Так ведь не сказали, да и не топлено. Вижу дверь. Взял фонарь, подошел к ней, открыл: пусто, комната поменьше и без лавок. Махнул светом на стену — а она в крови! След почти свежий, бороздки от пальцев — видно, кто-то, падая, по стене рукой шаркнул... Кожа на мне сделалась теркой, хоть редьку на ней натирай. Еще осветил — в штукатурке ранки кругленькие, как от пуль. Да здесь же расстреливают!

Присел на корточки у входной двери. В голову все черное лезет. Может, я не глядя подписал такое, за что пулю дают?! Решил: если войдут и начнут теснить туда, в ту комнату, — кинусь тигром и буду рвать их зубами. Стал мысленно готовить себя к прыжку...

На рассвете лязгнул замок:

— Эй, ты, выходи!

Повели меня в самую тюрьму. Узкий коридор, железные двери справа и слева, замки на них огромные, волчки в дверях. Стражник одну отомкнул — за мной запер.

Комната набита людьми, сидят на полу полуголые, ступить некуда. Из дальнего угла позвали:

— Давай сюда, хлопец, тут место есть!

С трудом выбирая пустотку, пробрался туда, ожидая, что дадут по шее. Нет, никто не трогает, видать, и не собираются.

— Клади сюда котомочку, присаживайся, а хошь — так и стой, — с улыбкой говорит высокий мужчина лет тридцати пяти. — Местечко хоть и не плацкартное, а для цыпленка хватит. Староста я камеры, Рычков Иван. А ты небось тоже с 58-й?

— Да, она самая...

— А за что?

— Да понаписали там всякого, а я подписал не глядя.

Дед старый, рядом, вздохнул:

— Батюшки, совсем уж детей сажать стали... Сколько лет-то тебе?

— Семнадцать...

— Ишь ты, уже и контрреволюционер!..

Дед, Дрон Ефимович Могутнов, оказался из Петухова. Все расспрашивал меня о семье, рассказывал о своих, называя всех поименно: снох, кумовьев, соседей, дочерей, сынов, внуков. Много их у него. А самому деду семьдесят пять лет.

— А ты-то за что, дедушка? — спрашиваю.

— А ишшо не сказали. Опосля узнаю...

Да не успел дед узнать. Дней через пять поутру смотрю — он мертвый. Да и мудрено ли: жара и духота в камере, пыль от барахлишка зеков, вонь ужасная от параши. Вместо двадцати зеков, «по норме», сидят тут две сотни узников.

Наша 22-я камера тремя своими окнами выходила на Советскую, углом — на улицу Кирова. Метрах в двадцати — вышка, даже петлицы часового видны. Нам разрешены шахматы. Сели мы с Рычковым за партию, поближе к окну, да, видно, недозволенно близко: часовой выстрелил без предупреждения. Пуля прошла чуть повыше наших голов в печь.

Рычков — грузный, высокий, всегда веселый дядька, был начальником Курганского лестрансхоза. Обвинили его в том, что рабочие его ели не хлеб, а лебеду. Как будто он был виноват, что с тридцатого до тридцать седьмого на Урале многие тысячи людей вынуждены были питаться лебедой! Рычков пробыл в 22-й недолго, после суда его перевели в камеру смертников. Вскоре его расстреляли в тюремной бане. Глухие звуки выстрелов мы слышали часто. Расстреливала женщина. Я ее видел: хищница с серыми глазами, корявая и щербатая. Всю свою жизнь она служила в тюрьме. Может, мстила миру за свое одиночество, за безобразную морду...

После казни Рычкова обвинительных заключений никому уже не давали. Судьбу арестованных стали решать «Особое совещание» и «Тройка УНКВД». А вскоре кому-то в верхах показалось, что узники дышат и видят лишку, и был дан приказ во всех острогах страны заложить окна. В нашем окне оставили 30 сантиметров. Надели зонты. Душегубка...

В конце августа 37-го года вывели нас, человек пятьсот, погнали на вокзал. Погрузили в товарные вагоны без нар, повезли. Но куда — не знаем. Зеки молчат, боятся случайно обретенного слова: вдруг рядом сексот? Одно только иногда слышится:

— Вот узнает об этом Сталин — и выгонят нас всех на волю...

До конца 39-го многие верили «отцу», ждали, что скажет он новую речь о кружении голов.

Но он, «родной», уже сказал речь перед избирателями Бауманского района, где ясно изложил свое намерение всех противников власти прокатить на «воронках», в смиренных рубашках. После 1939 года все убедились: никакого пересмотра дела не будет, не затем сажали, чтоб выпускать. Все поняли, что это не ошибка, а заранее спланированная, продуманная акция произвола, продиктованная вождем. Ему нужны были миллионы даровых рабочих рук для строительства социализма, к которому он якобы стремился. Сколько вырубил сталинская сафра¹ безвинных граждан, в том числе молодых, полных сил людей, — никто не знает.

Везли нас двое суток. Пока везли — не кормили. Снова бредем пешком строем в пыльном облаке, понурые, через пол-Челябинска. Жители на тротуарах стоят угрюмые, молчаливые. А как же: ведут их врагов! Ведь все средства массовой информации годами нагнетали ненависть — смерть врагам народа! Одна старушка приблизилась, хотела передать хлеб. Конвойный оттолкнул: «Нельзя! Кажу — заборонено²!..»

Нам все было «заборонено». Не запрещали дышать — но и то пока. В тюрьму ведут широкие двустворные ворота, обитые железом, со шлюзами через пять шагов, с шестью замками. Пока мы дошли до нашей камеры № 8, за нами заперли тринадцать замков! Боже милосердный, пройдем ли их в обратном порядке?..

¹ Сафра (*исп.*) — сезон уборки и переработки сахарного тростника, стрижки овец и др.

² Заборонено (*укр.*) — запрещено.

Восьмая камера Челябинского централа — это подвальная комната, рассчитанная на тридцать коек, два окна метр на метр вровень с землей. У дверей — параша литров на сто, на спаренных койках вместо матрацев дощатые щиты. Пол бетонный. Надзиратель с хищными глазами (мы его прозвали «Рысь») открыл железную дверь, но куда входить-то?! Как и в курганской тюрьме, комната полна голых людей, даже у параша стоят человек десять. Может, думаю, ошиблись, в другую камеру поведут? Но нет, надзиратель заорал: «А ну, потеснитесь, гады, мать вашу!..» Подошли еще четыре мордворота и стали дружно вталкивать нашу группу в камеру. Стоявшие у параша упали, мы на них, а надзиратели знай жмут дверь, рычаг, прессуют...

В камере жарко — хоть бери веник и парься. Слышу крик:
— Миха, давай сюда!

Ба! То ж Тюменев! Вот встреча! А как к нему подойти? Ступить-то некуда: люди сидят на полу, кто в трусах, а кто и вовсе голый. А Василий опять:

— Смелее, Миха, снимай обувь, раздевайся до трусов, кидай котомку мне, сам вставай на четвереньки и дуй по людям. Мы все здесь так ходим. Не стесняйся, ползи!

Я так и сделал: стал на четыре кости, пополз — кому на плечо, кому на хребтину обопрусь, никто не возмущается.

Мой Вася-Василек сидит не на полу, на койке: две койки сдвинуты, люди на них сидят тоже вплотную, как и на полу. Ночью на них спят десять человек, валетом, на боку, чтобы больше поместилось, поворачиваются по сигналу крайнего.

Рядом с Василием Александровичем — бывший редактор областной газеты «Челябинский рабочий» Леонид Сыркин, тошенький мужичок, умный, с соседями деликатный. Тюменев, высокий, полный, каким я видел его сто дней назад, стал похожим на гороховый стручок — так высох. Здесь и с двумя легкими люди еле дышат, а у него ведь одно. Лицо стало землистым. Не вынесет он этого ада.

Место для меня раздвинули возле изголовья Василия, на полу. Я сел, навалившись голой спиной на облучок койки. Поговорили с ним, но немного: трудно дышать, да и небезопасно — у сексотов всегда ухо остро.

В камере днем полутень, ночью глаза режет от яркого света ламп. Не поймешь, когда узники спят. Круглые сутки шевелится голая масса, копошатся люди, как черви в банке. Сидя спать тяжело. Некоторые стоя дремлют. Ноги у них синие, опухшие, зато они первыми выходят на прогулки и возвращаются последними. Им достается лишний глоток воздуха.

Под койками тоже жилье: там лежат валетом по восемь человек. Я провел под койкой одну ночь и больше туда не полез — там вообще глухой бункер. Подкоечные чаще умирали. Живые день-два спали рядом с мертвецами, чтобы получить за них пайку хлеба да разделить на несколько человек. Трупы в конце концов вытаскивали волоком. Делали эту работу уголовники. Они же варили баланду — мутный соленый суп с добавкой капусты или крапивы, иногда сечки, резали хлеб, разносили по камерам: один баландёр раздаёт, другой собирает и пересчитывает ложки и алюминиевые миски. Из этой же немой посуды кормят все камеры — так и разносили болезни по всей тюрьме.

Врачи, конечно, в тюрьме были, но за полтора года я не видел в нашей камере ни одного медика, хотя было у нас восемь туберкулезных, болели и дизентерией. Лечить больных не входило в задачу администрации — в старых силосных ямах возле села Шершни места много!..

За полтора года тюрьмы ни я, ни кто другой не были в бане. Мылись в уборной под краном ледяной водой и летом, и зимой. Смоешь с себя потную грязь, пополощешь трусы — и мокрые на себя. Друг другу мыли и спины — быстро, чтобы не подхватить от ледяной воды воспаление легких.

В камере тишина. Большинство узников сидят в полудреме, свесив голову на грудь. Думы у всех в прошлом. Будущего больше чем за неделю не видать. А что произойдет за неделю? Вон тех, слева, четверых, удушат сегодня. Многих и завтра ждет дорога в Шершни. Про место своей могилы мы узнали так: однажды, при раздаче еды, случился конфликт между старостой нашей камеры и раздатчиком. Как обычно, баландёр-уголовник наливает из бака в миски баланду, староста принимает, считает и передает по цепочке. Досчитал до 285, а нужно 286. Баландёр последнюю миску не дает: амба, 286 налил! Старосте не хватило. Спорили они долго — ничья не берет. В конце концов рассерженный баландёр налил в миску, бросил в бак черпак, так что брызги на стену полетели, и заорал зло:

— Хватайте, хватайте, гады, фашисты, не разжиреете! Мы всех ваших дохлых возим в Шершни — вилы в пузо — и в силосную яму! А особо вредных фашистов живыми сталкиваем. И вас всех так же!..

Никто из камерников ему не ответил. Местные, челябинцы, подтвердили: есть за этим селом старые силосные ямы и заброшенные шахты.

В уборную нас водят по тридцать человек. Можно бы и не водить — желудок пуст, а вода выходит потом. Но идут все, кто еще идти может, чтобы хоть смыть с себя грязный пот. Хлорки

в туалете насыпано без меры, дышать невозможно, глаза из орбит лезут, многие кашляют до крови, но всех держат, «как положено», десять минут. Иные сознание теряют в уборной, ведем их обратно под руки. Кого-то качнуло, он задел рукой за чужую дверь. Тюремщик не зевает: тут же врежет по лицу тяжелой связкой ключей, и потечет на грудь последняя кровушка. Били нас ежедневно, да и не за пустяковые провинности, а просто так, из садизма.

Но в центре и пытали. В кинокартине «Покаяние» показаны пытки, но на самом деле их было гораздо больше и способы были изощреннее. Меня не пытали: видно, не та птица, птенец.

Пытали не всех и взрослых, но КРЕСТ я видел. Крест — это холл на пересечении коридоров. То ли здесь стены скреплены растяжкой — железным прутом в руку толщиной, то ли этот прут был прилажен специально для пыток. На нем подвешивали узников — кого за руки, кого за ноги, кого за руку и за ногу. Тут же на полу валялись заделанные в смирительные рубахи. Рубаха эта наподобие комбинезона, только широкая. В нее заделывают «клиента», воду туда заливают, кладут на живот и стягивают ноги к голове.

В тюрьме около пятнадцати тысяч заключенных. Не успевают всех днем вывести на прогулку. Стали водить и ночью. Тогда-то я и увидел его, крест... В ужасе проходим мимо. Висят люди, еще живые, глаза выкачены, пена с кровью изо рта. Жертвы «свежие» орут на весь этаж, остальные, уже доходящие «до кондиции», просто мычат. Эти сейчас все подпишут, что надо. Своего рода дьявольская, изощренная рационализация: пытать надо многих, скрытно пытать — трата времени и «труда»; легче так: одного на виду пытают — сотни мимо проходят, потом вызывай, ставь подследственному «шах» — либо подписывая признание, либо пойдешь на крест. Кому это предлагали, понимали сразу: все равно убьют, безвинность свою не докажешь. Кратчайший путь к смерти без мук — подписал, и получай пулю.

...Итак, сидим. «Сидим» в тюрьме в буквальном смысле слова. Раньше тюремный узник мог пройти по камере, заложив руки в брюки (если, конечно, не был прикован цепью, как в Петропавловской крепости). А тут и без цепи не пройдешься, руки в брюки не заложишь, потому что их на тебе нет. В тридцатых годах большинство мужчин, особенно деревенских, носили не трусы, а кальсоны. Сидеть в них жарко, закатаешь штанины — мокрые от пота валики режут ноги. Но голь на выдумку хитра: обрезаем кальсоны найденным на прогулке стек-

лышком. Другие в выдумке пошли еще дальше: для чего кисеты, раз табака все равно нет и не будет? Приладили кисеты на свои мужские доспехи, затянули, чтоб терпимо — никаких трусов не надо! У нас ни свиданий, ни передач, так что и ходить-то некуда, разве только к параше. Но пользоваться ею, по всеобщему согласию, решено было только в исключительных случаях. На параше спина в спину сидят двое, ноги до пола не достают...

Сидим, 286 узников вместо тридцати, на которых была рассчитана камера. Мои соседи слева и справа еще живы. Их горячие тела прижаты ко мне, и пот их смешан с моим, и грязь на нас общая. Вчера сосед мой слева дышал с перерывами, смотрю на него — скелет, обтянутый кожей, лицо желтое, зубы от цинги все выпали. Он здесь уже полтора года. Поутру его выволокли за ноги...

Из окна тянется тоненькая струйка воздуха, одна на всех. Но скоро и ее не стало: заложили окна, как в курганской тюрьме. Поставили зонты: под зонт едва ладонь пролезет. Зонты ставили, наверное, затем, чтобы узники не могли видеть волю. Но ведь волю, вернее, ее кусочек, видно, допустим, со второго, с третьего этажа. Зачем на первом закладывать окна? В пяти шагах от нашего окна была высоченная стена тюрьмы. Но все делалось для того, чтобы мучить людей. Нас могли бы расстрелять из пулеметов у кромки рва, но ведь такая смерть была бы короткой...

Через неделю умер Василий Тюменев. Не дали мы с Сыркиным тело Василия бытовикам — они бы волоком потащили. Потеснили сидящих и вчетвером вынесли Васю в коридор, положили на носилки, вернулись в камеру. Сыркин тихо сказал:

— Погиб еще один наш товарищ, журналист, автор книги. Почтим его память вставанием.

Встали почти все, хотя нелегко было это сделать.

Сыркин относился ко мне по-отцовски. Не мог я тогда подумать, что этому седому человеку только тридцать четыре года. Когда Тюменева вынесли, я занял его место на койке — вальтом с Сыркиным. Много мы с ним говорили, да всех разговоров теперь не упомнишь. Очень жалел он дочку и жену Лену. В тридцать четыре года расстрелян!..

Если бы тогда знать наперед, что через пятьдесят лет я, оставшийся в живых, буду писать о них книгу! Встать бы тогда и крикнуть: назовите себя, земляки, мне надо вас всех запомнить, потому что через полвека ваши родственники на ваших запоздалых похоронах будут меня спрашивать — не видал ли моего?.. А моего?.. А моего?..

При мне Сыркина увели без вещей — значит, на допрос. Через три дня втолкнули обратно. Он был изуродован, не мог ползти к своему месту по людям. Сломана рука, на теле сплошные синяки, под ногтями следы игл. Люди потеснились, и мы положили его на койку. Вместо гипса доктор Бушуев, заключенный, привязал сломанную руку к трем туфлям. Два дня Сыркин молчал, потом прошептал:

— Я все подписал. Скоро меня убьют.

Я носил из уборной в фуражке холодную воду и поливал его синяки. Вскрости его увели на расстрел.

* * *

Духота в камере стала вовсе невыносимой. В день смерти Тюменева староста камеры Василий Александрович Занин предложил:

— Послушайте, мужики! Давайте дышать струей у окна по очереди, по списку, значит. Чтобы всем воздуху доставалось. Иначе — смерть.

Никто не возражал. Только решили не по списку дышать, а по рядам, как сидим, так удобнее будет ползти к окну. И началось...

Нормальному человеку не представить, это надо было видеть: голые люди ползут по таким же голым людям, как черви, кому коленом на шею, кому на спину — скорее к окну, к спасительной струйке воздуха, ртом дышат, как рыбы... А староста уже говорит: «Следующие!» И опять ползут восьмеро навстречу друг другу. На тридцать верст в высоту земная атмосфера — дыши, человечество, в миллиард легких — всем хватит! А для нас нет этого воздуха. Нету! Кто же он, тот жестокий человек, кто приказал лишить тюрьмы окон? Может, когда-нибудь в дебрях секретных бумаг историки найдут этот страшный документ?

Наверное, с неделю продолжалось это столпотворение, потом мы выдохлись: сил кладется много, а толку мало. Пробовали качать воздух от окон одеялами — бросили и это. И вот поднялся широкоплечий чернобородый человек, прошедший КРЕСТ, — Ильин (мы знаем, что ему все равно скоро вышка); он назвался членом компартии ленинского призыва, бывшим комендантом Кремля, рубанул в воздухе уцелевшей от креста рукой, как на митинге:

— Товарищи! Видите сами — наше положение гиблое, но пусть мы погибнем как люди, сраженные в борьбе! Ежели уж

умирать — то всем вместе, а не в одиночку. У нас нет другого способа борьбы с произволом, кроме как объявить голодовку.

Многоголотно гаркнуло:

— Правильно говорит! Все равно нас тут передушат... Давайте все вместе! Чем умирать медленной смертью, лучше разом кончатся!..

Выбрали совет из пяти человек, который напишет наши требования и заявление о голодовке: от пожилых Занин и Ильин, от молодежи я и Петька Шмолин, фамилию пятого забыл. Ильин написал заявление:

«Камера требует перевести половину заключенных в другое место, прекратить избиения и пытки, пробить в тюремной стене из коридора в камеру две дыры для естественной вентиляции, очистить сетки зонтов на окнах от раствора...»

Поутру на верхнюю пайку хлеба Занин приколол нашу бумагу: хлеб не берем, камера объявляет голодовку. Рыжий баландёр удивленно вскинул брови:

— Это как же так, робяты?

— А вот так, — решительно сказал Занин.

Дверь захлопнулась, в камере стало тихо. Стало доходить до нашего сознания, что голодовка для нас, людей изможденных, — это верная смерть через неделю. Но в обед мы не взяли ни хлеб, ни баланду, только воду. Наутро на пороге камеры появился высокий, лет сорока мужчина в белой куртке:

— Я начальник тюрьмы Барановский. Что послужило мотивом объявленной вами голодовки?

Ильин повторил первое требование — разгрузить камеру. Барановский скривил губы:

— Вашей сволочи, врагов народа, много, на всех тюрем пока не настроили.

Ильин повторил и остальные требования. Начальник перебил его:

— Запомните: вы не имеете права требовать. Вы можете только просить. Я удовлетворю одну из ваших просьб, и вы снимете голодовку!

— Нет. Только все, — ответил Ильин.

— Ну и дохните, гады, — злобно сказал Барановский и вышел.

В камере тихо. Что нас ждет? Сколько вытерпим голодом? Кого уволокнут последним? Под койкой кто-то заплакал. Один из сидящих на параше вдруг сорвался к двери:

— Пусть мою пайку отдадут! Паечка-та ведь моя, мне умирать ишшо рано, детишек четверо, мал-мала меньше, детей пожалейте!..

Крикуна подмяли, зажали ему рот. Поднялся Ильин:

— Если среди нас есть сексоты, пусть знают: никто из них живым отсюда не уйдет и не успеет доложить о нашем плане. Дело в том, товарищи, что в стране, по всей видимости, произошел тихий контрреволюционный переворот. Уничтожают старую ленинскую гвардию, комсомол, и это делают под фальшивым лозунгом защиты социализма. Наши тюремщики — не представители Советской власти или народа, врагами которого они нас называют. Этот как раз враждебные социализму люди, которые олицетворяют собой фашизм. Поэтому я призываю вас к бунту против этой черной сволочи! Пусть мы падем все, но погибнем за народную власть, против тирании Джугашвили!

До вечера тихо совещались, распределяли, кому что делать. Решимость идти на смерть была единодушной.

Вечером на третьи сутки раскрылась дверь, и на виду у всех поставили носилки с хлебом. Хлеба мы не взяли, и его унесли. На пятые сутки в камеру вошел надзиратель «Рысь» и рявкнул: «Гулять!» Мы не выходили всю неделю, и вот стали выползать, держась за стены и друг за друга. Ноги почти не слушаются, и сами мы в дугу согнутые. Идем, шатаясь. На прогулочном дворе четверо упали замертво, там их и оставили. В камере становится все просторнее: за неделю умерло 63 человека. Скоро ли мой черед?

Что-то дольше обычного ходим мы кругами по тюремному двору: то по 15 ходили, а уже 32 — и не гонят обратно. С чего это раздобрились? Вот... погнажи... Заходим — батюшки! В проходе поставлены козлы, и четверо бытовиков долбят сразу две дыры в нашу камеру. Смотрим — и сетки-то на оконных зонтах чистят! А дыры мужики оштукатурили, сетками заделали, чтобы мы не могли в коридор записку кинуть. Дыры невелики — коту пролезть, но потянуло в них сразу, хоть и тюремной же вонью, а все же легче стало дышать. Посоветовавшись, на шестой день мы взяли хлеб. Голодные, мы пайку могли сглотить за пять жевков, но наш камерный врач Бушуев предупредил: есть риск умереть от заворота кишок. Так и разделили пайку на два раза.

Голодовка кончилась. Добились мы вентиляционных дыр, сетки очистили, будут ли бить, пытать — не знаем, только ключами «угощать» надзиратели перестали. Не стало слышно ночных воплей: перевели пытки в другое место или прекратили вовсе? Рыжий баландёр, что был подобрей других, шепнул: «Я

рассказал о вашей голодовке, вся тюрьма бастует, по всему централу долбят стены!..»

В 1946 году, уже в Самаре, мы спросили пришедших из Челябинска арестантов: целы ли дыры в камерах? Целы, говорят, и кладка в окнах разобрана, и зонты сняты.

Вскоре всех зачинщиков голодовки вызвали без вещей: в кондей. Кто на экскурсиях в Петропавловской крепости видел карцер, знает, что это такое: каменный бункер с дыркой вместо окна, без стекол, ни нар, ни печки, пол бетонный. Все мы в летнем. Срок заточения в карцере нам не объявили. Может, пожизненно? Нас пятеро на пяти квадратных метрах. Я поспешил к «окну», к струйке воздуха: после камеры-бани так хорошо подышать холодным сырым воздухом! А к вечеру вторых суток ангина закрыла мне горло, дышать нечем. Ребята бьют в дверь: «Больного заберите!» Фельдшер передал через «волчок» термометр — а там жара на весь градусник. Меня — на носилки и понесли. Да не в больницу! Лепком, видимо, узнал от стражника, что из кондея, где обычно сидели бандиты, несут не своего, а «фашиста», и велел бросить полутруп в сарай.

...Степь ровная, бескрайняя... Катится по степи лавина белых комьев, с дом высотой, словно нанизанных на один стержень. Катится вал цепью, и нет промеж этих гигантских бус промежутка, не обежать ни справа, ни слева. На одном шаре грязное пятно, похожее на человечью рожу в зловещей ухмылке. Смекаю: если упасть между шарами, вытянувшись в струнку, может, и не раздавит. Вал рядом, я падаю, он со скрипом прокатывается дальше...

Пришел я в себя, лежа на куче мертвецов. Левая рука свободна, на правой лежит холодный труп. Я зашевелился, стал руку вытягивать. Слышу позади говор. Я закричал. Подошли, полог сдернули:

— Ты смотри, падла, живой ведь, а? Живучий, сука. Вчера его мертвым кинули, на дворе Покров, а он талый. Придется вынуть...

За ноги тянут, хохочут, бросили на землю. Я еле поднялся на колени:

— Спасите, ребята, Христа ради, живой я...

— Христа вспомнил, фашистенок! — следует дикий мат и пинок под зад. Пусть, думаю, бьют, лишь бы в тепло увели. Двое подняли, повели меня, а двое остались укладывать трупы из носилок в штабель. Лежу на полу холодного тамбура, в голове то муть черная, то засветлеет, и тогда вижу через открытую

дверь крутящиеся в небе самолетики. Подошли санитары, увели в палату.

Больница в тюрьме — это щитовой барак с общими нарами из неструганных досок, без постелей, все лежат впритирку на боку, как и в камере, в своих одежках — кто в чем. Раздвинулись — лег и я между соседями. Давали мне красный стрептоцид, через неделю опало в горле, и увели меня обратно в восьмую камеру. Там и сидел я всю зиму с 37-го на 38-й и все лето 38-го, до октября. А оставшиеся в карцере так в камеру и не вернулись — то ли погибли там, то ли перевели их в другие камеры. Вещи ихние до конца тут лежали.

Этапы уходили на Север. Меня не брали. А я рад бы отсюда хоть на Колыму, хоть к черту на кулички, лишь бы на воздух. Не берут. Видно, мстят за голодовку.

* * *

К ноябрю 38-го рядом с централом построили бараки, тюрьму пересыльную открыли. Это недалеко от ЧГРЭС и железной дороги: из окна видать составы и станцию в дыму. Зонтов на окнах нет совсем — курорт! Двор огромный. Выгнали нас, тысячи две, разом, стол поставили, сели за него двое в форме НКВД. Начали вызывать. Подходит зек к столу — ему коротко: «Фамилия, имя, отчество, год рождения?»

— Кропачев Александр Васильевич, родился 21 августа 1888 года...

— Распишись, тебе определен срок десять лет лишения свободы.

Расписался бывший председатель коммуны СКНЕМВАР. Чик — и суд окончен.

— Следующий!

Старик один, глуховатый, видать, когда ему «червонец» зачитали, руку к уху и мирно так спрашивает:

— А скажи, мил человек, суд-то колды?

«Судья» усмехнулся только.

Приговоры были подписаны «тройкой», в которую входили начальник УНКВД по области, первый секретарь обкома партии и председатель облисполкома. Последний из троих был «рыбой», дела решали в УНКВД. Логично предположить, что десятки тысяч дел «тройка» не успевала не только читать, но даже подписывать, приговоры визировала не она, а технические работники. Штамповали: всем по «червонцу». Не меньше.

Построили нас по четыре, повели. Напомнили: шаг влево, шаг вправо... Снега еще нет, пыль над колонной — задыхаемся. Снова телячьи вагоны, вонь, теснота. Сутками не кормили. Идем такой же пылью по Магнитогорску, двухтысячная колонна. Ноябрь, холодно, мы в летнем. На мне куфайка матери, на ногах сандалии, на голове — ничего. В тюремный клуб загнали, наверное, голов с тысячу. Нар нет, но мы рады: большие окна — воздуху много.

Все мы, тогдашние «враги народа», не готовили себя к тюрьмам, потому, естественно, не знали азбуки перестукивания. Это умели двое интеллигентных на вид мужчин, лет пятидесяти, седые как лунь, которых потом втолкнули в комнату. Они сказали, что отсидели по десять годов в Верхнеуральском политизоляторе и теперь, по решению «Особого совещания», получили «довесок» — еще по «червонцу» лагерей. Но буквально на третий день перестукивание засекли, и их увели в карцер. Кто-то заложил. Кто? Стало ясно — в камере есть агент.

Среди нас сидел поляк Филиповский. Его слишком часто вызывали то на свидание, то на передачу, то в больницу, и после каждого такого визита кого-нибудь из камеры обязательно забирали. Подозрения оправдались: Филиповского уличили. Суд был коротким: смертная казнь. Но добровольца задушить его в камере не нашлось. Приговор привели в исполнение потом, на Севере, в тайге: Филиповского привязали к штабелю бревен и с высоты лесовозной эстакады по покатам спустили на него толстое бревно. Калечило на лесоповале зеков ежедневно, так что никто не разбирался и в случае с Филиповским.

Так же, как в Челябинске, сидим в камере на котомочках, тесно, но не голыми. Моими соседями оказались Борис Кривошеков (впоследствии известный поэт Борис Ручьев) и капельмейстер Чабанов. Борис придумал: сбросились довесками от паек, слепили мини-шахматы и домино. Чабанов проигрывать не любил и очень переживал, когда Борис громко объявлял: «Чабанов козел!» Ушли оба на Оймякон, я угодил в Архангельскую область, на стройку, и к лучшему: маловероятно, что я выжил бы на лесоповале.



За что?

СЕРГЕЙ ХОДУШИН

Сергей Иванович Ходушин родился в 1920 году. В 1941 году окончил Харьковское военно-медицинское училище. Во время войны в районе Великих Лук в составе 126-й стрелковой дивизии попал в окружение и затем — в концлагерь для военнопленных, совершил побег.

В 1943 году Ходушин был осужден по ст. 58-1(б) УК РСФСР на 5 лет и отправлен в Воркуту. В 1952 году получил второй срок: — еще 5 лет. В связи со смертью Сталина был освобожден и уехал в Горловку (Донбасс). В третий раз арестован в 1966 году по ложному обвинению на основе материалов, сфальсифицированных КГБ. Еще пять лет неволи. После освобождения С.Ходушин жил в Харьковской области, был полностью реабилитирован. Умер в 1997 году.

ЗА ЧТО?

Ялов взял чистый лист бумаги и сказал:

— Вы должны мне рассказать о каждом враче, который работал с вами в больнице для военнопленных и в гражданской больнице. Подробно: кто как себя вел, чем был доволен или недоволен. Постарайтесь вспомнить, кто ругал Советскую власть, кто особенно охотно сотрудничал с немцами.

Я внимательно слушал вопросы и понимал, что отвечать нужно точно, так как это может решить судьбу тех, кто еще в плену и не знают, что я рассказываю о них сотруднику Госбезопасности. Может, я с детства был так воспитан, а может, это от природы, — но я всегда смотрел правде в глаза и говорил так, как видел и воспринимал своим мозгом.

— В нашей группе был хирург Редькин Николай Сергеевич, — начал я.

— Подождите, я запишу, — остановил Ялов. — Чем он занимался?

Я подробно описал работу операционной, и как много было раненых солдат и офицеров, брошенных на поле боя, и как быстро они поправлялись после операций Редькина, и как хорошо нас снабжали медикаментами, и как мы оказывали помощь гражданскому населению. Рассказал о нашем первом побеге, за который нас посадили в тюрьму, а потом отправили в концлагерь Витебска, о том, как мы с доктором Редькиным вернулись в нашу больницу в Великих Луках...

Ялов слушал внимательно и, когда я кончил, сказал:

— Ну что ж, этого я и ожидал. Из вашего рассказа и выходит, что вы являетесь пособниками немецких захватчиков и измен-

никами Родины. То, что вы второй раз, уже удачно, бежали из концлагеря, ничего не меняет. Мы вас и не ждали. Вы нам не нужны ни как офицеры, ни как специалисты. У нас своих хватает, советских, и войну мы прекрасно без вас закончим!

Я сидел как громом оглушенный. Наконец собрался с мыслями и спросил:

— В чем же заключается моя измена и мое пособничество немецким захватчикам? Объясните!

Ялов посмотрел на меня пренебрежительно:

— Вот вы все оперировали и лечили военнопленных — на первый взгляд, наших, советских солдат и офицеров. Вы даже, кажется, гордитесь тем, что они скоро начинали прекрасно себя чувствовать. Но ведь их потом отправляли на работу в Германию! Или же они рыли окопы, противотанковые рвы — работали против нас! То же и вольное население: вы их лечили, они выздоравливали и шли работать на немцев, потому что немцы давали им хлебный паек. Разве не ясно, что вы прямые изменники Родины и пособники врага? Представьте себе, что вы скрыли свое медицинское образование и никому из раненых или больных не помогали. Раненые военнопленные подошли бы за несколько дней, а в городе началась бы какая-нибудь эпидемия, все лежали бы больные. Немцам некого было бы выводить на работу — вот это была бы помощь Родине! Если у них там подохнет бóльшая половина, Родина от этого не пострадает.

Я ушам своим не верил, и вид у меня, наверное, был потрясенный. Но Ялов продолжал философствовать, не обращая уже на меня внимания:

— Понимаешь, Родина — это земля, территория: поля, леса, реки, а люди — это иждивенцы земли, которая их кормит. Территория не прибавляется, а людей может наплодиться сколько хочешь, дай им только хорошую жизнь. Конечно, сразу после войны народу будет меньше, но ведь каждого можно заставить работать за десятерых, так что государство не будет в убытке. Значит, главное для нас — защитить территорию, а люди всегда найдутся. И будут работать! Партия заставит! Человек — существо умное, нужно только уметь им руководить, направлять его к заданной цели. А это мы умеем, в этой области опыт у нас большой — сколько было великих строек! Если будет нужно, мы одного заставим работать за сто человек! И ведь работнику нужно-то совсем немного: пайку хлеба, ну, и миску какой-нибудь затирухи. Об этом говорить пока нельзя, а в действительности это так, и без этого коммунизма не построишь...

Ну, а коммунизм — это не шутка! — продолжал Ялов. — Коммунизм — это техника, автоматика, где один человек будет

уже выполнять работу тысячи, двух тысяч! А остальную массу народа мы сможем направить в любое место. Сколько у нас еще территории не освоено: Север, Сибирь... При коммунизме нам останется только контролировать работу, и больше ничего. Коммунизм — это большое дело для Родины. Это наше светлое будущее. Понял теперь, почему не нужно было вам беспокоиться о тех людях и спасти их от смерти?

Я не знал, что отвечать Ялову. У меня было такое чувство, будто я и в самом деле изменник Родины, не такой, конечно, как в свое время Блюхер, Тухачевский, Постышев, Гамарник, — рангом поменьше, но все равно преступник. Это было жуткое ощущение. Но тут у меня мелькнула мысль: а что, если бы я был такой же, как Ялов, и взял бы и отравил каким-нибудь сильным ядом всех военнопленных и гражданских... Может, я бы за это получил от НКВД звание Героя Советского Союза. А чекисты, наверное, воспользовались бы этим случаем и кричали на весь мир, что немцы применили против пленных и гражданского населения новый сильнодействующий яд.

Я понял, в чьи руки я попал. Я понял, что этому человеку обязательно нужно создать мне уголовное дело, за что он получит вознаграждение и поднимется еще на одну ступеньку чекистской лестницы.

Собравшись с мыслями, я в резкой форме начал протестовать против обвинения меня в пособничестве немцам и в измене Родине. Я стал возражать Ялову по поводу народа России, Родины и государства, добавив, что в трудах Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина я такой точки зрения никогда не встречал. Я доказывал Ялову, что не могу быть изменником Родины, потому что я комсомолец, потому что я родился при Советской власти, что отец мой, шахтер, — красный партизан гражданской войны, коммунист с 1925 года, что в нашей семье ни один даже дальний родственник не принадлежит к имущему классу. Я с самого корня рабочий и знаю только коммунистические идеи. Я сказал, что возмущен тем, что Ялов, коммунист, так относится к советским солдатам и офицерам, невольно оказавшимся в плену и названным изменниками Родины.

— Они не виноваты, — говорил я, — что целые армии попадали в плен. Неужели солдаты не хотят воевать? Неужели они сами отдавали города и села врагу и сдались в плен, чтобы помереть от голода или превратиться в рабов?!

Мы долго с ним спорили. Ялов настаивал на одном: чтобы я взял на себя вину за свой плен, признал себя изменником Родины и подписал протокол, где на все его вопросы был один ответ: да, виновен.

Я отказался наотрез:

— Нет, виновным я себя не признаю!

— Да, ты молодой, но неглупый, — медленно сказал Ялов. Я ответил, что здесь дело не в уме, а в справедливости и человечности.

Меня увели с допроса часа в два ночи. В камере еще никто не спал. Я рассказал все подробно, и все удивлялись и возмущались, что органы госбезопасности вот так, подлогами и провокациями, пытаются создать ложное, липовое дело с крупными обвинениями.

В шесть часов утра меня опять отвели к Ялову. Не здороваясь, он отчеканил:

— Вас отведут сейчас в штаб 4-й армии. Не вздумайте по дороге бежать, везде найдем, поняли?.. В штабе армии с тобой поговорят по-другому, не так, как я. Штаб и решит, куда тебя: сюда или... туда. — Ялов передал пакет конвоиру.

Мороз был градусов тридцать. Мы шли почти целый день: конвоир в хороших черных валенках домашней катки, и я в сапогах...

Уже под вечер мы пришли в большое село, и меня сразу же отвели к следователю. Он быстро вскрыл пакет, прочитал бумаги, временами отчеркивая что-то карандашом, потом начал спрашивать — о моей жизни в плену, о больнице, о лагере, о товарищах. Я подробно отвечал. Следователь время от времени испытующе взглядывал на меня, лицо его было суровым, но мне почему-то казалось, что он нарочно напустил на себя такой вид. Скоро меня увели.

В большой, довольно теплой хате было несколько человек, таких же, как я, и я опять, в который раз, рассказал свою историю.

Утром меня вызвали к следователю. Он был явно в хорошем расположении духа, задал мне еще несколько вопросов и сказал:

— Ничего, товарищ Ходушин, мы каждого из вас хорошо знаем. Ты все говорил правильно. Но почему ты не поладил с Яловым?

У меня горло сжало от обиды, я едва удержал слезы:

— Ялов назвал меня изменником Родины за то, что я лечил наших военнопленных.

Следователь похлопал меня по плечу:

— Не обращай внимания! В жизни и хуже бывает, но ты не сдавайся, доказывай свою правоту, как нас учил Ленин. Есть, есть у нас выскочки, службисты, которые на «липе» пробивают себе карьеру! Поедешь сейчас на пересыльный пункт, потом в действующую армию и опять станешь как все. Ты еще совсем молодой, много полезного можешь Родине принести.

Я был так благодарен ему за эти теплые и справедливые слова, что опять едва не заплакал...

Через полчаса была готова машина. Кроме меня в кузов залезли офицер и два солдата, мы разместились на сухой чистой соломе и натянули брезент. Когда машина тронулась, из своего домика вышел следователь и закричал:

— Счастливого пути, Ходушин! Доброй службы! — Он улыбался и махал рукой, пока машина не завернула за угол.

На формировочном пункте взяли мои документы, ни о чем не спрашивая, поставили на довольствие и направили в общежитие, где я наконец-то отоспался за все эти тяжелые дни. Наутро я почувствовал себя на редкость бодро, в голове вертелись мысли о том, на какой фронт меня пошлют, о новой службе, даже о новой форме с погонами — хорошо ли они будут выглядеть на моих плечах. Все впереди! Все будет хорошо! С этим настроением я шел в столовую — и внезапно столкнулся лицом к лицу... с Яловым. Вот уж кого не ожидал увидеть! Я растерянно поздоровался. У него лицо передернулось злобой, и он резко спросил:

— Что вы здесь делаете?

Я ответил, что жду распределения в какую-нибудь воинскую часть. Ялов недоверчиво хмыкнул и сказал:

— Ну, тогда вам еще придется ко мне зайти.

Ни в этот день, ни в другой ни в какую воинскую часть меня не отправили, а посадили вместе с другими в вагон и повезли неизвестно куда. Когда проехали Москву, стало ясно, что наш путь — на Вологду. И вот небольшой городок Грязовец, заброшенное здание, очевидно, бывшего монастыря, общие нары, вонь, грязь, плохое питание. Я понял, что это фильтрационный лагерь НКВД и что именно здесь окончательно решится моя судьба.

Шел уже февраль 1943 года. Из газет было известно, что наши войска освободили Великие Луки, и я все время думал о тех своих товарищах-врачах, которые оставались там.

Наконец меня вызвали к следователю. За столом сидел молодой человек, худощавый и подвижный, с копной черных волос на голове. Потом я узнал его фамилию: Григорьев. Предложив мне сесть напротив, он довольно долго перелистывал мои бумаги. У меня не было плохих предчувствий, и я спокойно ждал обычных вопросов. Но первый же вопрос оказался неожиданным.

— Какие у вас взаимоотношения с Яловым? — спросил следователь.

Я рассказал все: и о чем спрашивал меня Ялов, и его теорию народа и государства, и свою историю во всех подробностях. Григорьев слушал меня внимательно, почти ничего не уточняя, глядя на меня пристально и серьезно.

— Я вас понимаю, — сказал он наконец. — И я вижу, что вины на вас нет. Но дело в том, что Ялов испортил вам всю эту папку, и я ничем не могу вам помочь, как бы ни хотел. Мы дадим свое последнее заключение о вас с положительной характеристикой, но вас все равно осудят. То есть суда никакого не будет, просто по решению Особого совещания вам принесут бумажку со сроком, вы распишетесь — и все. Лет пять придется отсидеть.

Я сидел перед ним и не мог говорить. Следовательно терпеливо ждал.

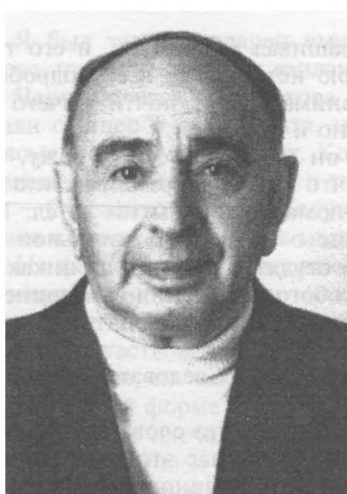
— Но за что? За что?! — Я чувствовал, что слова выдавливаю из себя через силу. — Ни в школе, нигде нас этому не учили... Ни в каких законах не указано, что невиновному человеку можно дать срок без следствия и суда...

Григорьев тоже помолчал немного, потом сказал:

— Вы еще так молоды. Пять лет — срок небольшой. У вас все впереди.

Открылась дверь, и вошел солдат.

— Проводите гражданина в камеру и поставьте на довольствие, — приказал следователь. И тут только я понял, что это — конец. Больше никакой надежды.



**Магазин
на Сретенке**

АЛЕКСАНДР ЛАЗЕБНИКОВ

Александр Ефимович Лазебников (1912–1985) – профессиональный репортер, автор изданных в 30-е годы книг о гражданской войне в Испании, о соратниках Ленина и др. В 1938 году обвинен в подготовке покушения на «вождя народов». Провел в заключении 18 лет.

МАГАЗИН НА СРЕТЕНКЕ

(Из книги «Линии судьбы»)

5 июля 1937 года...

Этот день я хорошо запомнил, потому что завтра на «Динамо» наши играют с басками. В редакции только разговор, что о завтрашнем матче.

В нашу комнату зашел редактор Владимир Михайлович Бубекин.

— Ну, репортеры, вы все знаете... Где купить хорошую игрушку сыну?

— В Загорске, — пошутил кто-то. «Комсомолка» шефствовала над Загорской фабрикой игрушек.

— Нет, поеду в Мюр-Мерилиз, — сказал Бубекин. Тогдашний ЦУМ еще называли, как встарь. — Кого подвезти до центра?

И вот мы в самом большом универмаге страны. Разглядываем катер с бензиновым фитильком и скачущую лягушку из папье-маше.

— Это все? Маловато.

— В конфискаты заходили?

Мы не поняли вопроса. Продавщица пояснила:

— На Сретенке. Вверх по Кузнецкому, свернуть на Лубянку, пройти Сретенские ворота и по левой стороне улицы до конца. Угловой дом...

Не доходя Сухаревской площади, мы останавливаемся: обещанного магазина нет. Есть зеркальные стекла окон в густых

белилах, наглухо завешенные тяжелыми портьерами. Пока мы раздумываем, открылась дверь, кто-то вышел. Мы вошли.

В помещении был неестественный для июльского дня полумрак. Тусклый свет пробивался в каком-то молочном тумане сквозь стекла, замазанные белой краской. Множество незажженных люстр свисало с потолка. Тишина так и звала найти табличку: «Закрыто на учет». Но магазин был открыт, хотя покупатели, менее просвещенные, чем мы, помявшись на месте, уходили, приняв это просторное помещение за склад.

Мы шли лабиринтами книжных шкафов, павловских гардеробов со створками из мозаики, изящных и хрупких сервантов, будто созданных в поединке стилей и эпох, старинных диванов — красной, черной и желтой кожи. Громоздкие рояли угадывались где-то впереди сплошным зеркальным блеском. Ряды вольтеровских кресел из ясеня с подлокотниками, отполированными теплом чьих-то рук, торжественные, как троны, стулья с резными спинками, шезлонги в замысловатых узорах плетеных сидений, секретеры, бюро, письменные столы. За глухими толстыми стеклами шкафов красного и черного дерева — циферблаты, продолговатые гири на цепях, похожие на грузила, немые маятники, недвижимые стрелки.

Беспорядочными казались прилавки вдоль стен, густо увешанные полотнами в дорогих рамах. Косяки бликов шарили по полкам в такт покачивающейся лампочке. Там, где лежало что-то цветастое, яркое — бухарский халат, черная шаль в красных розах, — лампочки будто раздували тусклый свет и опять уходили в закат.

Вокруг дремали разрозненные сервизы, белели горы столовой посуды. Так же беспорядочно были разбросаны ковры — текинские, ширазские, паласы. Лишь в отделе готового платья был порядок, почти как в Военторге на Воздвиженке. Это сравнение напрашивалось невольно из-за обилия армейской одежды. Правда, было немало и гражданских костюмов — двойки, тройки, но они терялись где-то на задворках, словно нездешние. Здешними были костюмы военные. Суконные френчи, гимнастерки из тонкого шевиота и габардина, нарядные бекешы индопошива, кожаные регланы, синие кители моряков. Рядом с одеждой стояла обувь: как на плацу, голенище к голенищу, сапоги, шеренги мужских туфель, ботинок — и опять сапоги. Все напоказ, товар лицом, коробок не видно.

Два покупателя молчаливо разглядывали товары без этикеток и ценников. Вместо привычного гула голосов — шепот. Кажется, эти двое понимали, что здесь ни о чем не надо спрашивать, да и некого — продавщица далеко, одна. Но все-таки что это? Распродажа, конфекцион? Какой-то человек недоверчиво оглядывает себя в полукружье трельяжа. Ощупывает, на месте ли хлястики у обновы — кителя цвета хаки; опустил руки в карманы, будто поискал — не забыл ли чего прежний владелец. Не очень узнавая себя в великолепии трех зеркал, выжидающе постоял.

— Неладь. Велик малость френчик! — и на нас глянул, не решается на покупку без постороннего совета. Вот он уже снял с себя китель, держит в руках, подбирая глазами другой в колонне защитного цвета: какой померить? Наверное, впервые в жизни представился ему такой выбор.

Кто-то вошел или вышел, отворилась наотмашь дверь, и тяжесть густого зноя улицы, как взрывная волна, ударила по комсоставовской цепи. Налились бестелесные рукава, раскачиваются на ветру гимнастерки, стучат друг о друга деревянными ключицами вешалок. Все, что висит над прилавком, послушно двери: рукава по швам, пока она закрыта, а стоит кому-нибудь взяться за ручку, дрожат, будто от стужи...

Только сейчас мы увидели в петлицах кителя след ромбов. Тот, кто носил этот китель, был высок. Где-то на полках ниже лежали, наверное, его синие галифе. Комдив? Командарм?.. Как хорошо, что здесь одна только лампочка, один тусклый глазок на привязи шнура: зрелище изувеченных петлиц с вырванными знаками различия нестерпимо, как и проколы аккуратно обметанных зелеными нитками дырочек над карманами, — все, что осталось от брони орденов. Хаки! Защитный цвет! От кого защитный — от Юденича, Врангеля, Колчака, белополяков, Чжан Цзолина на КВЖД? На сколько он старше нас? Лет на десять-двенадцать. Он мог успеть, а мы нет — носить подпольную кличку, видеть Ленина, идти по этапу в туруханскую ссылку...

...А здесь только кители и гимнастерки. Теснота сблизила ромбы и кубики, но цена на них, как в Военторге, была и здесь, наверное, неодинакова. А еще сапоги — яловые и, почтительно сторонясь от них, шевровые и хромовые. И женские платья. Сколько же их здесь всего? Перемножить плечики на ряды? Нет, собьешься со счета...

...Вернулся к тусклым створкам трельяжа прежний покупатель. Теперь на нем синий военморский китель. Он по-прежнему ждет нашего одобрения.

— Бери! — говорю я скуластому, широкобровому парню. — Бери китель, в самый раз тебе.

— Лады? — со спокойной веселостью отзывается он, доверяясь больше первому встречному, чем всем трем своим изображениям в померкших зеркалах. Теперь уже он — хозяин кителя. И я поспешно складываю, пока он не ушел, знакомые черты наморси¹, примеряю мысленно в кабинете в Антипьевском этот китель, накидываю его на покатые плечи бывшего каперанга Викторова.

Тоненькая продавщица командует сухопутной и морской формой. Нестерпимое желание окликнуть ее охватывает меня. Оглушительно стучит во мне приготовленная фраза: «Где здесь флагман первого ранга Викторов?» И вдруг счастливый голос бездумного ко всему, что вокруг, обладателя синей обновы вторяет нам:

— А в Прокопьевске таких нет!

Чего таких? Кителей? Магазина? А может, он знает свой Прокопьевск так же, как мы Москву? В маленьких городах не живут наморси. А Киев, Минск, Сталинабад, Ереван — что они делают со своими гимнастерками и галифе? Или сюда свозят со всей России?

Где-то совсем неслышно замирает у прилавка шепот: «Кожаные брюки сорок восемь бывают?» — «В начале недели», — говорит продавщица.

Здесь еще и умеют предсказывать будущее? По каким дням доставляют сюда товары? Ночью, на рассвете? Кто разгружает? Тот, кто раздевал?

— В начале недели, — повторяет продавщица, и я слышу в ее голосе презрение к этому мешковатому парню, переступившему в круговерти столичных лавок неразгаданный им порог Сретенки.

Бубекин следит за движением руки продавщицы, выписывающей чек, прислушивается, что еще она скажет, и, хотя ею произнесено всего два-три слова, Володе ясно, что обмолвилась она для нас. И его высветленное оспинками лицо потускнело. Он кивнул мне, и жесткие зрачки продавщицы перехватили Володин взгляд. «Ну, понял наконец? Так объясни ему,

¹ Начальствующий состав военно-морских сил (жарг. 20–30-х годов).

что здесь не Церабкоп, здесь возвращают народу отнятое у его врагов». А покупатель в замешательстве и оцепенении от выведенного ее карандашом ошалело шептал:

— Лады, лады...

И за крылатой тенью развешенных гимнастеров искал зовущий просвет, где расплачивались.

Светлое пятно, которое мы приняли за выход, увело нас в самый отдаленный закуток магазина. Что за наваждение! Мы видим разноцветных бабочек, мотыльков, стрекоз. Они уселись высоко, высоко, шелестят над нашей головой. Беспрестанен их трепетный шорох, не остановишь его. Какие-то круги, угасая и вспыхивая, шли перед глазами от этого движения. Но стоило приблизиться, и цветастый хоровод раскрылся неожиданным и страшным зрелищем: детские платица, невесомые, как лоскутки облаков, парили над прилавком; они не знали еще, что такое строй, в беспорядке выглядывали отовсюду, как пестрые птицы в зоомагазине.

Обомлев, мы остановились. Какая-то нечеловеческая усталость не дала нам сделать и шагу дальше. Мы беспомощно прислонились к прилавку. Из оцепенения нас вывел женский голос, чей-то смех, непонятный шум, который то утихал, то снова приближался к нам. Звуки слабого гудка донеслись до нашего слуха, и мы увидели на соседнем прилавке, у самой его кромки, игрушечный паровоз. Он тащил по металлическому кругу пассажирский состав. Чьи-то ладони, поднятые в бесильном всплеске, выражали восторг. Зажженные фары локомотива выхватили нас из полумрака и исчезли за кривой рельсов, бросив отблеск на шпалы. Дыхание паровозика доносилось до нас, как одышка. Замедлилось мелькание поршней.

— Видит красный, — пояснила очень юная продавщица, похожая на фабзайца.

Игрушка облегченно вздохнула, будто к ней вернулись силы, и снова пустилась в путь, где ее ждал туннель. Завершила она свой маршрут у водяной колонки.

— Хотите еще? — предложила продавщица. На ее лице не угасала улыбка восторга. И, казалось, в ней вовсе отсутствует профессиональная выучка, нужная в этом магазине.

— У вас много таких? — спросил Володя.

— Много? — как беззвучное эхо, отозвалась девушка, удивляясь нашему вопросу. — Одна-единственная. Вчера только поступила.

— А вы здесь давно? — спросил Володя.

Девушка внимательно оглядела нас — кто такие, и нерешительно, не зная еще, можно ли нам доверять, ответила с детской непосредственностью:

— Через три дня я в первый раз в жизни получу зарплату.

Володя нагнулся над стойкой: «Мейд ин Суицерленд» — «Сделано в Швейцарии», — прочитал он на паровозике, сиюсья найти еще что-то на тендере. Может быть, он хотел увидеть нацарапанное русскими буквами имя мальчика, у которого вместе с этой игрушкой отняли папу и маму?

— «Швейцария, Швейцария, юнгфрау и Монблан», — нараспев произнес Володя. — Не знаешь, откуда? «Наш паровоз, вперед лети...» Боже мой! — прошептал он.

— Возьмете? — шурясь от света фар паровоза, спросила продавщица. — Прекрасная игрушка!

Володя медленно повернулся, посмотрел в упор на девушку, обвел глазами металлический круг, будто хотел защитить ее от этих шпал, и без всякой оглядки, забыв, где он, сказал, как сказал бы Мите Черненко, Юрию Жукову, Мише Розенфельду, всем, кого знал, как самого себя:

— Поверьте, девушка, этой игрушке уже никогда не быть прекрасной! Никогда!

Сретенка казалась нам бесконечной, как и наше молчание. Мы свернули в тишину переулка.

— Завтра им нужно выиграть, — сказал Володя о басках, изменив на сей раз давней своей привязанности к «Спартаку». — Так мало побед в небе Гвадалахары, что я легко перехожу на их сторону...

После первого тайма из репродукторов грянула музыка. Огненную эстремадурскую частушку «Маммито миа» сменил марш Риго:

Солдаты, нас родина зовет к борьбе,
Дадим ей слово — победить или умереть!..

Гимн Республики оборвался недопетым словом, и невидимый диктор успокоил чью-то маму:

— Мальчик Витя шести лет находится в кабинете директора стадиона. Мама, не беспокойтесь, ваш сын ожидает вас. Товарищ Бубекин! Вам звонят из редакции, срочно пройдите в кабинет директора.

Мы сидели вчетвером на бетонной скамейке западной трибуны: Семен Нариньяни, Юрий Жуков, Владимир Бубекин и я. Владимир Михайлович положил на скамейку соломенную шляпу, велел никому не отдавать место:

— Я скоро вернусь. Наверно, что-то у Теравицкого не ладится.

Теравицкий был замом ответсекретаря редакции и в тот день дежурил по номеру.

Бубекин, сутулясь, набрасывает на плечи пиджак с эмалевым пятиконечником ордена Красной Звезды и уходит.

Замирает и снова падает в чашу стадиона музыка марша.

Победить или умереть... В эту минуту мы не знаем, что больше никогда не увидим Володю Бубекина, что он идет на смерть¹.

¹ Ответственный редактор «Комсомольской правды» В.М.Бубекин был арестован во время матча. На следующий день снят с должности и 25 июля 1937 года исключен из состава ЦК ВЛКСМ «за связь с врагами народа». Приговорен к 10 годам. По официальным данным, умер в ГУЛАГе в 1940 году. Через 15 лет полностью реабилитирован.



Кедровый стланик

БОРИС ЛЕСНЯК

Борис Николаевич Лесняк. Уроженец города Читы. Ровесник Октября. Тридцать пять лет жизни отдал Борис Николаевич Колыме, из них восемнадцать лет — лагерю и ссылке.

В 1937 году он был арестован за участие в контрреволюционной студенческой организации. («Контрреволюция» заключалась в том, что в квартире известного фотохудожника М.С. Напсельбаума собиралась поэтическая молодежь. Бывал там и Борис Лесняк, тогда студент Московского медицинского института.) В лагере был сначала на общих работах, потом несколько лет работал фельдшером в центральной больнице Севлага, в поселке Беличем, где лечился в то время от дистрофии и авитаминоза В.Шаламов. Дружба с Шаламовым — яркое событие его жизни.

После освобождения и реабилитации Борис Николаевич Лесняк окончил заочно политехнический институт и работал инженером на Магаданском ремонтно-механическом заводе. В городском литобъединении он пользовался всеобщим уважением — за интеллигентность, деликатность, какое-то чуть отстраненное достоинство. Тогда Лесняк сочинял афоризмы, сатиру — причем не бытовую, фельетонную, а философскую. Его остроты были у всех на слуху, мгновенно запоминались. К примеру, такое: «Сорвали маску! Позже выяснилось: то было лицо...» В Магадане вышла его первая сатирическая книга «Ветер из щели». В

1980 году издательство «Книга» выпустило сборник избранной советской афористики, одним из авторов которого является Б.Лесняк.

Сейчас Борис Николаевич живет в Москве.

В наш сборник включены несколько глав из рукописи автобиографической книги Б. Лесняка «Неоконченные споры».

Теперь часто слышишь: «Хватит рыться в прошлом! Давайте о другом! Устали!» А ведь мы только еще подступили к своей истории, только начали кое-что понимать. Прислушаемся лучше к Варламу Шаламову: «Так называемая лагерная тема — это очень большая тема, где разместятся сто таких писателей, как Солженицын, пять таких писателей, как Лев Толстой. И никому не будет тесно».

В. Шенталинский

КЕДРОВЫЙ СТЛНИК
(Из книги «Неоконченные споры»)

ЛОШАДКА РОТНОГО

Когда гуманизм втаптывают в землю,
он прорастает колючей проволокой.

Как-то в одной официальной бумаге, в справке, запросе ли, ходатайстве я наткнулся на выражение «по встретившейся необходимости...» Этот шедевр канцелярского языка произвел на меня большое впечатление и потому сохранился в памяти.

Так вот, по встретившейся необходимости, применительно к решению кроссворда, я перелистывал географический атлас издания последних лет под редакцией А.А.Горелова и Л.Н.Месяцева. Блуждая по верхним широтам карты, я набрел на знакомые населенные пункты и понял, что нахожусь в родной Магаданской области, Колымо-Индигирском крае. Тридцать пять лет, проведенных в этих местах, — значительный кусок моей жизни, где было много плохого и немало хорошего.

По обе стороны Центральной колымской трассы, протянувшейся от Магадана до Индигирки, — этот район первых золотых приисков, наиболее обжитая часть Колымы. Я внимательно перечитал два-три десятка названий, нанесенных на карту, и не без гордости и удивления обнаружил среди них Верхний Ат-Урях, еще в 1961 году переименованный в прииск имени Берзина. Каторжный прииск имени Горького и прииск Партизан — ровесники и соседи Верхнего Ат-Уряха — на карте

не значились. Не значились прииски Одинокий, Туманный, Ветренный, Бурхала, штрафные прииски Джелгала и Скрытый, рудники Холодный, Кварцевый, Юбилейный, имени Лазо, имени Матросова, Бутугычаг, не было приисков Чай-Урьинской долины, или долины Чай-Умри, как называли ее когда-то не без основания. Но Верхний Ат-Урях значился. Мои альма-матер и альма-патер, а точнее всего — крестный отец. Верхний Ат-Урях — мои «Детство», «Отрочество», «Юность», «Мои университеты»... А также — мое посвящение в люди.

В августе 1938 года я прибыл на прииск В. Ат-Урях, в эту жемчужину Золотой Колымы с многотысячным «списочным составом» заключенных смешанного исправительно-трудового лагеря (ИТЛ). Наш этап был встречен в высшей степени буднично, и сразу же после двухсуточной тряски в грузовике по грунтовой дороге нас вывели в ночь в открытый забой на четырнадцатичасовую смену.

Вспоминая свою ат-уряхскую одиссею, я почему-то очень отчетливо, до мелких подробностей вспомнил вдруг Смоллера, двухметрового немца с Поволжья, прибывшего на Колыму вместе со мной последним июльским рейсом «Джурмы». Смоллер был осужден на десять лет «тройкой» НКВД по литерной статье ППШ, что значит «по подозрению в шпионаже». Ему еще не было сорока лет. До ареста он работал на железной дороге ремонтным рабочим.

Как большинство немцев, Смоллер был человеком старательным, работающим, дисциплинированным. На прииске его с первых дней поставили на откатку породы, дали ему тяжелую, неуклюжую железную тачку заводского изготовления, «шедевр» конструкторской мысли: центр тяжести приходился не на колесо, а на руки откатчика, и катить ее было тяжело даже пустую.

Бытовики и уголовники раз и навсегда отвергли этот вид современного транспорта и возили пески к промысловому прибору на сравнительно легких деревянных тачках, сколоченных лагерными мастерами в приисковом стройцехе по своему разумению. А железные тачки намертво закрепились за «племянниками Троцкого», как называли политзаключенных блатные, а глядя на них — и работники лагеря.

Огромный костистый сутуловатый Смоллер безропотно катал свою чудо-тачку вверх и вниз по разбитому дощатому трапу. Немногословный от природы, плохо говоривший по-русски, Смоллер вовсе умолк, еще больше ссутулился, посерел и обмяк. В его васильковых глазах поселился голодный огонь и определил их постоянное выражение. Мышцы его громадного

тела таяли быстро, оставляя широкий костяк обтянутым грязной и нездоровой кожей.

Если люди среднего роста и веса, на которых, очевидно, был рассчитан гулаговский рацион, голодали, Смоллеру не хватало бы суточного рациона даже на завтрак. В немногие часы, отведенные отдыху, он околачивался возле лагерной кухни в поисках побочной работы за котловые оскребки и ополоски или рылся на помойке в отбросах.

Уже к середине первой зимы Смоллер угодил в стационар, в барак пеллагрозников, или доходяг, иными словами. А выйдя оттуда, попал в «слабосиловку», которую использовали на внутренних подсобных работах.

Нужно сказать, что прииск, возникший в 1936 году среди дремучей тайги по законам «золотой лихорадки», к 1938 году вырубил на много километров вокруг все деревья, большие и малые, на постройку приискового поселка — вольного стана, для гигантского лагеря, для нужд производства, для казарм вохры — военизированной охраны и, естественно, на дрова, поскольку бараки, собранные из накатника, и брезентовые палатки лагерной зоны отопить было весьма непросто. И лагерная частушка: «Колыма ты, Колыма, чудная планета: двенадцать месяцев зима, остальные — лето!» — если и вызывала улыбку, то далеко не у всех. На месте вырубленного леса вскоре стали выкорчевывать пни, которые тоже были сожжены в короткое время. И последним энергетическим ресурсом, как теперь говорят, оставался лишь кедровый стланик — плодоносящий кустарник, единственное хвойное вечнозеленое растение в этих широтах. На зиму мощные ветки стланика прижимаются плотно к земле, как бы стелются, и до весны, а вернее, до лета остаются под снегом, под его защитой. Поэтому стланик старались заготавливать летом, а вывозить зимой по снегу, по твердому насту на санках.

Для заготовки стланика и доставки его использовали слабосиловку, поскольку работа эта считалась нетрудной. В специально изготовленные деревянные сани впрягались четверо заключенных с помощью бурлацких веревочных лямок и отправлялись на сопку, чаще всего без конвоя, под ответственность сытого бригадира. Да и побег с Колымы практически был делом бессмысленным. За многие годы я не помню ни одного побега из лагеря, завершенного благополучно.

Дрова для лагеря, баня, прачечная, дезокамера, ремонт обуви и одежды, их выдача и замена, уборка бараков, территории и очистка сортиров — все это было сферой деятельности и забот лагстаросты или ротного, где как. А если в лагере были тот и другой, обязанности между ними делились.

На Верхнем Ат-Уряхе в те годы со страхом и уважением произносилось имя Николая Федоровича Хорунжего, уроженца станицы Невинномысской, осужденного за изнасилование на пять лет лишения свободы без последующего поражения в избирательных правах. Три года из пяти он уже отсидел. Его профессия, род занятий до заключения были подернуты дымкой. Хорунжий был сухощав и подобран, ходил неторопливо, с достоинством. Был подчеркнуто вежлив и обходителен, любил иностранные слова и ученые выражения. Никогда не кричал, а матерился и вовсе вполголоса, но очень искусно и красочно.

Кто-нибудь на разводе, например, заявлял ему о прохудившемся валенке. Николай Федорович внимательно осматривал злополучный валенок, затем так же внимательно изучал лицо жалобщика.

— Где же вы были вчера? Почему заявляете на разводе? — спрашивал он деликатно. Распоряжался развод не задерживать, галантно, как гусар даму сердца, брал соискателя целого валенка под руку и не спеша уводил его в дебри лагпункта. Так молча вел он его до самой своей кладовой.

— Как вас зовут? — войдя в кладовую, осведомлялся Хорунжий. — Иван Петрович — хорошее имя, — замечал он. — Чем вы, Иван Петрович, занимались на воле?

— Играл на виолончели, — поперхнувшись словом, произносил Иван Петрович.

— Это что, такая большая скрипка? — спрашивал ротный.

— Да, — потупясь, отвечал Иван Петрович, сознавая всю неполноценность, ущербность своей профессии.

— И что же вы играли на большой скрипке? — допытывался Хорунжий. — Мендельсона, Рубинштейна, Абрамовича, Ципаровича?

Иван Петрович молчал.

— Не хотите говорить со мной за искусство! — вздыхал Хорунжий. — И откуда у вас такое высокомерие! — сокрушенно покачивал он головой. — Ну, снимайте ваш валенок.

Иван Петрович снимал с ноги худой валенок, ставил разутую ногу на обутую, так как кладовая не отапливалась, и отдавал валенок ротному. Хорунжий брал в руки валенок, вставлял в дыру три пальца и, глядя испытующе в глаза виолончелиста, спрашивал:

— Вы настаиваете на том, что ваш валенок рваный?

Исполнитель Мендельсона и Ципаровича молчал, не понимая вопроса.

Валенок описывал в воздухе дугу и со свистом обрушивался на голову злополучного музыканта, который падал на колени

от сильного и неожиданного удара. Но почти одновременно ударом начищенного сапога снизу Хорунжий возвращал Ивана Петровича в исходное положение.

— Вы все еще настаиваете, что ваш валенок дырявый? — спрашивал вкрадчиво ротный после нескольких таких упражнений.

— Нет, — отвечал поклонник Рубинштейна и Абрамовича, растирая по лицу слезы и кровь.

— Вот это пассаж! — вскипал Хорунжий. — Так зачем же вы вводили в заблуждение администрацию?! Зачем злоупотребляли моим личным доверием?.. Вашу в бога, душу и дыхало мать! — добавлял он вполголоса.

— Если я не ошибаюсь, у вас статья пятьдесят восемь, пункт десять? Правильно вас изолировали, Иван Петрович. Какой пример вы могли подать вашим детям? Чему научить? Чего вы хотели добиться ложью??? А ведь еще мыслитель сказал, что цель, требующая неправых средств, есть неправая цель!.. Пойдите, Иван Петрович! Почему вы плачете? Это слезы стыда? Или кто-нибудь вас обидел? Скажите мне не таясь! Мы это так не оставим. Ну, успокойтесь, встаньте с пола, пойдите на двор, утрите снегом ваше лицо и вернитесь. Да! Наденьте валенок.

— Ну вот! — радостно говорил Хорунжий, когда Иван Петрович возвращался. — Теперь в вашем лице появилось что-то человеческое. Вон там, в углу, хрен с вами, можете подобрать себе другой валенок, если этот вам чем-то не нравится. Вот вам два талона на обед по второй категории, без хлеба, естественно. А сейчас идите в барак, дневальному скажете, что находитесь в распоряжении Хорунжего.

Таким был наш ротный Николай Федорович Хорунжий.

Ротный жил в небольшой кабинке рубленого барака один, если не считать «Машку» — белобрысого круглолицего паренька, подмосковного хулигана, впервые попавшего в лагерь и нашедшего нежное покровительство у Хорунжего. Машка топил ему печь, взбивал подушки на постели и бегал с котелками на кухню. А чтобы в тереме было всегда тепло и уютно, в свои личные, персональные дровозовы Николай Федорович приглядел Смоллера.

Он вначале его подкормил, дал ему немного оправиться, подобрал, что было весьма нелегко, более-менее целое обмундирование самого большого размера, все же сидевшее на Смоллере, как детская распашонка на переростке. Затем заказал специально для Смоллера сани и дал рваную телогрейку, чтобы обмотать, обшить ею лямку из тонкого стального троса.

Так Смоллер начал возить дровишки самому Николаю Федоровичу Хорунжему, за что и получил прозвище «лошадка ротного».

Смоллер быстро окреп, оживился, перешел в лучший барак, и между ним и прежними товарищами по бригаде образовалась некоторая иерархическая дистанция.

Старое выражение «лагерные придурки» не относилось к администрации лагеря, а касалось исключительно заключенных, занятых на внутренних, так называемых «чистых» работах: старост, нарядчиков, ротных, каптеров, поваров, хлеборезов, банщиков, бухгалтеров, счетоводов, десятников, табельщиков, бригадиров и их торбоносоров, дневальных барачников и ассенизаторов, пожалуй. Но и здесь было бесспорное расслоение, и элита, конечно, оставалась элитой.

Некоторые относили к придуркам и медиков. Но это было верно только наполовину. Врачи и лекарские помощники, лекпомы, или, на блатном языке, «липкомы», «лепилы» — были все же единственной лагерной службой, стоявшей на стороне заключенных, защищавшей их интересы. Лагерная медицина противостояла всему окружавшему заключенного враждебному миру. Она представляла собой очень небольшую, но все же силу, с которой не могла совсем не считаться лагерная администрация. Но и здесь встречались разные люди. Вся остальная заключенная масса варилась и корчилась в адском котле своего бытия.

По встретившейся необходимости отделим элиту от прочих придурков, чтобы ближе увидеть досуг избранных.

Нарядчики, ротные, повара, хлеборезы, каптеры, культорги — люди, стоящие непосредственно у кормушки и власти, не были голодны. В лозунге «Хлеба и зрелищ!» им больше не хватало зрелищ, нежели хлеба. И «верхние люди» лагеря пытались украсить свой досуг, как могли.

Феноменальный аппетит Смоллера был притчей во языцех как в нижних слоях общества, так и в верхних. При случае он мог съесть невероятное количество пищи, и это вызывало одновременно удивление, восторг и у большинства населения — зависть.

Не знаю, кто был инициатором, изобретателем, автором, исполненным римского духа, но с некоторых пор время от времени в тереме ротного в поздний вечерний час собирались «почетные люди», с кухни приносилось ведро баланды и буханка черного хлеба весом примерно в два килограмма. И приглашалась лошадка ротного — Эрих Мария Смоллер.

Смоллера сажали в середине кабинки, ставили перед ним на табурете баланду, клали хлеб и деревянную ложку. Смоллер вы-

тирал о штаны ладони, вспотевшие от волнения, резал на ломти хлеб, брал в руки ложку, и представление начиналось. Говорят, это было захватывающее зрелище, проходившее в полном молчании, редко нарушаемом взволнованным шепотом. Здесь все имело значение и было наполнено смыслом. На Смоллера ставили. Как на бегах. На время, на скорость. «Зачистит» все или оставит. Срыгнет или нет. Если оставит, то что — хлеб или баланду. Как замороженные, сидели зрители, затаив дыхание, одни бледные, другие красные и все возбужденные.

Страсти взрывались, когда Смоллер вставал и, покачиваясь, с раздутым животом и выпученными глазами, медленно покидал подмости. Потом, когда страсти затихали, как догоревший костер, на столе появлялись чифир — сверхкрепкий отвар чая, преимущественно плиточного, охотская сельдь, вымоченная и разделанная, а также самодельные карты.

Тайное рано или поздно становится явным, а значит, всеобщим. Разговоры о Смоллере, украшенные многими подробностями, особенно волновали вечнохолодных и вечноголодных. Молва, как волна, вынесла легенду за пределы Верхнего Ат-Уряха, и поползла она по таежным распадкам и падам от вышки к вышке, от зоны к зоне.

В один из подобных описанному вечеров Смоллер вышел из комнаты ротного в морозную тишь спящего лагеря, прошел два десятка шагов и упал замертво. Тема Смоллера еще долго звучала под бледным небом седой Колымы, а также под низкими сводами лагерных барачков.

Шакир Галимович Сабдюшев, мой напарник, человек тихий и робкий, разделявший со мной верхние нары вагонки, сказал мне однажды мечтательно: «Ты знаешь, я бы хотел умереть, как Смоллер — с полным желудком».

ВРЕМЯ ВРАЧУЕТ РАНЫ

Но прошлое, лежащее у ног,
Просыпалось сквозь пальцы, как песок,
И былль живая поросла быллем,
Беспамятством, забвеньем, забытьем.

В. Шаламов

Евгения Осиповна Червонобродова оказалась в числе первых, о ком я подумал, кого я вспомнил, возвращаясь мыслью к Беличьей. В моем лагерном и медицинском опыте это был первый и единственный случай, когда конвой стрелял в женщину.

Случилось это летом 1944 года. На исходе ночи меня разбудил ночной санитар Алойз Петрович Гейм. Он сказал, что с Эльгена привезли двух стреляных женщин. Я стал одеваться, Гейму велел будить Валентина Николаевича Траута, хирурга.

Одна из женщин была без сознания, в тяжелом состоянии: нитевидный пульс частил, едва прощупывался, дыхание было прерывистым и поверхностным. Срочно вызвали универсального донора (мы, медицинский персонал, почти все были тогда донорами и жили тут же, в больнице), ввели сердечные средства и перелили кровь. Несмотря на все усилия, больная, не приходя в сознание, скончалась. Даже часто видя смерть, привыкнуть к этому трудно. Мы были удручены и подавлены. Надо было спасти вторую женщину.

Вторая — худая, бледная, изможденная, с большими серыми глазами, перепуганными, удивленными, сидела тихая, держа на перевязи забинтованную, промокшую кровью руку, и мелко дрожала. Евгения Осиповна Червонобродова. Ее взяли в операционную, положили на стол, укрыли двумя простынями, к ногам пристроили грелку.

Операция прошла сравнительно спокойно. Все необходимое и возможное было сделано. Огнестрельное ранение левого предплечья в нижней трети с оскольчатый переломом обеих костей. Рана была загрязнена, и это усугубляло положение. Оскольчатый перелом тоже не сулил ничего хорошего. И все же нам очень хотелось руку ей сохранить, надежда теплилась. Слово было теперь за уходом и жизненной силой больной. Сон после наркоза еще не прошел, когда ее перенесли в палату.

Подробности происшествия прояснились не сразу, а постепенно. В конце концов картина вырисовалась достаточно четкая. Конвой вел в лагерь с лесоповала бригаду заключенных женщин. Вдруг две женщины вышли из строя и, взявшись за руки, пошли прочь. Конвоир остановил бригаду.

— Назад! — закричал конвоир. — Встать в строй!

Но женщины шли не оглядываясь, крепко держась за руки. Конвоир заволновался. Такого еще не бывало. Он шелкнул затвором и заорал срывающимся голосом:

— Назад, сволочи! Буду стрелять!

«Сволочи» между тем все удалялись и были уже весьма далеко.

Строй нарушился. Перепуганные лесорубы, точнее — лесорубицы сбились в кучу и начали голосить.

— Садись! — скомандовал конвоир строю и поднял высоко винтовку. Когда женщины сели, раздался выстрел. Две неле-

пого вида фигурки, державшиеся за руки, все удалялись. Тогда конвоир приложил винтовку к плечу, и еще два выстрела прогремели один за другим. Одна фигурка упала. Пошатнулась вторая и осела. Конвоир сделал еще три выстрела в воздух и перезарядил винтовку. Женщины сидели молча, прижавшись друг к другу. Вскоре на выстрелы прибежали три бойца и командир взвода охраны. Бригаду подняли с земли и повели в лагерь. Появились врач с фанерным чемоданчиком и начальник лагпункта. Раненых осмотрели, наложили повязки, начали на месте составлять акт...

Червонобродова шла на поправку. Потрясение еще не отпустило ее окончательно, она то улыбалась, то плакала. Есть почти не могла. Есть ее заставляли. Делали внутривенно хлористый кальций, глюкозу, переливали кровь. Каждый раз, когда она пыталась рассказать, «как все было», она не могла довести рассказ до конца, начинала рыдать.

Все же свою историю она рассказала. В бригаде женщин, работавших на лесоповале, преобладали «политические», то есть осужденные по статье 58 УК РСФСР или по литературным статьям Особого совещания и «троек» НКВД. Преобладали «жены» — жены «врагов народа». (Под Акмолинском, между прочим, был спецлагерь, целиком состоявший из «жен». Сокращенно он назывался АЛЖИР, что значило — Акмолинский лагерь жен изменников родины.) Так вот, в этой бригаде было еще пять-шесть блатнячек, которые сами не работали, но заставляли работать на себя «политических», избивали их нещадно, отнимали хлеб, «вольные тряпки» и делали без того адскую жизнь совершенно невыносимой.

Две женщины, две «жены», битые, голодные, измученные, изъеденные комарами и гнусом, обсудили свое положение и решили: лучше умереть, чем так жить дальше. Способ самоубийства выбрали надежный — они решили выйти из строя и вынудить конвоиров стрелять. Эти две слабые, уже немолодые женщины сознательно выбрали пулю, предпочтя ее унижительной жизни.

Червонобродова поправлялась. Уже сняли лубок, сформировалась костная мозоль, пальцы больной руки обретали подвижность. Сняты были повязки. С выпиской врачи не спешили — массаж, гимнастика пальцев делали свое дело. Когда она окрепла, отдохнула, стала активнее, врачебная комиссия признала ее инвалидом, и она вернулась на свой Эльген.

В последних числах декабря 1949 года мы с женой возвращались на Колыму из моего первого послелагерного отпуска.

Возвращались по Охотскому морю через Находку в Магадан. Обстоятельства сложились таким образом, что в Сусуман, из которого уезжали, мы не вернулись, а остались жить и работать в Магадане. В первые же дни по приезде мы встретили в Магадане Червонобродову. Она уже была вольной, работала в Магадане экономистом в горторге. Встреча была теплой и трогательной.

Во второй половине пятидесятых годов в Магадане мы получили письмо от Е.О. из Ростова. Она писала, что муж ее жив, что они снова вместе, оба реабилитированы и все было бы хорошо, если бы не болезнь мужа. Мы посылали из Магадана в Ростов лекарства и время от времени писали друг другу.

В 1973 году (в это время мы жили в Москве) на экскурсионном теплоходе «Ахтуба» мы попали в Ростов. У нас было несколько свободных часов, и мы решили Е.О. навестить. Она жила одна, похоронив мужа. Мы снова вспоминали Беличью и все, что было с ней связано. Позже Е.О. перебралась в Москву, где живет и работает ее сын. Она снимала комнату недалеко от нас и нередко нас навещала. Позже она получила от Моссовета комнату в коммунальной квартире в Ленинградском районе. Часто видится с сыном. Говорит, что он ласков и внимателен. Ей уже минуло семьдесят три года.

Когда эти мои воспоминания о ней были закончены или почти закончены, мне захотелось повидать ее. Мы не виделись с 1979 года, я тогда тяжело болел и долго еще оставался под тяжестью своего недуга. Я позвонил Е.О., назвал себя, сказал, что хочу ее повидать. Она меня не узнала, не вспомнила, но согласие на встречу дала.

Я купил цветы и поехал. Я увидел ее на улице. Она стояла у подъезда, маленькая, плохо одетая, озабоченная, утомленная. По телефону она рассказала сыну о моем неожиданном звонке, но забыла фамилию и не смогла объяснить, кто звонил. Сын сделал ей внушение, упрекнул в легкомыслии и не велел в дом пускать незнакомого человека. Вот и стояла она у подъезда, чтобы встретить того незнакомца на улице. Все это она рассказала потом. Я взял ее за плечи, назвал по имени, повернул к себе лицом и спросил:

— Не узнаете?

— Боже мой! — воскликнула она. — Боже мой! Как я могу вас не узнать?! Я ваше лицо помню всегда. Я видела только его, когда меня оперировали. А ваши легкие и веселые перевязки! Как я могла не узнать вас!

Она засуетилась, затопталась на месте.

— Пойдемте в дом, — сказала она. — Ах, как я рада вас видеть, как рада! Я должна сейчас же позвонить сыну, я должна рассказать, кто меня навестил.

— Вы очень мало изменились, Борис Николаевич. Все такой же, каким были на Беличьей, — сказала она, когда мы вошли в ее комнату.

— Сорок-то три года тому назад? — Я засмеялся.

Заставленная ненужными вещами, тускло освещенная, запущенная, пропахшая лекарствами комната говорила об одиночестве, о возрасте и настроении своей хозяйки. Евгения Осиповна посадила меня к столу и попросила соседку поставить чайник на газовую плиту.

— У меня прекрасный чай, — сказала она. — У меня очень хорошая заварка, — повторяла она, суетясь.

Потом, точно разбуженная, остановилась посреди комнаты, посмотрела на меня с тревогой.

— Скажите мне честно, Борис Николаевич, что привело вас ко мне? Может, что-то случилось? Может быть, что-нибудь нужно?

— Полноте, Евгения Осиповна! Ничего не случилось и ничего не нужно. Мы давно с Ниной Владимировной собирались вас повидать. Но это для нас стало сложным теперь: то болен я, то она, а то сразу оба... Недавно Беличью вспоминали, а с нею и вас. Хотели к вам вместе поехать, но Нина Владимировна не в форме. А я — ничего. Решил воспользоваться просветом и позвонил.

Она успокоилась.

Чай и впрямь оказался и крепким, и вкусным, и ароматным.

— Евгения Осиповна, а вы помните, что привело вас тогда на Беличью? — спросил я.

— Да, конечно, — сказала она. — Конечно!.. Когда меня оперировали, я все время видела ваше лицо. А когда вы позвонили, я вас не узнала. Вот если бы вы назвали Нину Владимировну, все бы стало ясным. Ах, Нина Владимировна! Какой она человек! Вот кого я никогда не забуду. Я как сейчас помню, когда на Беличью приехала комиссия отбирать на работу, Нина Владимировна заперла меня в рентгенкабинете и велела сидеть, пока комиссия не уедет. Она ведь сама рисковала, так поступая... А то, что она вышла замуж за вас, человека с пятьдесят восьмой статьей! А исключение из партии из-за этого! Какой она красивый человек, Нина Владимировна...

— Евгения Осиповна, — перебил я ее, — вы не ответили, как попали тогда на Беличью.

— Вот рука, — она протянула мне левую руку. Из-под короткого рукава виден был неправильно сросшийся перелом, деформация руки. Я видел эту руку более сорока лет назад, когда Е.О. поступила к нам с огнестрельным ранением. Видел долго еще потом.

— Я работала тогда на лесоповале, — сказала она, — была истощенной и очень слабой, а кости хрупкими. Споткнулась в лесу и, падая, сломала руку. Ее на Эльгене сложили, но плохо, криво срослась. Потом послали на Беличью, чтобы хорошие врачи исправили.

Я смотрел на нее недоумевая, сбитый с толку, пытаюсь понять, что с ней происходит.

— Что вы, Борис Николаевич, смотрите на меня так? — встрепенулась она. В голосе, в ее взоре заметалась тревога.

— Я подумал, какая вы были тогда красивая, — солгал я.

— Да, — сказала она, — я была тогда много лучше, чем теперь.

Из груди ее вырвался вздох облегчения. Мы оба засмеялись.

Я уже начинал догадываться, начинал понимать суть явления, свидетелем которого оказался. И не хотел ее больше тревожить. Но, вопреки своему желанию, задал еще один, последний вопрос:

— Евгения Осиповна, а вы случайно не помните одного чрезвычайного происшествия на Эльгене, когда конвой стрелял в двух женщин, намеренно вышедших из строя, чтобы быть убитыми? Обеих ранили. Одна скоро скончалась, вторая осталась жива...

Я смотрел на нее испытующе, затаив дыхание. Она задумалась.

— Нет, — сказала она, — я не помню такого случая. — И, помолчав, устало добавила: — На Эльгене такого случая не было.

Забыла?.. Она забыла!.. Выходит — можно забыть, можно забыть. Но как? Что это — гримаса старости, стертая временем запись?..

Я мысленно возвращаюсь назад, в 1947 год, год ее освобождения. Евгения Осиповна за зоной, за стенами лагеря, на воле. Она в России, в солнечном Ростове, среди людей, на кухне коммунальной квартиры, в очереди, в любом учреждении, где на утоление любопытства всегда сыщется время: «Что с рукой-то у вас, голубушка? Где это вас так?..»

Нет! Не расскажешь каждому встречному всей правды. И долог рассказ, и не всякий поймет. Не у всякого встретишь сочувствие. А надо жить среди этих усталых людей, замотанных, перепуганных. И родилась спасительная легенда: «Шла по лесу. Споткнулась о корень. Упала на руку. Сломала». Все удивительно ясно, просто, обыденно. И стало легко и удобно. Слава тебе, Господи!

А до XX съезда оставалось еще десять непредсказуемых лет. О переменах и помысла не было. Все казалось железным до скончания мира. А жить было нужно. И очень хотелось жить...

Так изо дня в день, из года в год повторяя один и тот же рассказ, — свыклась с ним, сжилась, срослась. И как хорошо! Не надо постоянно посыпать солью раны. Так незаметно прошло полвека. Время подернуло инеем оконце в былое... И старая больная женщина забыла горькую правду. Охранный рефлекс помогает ей спокойно дожить свою жизнь.

Мне стало не по себе, так неуютно, так стыдно: стыдно бестактности, необузданного любопытства. Что случилось со мной? Что случилось с моей некогда тонкой, чувствительной кожей? Когда успела она задубеть?!

С тяжелым чувством я возвращался домой.

САШКА ГРЫЗЛОВ

Последнее время я часто вспоминаю Сашку Грызлова. И вот в связи с чем вспоминаю: с чем нередко сталкиваюсь в магазинах.

Вот, скажем, торговля фасованными товарами — хорошая, прогрессивная форма торговли. Но в силу каких-то внутренних, глубинных причин почти всегда какого-нибудь вида товара оказывается недостаточно. Спрос ли превышает предложение, фасовщиц ли не хватает, товара ли, но образуется очередь, а с нею волнение, ажиотаж. Представим себе универсам, отдел колбасных изделий. Ящик-прилавок с фасованными продуктами стоит у застекленной стены, отделяющей торговый зал от фасовочной. В продаже приличная колбаса или сосиски. Желających много, фасовщики за ними не поспевают. Продавщица, стоящая у окна фасовочной, уже не выкладывает товар, не вываливает даже, а швыряет по одному-два веса зло, остервенело: кидает, как кидают собаке кость. И покупатель, как собака кость, хватает, ловит на лету фасовку, одновременно работая локтями, плечами и задом, защищая позицию. И я вспоминаю Сашку Грызлова...

В магазине «Бакалея» появилось растительное масло, долго в городе отсутствовавшее. Хвост очереди жметя на улице. В торговый зал пускают партиями в 10—12 человек. Масло в тонких, хрупких пластмассовых флаконах ценой 1 р. 05 к. находится недалеко от кассы в железном, метровой высоты контейнере. Пока контейнер был полон, движение покупателей шло быстро и сравнительно спокойно. Но вот масло почти на дне контейнера. Не всякому под силу до него дотянуться: у кого-то короткие ноги, у кого-то руки, у кого-то большой живот.

Передо мной отсекли очередь, запущенная партия бегом кинулась к контейнеру. Из-за плеча регулировщицы мне видно, что происходит в зале. Покупатели, отталкивая друг друга, ныряют в контейнер, перегибаясь, перевешиваясь через его высокий борт. Хватают флаконы из-под рук соседа и, перепачканные маслом, с дикими лицами выныривают наружу, ища глазами кассу. Одна маленькая полная женщина в зимнем пальто сделала какое-то необыкновенное усилие, подпрыгнула, перепрыгнула через борт контейнера, рискуя в него скатиться, схватила каждой рукой по флакону и повисла, как бельё на веревке, не в силах из контейнера выбраться.

Уже все ее однопартийцы выстроились к кассе, счастливые и потеплевшие, они смотрели на повисшую женщину, улыбались и перемигивались. Никто и не подумал помочь ей выбраться из контейнера.

Пустили следующую, мою партию. Мы тоже бросились к контейнеру бегом, надеясь, что на дне его еще что-то осталось. Те, кто взял по одному флакону масла, на повисшую с двумя флаконами женщину смотрели презрительно и осуждающе и помочь ей не спешили; те, у кого обе руки были заняты, считали (всем понятно!), помочь они не могут — не зубами же...

Рабочий магазина, наблюдавший не без интереса покупательские будни, подошел не спеша к контейнеру, приподнял его с противоположной стороны, и женщина сползла, съехала на пол. Она стояла, пошатываясь, с багровым синюшным лицом, губы ее дрожали, а с флаконов, намертво зажатых в руках, на пол капало масло.

Когда меня, схватившего флакон, от контейнера оттеснили, отпихнули и я мог уже перевести дух, невольно вспомнил Сашку Грызлова.

Я вышел из магазина на улицу, и порыв холодного воздуха несколько остудил, отрезвил мою разгоряченную голову. Густое, липкое чувство стыда и гадливости стало заполнять меня и переливаться через край. Я посмотрел на свою руку, крепко

сжимавшую мятый флакон. Я поднял этот флакон высоко, намереваясь с размаху пнуть его в урну или трахнуть его об асфальт. Но кто-то задержал мою руку на взмахе. Он, этот кто-то, заговорил во мне спокойным рассудительным тоном: «Что за истерика! Смешно даже... Тебя, законника и чистоплюя, ждут дома с маслом. Кстати, соседке тоже надо отдать стакан масла, взятый займы... Ну, ну... спокойно. Пошли домой... Вот так». Так, держа масло на вытянутой руке, я дошел до своего дома. Я шел и думал о Сашке Грызлове...

Как продают творог в магазине «Молоко» на соседней улице? Просторный торговый зал. Все, кроме сметаны, продается в фасованном виде. Творог бывает один раз в день с открытия магазина — если бывает. Творога привозят мало: две-три картонных коробки, которые разбирают в течение пяти-десяти минут. Поэтому к восьми часам утра на крыльце магазина уже стоит особняком «творожная» очередь, человек двадцать и более. Как только магазин открывают, творожная очередь занимает свое место у заветного стола, приставленного к облицованной кафелем колонне.

Иногда к открытию магазина творог уже в подсобке, чаще — запаздывает, и тогда очередь ждет привоза и час, и два. Но вот в очереди уже человек пятьдесят. Хвост очереди волнуется — на всех творога не хватит. И как-то незаметно и несознательно хвост все ближе и ближе придвигается к голове, то есть к столу.

За дверью протарахтела тележка, рабочий магазина везет творог. Он неторопливо снимает коробки с тележки и укладывает их на столе. В это время появляется одна из работниц магазина и объявляет: «По четыре пачки в руки!» Творог выдается, очередь движется, и через пять-семь минут вся эта очередь уже у кассы.

Но бывает, что отпускать творог никто не приходит. Тогда воинственный хвост (а, как сказал поэт, у очереди, как у скорпиона, весь яд в хвосте) бросается к столу, все коробки молниеносно вскрываются, десятки рук, работая одновременно локтями, врываются в чрево коробок, выхватывают брикеты творога, тут же ломая, давя, рассыпая по столу и по полу. Трещат рукава, воротники, сыпятся на пол пуговицы. На лицах людей появляется новое, особое выражение, такое знакомое и почти что забытое. Ноздри, способные раздуваться, — раздуваются, глаза становятся сухими и колючими, черты лица заостряются. Начинается необъявленная война всех против всех. И я опять вспоминаю Сашку Грызлова...

С Сашкой Грызловым я познакомился при следующих обстоятельствах. В сентябре 1939 года в амбулатории лагеря меня оперировали по поводу костного панариция среднего пальца правой руки. Я отказался от наркоза, и мне скоблили кость и мясо без обезболивания. Хирург, работая, поглядывал на меня с любопытством. Палец забинтовали, руку повесили на перевязь, сказали прийти через три дня на перевязку и на пять дней освободили от работы. Рука еще ныла, перехватывало от боли дыхание, но удивительное чувство свободы, блаженства охватило меня. Пять дней вне забоя, пять дней сам себе хозяин, пять дней сна и отдыха!..

Первый день я спал. На второй день я вышел за лагерь на косогор. Был холодный, но тихий, безветренный день. Я бродил целый день по распадку и косогору, собирая спелые, прихваченные морозцем сладкие плоды шиповника. Это был прекрасный десерт, он не утолял голода, но все же доставлял удовольствие. К этому времени я был уже настоящий фитильдоходяга, истощенный, голодный, слабый, с шершавой кожей и бурыми пятнами на животе, и все мои помыслы были заняты пищей. На третий день я пошел потолкаться в лагерной столовке, где собирались такие же, как и я, в надежде, что вдруг что-нибудь обломится. Близость пищи, хотя она была отгорожена от нас неприступной стеной, влекла к себе. Наш враг надежда не покидала нас.

Я зашел в столовский зал, пустой в этот час, в это время — между завтраком и обедом. Напротив окна хлебрезки топталась кучка доходяг. Они неторопливо и молча ходили по кругу — вокруг темного пятна на полу, временами бросая быстрые взгляды на окно хлебрезки. Я обошел стороной эту группу и стал у стены. В это время окошко хлебрезки открылось, и из него высунулась вихрастая темноволосая голова; она покрутилась в окне и исчезла. Ходившие по кругу «фитили» замерли, обратив свои лица к окну.

Вдруг что-то белое, небольшое вылетело из оконца, описало дугу в воздухе и шлепнулось на пол. Группа застывших в ожидании людей мгновенно рванулась в ту сторону. Моментально образовалась куча мала. Люди на четвереньках, на животе ползали по полу, тесня и толкая друг друга. Из окна хлебрезки раздавался нарочито громкий раскатистый смех. Скользя на темном пятне пола, облизывая пальцы и рукава бушлатов, поднимались, крихтя, матерясь и пошатываясь, доходяги. Я спросил одного из них, мимо меня ковылявшего, что это.

— Сливочное масло! — сказал он многозначительно, с большим уважением к маслу.

Я и подумать не мог, что в нашу лагерную кухню попадают такие изысканные продукты, как сливочное масло. Я даже следов масла никогда не замечал в своей миске. Пока я удивлялся такому открытию, новый кусок масла вылетел из окна хлеборезки, но уже в другом направлении. Страстные ценители жиров и углеводов, толкая друг друга, бросились к месту падения. Этот кусок тоже никому не достался, будучи раздавленным, размазанным по грязному дощатому полу. Звонкий залиvistый смех из окна хлеборезки сообщал об успехе затеи.

Когда я до конца осознал это римское развлечение хлебореза, во мне возмутилось еще не до конца вытравленное чувство человеческого достоинства. Я подошел к окошку и, глядя в сытую, самодовольную, ржущую физиономию хлебореза, сказал, что он гад, дерьмо и что таких гадов надо убивать еще в младенчестве.

Веселое выражение сползло с лица хлебореза. Он смотрел на меня с удивлением и враждебностью. То, что он слышал, никак не стыковалось в его понимании с обликом говорившего. Но что-то все же дошло до него. Он с силой захлопнул дверцы окна и через минуту был уже в зале. Он шел к кучке доходяг, отыскивая меня глазами. Передо мной остановился рослый, ладно сложенный, розовощекий, я бы сказал, с неплохим лицом парень.

— Повтори, что ты сказал, — проговорил он отдельно.

Я молчал.

— Повтори, умница, — прокричал он, наклоняясь ко мне.

Он оценивающе осмотрел меня с ног до головы и, не дожидаясь ответа, наложил на мое лицо свою пятерню и с силой толкнул.

Падая навзничь, я думал лишь о больной руке. Когда я оторвал от пола затылок, я увидел удаляющуюся спину хлебореза. Потом я узнал, что наш хлеборез — одесский карманник Сашка Грызлов, по кличке Часики. В хлеборезах Грызлов пробыл недолго. Он оказался хорошим танцором-четечочником, и его забрали в культбригаду.

Прошло более двух лет. На прииск с концертной программой приехали артисты. Я в то время был уже фельдшером, был чист, мыт, хорошо выбрит, в белом, подогнанном по росту халате. На территории лагеря меня остановил человек, одетый по-вольному, крупный, гладкий, красивый мужчина. Я без труда узнал в нем

бывшего хлебoreза Сашку Грызлова. Он тоже узнал меня сразу, узнал первым. Глядя на меня с интересом, он спросил:

— Слушай, какого хрена ты тогда заступался за этих шакалов?

— Они люди. Шакалами их сделали, — сказал я ему.

— Брось, шакалы они, дешевки. Чего их жалеть! — возразил он. — Ты тоже был фитилем, но на масло, как они, не кидался. Почему?

— Не дошел еще до кондиции, — ответил я, улыбаясь. — Ты, между прочим, тоже с тех пор к этим забавам не возвращался...

Он дружелюбно похлопал меня по плечу, и мы разошлись.

Римские забавы Сашки Грызлова я не забыл до сих пор. И, надо сказать, вспоминаю их достаточно часто.

КЕДРОВЫЙ СТЛАНИК

Этот человек обладал редкой особенностью: один глаз его был близоруким, другой — дальнозорким. Он способен был видеть мир вблизи и на расстоянии одновременно. И запоминать. Память у него была удивительная. Он помнил множество исторических событий, мелких бытовых фактов, лиц, фамилий, имен, жизненных историй, когда-либо услышанных.

Варлам Тихонович Шаламов родился в Вологде в 1907 году. Он никогда не говорил, но у меня сложилось представление, что он родился и вырос в семье священнослужителя или в семье очень религиозной. Он до тонкости знал православие, его историю, обычаи, обряды и праздники. Он не был лишен предрассудков и суеверий. Верил в хиромантию, например, и сам гадал по руке. О своем суеверии он не раз говорил и в стихах и в прозе. При всем том он был хорошо образован, начитан и до самозабвения любил и знал поэзию. Все это уживалось в нем без заметных конфликтов.

Мы познакомились с ним ранней весной 1944 года, когда солнышко стало уже пригревать и ходячие больные, пододевшись, выходили на крылечки и завалинки своих отделений.

В центральной больнице Севлага, в семи километрах от поселка Ягодное, центра Северного горнопромышленного района, я работал фельдшером двух хирургических отделений, чистого и гнойного, был операционным братом двух операционных, ведал станцией переливания крови и урывками организовывал клиническую лабораторию, которой в больнице не было. Свои функции я выполнял ежедневно, круглосуточно и без выходных дней. Прошло сравнительно мало времени, как я вырвался из

забоя, и был непомерно счастлив, обретя работу, которой собирался посвятить свою жизнь, а кроме того, обретал надежду эту жизнь сохранить. Помещение под лабораторию было отведено во втором терапевтическом отделении, где с диагнозом алиментарная дистрофия и полиавитаминоз находился Шаламов уже несколько месяцев.

Шла война. Золотые прииски Колымы были для страны «цехом номер один», и само золото называлось тогда «металлом номер один». Фронту нужны были солдаты, приискам — рабочая сила. Это было время, когда колымские лагеря уже не пополнялись столь щедро, как прежде, в довоенное время. Пополнение лагерей с фронта еще не началось, не началось пополнение пленными и репатрированными. По этой причине восстановлению рабочей силы в лагерях стали придавать большое значение.

Шаламов уже отоспался в больнице, отогрелся, появилось мясо на костях. Его крупная долговязая фигура, где бы он ни появлялся, бросалась в глаза и дразнила начальство. Шаламов, зная свою эту особенность, усиленно искал пути как-то зацепиться, задержаться в больнице, отодвинуть возвращение к тачке, кайлу и лопате как можно дальше.

Как-то Шаламов остановил меня в коридоре отделения, что-то спросил, поинтересовался, откуда я, какая статья, срок, в чем обвинялся, люблю ли стихи, проявляю ли к ним интерес. Я рассказал ему, что жил в Москве, учился в 3-м Московском медицинском институте, что в квартире заслуженного и известного тогда фотохудожника М.С.Наппельбаума собиралась поэтическая молодежь (младшая дочь Наппельбаума училась на первых курсах отделения поэзии Литинститута). Я бывал в этой компании, где читались свои и чужие стихи. Все эти ребята и девушки, или почти все, были арестованы, обвинены в участии в контрреволюционной студенческой организации. В моем обвинении значилось также чтение стихов Анны Ахматовой и Николая Гумилева.

С Шаламовым мы сразу нашли общий язык, мне он понравился. Я без труда понял его тревоги и пообещал, чем сумею, помочь.

Главным врачом больницы была в то время молодой энергичный врач Нина Владимировна Савоева, выпускница 1-го Московского медицинского института 1940 года, человек с развитым чувством врачебного долга, сострадания и ответственности. При распределении она добровольно выбрала Колыму. В больнице на несколько сот коек она знала каждого тяжелого

больного в лицо, знала о нем все и лично следила за ходом лечения. Шаламов сразу попал в поле ее зрения и не выходил из него, пока не был поставлен на ноги. Ученица Бурденко, она была еще и хирургом. Мы ежедневно встречались с ней в операционных, на перевязках, на обходах. Ко мне она была расположена, делилась своими заботами, доверяла моим оценкам людей. Когда среди доходяг я находил людей хороших, умелых, работающих, она помогала им, если могла — трудоустраивала.

Тренируя память, Варлам записал в двух толстых самодельных тетрадах стихи русских поэтов XIX и начала XX века и подарил те тетради Нине Владимировне. Она хранит их...

Меня, провинциального паренька, такая поэтическая эрудиция, удивительная память на стихи поражала и глубоко волновала. Мне жаль было этого даровитого человека, игрою недобрых сил выброшенного из жизни. Я им искренне восхищался. И делал все, что было в моих силах, чтобы оттянуть его возвращение на прииски, эти полигоны уничтожения. На Беличьей Шаламов пробыл до конца 1945 года. Два с лишним года передышки, отдыха, накопления сил — для того места и того времени это было немало.

Удивительно! Глаза, в которые я так часто и подолгу смотрел, не сохранили в памяти цвета. Зато запомнились присущие им выражения. Глаза были светлыми — светло-серыми или светло-карими. Они были посажены глубоко и смотрели из глубины внимательно и зорко. Лицо его было почти лишено растительности. Небольшой и очень мягкий нос он постоянно мял и сворачивал набок. Казалось, что нос лишен костей и хрящей. Небольшой и подвижный рот мог вытягиваться в длинную тонкую полоску. Когда Варлам Тихонович хотел сосредоточиться, он стребал губы пальцами и держал их в руке. Когда предавался воспоминаниям, выбрасывал руку перед собой и внимательно разглядывал ладонь, при этом его пальцы круто изгибались в тыльную сторону. Когда он что-то доказывал, выбрасывал обе руки вперед, разжав кулаки, и как бы подносил к вашему лицу на раскрытых ладонях свои аргументы. При его большом росте кисть его руки была небольшой и не содержала даже малых следов физического труда и напряжения. Пожатие ее было вялым.

Он часто упирал язык в щеку, то в одну, то в другую, и водил изнутри языком по щеке.

У него была мягкая, добрая улыбка. Улыбались глаза и чуть заметно рот, его уголки. Когда он смеялся, а это случалось ред-

ко, из груди его вырывались странные, высокие, словно рыдающие звуки. Одним из любимых его выражений было: «Душа из них вон!» При этом он рубил воздух ребром ладони.

Говорил он трудно, подыскивая слова, пересыпая речь междометиями. В его бытовой речи многое оставалось от лагерного бытия. Возможно, это была бравада.

«Вот купил новые колеса!» — говорил он, довольный, и по очереди выставлял ноги в новых ботинках.

«Вчера весь день кантовался. Отопью пару глотков крушины и по новой валюсь на кровать с этой книгой. Вчера дочитал. Отличная книга. Вот так надо писать! — он протянул мне нетолстую книгу. — Не знаешь? Юрий Домбровский, “Хранитель древностей”. Дарю тебе».

«Темнят, гады, чернуху раскидывают», — говорил он о ком-нибудь.

«Жрать будешь?» — спрашивал он меня. Если я не возражал, мы шли на общую кухню. Он извлекал откуда-то коробку с остатками вафельного торта «Сюрприз», разрезал на куски, приговаривая: «Отличная жратва! Ты не смейся. Вкусная, сытная, питательная и готовить не надо». И были в его действиях с тортом широта, свобода, даже некая удаля. Я невольно вспоминал Беличью, там он ел по-другому. Когда мы раздобывали что-нибудь пожевать, он приступал к этому делу без улыбки, очень серьезно. Он откусывал понемногу, неторопливо, жевал прочувствованно, внимательно разглядывая то, что ел, поднося близко к глазам. При этом во всем его облике — лице, теле — угадывались необыкновенная напряженность и настороженность. Особенно это чувствовалось в неторопливых, рассчитанных его движениях. Каждый раз мне казалось: сделай я что-нибудь резкое, неожиданное — и Варлам молниеносно отпрянет. Инстинктивно, подсознательно. Или так же мгновенно кинет оставшийся кусок в рот и захлопнет его. Меня это занимало. Возможно, я сам ел точно так же, но себя я не видел. Теперь жена часто упрекает меня, что я ем слишком быстро и увлеченно. Я этого не замечаю. Наверно, это так, наверно, это «оттуда»...

Кедрач, или кедровый стланик, — кустистое растение с мощными древовидными ветвями, достигающими толщины в десять-пятнадцать сантиметров. Ветки его покрыты длинными темно-зелеными иглами хвои. Летом ветви этого растения стоят почти вертикально, устремляя свою пышную хвою к не очень жаркому колымскому солнцу. Ветка стланика щедро усыпана мелкими

шишками, наполненными тоже мелкими, но вкусными, настоящими кедровыми орешками. Таков кедрач летом. С наступлением зимы он опускает свои ветви к земле и прижимается к ней. Северные снега покрывают его толстой шубой и сохраняют до весны от лютых колымских морозов. А с первыми весенними лучами он пробивает свой снежный покров. Всю зиму он стелется по земле. Вот почему кедрач называют стлаником.

Между небом весенним и небом осенним над нашей землей не столь уж большой промежуток. А поэтому, как и следует ожидать, не очень рослая, не очень броская, не очень пышная северная флора спешит, торопится зацвести, процвести, отплодоносить. Спешат деревья, спешат кустарники, спешат цветы и травы, спешат лишайники и мхи — все спешат уложиться в отведенные им природой сроки.

Великий жизнелюб, стланик плотно прижался к земле. Лег снег. Сизый дымок из трубы магаданского хлебозавода изменил направление — потянулся к бухте. Кончилось лето.

Как встречают на Колыме Новый год? С елкой, конечно! Но ель на Колыме не растет. Колымская «елка» делается так: срубается лиственница нужного размера, наголо обрубаются ветки, ствол обсерливаются, в отверстия вставляются ветки стланика. И чудо-елка ставится в крестовину. Пышная, зеленая, ароматная, заполняющая помещение терпким запахом теплой смолы новогодняя елка — большая радость для детей и для взрослых.

Колымчане, вернувшиеся на «материк», к настоящей елке привыкнуть не могут, с нежностью вспоминают составную колымскую «елку».

У Шаламова о кедровом стланике написано много в стихах и в прозе. Расскажу об одном эпизоде, вызвавшем к жизни два произведения Варлама Шаламова, прозаическое и поэтическое: рассказ и стихотворение.

В растительном мире Колымы два символических растения — это кедровый стланик и лиственница. Мне кажется, кедровый стланик символичен в большей степени.

К новому, 1964 году авиабандеролью я послал из Магадана в Москву Варламу Тихоновичу несколько свежесрезанных веток стланика. Он догадался поставить стланик в воду. Стланик жил в доме долго, наполняя жилище запахом смолы и тайги. В письме от 8 января 1964 года В.Т. писал:

«Дорогой Борис, жестокий грипп не дает мне возможности поблагодарить тебя достойным образом за твой отличный подарок. Самое удивительное, что стланик оказался невиданным

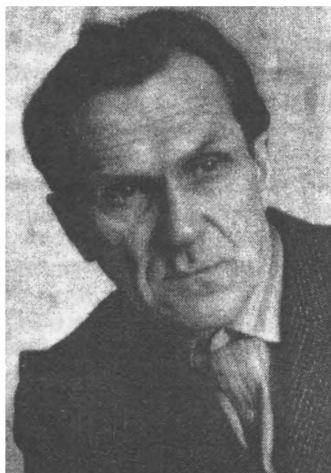
зверем для москвичей, саратовцев, вологжан. Нюхали, говорили: «Пахнет елкой». А пахнет стланик не елкой, а хвоей в ее родовом значении, где есть и сосна, и ель, и можжевельник».

Прозаическое произведение, навеянное этим новогодним подарком, — рассказ. Он посвящался Нине Владимировне и мне. Здесь уместно сказать, что Нина Владимировна Савоева, бывший главный врач больницы на Беличьей, в 1946 году, через год после моего освобождения, стала моей женой.

Когда Варлам Тихонович пересказывал продуманное им содержание будущего рассказа, я не согласился с некоторыми его положениями и деталями. Просил их убрать и не называть наших имен. Он внял моим пожеланиям. И родился рассказ, который мы знаем теперь под названием «Воскрешение лиственницы».

Стихотворение опубликовано в 1967 году в книге стихов «Дорога и судьба». Звучит оно так:

Я не лекарственные травы
В столе храню,
Их трогаю не для забавы
Сто раз на дню.
Я сохраняю амулеты
В черте Москвы,
Народной магии предметы —
Клочки травы.
В свой дальний путь,
В свой путь недетский
Я взял в Москву —
Как тот царевич половецкий
Емшан-траву, —
Я ветку стланика с собою
Привез сюда,
Чтоб управлять своей судьбою
Из царства льда.



Письма Б. Лесняку

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

Письма Б. Лесняку

Москва, 22 февраля 1962 г.

Дорогой Борис... В письме твоём очень много вопросов. Попытаюсь ответить, как могу и понимаю.

Писать нужно все время, не стремясь обязательно к печатанию. Это вещи... разные — печататься и писать. Конечно, рассказ психологического плана есть самый достойный род прозы. И уж кому, как не тебе, заставить поработать подробности, мелочи для этой цели. Надо иметь только волю отвлечься от текущего дня, вернуться к «утраченному времени», перечувствовать тот, прежний мир — обязательно с болью душевной, а без боли ничего не получится. Словом, надо пережить, перечувствовать больное, как бы разбедерить раны. Ни о каких «позициях» и «реализмах» думать во время работы не надо, да и не писателя это дело, а дело критиков, литературоведов и т.д.

Присылай рассказ, прочту охотно. Убежден в его цельности, новизне, остроте зрения.

Сейчас Солженицын показывает нашим «писателям», что такое писательский долг, писательская честь. Все три рассказа его — чуть ли не лучшее, что писалось за сорок лет.

«Сюжеты», как ты выражаешься, вернутся, если поработать прилежно. Ты не разучился наблюдать жизнь, а не приобрел еще писательских навыков, как мне кажется.

О лагере надо писать обязательно. Скорее. Память — инструмент несовершенный, ненадежный. Потому у тебя и затруднения с «сюжетом». Надо вернуться не столько мыслями, сколько чувствами в лагерный мир.

За почерк меня прости. Это не по торопливости, не по небрежности — это вследствие моей болезни — дрожит рука и равновесие не могу сохранить...

В последнем номере альманаха «На Севере дальнем» (2, 1962) напечатана повесть Козлова о Берзине. Первые главы крайне поверхностны, слабы. Вишера (на Северном Урале) занимает в берзинской жизни важное место — он проводил там правительственный эксперимент особого рода (отнюдь не секретный), что и было содержанием его работы на Вишере, — а в повести об этом даже не упомянуто. Козлов даже не догадывается о сути вещей.

Там были люди, его сотрудники, не мельче самого Берзина. Но, конечно, это — не Эпштейн и не Алмазов (бухгалтер и плановик!), и не Эпштейна и Алмазова имеют в виду, когда говорят о «вишерцах» на Колыме. Я ведь Берзина знаю, был с ним на Вишере, знаю все его окружение. В Москве живет немало людей тогдашней Вишеры, и можно только удивляться, что Козлов за десять лет собрал такой удивительно несерьезный и беспечный материал. Не знаю, что будет дальше. Ну, бог с ним.

Нине Владимировне — мой сердечный привет. Это письмо вам обоим — и Нине Владимировне, и тебе.

Здоровье мое плохое. Впрочем, я продолжаю верить, что начатое на 22 съезде партии не остановится и поборет все препятствия, которые очень велики.

Вот тебе сюжет для рассказа. «История болезни» — по форме, по бланку, каких были тысячи, десятки тысяч. С лабораторным анализом, следами переломов от побоев, пеллагры. Анамнез морби и анамнез вита. И смерть. И секционный акт, где диагноз не сходится, но подгоняется под какой-нибудь «нейтральный»...

Пиши.

В.

Москва, 23 марта 1963 г.

Дорогой Борис. Прости меня, что отвечаю поздно, — здоровье так плохо, что проходят недели, пока напишешь два слова

(в этом и ответ на твои настоятельные просьбы сообщить о моих планах).

Рассказ «Три Д» неудачен — за текстом не чувствуется трагедии. Райский же хвостик в виде дочери, играющей на пианино — это дешевый газетный штамп. Даже не беллетристический, а газетный — прием, который может угробить любой материал.

Помнить нужно вот что: успех художественного произведения решает его новизна. Эта новизна многосторонняя: новизна материала или сюжета, идеи, характеров, психологических наблюдений, которые должны быть новы, тонки и точны, новизна описаний в пейзаже, в портрете; свежесть и своеобразие языка.

Второе, что тебе надо очень хорошо понять: правда действительности и художественная правда — вещи разные. Истинно художественное произведение — всегда отбор, обобщение, вывод. В рассказе нужна выдумка, вымысел, «заострение сюжета». К основной схеме должны быть добавки разновременные, ибо рассказ — не описание случая.

Третье: наша сила — в нашем материале, в его достоверности. И любой прямой мемуар в полном согласии с датами и именами более «соответствует» нашим знаниям о предмете. У произведения, имеющего вид документа, — сила особая. Конечно, есть художники, добивающиеся успеха в преодолении действительности, не потерявшие силу мемуара, преодолевая мемуар (Достоевский с «Записками из мертвого дома», Солженицын с «Одним днем Ивана Денисовича»). Но уже Толстой в «Воскресении» с его тюремными сценами слабоват, второсортен.

Я думаю, что тебе нужно непрерывно писать, не предлагая пока того, что выйдет из-под пера. Не сердись на меня за «отзыв». Я мог бы найти в «Трех Д» и плюсы, и достоинства, но по рассказу вижу, что кое-что важное в литературном деле ушло из поля твоего зрения. Пиши. Ты же рассказчик гоголевского склада, обличитель, и вдруг... пианино.

Твой В.

Москва, 8 января 1964 г.

Дорогой Борис!

Жестокий грипп не дает мне возможности поблагодарить тебя достойным образом за твой отличный подарок. Самое удивительное, что стланик оказался невиданным зверем для москвичей, саратовцев, вологжан. Нюхали, главное говорили: «Пахнет ел-

кой». А пахнет стланик не елкой, а хвоей в ее родовом значении, где есть и сосна, и ель, и можжевельник. Словом — жму руку...

Твой В. Шаламов.

Москва, 26 апреля 1964 г.

Дорогой Борис.

В № 4 «Нового мира» за этот год, только что вышедшем, помещены воспоминания о Колыме одного из колымских доходяг — генерала армии Горбатова («Годы и войны»). Речь идет о 1939 годе, о Мальдяке и о больнице 23<-го> километра. Обязательно найди и прочти. Это — первая вещь о Колыме, в которой есть дыхание лагеря (и истина), хотя в уменьшенном «масштабе».

Я думаю, что ты вспомнишь и то, что забыл Горбатов, — фамилию того фельдшера, который работал на Мальдяке в 1939 году. Прошу ответить мне незамедлительно.

В. Шаламов.

Дорогой Борис!

Получил твою посылку и за все благодарю.

Магаданский значок изящен, но был бы еще лучше, если <бы> вместо елки в левой половине щита стоял стланиковый куст или лиственница — никакие другие деревья не могут быть символом Магадана, знаком Дальнего Севера, в том числе и ель. В комиссии, утверждающей проекты, должны быть люди, понимающие разницу между елью и лиственницей — именно в нашем, колымском, лагерном плане. Для нас не всякая хвоя была символом жестокости, недружелюбия, угнетения и не всякая хвоя была знаком надежды.

Очень хорош учебник географии Петрова. Благодарю за подарок. В нем, конечно, нет очень многого — и, в частности, исторического содержания, и в подробностях колымской природы (стланик, поднимающий свои ветви среди зимы от костра и опускающий их, когда костер погаснет; грибы-великаны, будто выращенные мощным гидропонным способом, цветы без запаха, птицы без весеннего пения, весна без дождей и многое, многое другое), и все же работа Петрова — лучшее в своем роде издание, наиболее ответственное (поскольку это — учебник). Я вспоминаю, что в школьные географические учебники в тече-

ние сорока лет не включали одну восьмую часть Советского Союза — ту самую, о которой написана работа.

Теперь о вопросах принципиальных. Ты пишешь, что не понял моего замечания о стихотворении «Шоссе». Постараюсь объяснить подробнее. Стихи пишутся не для того, чтобы по ним изучали природу, топографию местности, улицы и площади. Стихи — не путеводитель по городу. Ни при возникновении замысла, ни при записи, ни при окончательном контроле и шлифовке — нигде и никогда в творчестве не ставится задача изучения природы, описания природы. В стихотворении речь идет о душе и только о душе. Более того: пока пейзаж не заговорит по-человечески — его нельзя и называть пейзажем. Это будет лишь мертвое описание, лишённое поэзии, не способное тронуть человеческое сердце. Стихотворение «Шоссе» (которое выбрано тобой как пример изображения «труженицы-дороги») написано только для того и только потому, чтобы показать, что все бурлацкое, все каторжное, что я знаю об этом мире, — заслуживает ангельской, небесной жизни.

Вот суть этого стихотворения, его мотив и смысл.

О рецензиях. Твоя рецензия, повторяю, мне понравилась, хотя она и написана по тем канонам, которые преподаются в школе и литературных кружках. Я должен всегда помнить, что ничего другого редакция и не напечатала бы, вероятно. По всей вероятности — это максимум возможного.

Рецензию В.М.Инбер ты оценил очень невнимательно. Дело не только в доброжелательности. В рецензии начат очень важный разговор о том, что делать с бесчисленными «Самородками», вроде шелестовского, и творениями Алдан-Семенова, заполнившими поэтический рынок. Можно ли простить выступления целой тучи бездарностей — только потому, что они «сидели» в свое время. Может ли простить их выступления поэзия — «пресволочнейшая штукавина». В.М.Инбер считает, что нельзя. Ибо искусству (к сожалению или к счастью, как на чей вкус) нет дела до того, страдал бездарный автор или нет. И я считаю, что нельзя. Возможно, эту мысль надо было, можно было выразить яснее. Возможно, редакции «Литературной газеты» кое-что в этом отношении следовало прояснить. Но В.М.Инбер принадлежит уже не один десяток лет к числу писателей, которых в редакциях не правят.

В.М.Инбер не понравилось в «Огнive» стихотворение «Камея» (неполный текст), пока я не познакомил ее с полным текстом этого маленького стихотворения. Свое изменившееся

мнение В.М. сочла нужным подтвердить публично, официально (в рецензии). В рецензии В.М.Инбер есть одна ошибка. Речь идет о стихотворении «Виктору Гюго». В.М. показалось, что это стихотворение относится к лагерю, тогда как «нетопленный театр» — это Вологда моего детства, двадцатые годы, самый первый увиденный мной театральным спектакль — «Эрнани» с Н.П.Россовым (был такой в России знаменитый бродячий актер-трагик), игравшим глубоким стариком роль молодого короля Карла в этой пьесе. Вот это — восхищение, ошеломление детских лет, вызванное первым театральным спектаклем, восхищение гением Виктора Гюго я и старался выразить. (Человек, сказавший, что Виктор Гюго жил и умер мальчиком с церковного клироса — Анатолий Франс — фигура ничтожная по сравнению с Виктором Гюго.)

Вот о чем шла речь в стихотворении «Виктору Гюго». А Вере Михайловне Инбер показалось, что тут речь идет о лагере, а нетопленный театр в снежной Вологде кажется В.М. чуть ли не краем света. Я хотел написать ей об этом в письме (у меня есть ее письма), но потом передумал и оставляю ее отклик как некий общественный и литературный факт, как своеобразную аберрацию. Лагерь был и остается Книгой за семью печатями — В.М.Инбер считает худшим наказанием смотреть «Эрнани» в снежной Вологде — дальше этого представить человеческие страдания автор «Пулковского меридиана» не решается. В этой ошибке есть нечто общее с впечатлением читателей повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Большое количество читателей принимают повесть как изображение картины «ужасов» — а до подлинного ужаса там очень, очень далеко, и надо было десятилетие по крайней мере смертей, произвола (который только сейчас называется произволом), чтобы получить этот «каторжный лагерь». Все это — такой интересный и психологически значительный оборот дела, что я решил не нарушать иллюзию.

Наконец — третий вопрос — о значении Крайнего Севера в моей работе (или творчестве, как теперь говорят). В пушкинские и даже в некрасовские времена слово «автор» обозначало «сочинитель», писатель. Теперь же пишут: «Автор гола в ворота «Спартака»» и так далее. Я пишу стихи с детства, а в юности собирался стать Шекспиром или по крайней мере Лермонтовым и был уверен, что имею для этого силы. Дальний Север — точнее лагерь, ибо Север только в лагерном своем обличье являлся мне, — уничтожил эти мои намерения. Север изуродовал, обед-

нил, сузил, обезобразил мое искусство и оставил в душе только великий гнев, которому я и служу остатками своих слабеющих сил. В этом и только в этом значение Дальнего Севера в моем творчестве. Колымский лагерь (как и всякий лагерь) — школа отрицательная с первого до последнего часа. Человеку, чтобы быть человеком, не надо вовсе знать и даже просто видеть лагерную Колыму. Никаких тайн искусства Север мне не открыл.

Есть одно важное наблюдение, заслуживающее особого разговора, но связанное и со сказанным только что. Писатель не должен слишком хорошо, чересчур хорошо знать свой материал. Если писатель знает материал «слишком» — он переходит на сторону материала и теряет способность выступать от имени читателей, для которых он пишет (в смысле настоящего писательства, а не заказа). Читатели перестают понимать его. Связь нарушается. То, что казалось раньше важным (ему и его читателю), — сейчас кажется чушью, пустяками — и это не новое открытие мира, в который он может ввести читателя (это бывает всегдашней писательской задачей), а страна, где говорят на другом языке и думают по-другому. Драка из-за куска селедки важнее мировых событий — это простой пример «сдвига», «смещения масштабов». То, о чем сказано скороговоркой, походя и автору понятно и близко (иное решение нарушает художественность словесной ткани, как примечания-сноски разрушают стихи) — для читателя требует подробного, постепенного, а главное — талантливого предварительного объяснения. Писателю же в это время такая подготовка кажется ненужной. Да и не всегда возможно объяснить. Таких примеров ты можешь сам представить бесчисленное количество.

Вот кое-что из того, что я тебе хотел сказать по поводу и твоего письма, и твоей рецензии...

Жму руку.

В. Шаламов

Москва, 5 августа 1964 г.

Прошу прощения за машинку. Переписывать такое большое письмо нет сил, а черновики небрежны.

Москва, 14 января 1965 г.

Дорогой Борис.

Спасибо за книжную посылку. Не скрою, что подбор меня удивил. Мне ведь хотелось: описания географические, исторические работы, документы, дневники, записки, мемуары, ис-

следования, все, что угодно, но не бессовестную болтовню господина Вяткина.

Из уважения к затраченному тобой труду по пересылке почтовой я просмотрел роман. Эту «книгу» написал подлец. Ведь печатались и Вронский, Галченко — неужели все исчезло? Учебник географии был превосходным подарком, и я думал, что в издательстве есть и еще кое-что дельное.

Рассказ «Вейсманист» я тебе покажу в Москве.

Разумеется, упоминая Вяткина в предыдущем письме, я думал, что это дневник, документ... Прошу прощения. Отрицательная оценка «романа» (о котором мои корреспонденты писали как о книге, в которой есть все, кроме правды) — нежелание получить из Магадана что-либо. Но поостроже, поостроже... Без повестей и рассказов...

В. Ш.

Москва, 1 марта 1965 г.

Борис, некоторое время назад звонила твоя мама — почему я тебе ничего не пишу... Но я тебе ответил на твое письмо и посылку. Мой скептицизм тебе не следует принимать всерьез — в конце концов, то, что тебе покажется интересным и полезным для меня — то и посылай...

Привет Нине Владимировне. Жду вас обоих в Москву.

Ваш, твой В. Шаламов.

Удивительная вещь. Никто из тех, кому я показывал присланную тобой ветку стланика, — не представляют, не воображают себе это растение. Им легче химеры с Собора Парижской Богоматери вообразить, чем стланик. Большое спасибо тебе за подарок.

Москва, 17 апреля 1969 г.

Дорогой Борис!

Спасибо за книжку Яновского. Эту книжку написал подлец. Учебник географии Кузьмина выглядит много порядочнее. Автор видит решение колымского вопроса в навечном прикреплении людей к Северу — ясно, что для «комплекса» не имеет значения, чем прикрепляют — длинным рублем или колючей проволокой — до концлагерей тут один шаг.

Как ни безразлична мне современная Колыма, я с жадностью ловлю каждую кроху сведений о любом дне из тех двадцати лет нашей колымской жизни. Тот исторический период (с 1932 по 1956 год) бесконечно важнее всей Колымы историче-

ской и всей Колымы современной для русской истории. Поистине мы с тобой наблюдали «мир в его минуты роковые».

Автор брошюры «Человек и Север» хотел бы отменить мороз и ветер, отменить климат. Увы — автор не в силах отменить географию. Он не в силах отменить и историю, как бы ни хотел замолчать, исказить, отрицать все, что было, оболгать мертвецов и прославить убийц.

Привет Н.В.

С уважением и симпатией *В. Шаламов.*

Публикация писем Б.Н. Лесняка

ИЗ-ПОД «КРАСНОГО КОЛЕСА»

Воспоминания детей «врагов народа»

Скупые и бесхитростные воспоминания этих теперь уже пожилых и старых людей — лишь малая толика «тьмы и тьмы» драматических судеб. Методичное, тотальное уничтожение миллионов людей — расстрелы и медленное убивание в лагерях — это страшно. Не менее преступно и страшно разрушение в масштабах целой страны ее природной основы — семьи, сознательное выжигание из детских сердец чувства кровного родства, любви, привязанности к близким. Детей разлучали не только с отцом, но и с матерью («выслана как ЧСИР» — жуткое, колченогое слово!). Направляя детей в детдома, разлучали, порой навсегда, братьев и сестер. Естественная ячейка человеческого общества — семья — насильственно заменялась воспитанием в социалистическом коллективе, часто бездушном и жестоком.

Письма детей, попавших под кровавое колесо сталинских репрессий, собраны Изольдой Николаевной Руденской, сотрудницей московского «Мемориала».

* * *

Мой отец Арнольд Линде — член социал-демократической партии Латвии с 1912 года, коммунист, участник Гражданской войны, из военного комсостава — был арестован в декабре 1937 года, в 1938-м — расстрелян. Мать, Валентина Николаевна, арестована в 1938 году — пять лет ИТЛ, тринадцать лет поселения.

Мне было шесть с половиной, сестренке Аэллочке — одиннадцать. Бабушка отвела нас в Московский детский распределитель и на коленях ползала (это я помню), умоляла, чтобы нас с сестрой не разлучали. И умолила: нас отправили вместе в Таращанский детский дом на Украине. Начались поиски папы и мамы. Сестра несколько раз писала Берии (мы, дети, знали уже это имя): где наши дорогие папочка и мамочка? Он нам ответил 14 апреля 1940 года (письмо сохранилось): «Материалы находятся на расследовании, о результатах вам будет сообщено...»

Началась война. Таращу оккупировали немцы. Мы оказались вообще брошенными на произвол судьбы, так как воспитатели и другие работники детдома ушли в свои семьи, а мы, дети, начали самостоятельную жизнь при «новом порядке». Тех мальчиков и девочек, кому исполнилось 14 лет, сразу угнали в Германию. Ребят еврейской национальности расстреляли у нас на глазах. Только одна девочка, Роза Факторович, чудом спаслась. Нас, малолеток, оставалось совсем немного в одном корпусе. Мы были обречены на естественное вымирание. Чем питались? А кто еще был поздоровее, уходил просить милостыню на несколько дней, за десятки километров. Приходили, развязывали наволочки, где были куски хлеба и разная немудреная еда, и раздавали больным, слабеньким и маленьким. Начались болезни: чесотка, дифтерит, страшно донимали вши и глисты, лечить-то некому и нечем. Начали тихо умирать. Какие же мы были страшные, завшивленные, расчесанные от чесотки до крови, в струпьях, лохмотьях! Сами же и хоронили, дети — детей. Аэллочка, сестра, в свои неполные четырнадцать лет глубокой осенью 1941 года, в ситцевом платьице и калошах на босу ногу, пешком пошла искать единственного человека нашей семьи на свободе — бабушку... И дошла, где-то километров двести прошла она пешком, нашла бабушку в Виннице, сама в лохмотьях, струпьях, грязная, худющая, — и сказала бабушке, чтобы она поскорее ехала, забирала меня, иначе я скоро умру...

Ермашова Мильда Арнольдовна, Алма-Ата

* * *

Мой отец Клиновский Дмитрий Степанович — балтийский моряк, участник гражданской войны. В 1933 году был первым секретарем Одесского горкома партии, потом работал в Одесском обкоме. Его арестовали в июле 1937 года. 3 сентября того же года арестовали мать, Голдшмидт-Клиновскую БERTУ Ве-

ниаминовну. Позднее я узнал, что в день ареста матери был расстрелян отец и другие члены Одесского обкома.

Мне было тогда пятнадцать лет, я учился в восьмом классе школы. Меня отвезли в приемник-распределитель, где были дети от ясельного возраста до 15–16 лет. 6 ноября меня вместе с дочерью председателя облисполкома Шурой Бойко и Аллой Зуерман отвезли в тюрьму. Камера-одиночка была набита людьми – 25–30 человек. Сесть некуда. Духота, все были раздетыми. Посередине ночи мы садились, а другая сторона ложилась.

Весной 1938 года объявили решение ОСО – статья 58-я, пять лет лагерей. Отправили в Кировоградскую тюрьму, дальше по этапу – Пенза, Горький, Котлас... Со мной было еще пять человек – детей «врагов народа». Привезли в Ухту. Лесоповал. Я пацан худой, слабый, а надо валить лес на морозе – шевелись, а то замерзнешь! Барак общий с урками. Все лучшее – им, а мы – «враги народа». Были минуты отчаяния. Когда лежал обмороженный, травился стрихнином.

В 1941 году хлопотами родственников был освобожден. Потом – участник Великой Отечественной войны: лыжный отряд 21-й армии. Тяжелое ранение. В 1943 году попал в плен, был в ряде лагерей, бежал, воевал в партизанском отряде, потом брал Берлин, Дрезден – там и закончил войну. Инвалид второй группы, персональный пенсионер.

Клиновский Дмитрий Дмитриевич, Курск

* * *

Мой отец Рузвельт-Рузанкин, участник гражданской войны, главный врач больницы в Орске, был арестован в 1937 году, осужден к расстрелу. Мать, осужденная как ЧСИР, отбывала восемь лет в Темниковских лагерях. Остались трое детей – двенадцати, одиннадцати и десяти лет. Сначала нас поместили в приемник-распределитель НКВД Оренбурга, а потом отправили в детдом города Чистополя в Татарии.

В детдоме нас никто не обижал, ни разу не напомнили, что мы дети «врагов народа». Директор школы Андриан Семенович Ермаков, завуч Анастасия Георгиевна Сорокина, Михаил Васильевич Гераськин сделали все, чтобы мы могли учиться, получить профессию. Директор переписывался с мамой, сообщал о наших успехах в учебе, поведении, следил, чтобы мы вовремя отвечали на письма мамы...

Черенкова Вероника Тихоновна, Сочи

* * *

Мать моя из раскулаченных. Образования не имела, работала уборщицей в типографии. Была арестована — обвинили в том, что не вступила в комсомольскую ячейку. Отбывала срок она на Беломорканале, в Норильске, последнее место — Казлаг, Долинское, разнорабочая. Там я и родилась в 1939 году. Жила недалеко от зоны, в детдоме для детей заключенных, где жили дети от грудного до школьного возраста. Память детства, годы, проведенные в детдоме, очень ясно запечатлелись. Она, эта память, не дает мне покоя много-много лет. Условия проживания были тяжелые, кормили нас плохо. Приходилось лазать по помойкам, подкармливаться ягодами в лесу. Очень многие дети болели, умирали. Но самое страшное — над нами издевались, в полном смысле этого слова: били, отбирали еду, заставляли долго простаивать в углу за малейшую шалость...

Жила я там до 1946 года, пока не освободилась из заключения мама — была она в лагерях двенадцать лет.

Симонова Неля Николаевна, Абакан

* * *

Мой отец Петерсон Андрей Филиппович, немец по национальности, работавший простым сельским учетчиком, был арестован в 1937 году и расстрелян. Мы узнали, как и миллионы других людей, все прелести спецпереселения. Свинарник, конюшня, землянки — это жилье. Лучина — сама держала, мне было четыре года в 1941 году. Вши всех сортов. Голод. «Мам, а какой он, сахар?» — мой вопрос. Ежемесячная роспись у коменданта, невозможность без специального разрешения выехать за семь километров в колхоз с самодеятельностью (меня сняли с машины). Брат получил разрешение из Москвы для сдачи вступительных экзаменов в Уральский педагогический институт. Из Новосибирской области в Свердловск его сопровождал вооруженный солдат. Однажды, вернувшись с сельхозработ, брат обнаружил, что по указанию НКВД он отчислен из института как немец и ЧСИР...

Войлошникова Элла Андреевна, Анапа

* * *

Я родилась в 1921 году. Участник Великой Отечественной войны, член КПСС с 1945 года.

В 1947 году меня арестовали за то, что написала письмо Сталину о голоде. При аресте я была беременна, уже в лагере, в поселке Халчь БССР, родила сына. Кормили нас хуже собак, люди рылись в помойном ящике — какая же еда суп из неочищенной картошки? В Халчи (это 20 километров от Гомеля) дети находились за зоной. Ежедневно привозили 30–40 беременных женщин и матерей с детьми, ежедневно почти столько же детей умирало. Боже мой, какие же мучения эти крошки принимали! Ребенок — как глубокий старичок, даже плакать и то не было сил. Лагерные врачи — вольнонаемные — ставили диагноз: диспепсия, поголовная болезнь.

За зоной было так называемое детское кладбище — их хоронили, как солдатиков, в «братских» могилах, без гробиков. Зимой ямки выкапывали неглубокие, не было сил копать. Весной — вонища, заливали хлоркой, чтобы убавить это зловоние...

10 июля 1948 года родился у меня сын. Чудом остался жив, благодаря одной женщине, которая поддерживала меня сухарями, хотя и он был на грани смерти от голода...

Зубова (Конева) Наталья Сергеевна, Днепрпетровск

* * *

Я родился в 1926 году в Лейпциге, в семье советских подданных. В 1941 году на болгаро-турецкой границе нас вместе с другими обменяли на немцев (до этого гестаповцы держали в гетто). Сразу выслали в Ленинанкан. Всех мужчин старше 16 лет, в том числе моего отца и восемнадцатилетнего брата, арестовали. Женщин и детей помладше поместили в лагере за колючей проволокой. Кормили гнилой капустой. Многие погибли там от голода и малярии. Зимой нас посадили в нетопленные товарные вагоны и куда-то повезли. Мать отморозила обе ноги, и нас с ней высадили в Актюбинске. Через несколько дней она умерла, а меня поместили в детприемник.

Не хочу рассказывать, как я потом выкарабкался, без родных, без знания русского языка. В Актюбинске я узнал, что отец и брат погибли в лагере. Уже в 60-х годах я обращался в органы госбезопасности с запросом об отце и брате. Мне ответили, что такие не значатся.

Думаю, что т. Бережков, который работал первым секретарем в советском посольстве в Берлине и руководил обменом (он написал книгу «С дипломатической миссией в Берлине в 1940–1941 гг.»), может подтвердить, что такие люди были. Кроме того, в Министерстве иностранных дел должны же быть

списки людей, которые приезжали из Германии в Союз в 1941 году по обмену...

Финн Еше Соломонович, Кишинев

* * *

Мой отец Фабель Александр Петрович (эстонец по национальности) во время революции был комиссаром Ладожского района, начальником службы наблюдения и связи Балтфлота (Кронштадт). Потом служил в Севастополе — помощником начальника школы связи Черноморского флота. Полковник. Был арестован в 1937 году, в 1939-м — расстрелян, впоследствии реабилитирован. Мать осуждена на восемь лет, отбывала срок в Темниковских лагерях. Нас было трое детей: старшей сестре — тринадцать лет, мне — одиннадцать и брату — восемь.

Попали мы все в детприемник-распределитель НКВД в Севастополе. Нам предлагали отказаться от родителей, но никто этого не сделал. В декабре 1937 года нас перевели в детдом для детей «врагов народа» в Волчанске Харьковской области. У меня сохранились очень теплые воспоминания о детдоме и о его директоре Леонтии Алексеевиче Литвине. Он сделал для нас то, что вряд ли сделал бы кто-нибудь другой. Он дал нам возможность закончить в детдоме десять классов. Не каждый ребенок в семье до войны мог получить среднее образование, в детдомах после седьмого класса всех отправляли на работу. В восьмом классе нас было восемь человек, и для нас приглашали учителей, которые приходили к нам в детдом. Я закончила школу в 1941 году и даже успела поступить в Харьковский медицинский институт — это детдомовская девочка, дочь «врагов народа»! А все благодаря Леонтию Алексеевичу!

Я хочу сказать, что в то страшное время не все люди были жестокими, равнодушными, трусливыми. Когда в 1939 году мы поступали в комсомол, он поручился за меня, я этим очень гордилась, а все девочки мне завидовали... Началась война, мы, десятиклассники, уже были выпущены из детдома, имели паспорта, некоторые стали студентами. Он нами гордился, потому что сам был из простой крестьянской семьи, кончил педучилище, а мы уже были грамотнее его. По своим человеческим качествам он был умным, даже мудрым, строгим и добрым. Он давно понял, что мы самые обыкновенные дети и ничего враждебного в нас нет. У него было четверо своих детей. И вот детдом стал эвакуироваться. Он не оставил на произвол судьбы никого из нас...

Доброе дело сделал мне еще один человек — начальник тюрьмы города Симферополя. Он мне помог найти мою мать, которая была в Темниковских лагерях. Мое письмо, адресованное начальнику тюрьмы, передали начальнику лагеря, где была мама. Она была одной из первых, кто связался со своими детьми. Мама приехала ко мне в эвакуацию в ноябре 1942 года, больная туберкулезом, и через полгода умерла у меня на руках. Слава Богу, что не в лагере!..

Грабовская Эмма Александровна, Одесса

* * *

Моего отца арестовали в 1936 или в 1937 году, дальнейшая судьба его мне не известна. Знаю, что до этого он работал бухгалтером в Кемеровской области. После ареста отца мы с мамой уехали к ее брату и там боялись, что нас тоже заберут. Мама все ходила, справлялась об отце, но никто никаких сведений не дал. На почве голода в 1942 году мама умерла, и я осталась одна, двенадцати лет... В это время я была очень голодна и раздета. Ходила побираться в магазины, и мне подавали кусочек хлеба, что то мога. Посторонние люди заметили меня и видели, как я страдала. Они-то и помогли отправить меня в детский дом, где прожила пять лет. Я настолько была напугана, что в детдоме сказала другую фамилию: вместо Ульяновой — Борисова... Так и осталось.

Борисова Тамара Николаевна, Серпухов

* * *

Я хочу рассказать, как на самом деле проходило освоение Вахшской долины, о которой в 30-е годы в газетах писали с восторгом. А осваивали ее так называемые спецпереселенцы из разных мест Союза — большей частью из Ленинградской, Тамбовской областей, из Астрахани, с Кубани, с Украины.

Почти у всех было одинаково: ночью врываются в дом работники НКВД, ставят всех лицом к стене и производили обыск, ворошили все и везде. Не найдя ничего им нужного, забирали главу семьи и сыновей, достигших восемнадцати лет, а потом и всю семью. Так было и у нас: забрали отца и старшего брата. Нас у мамы оставалось трое. Маму предупредили, чтобы собрала вещи и была готова. Мама собрала все необходимые вещи, которые уместились бы на одну телегу, все остальное — дом, придворные постройки — остались безвозмездно...

20 апреля 1935 года мы покинули нашу деревню Красный Поселок Кингисеппского района Ленинградской области. Нас вместе с другими людьми восемнадцать дней везли в телячьих вагонах в Таджикистан. Выгрузили нас в степи, под палящим солнцем, в песке можно испечь яйцо, невозможно ступить босой ногой. Из этой кучи людей слышались всюду стоны и плач детей, которые просили пить, пить... а вода далеко, ее нужно было носить из арыков, вырытых заключенными. Отстоится в ведре — половина глины. Разместили нас в камышовом бараке, каждой семье, независимо от состава, отмерили по 4–5 метров, посередине барака — дорожка-проход. Это было очень похоже на стойло для скотины. Скоро начались болезни — дизентерия, брюшной тиф. Быстрее всех умирали старики и дети. Мертвых вывозили штабелями, хоронили без гробов. Медицинской помощи почти не было: стоял вагончик — врач и медсестра, и рядом — вошебойка.

После полевых работ все члены семьи делали кирпичи из глины и самана — к зиме построили домики без потолков, полы тоже не застилались досками, их смазывали глиной. А надзор был везде — и на полях, и в поселках. Работали от зари до зари, особенно во время сбора хлопка. Первая норма была — 50 килограммов, но ее трудно было выполнить, потому что все впервые столкнулись с таким родом работ. Кто не выполнил норму — в изолятор! Выезд людей был запрещен, паспортов не было.

Но страдания людей на этом не кончились. В 1937–1938 годах начались репрессии. Забирали мужчин, почти через дом, без суда и следствия. Арестовали и моего отца Филиппова Конона Филипповича, а он был старым большевиком, проводил коллективизацию на прошлом месте жительства. Много я писала, спрашивая о его судьбе. Пришел ответ, что он реабилитирован, так как был арестован без состава преступления <и осужден> на десять лет без права переписки...

Нам многим, которые были в Средней Азии, хочется узнать, было ли освоение Вахшской долины сталинской нормой, а если да, то почему нигде никогда не вспоминалось, как это происходило? Нас называли «кировцами», будто мы виновны в смерти Кирова.

Только в 1948 году нам были выданы паспорта, был разрешен выезд по своему усмотрению. Правда, с пометкой: кроме городов Москва, Ленинград, Киев, Одесса...

Шубина Галина Кононовна, Нарва

* * *

14 ноября 1937 года ночью в нашей квартире раздался звонок. Вошли трое мужчин с собакой, папе сказали, чтобы он одевался, и стали производить обыск. Перерыли все, даже наши школьные сумки. Когда повели папу, мы заплакали. Он нам сказал: «Не плачьте, дети, я ни в чем не виноват, через два дня вернусь...» Это последнее, что мы слышали от своего отца. Так он и не вернулся, о судьбе его ничего не знаем, писем не получили.

На следующий день после ареста отца я пошла в школу. Перед всем классом учительница объявила: «Дети, будьте осторожны с Люсей Петровой, отец ее — враг народа». Я взяла сумку, ушла из школы, пришла домой и сказала маме, что больше в школу ходить не буду.

Отец мой, Петров Иван Тимофеевич, работал рабочим на заводе «Арсенал» в Ленинграде. Мать, Агриппина Андреевна, работала на фабрике. 27 марта 1938 года арестовали и ее. Вместе с мамой забрали меня и брата. Посадили на машину, маму высадили у тюрьмы «Кресты», а нас повезли в детский приемник. Мне было двенадцать лет, брату — восемь. В первую очередь нас наголо остригли, на шею повесили дощечку с номером, взяли отпечатки пальцев. Братик очень плакал, но нас разлучили, не давали встречаться и разговаривать. Через три месяца из детского приемника нас привезли в город Минск, в детдом имени Калинина. Там я получила первую весточку от мамы. Она сообщила, что осуждена на десять лет, отбывает срок в Коми АССР.

В детдоме я находилась до войны. Во время бомбежки потеряла брата, всюду его разыскивала, писала в Красный Крест, но так и не нашла. Спустя десять лет встретилась с мамой, когда она получила документы о реабилитации. В них было написано, что она должна была быть освобождена... 10 мая 1938 года! Она же отбыла «свой срок» почти полностью: без трех месяцев десять лет...

Петрова Людмила Ивановна, Нарва

* * *

Жили мы в Магнитогорске. Папа — Воротинцев Григорий Васильевич — работал на Магнитогорском комбинате разнорабочим. 22 августа 1937 года его арестовали. Меня при аресте не было. Не видела я последних минут пребывания папы дома, не услышала его прощальных слов. А 13 ноября пришли за мамой. Папу обвинили, что он японский шпион (согласно свидетель-

ству о смерти он погиб в 1941 году), маму — в том, что она скрывала шпионскую деятельность мужа. Она была осуждена на пять лет в Карагандинские лагеря с оставлением по вольному найму там же.

Нас с братом отвезли в клуб НКВД. За ночь собрали тринадцать детей. Потом отправили всех в детприемник Челябинска. Там было около пятисот детей и еще где-то находились дети ясельного возраста...

Разина Валентина Григорьевна, Свердловск

* * *

Моя мать, советская гражданка греческой национальности, в 1941 году была вывезена под конвоем из Симферополя на принудительные полевые работы в район угольных шахт Кузбасса. Отец погиб раньше, в 1940-м, на советско-финской войне.

Нас везли в «телячьем» вагоне под конвоем. А в Кузбассе пришлось жить в овощехранилище на нарах, потом в сырой холодной землянке. Голод гнал меня, босую, к шахтерским баракам, где я, стоя с протянутой рукой, со слезами на глазах просила кусочек хлеба для себя и для больной, уже не имеющей силы встать с деревянного топчана матери. Больничных листов тогда не было, пенсия за погибшего на фронте отца матери не выплачивалась.

В 1943 году мама умерла. После ее смерти жизнь стала еще горше. Я осталась сиротой. Слезы, голод, холод — мой удел. После смерти мамы я еще долгих три с половиной года жила в той же землянке, спала на том же топчане. Кусок хлеба зарабатывала тяжелым недетским трудом: нянчила чужих детей, носила на дальние шахты чужое молоко, чужую картошку. И так было до тех пор, пока не сменился комендант. Новый дал распоряжение сдать меня в детскую комнату милиции. Затем был детприемник МВД, детдом.

В детдоме никто нас не обижал, но жили бедно, недоедали. Обувь наша — резиновые чуни, грубые рабочие ботинки, чулки — одна пара на год, хочешь носи, хочешь смотри. Я не раз бывала свидетелем смерти воспитанников...

Фатиади Жанна Павловна, Новороссийск

* * *

Мой отец Дубов Александр Григорьевич работал начальником управления военного строительства в Батуми. Его арестовали в 1937 году и приговорили к высшей мере. Мать арестова-

ли тогда же как ЧСИР и дали восемь лет лагерей, которые она отбывала в Потье и в других местах.

Я инвалид детства. Когда родителей арестовали, я была в Евпатории, в костно-туберкулезном санатории «Красный партизан». Врачи отстояли меня и содержали до поправления, пока я не стала ходить. Хотя было письмо, чтобы меня немедленно отправили в детдом, так как дети «врагов народа» не могут пользоваться нашими санаториями. Но главврач ответил, что дети за родителей по конституции у нас не отвечают. Мне было одиннадцать лет. Спасибо ему, меня долечили!

Дубова Изольда Александровна

* * *

В 1933 году моего отца арестовали и посадили в тюрьму в городе Харькове, где он и умер. Посадили только за то, что он отказался вступить в колхоз. По профессии он был шорник. В семье четверо детей.

После ареста отца нам нечего было есть, и мать вынуждена была отвезти нас в Харьков и там бросить. Нас определили в разные детские дома. О других моих сестрах — Ане и Маше, о брате Саше мне до сих пор ничего не известно.

Шкредт Иван Петрович, Калач, Воронежская область

* * *

Мой отец — Лейкин Оскар Аркадьевич — был арестован в Хабаровске в 1937 году. Он работал тогда начальником краевого управления связи. Осужден был в 1938-м, умер, по сведениям ЗАГСа, в 1941-м. Мать — Полина Исааковна Акивис — арестована тогда же и отправлена на восемь лет в Карлаг.

Меня поместили в детприемник в Хабаровске, где мы, дети репрессированных, содержались вместе с малолетними преступниками. На всю жизнь мне запомнился день нашей отправки. Детей разделили на группы. Маленькие брат с сестрой, попав в разные места, отчаянно плакали, вцепившись друг в друга. И просили их не разъединять все дети. Но ни просьбы, ни горький плач не помогли...

Нас посадили в товарные вагоны и повезли. Так я попала в детдом под Красноярском. Как мы жили при начальнице-пьянице, при пьянках, поножовщине, рассказывать долго и грустно...

Раменская Анна Оскаровна, Караганда

* * *

Мой отец Кунаев Александр Александрович, по национальности татарин, был арестован весной 1938 года во Владивостоке. Помню, что он ушел на работу и больше не вернулся. Позже, в августе 1938 года, была арестована мать, Кунаева Галина Федоровна, русская. Ей в то время было лет двадцать семь. В семье было четверо детей: я — старший, 1929 года рождения, следующий Анатолий — шести-восьми лет, затем Владимир, наверно, пяти лет, и Витя — грудной... Нас всех вместе повезли в тюрьму. Очень ясно вижу мать, почти раздетую, с распущенными волосами, на весах. И когда какой-то мужчина вел нас, троих, мимо по узкому коридору, она страшно закричала и бросилась к нам. Мать оттащили, а нас вывели. Помню там же — детские люльки, в одной из них, вероятно, был и маленький Витя.

Никогда больше матери я не видел. Нас троих поместили почему-то в школу для глухонемых. Потом она была расформирована... Так случилось, что я попал в больницу, а когда вернулся, братьев уже не было. Мне сказали, что Толю и Вову отправили в Одесский детский дом. Я же был после этого в приемнике-распределителе и где-то в 1939 году попал в детдом города Петровск-Забайкальского Читинской области.

Никогда больше никого из своих родных я не видел и ничего о них не знаю.

*Барашбаев Георгий Александрович,
хутор Вербовый Лог, Ростовская область*

* * *

Мой отец, Загорский Леонид Константинович, экономист, и мать, Загорская Нина Григорьевна, телефонистка, были арестованы в 1937 году. Отец умер в тюрьме, о матери ничего не сообщили.

В детприемнике мы прожили две недели, и нас, шестерых детей, повезли в Казахстан. Нашу группу привезли в Уральск. НКВД прислало за нами «черный ворон», так как других машин у них не было, а стоял холод. Привезли нас в поселок Круглоозерный. Встретил нас директор детдома, кажется, фамилия его Краснов. До работы в детдоме он был командиром Красной Армии на Дальнем Востоке. Детдом имел плантацию, на которой трудились дети. Выращивали арбузы, дыни, помидоры и другие овощи, обеспечивали себя на круглый год. Воспитательная работа была хорошая. И вот этого директора арестовало НКВД...

В детдоме работал очень хороший воспитатель, его тоже арестовали. Он жил с очень старым отцом, который остался без средств к существованию. И мы, пока жили в Уральске, брали тайком продукты в столовой и ходили, кормили его...

После окончания седьмого класса я поступила в ремесленное училище в Магнитогорске, работала электриком в коксохимическом цехе металлургического комбината. Маму в Магнитогорске прописывать не стали, сказали за 24 часа оставить город. Уехала она в Верхнекизилъск, там паспортов не было. Когда стали давать паспорта, мама получила и приехала ко мне. Все «волчьи документы» были зашиты у нее в подушке, так она боялась. Я нашла их после ее смерти, все они почти превратились в труху. Высылаю вам то немногое, что сохранилось...

Савельева Наталья Леонидовна, Волгоград

* * *

Наша семья состояла из семи человек: отец, мать, пятеро детей. Отец, Бачук Иосиф Михайлович, работал на Харьковском паровозном заводе мастером цеха. В ноябре 1937 года отец в четыре часа утра был увезен машиной «черный ворон». Через много лет стало известно, что он работал на строительстве Беломорско-Балтийского канала, где и умер. Мать, сорокадвятилетнюю домохозяйку, женщину малограмотную, арестовали через шесть месяцев. Потом мы как-то узнали, что мать отправлена на пять лет в Казахстан.

Меня как несовершеннолетнюю забрали в приемник-распределитель в городе Харькове, где продержали три месяца на голодном пайке, на лагерном режиме. Нас с собаками, под конвоем водили как детей политических «врагов народа». Потом меня отправили в детский дом в Черниговскую область. В школе меня исключили из пионеров как дочь «врагов народа». Брата тоже в восьмом классе исключили из комсомола, и он бросил школу и уехал на Донбасс, где устроился где-то на работу. Связи друг с другом никто не поддерживал, не разрешали.

После окончания школы я решила пойти в прокуратуру, узнать что-либо о судьбе родителей. С большим трудом узнала адрес и поехала тайком к своей маме. Впоследствии мы уже так и не смогли собраться вместе (кроме среднего брата). Так была поломана наша большая, честная, трудолюбивая, преданная родине семья, семья простого рабочего, даже не члена партии.

Столярова Любовь Иосифовна, Житомир

* * *

Я, Новикова Мария Лукьяновна, хочу знать, где погиб наш отец, Новиков Лука Аристархович, где он захоронен. Документов у нас нет никаких, кроме свидетельства о рождении: родился он 9 июня 1897 года. А забрали его в 1937 году, в 12 часов ночи 20 сентября, прямо с работы. Работал он в молотилке, бессменно: днем возил воду для людей и машин, а ночью сторожевал, в общем, и домой-то совсем не приходил.

Но сначала я напишу, как нас раскулачили. В 1929 году, в эту пору мне было четыре года, нас у отца было семеро. Местная власть, сельский совет гоняли нашего отца, издевались, как им только хотелось и без всяких причин. Заберут его, свяжут руки назад и гонят восемнадцать километров до Большетроицкой милиции. Сами верхом, а его гонят и секут хуже скотины. А там разберутся, что без всякой причины, и отпустят его. И так продолжалось издевательство до 1935 года. А потом осудили его, дали семь лет вольной высылки. Он на это был согласен, он отдал документы, но документы ему не отдали, перевели эту судимость на год тюрьмы. Он отбыл за шесть месяцев и вернулся. В это время пришел к нему бригадир и сказал: «Лукьян, подавай заявление, теперь тебя примут в колхоз...» И сразу отца послали на работу, заготавливать лес. Какая это радость была для всей нашей семьи, что нас приняли в общество! Но недолго радовались: в 37-м году его забрали...

А мать наша все эти годы, вместе с нами, сколько приняла страданий! Водила нас по чужим хатам, голых, голодных и страдавших от холода. Все у нас забрали и голых выгнали из хаты, выкинули, как котят. За все наши годы-странствия трое детей умерло, я одна в 36-м году народилась. Когда умирали дети, мать уберет покойную и перекрестится: «Слава тебе, Господи, отмучилась...» — покойную уберет, а малютку на то место ложит. Думала, что она наберется болезни и помрет, а она, Бог дал, жива до сих пор. И как нам тяжело было жить каждый день! Мать где-либо разживется, сварит нам, а если не успеет поесть, то они выливают из чугуна и говорят: «Вы, кулацкие дети, жить не должны, вам все равно подыхать!» Даже карманы вывертывали и крошки вытряхивали, чтобы не досталось...

В 33-м году был такой случай. В чулане у нас только и было богатство — сундук, как раньше называли общий деревянный ящик. Пришли двое наших односельчан, повыкидывали из ящика рваное тряпье, видят — там брать нечего. А мать была одета в шубу из овечьих шкур, раньше такая одежда была, и

платок на ней был теплый, а они стали насильно ее раздевать и раскрывать. Тут мы видим, что мать так терзают, и бросились к ней, и подняли крик. Они начали над ней топотать и кричать на нее: «Что ты детей научила!» — но все же не раздели, наша оборона подействовала. В общем, все не напишешь, а если все писать, получится большая книга.

А теперь мы вас просим, сможете ли вы найти то место, где отец захоронен, умер или его убили. Когда забрали его, он был в Белгородской тюрьме. Ездил мать, она в НКВД брала разрешение, чтобы передать еду. А придет туда — неделями в очереди стояли, столько миру было, страсть! А потом с Белгорода его отправили, получили мы от него первое письмо: Амурская железная дорога, он попросил денег. Получаем второе письмо: деньги пришли, хранятся около меня в кассе, а мне их не дают. А потом получили третье письмо — город Свободный, и написал: суда не видели и не слышали, но сказали, что десять лет...

А потом пишет, прошел я все комиссии, признали меня здоровым, отобрали нас таких людей, готовят к отправке, а куда будут отправлять, не знаем. Наслышки есть, на Франца Иосифа Землю, и больше не было ни одного письма. Что с ним сделали, куда его дели — ничего мы не знаем. Нас, его детей, еще пять человек, три дочери и два сына.

Хотя нам и самим скоро помирать, но хотим знать, где он сложил свою голову. В ту ночь, когда его забрали, с нашего села забрали пять человек. Из них на одного друг прислал, что он умер, двое через десять лет вернулись домой и дома умерли, а нашего отца неизвестно где дели.

Я сама 25-го года рождения, помню всю нашу страшную муку от начала до конца. Когда кулачили, мне было четыре года, и я все помню с четырехлетнего возраста, как и что над нами делали, и, наверное, такого не забудешь никогда. Восемнадцать лет мы ходили по квартирам и даже по земле ходили с опаской, глупых людей очень много было. Идешь, а он встречается и тебе в глаза говорит: «Что, кулачка, ходишь?» — и мы вели себя тише воды ниже травы. Встречаешься со своим злодеем, кланяешься ему и называешь по имени и отчеству, иначе нельзя... Мы же — враги! А так рассудить: какой наш отец кулак, если он даже неграмотный и был большой трудяга, работал, себя не щадил?..

*Новикова Мария Лукьяновна,
Белгородская область, Шебекинский район,
Большеотроицкое почтовое отделение, село Осиновка*

* * *

Отец у меня погиб в 1920 году на фронте, в Красной Армии. Мать осталась с тремя детьми. Семья владела третьей мельницы. В 1930 году мать осудили на семь лет, она была тяжело больна, и после больницы ее освободили. В отсутствие матери нас пришли раскулачивать, дома были дети и бабушка, стали выгонять из дома и насильственным путем вышвырнули на улицу. В чем были только одеты и обуты (на ногах лапти), в том и остались. На мне был шубный пиджак, стали меня раздевать и забирать этот пиджак. Я с трудом вырвался и убежал и остался одетым...

Мы попросили соседа и стали жить в его бане. Когда мама вернулась из тюрьмы, мы попросили у одного хозяина старенькую избушку, владельцы которой были на стороне, и стали в ней жить. Бабушка собирала куски по миру. Меня исключили из школы, где я учился в четвертом классе, и я стал плести лапти и ступни людям за крынку молока. Этим закончилась моя учеба. Брат уехал на сторону и там в 1936 году умер от истощения и болезней, бабушка тоже умерла...

Осенью 1939 года, когда я приехал на призыв, меня забраковали в военкомате в связи с раскулачиванием. Тогда я стал умолять, чтобы мне дали хорошую характеристику. И меня взяли служить в Красную Армию. Было столько у меня радости, что я стал в один ряд в строю будущих защитников рубежей нашей родины!..

Потом участвовал в войне, был контужен, ранен. Инвалид второй группы...

*Кудашкин Владимир Алексеевич,
Мордовская АССР, село Мордовские Сыреси*

* * *

У меня в семье загублено в 1933 году двенадцать душ детей от года до одиннадцати лет. Братья, сестры отца... Он выжил один, и нас у него трое. Как все это было, я знаю от его матери, моей бабушки. Этого забыть нельзя, потому что этому не может быть прощения. Умерли они в станице Дондуновской на Кубани...

Иващенко Станислав Николаевич, Краснодар

* * *

В 1930 году в селе Петровка Павловского района Воронежской области проходила коллективизация. И мою семью она не обошла. Нас было шесть человек: отец, мать, четверо детей. И вот нашу семью раскулачили и выслали, все наше хозяйство забрали в колхоз. Я как самая младшая осталась в Петровке. Нянчила детей колхозников, там около них и питалась...

Новикова Анастасия Ильинична, Калинин

* * *

Шла сплошная коллективизация. Моего отца Кирилла Вдовина посадили в тюрьму в городе Уфе, где он через пять лет и умер. Дом наш в деревне Елат сожгли. Нас у матери осталось мал мала меньше — от одиннадцати до двух лет. Нас четверых чужая женщина (от матери могли не взять) в 1933 или 1934 году сдала в детдом, наверно, сказала, что нашла где-то на улице. А четвертую, младшую сестру нашу, как эта женщина сказала, отдала в дом грудника, отдельно от нас. Все мы — я, брат Саша и сестра Вера — воспитывались в разных детдомах...

Самошкин (Вдовин) Яков Николаевич

* * *

На Дальнем Востоке детские дома для таких детей, как мы, находились в основном в маленьких гилияцких поселках по реке Амур. Наш поселок, куда мы впервые поступили, назывался Маго... Дома — длинные деревянные бараки. Детей было очень много, одежда плохая, питание скудное. В основном суп из сухой рыбки корюшки и картошки, липкий черный хлеб, иногда суп из капусты. О другом питании я не знала.

Метод воспитания в детдоме был на кулаках. На моих глазах директор избивала мальчиков постарше меня, головой об стенку, кулаками по лицу за то, что при обыске она у них находила в карманах хлебные крошки, подозревая, что они готовят сухари к побегу. Воспитатели нам так и говорили: «Вы никому не нужны!» Когда нас выводили на прогулку, то дети няnek и воспитательниц на нас показывали пальцем и кричали: «Врагов,

врагов ведут! Арестанты идут!» А мы, наверно, и в самом деле были похожи на них. Головы наши были острижены наголо, одеты как попало.

Мне было пять лет, а сестренке шесть, когда нам пришло сообщение о смерти отца. А года через три, в 1943 году, незнакомая женщина привела меня к себе домой и своему мужу сказала: «Вот привезла я арестантку. Теперь будешь жить у нас, а если не хочешь, пойдем опять в детдом, а оттуда сразу в тюрьму...» Я заплакала и сказала, что хочу жить у них... Так меня взяли в дочери люди. А с сестрой мы были разлучены. Увидеться больше не пришлось. Долгие годы искала я ее, обращалась в разные инстанции, но никто мне не помог...

Савельева

* * *

Крестьянская семья моего дедушки Тойлакова Андрея была «раскулачена» в 1932–1934 годах, деда арестовали. Отец в это время работал извозчиком в Новосибирске, арестовали и его. Мою мать и бабушку вызвали в тюрьму, там им выдали одежду отца и деда и сказали, что их судила «тройка» и что они расстреляны, а имущество их конфисковано. Затем мою мать и бабушку, в числе тысяч им подобных, без всяких средств к существованию, погрузили в трюмы барж и отправили в низовья реки Оби, в Нарымский край. Я и мой брат Виктор были отправлены в разные детдома Нарымского края. В 1942 году в связи с эвакуацией детей из Ленинграда нас, детей «врагов народа», опять перевели, чтобы мы не смешивались с другими детьми...

Только в 1984 году я узнал, что я — Тойлаков Егор Михайлович, 1927 года рождения.

Носиков Георгий Михайлович, Новосибирск

* * *

Я родился в 1930 году. А в 1933-м у нас в Курской области была повальная голодовка, от которой мерли, как мухи. Так вот, то ли меня подкинули, или еще может что, но в том 1933 году я оказался в дошкольном детдоме...

Антонов Николай Григорьевич

* * *

13 октября 1937 года отец послал меня в магазин купить продукты. Когда я вернулась — у нас производят обыск. Ничего не нашли, потому что нечего было искать. Взяли книгу Ленина, вложили туда паспорт отца и повели в город. Он сказал нам последние слова: «Дети, не плачьте, я скоро вернусь. Я ни в чем не виноват. Это какая-то ошибка...» И все, с тех пор мы больше ничего о нем не знали.

А в конце апреля 1938 года мы с мамой написали Сталину письмо. И 8 мая пришли и арестовали маму, а нас взяли в детский дом, троих детей. Я была самая старшая, мне было четырнадцать лет, другому брату двенадцать, а третьему — шесть. Я до сих пор не могу без слез вспоминать эту трагедию. Находились мы в детском доме №5 города Кузнецка. Там было очень много детей из Москвы: Александра Дробнис (ее отец был членом Политбюро), Чапский Карл, Демченко Феликс, Логоповский Юрий, Пальковская Ванда, Виктор Вольфович. Некоторым уже было по четырнадцать лет, надо было вступать в комсомол, но нам сказали: если вы отречетесь от родителей и сообщите по радио, мы вас примем. Но это сделал только один... Шура Дробнис сказала: лучше пойду уборщицей, все невзгоды переживу, но от родителей не откажусь!

Я училась в железнодорожной школе. Смотрели на нас действительно как на врагов, а пионервожатая всегда говорила: «Яблоки недалеко падают от яблони...» Эти слова, как ножом, резали по сердцу.

Мой дальнейший жизненный путь... Участник Великой Отечественной войны. Дошла до Кенигсберга. Нашла брата, мать (взяла ее из лагеря, отбыла она восемь лет).

Белова Александра Яковлевна, Кузнецк

* * *

Я — Аверьянов Николай Петрович, 1921 года рождения, по национальности мордвин. Отпишу о себе и о своих родителях. 1932 года <в> апреле месяце моего отца Аверьянова Петра Матвеевича ночью арестуют и забирают не зная куда. После чего ночью на праздник Пасху, в мае месяце, арестуют маму, Аверьянову Варвару Егоровну, и семь человек детей, в том числе и меня, выгоняют из дома. Сажают на двух лошадей, нас, четверых больших детей, привязывают вожжами, чтобы не убежали, а троих маленьких, голых, уложили спать.

Увозят на станцию Атяшево — тридцать километров. Дома осталось все богатство, лошадь, корова, теленок, два поросенка и семь овец. Лошадь, корову и овец забрали в колхоз. А теленка, поросят и имущество растащили. Привозят нас на станцию Атяшево и сваливают на товарный склад. Там, на складе, запертые на замок, были семья моего отца и еще несколько семей. На второй день привозят старшего брата отца, Аверьянова Федора Матвеевича, с тремя детьми. Товарный склад был примерно сто метров в длину. Заполнили целиком.

На третий день подают вагоны и грузят нас туда, по несколько семей в вагон, и опять запирают на замок. Туалета нет. Мужики ножами сделали дыру, и <все> туда опралялись без стыда и совести. Люди стали дикими. Повезли нас по железной дороге, целый эшелон. Сколько дней ехали, не помню. В вагоне семь человек умерли от голода. Доехали до города Томска, и высаживают нас, несколько семей. Выгрузили из вагона несколько человек мертвыми, детей, стариков и молодых.

Из Томска нас отправили на пристань, погрузили на баржу, и <мы> поплыли по реке Чулым. Сколько плыли, не помню. Выгрузили нас на какой-то пристани, и пошли <мы> пешком километров семь до села Песочное Богатовского района. По дороге у нас двое детей умерли, Настя и Ваня. Бросили нас там — живи как хочешь! Отец и брат отца и еще три мужика сделали землянку, жили в землянке пять семей. Брат отца Федор Матвеевич вместе с женой и тремя детьми умерли. У нас четверо детей тоже умерли. В землянке остались отец, мать и я. Идем по селу. Валяются одни мертвые люди, голод и эпидемия.

В ноябре месяце мы убегаем из села, шли пешком до города Ачинска двести километров. На билеты денег нет, пришлось в Ачинске милостыню собирать. И вот взяли билеты до станции Атяшево. Доехали и пошли домой. Добрались домой ночью, а утром к нам уже пришли арестовывать отца и мать. Потом отец и мать все же убежали в Чувашию, а меня забрали в милицию. В милиции держали тридцать дней. Отца и мать так и не смогли поймать, а меня отпустили. Жил я где попало, милостыньку собирал.

В 1933 году арестуют младшего брата отца, Аверьянова Ивана Матвеевича, а его жену с двумя детьми выгоняют. Жили где попало. Отец и мать мои скитались по Чувашии до 1935 года. Отец заболел — и перестали преследовать. Когда мы встретились, то все — и отец, и мать, и я — начали делать саманные

кирпичи, построили дом и перешли жить в него. Жили нормально...

Можно много писать о сталинских репрессиях. У нас в селе раскулачивали и бедных, и средних. В селе было 220 домов, сейчас осталось 100 — одни старые люди...

*Аверьянов Николай Петрович, Мордовская АССР
Атяшевский район, село Мордовские Сыреси*

* * *

Мой брат Трахтенберг Леонид Михайлович родился в 1924 году в Одессе. В 1929 году родители переехали в Иваново. Брат увлекался поэзией (печатался в газетах и сборниках), много читал, имел грамоты за победы в олимпиадах по математике и физике... В 1939 году учеником седьмого класса он был арестован и более полугода отсидел в одиночке НКВД. Причина — фамилия брата оказалась в списке активистов областной библиотеки, составленном ее сотрудником, оказавшимся «троцкистом». К счастью, отец арестованного вместе с братом преподавателя Олега Вязова (впоследствии потерявшего ногу на фронте, доктора биологических наук) оказался сведущим в юридических делах и добился рассмотрения дела в Верховном суде РСФСР. 8 мая 1939 года появилось определение этого суда, отменившего прежнее постановление, поскольку к началу «преступных действий» осужденные имели по тринадцать лет каждый и не могли привлекаться по контрреволюционному преступлению согласно закону от 7 апреля 1935 года. Ребят освободили, перевели в разные школы. Пригрозили, чтобы помалкивали. Вернулась жизнь, учеба, друзья, поэзия.

Внезапно на второй день войны арестовали отца (Трахтенберг Михаил Романович был осужден на пять лет, срок отбывал в Вятлаге. Умер в 1945 году, реабилитирован в 1956-м). Вскоре мать выгоняют с работы. Все мы чувствуем необходимость отпора беде, фашизму. И вместе с тем — семья «врага народа». 13 сентября 1941 года брат исчезает из дома. Только через три мучительных дня мы получили записку по почте: «Мамочка, прости. Еду на фронт. Надеюсь, что папино дело повернется благоприятно...»

Брат был ранен, лежал в госпитале. Снова фронт. Он погиб 13–15 сентября 1943 года при нашем прорыве севернее Брянска, командуя отделением автоматчиков...

Смею сказать, что брат мой был человеком одаренным, инициативным. Честь и честность руководили всеми его помыслами и поступками. Удары жизни не поколебали его веры в справедливость, желания приносить благо Родине, людям. Смею думать, что брат был из тех сынов земли, что призваны хранить ее и вести к свету...

Трахтенберг Роман Михайлович, Иваново

ГОЛОД НА УКРАИНЕ

Воспоминания, документы

Эти воспоминания взяты из выпущенной в Киеве в 1991 году книги «33-й. Голод», имеющей подзаголовок «Народная книга-мемориал». Составили ее два украинских журналиста — Лидия Коваленко и Владимир Маняк. В ней — рассказы людей, переживших страшный голод, охвативший почти всю Украину в 1932—33 годах, голод, унесший 7,5 миллионов жизней, голод, который был организован искусственно.

С трудом пришедшие в себя после ужасов гражданской войны, военного коммунизма и последовавшего за ними голода 1926—27 годов, крестьяне Украины начали наконец обрабатывать землю, сеять, собирать урожай, обзаводиться кое-каким имуществом — словом, жить нормально. Они надеялись пусть пока еще не на обещанное светлое, но на мирное и стабильное будущее. Они строили дома и рожали детей. В свидетельствах очевидцев — авторов этой книги обычно описываются семьи, в которых по пятеро, семеро, десятеро детей.

Однако надеждам не суждено было сбыться — грянула новая беда: сплошная коллективизация и ликвидация кулачества как класса. И покатали по селам «черные обозы», и привели за собой тотальный голод. Уже в начале 1932 года охватил он целые районы. Вот выдержки из писем к Сталину от крестьян, отчаявшихся обрести спасение и прибегших к последнему средству — прямому обращению к вождю: «Уважаемый т. Сталин, существует ли такой закон Советской власти, чтобы крестьянство сидело голодное, так как мы, колхозники, не имеем уже с 1 января 1932 г. в своем

колхозе ни одного фунта хлеба... За что мы сражались на фронтах, за то, чтобы сидеть голодными, чтобы видеть, как дети умирают в корчах от голода?»; «С самого начала мы стояли за Советскую власть и сейчас не хотим, чтобы она потеряла авторитет, но мы уже не в силах терпеть и просим — обратите внимание: у нас уже опухли от голода дети. Нас 284 чел.; чтобы нас не забрали в ГПУ поодиночке, мы не подписываемся»; «В нашей местности голод охватил все районы. Все крестьянство движется и удирает из сел, дабы спастись от голода. В селах в день умирает от голода по 10–20 семей...»

И как бы в ответ на это — телеграмма ЦК ВКП(б) Центральному комитету КП(б)У от 16 февраля 1932 г. за подписью Сталина: «Завтра публикуем постановление ЦК и Совнаркома о сборе семенных фондов... Бросьте на сбор колхозных семенных фондов все силы... Имейте в виду, что ЦК не примет никаких отговорок — семенные фонды должны быть собраны... полностью и притом не позднее установленных сроков. Сообщите в ЦК о принятых вами мерах». А уже на следующий день, 17 февраля, идет директивное письмо ЦК КП(б)У и Совнаркома УССР в обкомы, горкомы и райкомы партии о мобилизации семенных фондов: «Из ряда районов в ЦК поступили требования об отпуске семян для колхозов, сдавших, будто бы, все свои ресурсы по хлебозаготовкам, а также многочисленные требования от совхозов дать им семена и в довольно значительном количестве. ЦК сообщает для неуклонного руководства, что в связи с общим положением с хлебными ресурсами... не может быть и речи о каком-либо отпуске семян для Украины, где положение с урожаем вполне благополучное и где есть все возможности мобилизовать семена на месте». И далее: «Необходимо во все совхозы немедленно командировать твердых людей, которые обязаны внутри каждого совхоза мобилизовать все ресурсы для семян, не останавливаясь ни перед чем».

И это тогда, когда голодали уже Киевская, Винницкая, Одесская, Днепропетровская, Донецкая и Черниговская области и оттуда сплошным потоком шли сведения о повальной смертности. Но «черные обозы» все шли, и «красная метла» подчистую выметала последние зернышки из всех тайников и тайничков, и раскулачивали тех, у кого уж и вовсе нечего было взять. И в разгар этой вакханалии секретарь ЦК КП(б)У Косиор в своем письме Сталину от 26 апреля 1932 г. «успокаивает» вождя: «У нас есть отдельные случаи и даже отдельные села голодающие, однако это только результат местного головопьяства, перегибов, особенно в отношении колхозов. Всякие разговоры о «голоде» на Украине нужно категорически отбросить».

Все это пережили авторы книги-мемориала. Чудом спаслись они от страшной беды, и вся их дальнейшая жизнь прошла под ее знаком. Теперь это пожилые и старые люди — тогдашние дети и подростки. Но детская память особенно прочна, она запечатлевает окружающий мир в ярких картинах и живых деталях, оттого и воспоминания этих людей так разнообразны, так индивидуальны. Однако через все эти непритязательные, незатейливые истории проходит один лейтмотив. Особенно пронзительно звучит он в воспоминаниях Марии Якимовны Нечипоренко из Белопольского района на Сумщине: «Как радостно было до голода... Люди жили, были родители, были матери, были дети. Была своя земля, были лошади, плуги, коровы. Люди радовались своему добру, любили землю. Они же не виноваты, что кому-то захотелось все сломать... **БЫЛИ ДЕТИ — СТАЛИ СИРОТЫ...**»

Е. Мовчан

ВАСИЛЕВСКИЙ ПАНТЕЛЕЙМОН КАЗИМИРОВИЧ родился в 1922 году в селе Пахутинцы Волочинского района на Хмельнитчине. Участник Великой Отечественной войны, экономист по образованию.

Все, что описано здесь, происходило в селе Масовцы неподалеку от Проскурова, теперь Хмельницкого. Мой отец (отчим) был по национальности литовец, а по профессии — фельдшер. С лета 1932 года до 2 мая 1933 года он заведовал здесь медпунктом. В Масовцах голод стал давать о себе знать уже с октября 1932 года. Сначала в деревне умирало по одному-два человека за пятидневку (недель тогда не было), но постепенно смертность возрастала изо дня в день. И как только появились первые жертвы голода, к отцу на работу прибыли уполномоченный проскуровского ГПУ и председатель сельсовета Гуменюк. Чекист из ГПУ взял с отца подписку о неразглашении нигде и никому истинных причин смертности колхозников, кроме того, его обязали каждый день являться в сельсовет и писать акты — мнимые диагнозы погибших от голода. Фамилии умерших и все сведения о них отцу сообщали в сельсовете, а сами несчастные в это время уже лежали в ямах у опушки леса <...>.

В актах о причинах смерти отец должен был указывать различные болезни, исключая инфекционные. Акты писались под копирку в двух экземплярах на всех умерших в течение суток сразу, напротив фамилии ставилась выдуманная причина смерти. Детей в возрасте до одного года почему-то вообще не раз-

решали записывать в эти акты. Документы подписывались медиком — отцом, а также председателем или секретарем сельсовета. Первый экземпляр раз в пятидневку забирал и увозил в Проскуров чекист из ГПУ, а второй оставался у председателя сельсовета. С марта 1933 года, когда смертность возрастала все сильнее, акты составлять перестали, а трупы вывозили куда попало.

В то время у отца стали от голода опухать ноги. Бывало, вернется домой из сельсовета после «активировки», сядет и по памяти записывает в свою тетрадку всех умерших, мама называла тот список «поминальником». Этот «поминальник» прятали до самой весны 1937 года. Тогда мы были уже далеко от Украины — в Ярославской области, и отец в страхе перед свирепеющей день ото дня ежовщиной сжег, к сожалению, тот жуткий список, в который было занесено 196 жертв из Масковцев за период с октября 1932 до марта 1933 года. <...>

...Когда отец пошел в проскуровский райздравотдел за скудным «пайком», ему было категорически отказано и сказано буквально следующее: «Если бы ты был партийным, возможно, мы бы как-то тебе помогли, а теперь пусть тебя кормит колхоз, который ты обслуживаешь». Возвратившись домой, отец плакал <...>.

ДЕРЕВЯНКО ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ *родился в 1924 году в деревне Ольшевка Черниговского района.*

1933 год до смерти не забуду. Люди ходили распухшие, водянистые, неповоротливые. Трупы под заборами лежали. Поесть нигде ничего, а кабы и было, то купить не на что. У кого были сережки, перстень или другая какая ценная вещь, то отдавали в Торгсин за килограмм муки, все выкачали из людей. Ели ворон, собак, лебеду, липу, люпин. Я пытался спастись попрошайничеством, но у кого попросишь. На всю деревню только у одного соседа — начальника милиции Макарьевского пекли пирожки, иногда и мне за какую-нибудь работу по хозяйству перепало — может, и совесть немного мучила. Местные активисты тоже гладкие ходили, но у них не попросишь. Стойкие бойцы были! Недаром их потом в разные времена с почестями хоронили. А тогда ох и лютовали, живодеры. У какой-нибудь бабки найдут 50 грамм сала или пучок ржи припрятанный — все забирали. Лучше своим собакам скормят, лишь бы люди не ели. Сами они остались живы, а из крестьян много поумирало. Потом полегче стало, уже хлеб был. Но настал 1937 год. Забрали ночью семь человек, мужики и расписаться путем не умели, какая от них политика. Никто не вернулся.

Запомнилось еще вот что. 40 граммов хлеба стоили тогда 5 рублей, а бутылка водки 6 руб. 05 коп. Это с нагрузкой — к бутылке почему-то обязательно добавляли фотографию Блюхера. Пей и любуйся. За все село не скажу, оно большое — 500 дворов, а на нашем закутке некоторые мужики из тех, что не хотели медленно помирать с голоду, вместо хлеба покупали водку с Блюхером. Выпьет мужик, да и упадет замертво под забором — задохнулся. Бывало, прямо на кладбище пили... Жаль, фамилий не запомнил. Давно я из села, позабыть все хочется, только такое не забывается.

Записал Шевчук Владимир Михайлович

РУЖИНА-ДВОЙНИКОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА родилась в деревне *Осытная Новомиргородского района Кировоградской области.*

Семья наша состояла из 10 человек: отец, мать, пятеро братьев, две сестры и бабушка. Имели свою усадьбу, землю, пару лошадей, корову — как все, кто был наделен землей. Богатыми не были, работали всей семьей.

<...> Голод застал нас в Кировограде. В 1930 году у нас родились еще близнецы, сестричка не выжила, а братик остался, и стало нас в семье уже 11 душ. Отец был регентом при соборе, дохода не было никакого, очень сильно голодали, отец как мог спасал семью. Ездил в Белоруссию, возил туда самую лучшую одежду, менял на хлеб. Или шел на спиртзавод раздобыть браги, а там — народу, что пчел в улье. Выжимали из браги жидкость, а жмых сушили, толкли в ступе и пекли какие-то лепешки.

Ходили все опухшие. Тогда отец сказал старшим детям: идите, дети, устраивайтесь, кто где сможет, спасайте свою жизнь, я уже ничем не могу вам помочь. Сам был опухший, как колода. Старшие братья Митя, Володя и Жора поехали в Грузию, там устроились на кирпичный завод, месили глину ногами. Зарботки хоть и небольшие, зато не голодали. Потом они забрали к себе Толю и Раю, а нас осталось шестеро <...>.

Мама говорит отцу: «Поеду в деревню <...>». Взяла нас троих, младших — брат трех лет, брат семи лет и мне десять, — и поехали мы в деревню. А в деревне пустых домов много было, люди целыми семьями поумирали от голода, живи где хочешь. Мама принесла в один пустой дом соломы вместо постели, и так мы жили — ни укрыться, ни постелиться. Потом мама сжала рожь у кого-то на огороде, первый сноп обмолотили в бочку, посушили, смолотили на жерновах и первым делом сварили затируху. Наелись этой затирухи на пустой желудок и чуть не

умерли, но выжили все же. Мама работала у людей, а мне, старшей, поручила смотреть за младшими.

И все бы ничего, если б не злые люди, которые безвинно оговорили мою маму, будто она срезала колоски в поле <...>. Увели маму в сельсовет и заперли в чулан. Мы кричали не своими голосами, просили отпустить нашу маму, но никто не обращал на нас внимания; повезли маму в кировоградскую тюрьму, судили, дали два года тюрьмы. Тогда отец снова забрал нас в Кировоград. После суда маму направили в колонию под Кировоградом, Сазоновку <...> была она расконвоирована, иногда даже приходила домой. Паек, который ей давали, весь приносила нам, а сама голодала. Ослабла, заболела, положили ее в больницу при кировоградской тюрьме. И 10 октября 1933 года она умерла. Нам не дали даже похоронить ее, хотя отец ходил и к прокурору области, и к начальнику тюрьмы, просил: «Дайте детям хоть мертвую мать, чтобы знали, где будет ее могила». Так мы и не знаем, где похоронена наша мамочка, которая спасла нас от голодной смерти.

Той же осенью умерли бабушка и младший братик Вениамин. Помню, братик плачет, хочет кушать, просит: «Муся, хлеба». А сам был — только кожа косточки держала. Жалко мне братика, пойду на базар, там торговки продавали семечки, я на земле около них собираю десятка два зернышек, принесу, очищу, дам братику, а он уже и прожевать не может. Так и умер у меня на руках с зернами в ротике.<...> Остались мы с убитым горем отцом — брат Леонид и я. А старшие так и жили в Грузии. И тут владыка отец Кирилл предложил отцу высвятиться в священника. Высвятили отца, послали его на приход в село Грузкое под Кировоградом — настоятелем Покровской церкви. Но не успели мы встать на ноги, как на нас обрушилось новое горе: отца забрал «черный ворон». И по сей день не знаем, за что. И где он отбывал свое наказание? И где умер? Ничего не знаем.

Стали мы круглыми сиротами бездомными. В детский дом нас с братом не принимали — отец репрессированный, на работу куда не брали — малолетние. Ходили голые, босые, голодные, жили в пустых ящиках из-под мусора по дворам и базарам, побирались <...>.

Пришла война, разбросала наши судьбы по белу свету. Братья пошли воевать, все пятеро — участники войны, имеют боевые награды. Я тоже всю войну работала в воинских частях — писарем, машинисткой, сестрой-хозяйкой. После войны все честно жили и трудились.

Родителей реабилитировали, а рана на душе осталась на всю жизнь. Мой отец — Ружин Григорий Федотович. Мать — Ружина Варвара Лаврентьевна. Мы, их дети, не знаем их могил.

ПРОКОПЕНКО ГАВРИЛА НИКИФОРОВИЧ родился в 1922 году. Участник Великой Отечественной войны, после войны 15 лет служил в Вооруженных Силах — артиллерист береговой обороны ВМФ, майор. Окончил Днепропетровский университет, преподавал в школе украинский язык и литературу.

Это происходило в деревне Ждановка Магдалиновского района на Днепропетровщине (сразу хочу сказать, что наша Ждановка не имеет никакого отношения к Жданову — она называлась Ждановкой еще с 1840 года — года своего основания).

Поздней осенью 1932 года отец принес полмешка муки. «Вот все, что выдали на целый год, — сказал он матери. — Это все... Что будет с нами?» Мне уже шел одиннадцатый, и я на всю жизнь запомнил растерянность и ужас в отцовских глазах.

В феврале 33-го отец начал пухнуть от голода, мама и я с семилетним братом Яшей страшно исхудали. Как-то раз ночью услышал я приглушенный разговор. «Никифор, надо что-то делать, нельзя вот так сидеть и ждать голодной смерти, — шептала мама. — Может, пойти тебе к брату Павлу в Хашево, может, он пристроит тебя в опытное хозяйство?.. Оклемался бы немного и нам как-нибудь помог...» — «Я уже думал об этом, Мария, — ответил отец. — Сегодня до рассвета пойду <...>. А ты обратись за помощью к Улите». Наша тетя Улита работала в Магдалиновке на маслозаводе. Утром отца уже не было дома.

Если б не тетя Улита, то к весне нас бы уже куры земель забросали. Мама каждую неделю ходила в Магдалиновку за 12 километров и приносила то немножко крупы, то муки, то творога, а у нас в погребе еще сохранилась свекла, морковь, соленые огурцы — всего понемногу. Держали мы и корову — на паях с портнихой Линой, кормили по очереди и доили через день. Стояла корова в нашем семенном сарае, на белой наружной стене которого, выходявшей на улицу, красной глиной было написано: «Борьба за хлеб — борьба за социализм». Корова Звездочка была яловая, молока давала мало, зато оно было вкусное и высокой жирности. Двери сарая были капитальные, дубовые, укрепленные железными рейками, с винтовым замком.

В течение зимы мама перетаскала в Магдалиновку сестре Улите и женам районного начальства почти все, что было в доме. К весне мы оказались в совершенно пустом доме, но, слава Богу, живые. А в селе и вокруг творился Апокалипсис. Почти каждый день мимо нашего дома везли на кладбище умерших от голода — иногда на телеге, а иногда волоком, прямо на большом железном листе. Хоронили без гробов, в общих ямах: среди опухших, изуродованных голодом покойников попадались и живые люди. Ямы каждый день не закапывали, и

некоторые, очнувшись ночью, звали на помощь, а то и вылезали сами. В кустах на кладбище находили трупы с вырезанными икрами, ляжками. Ели трупы... Гробовщик из соседней Оленовки позднее признался, что ему была установлена ежедневная норма на трупы. Если выполнял норму, давали полный паек, а если нет — только часть. Так он, чтоб выполнить норму, привозил на кладбище живых, но, по его разумению, безнадежных людей и оставлял умирать возле ямы.

Вскоре после Пасхи случилось несчастье и у нас в семье — украли нашу кормилицу Звездочку. К тому времени уже начали выгонять отошавших коровок на пастбище. Мама с вечера ушла в Магдалиновку за пропитанием. Мы с Яшей ночевали одни, забаррикадировавшись и запершись на все затворы (мама постоянно боялась, что нас могут выкрасть — случаи людоедства уже тоже были).

Рано утром я встал вести корову в стадо. Отомкнул дверь сарая — Звездочки нету. Половина наружной стены сарая с лозунгом вывалена на улицу. Маленький я был тогда, глупый, даже обрадовался, что Звездочку украли: по утрам так хотелось спать, а роса холодная, как лед, а мы-то ведь тогда босиком ходили. Никому ничего не сказал, пошел к себе домой и заснул. Проснулся от громкого стука в дверь. Открыл. Вошли трое: председатель сельсовета, исполнитель Кангул с синим-синим, почти черным лицом и секретарь сельсовета Стародубец с ружьем в руках.

— Кому мать корову продала?

— Не знаю.

— А где мать?

— В Магдалиновке.

Стародубец дернул меня за руку, швырнул к стене под образа, навел ружье и щелкнул затвором.

— Признавайся, кому продали корову. Говори, гаденыш, не то убую!

У меня зашевелились волосы на голове и задрожали губы. С трудом выдавил из себя слова:

— Дядечка, ей же Богу, не знаю...

Яша заверещал и шмыгнул под полати.

— У-у, гад, зубами вызваниваешь! Говори! Ну! Р-раз! Два!..

— Не пугай мальчишку! — оттолкнул Стародубца председатель сельсовета. — Пошли.

После обеда вернулась мама. Досталось и ей: издевались, допытывались, мучили. Потом телеграммой вызвали отца из Хашевого. В тот же день нашли голову и шкуру Звездочки и еще ведро смальца.

В начале лета 1934 года ехал я в пионерский лагерь в Котовку, что на Ореди, поправляться после голода. Проезжали мы через деревни Новопетровка и Виноградовка. Многие дома стояли с забитыми окнами, а вокруг разрослись бурьян и чертополох: семьи либо поумирали, либо бежали от голода на чужбину. В 50-х годах встречал я людей из тех деревень аж в грузинском городе Поти, разговаривал с ними. Спрашивал: почему не возвращаетесь домой? Говорили: боимся, призрак 33-го года постоянно перед глазами.

В 1937 году я учился в 7-м классе и занимался в литературном кружке. Мы издавали рукописный журнал, и я, будучи в нем художником, проиллюстрировал рассказ моего друга и одноклассника Ивана Совы «Голод». Родители Ивана умерли в 33-м. Мы показали рассказ <...> учителю Андрею Саввичу. «Хороший рассказ, и рисунки неплохие. Но в журнале оставлять нельзя», — сказал учитель. «Почему?» — спросил Иван. «Потому что нас всех расстреляют». — «Как это?» — оторопели мы. «А так: поставят к стенке и расстреляют... кислым молоком», — отшутился учитель. Рассказ был вырезан из журнала и сожжен. Уже тогда меня, пятнадцатилетнего паренька, терзало подозрение, что если так старательно вытравляется сама память о голоде, значит, он был не стихийным, не естественным, а организованным, искусственным. Вспоминалось, как мама рассказывала, что с осени 32-го до лета 33-го на станции Бузовка лежали огромные бурты кукурузы, которые так никуда и не вывезли, но бдительно охраняли от людей, погибавших от голода. Вооруженные сторожа без предупреждения стреляли в каждого, кто приближался к буртам. Почернела и сгнила та кукуруза, но ни одного початка не досталось измученным голодом людям.

<...> После 33-го года уже не было слышно вечерних песен в украинских селах, повсюду начали крушить церкви, стало приходиться в упадок народное творчество <...> — душа народа тяжело заболела. <...>

ШАДЬКО ПЕТР АВКСЕНТЬЕВИЧ *родился в 1922 году в деревне Константиновка Марьинского района Донецкой области.*

<...> Мой отец Шадько Авксентий Парфентьевич по социальному положению принадлежал к середнякам. Он первым записался в колхоз, поскольку раньше других понял: этой доли не миновать. Отвел двух лошадей, жеребенка, сдал плуг, сеялку, веялку. А как же тяжело все это наживалось, добывалось!.. Обобществили было и корову, и кур, правда, потом разрешили разобрать их по домам.

Председательшей колхоза была у нас наша же деревенская женщина, малограмотная и бездушная по отношению к людям (имени ее называть не буду, поскольку живы ее дети и внуки, а они ни в чем не провинились перед людьми). Под ее руководством проводилось в деревне раскулачивание. Ей ничего не стоило стянуть валенки со старухи, матери хозяина. Если во время обыска находили горшок с вареньем, она брала ложку и тут же принималась за это варенье, приговаривая: «Настала наша очередь есть сладенькое». Такая молниеносная сплошная коллективизация в нашей Константиновке – «заслуга» нашей председательши <...>.

В первый год (1930) колхоз выдал по 25 пудов зерна на едока. В 1931-м хлеб на трудодни выдавали уже более скупо. Но бедой еще не пахло. Призрак голода встал перед крестьянами, когда началось раскулачивание. Под него подпадали не только богатые, но и работающие семьи среднего достатка. Во двор потребительской кооперации свезли гору отобранного у людей сала, засоленного мяса. Никому оно не было нужно, почти все пропало <...>. В 32-м году урожай был средний. Убирали хлеб до глубокой осени, а молотили две зимы <...>. Солому жгли. Какой разумный хозяин сжигает солому? Зерна не оставили ни скотине, ни людям. Лошадей в колхозе подвешивали на вожжах к потолку – иначе ляжет и не поднимется. Некому было работать, люди бежали кто куда, ведь за работу почти ничего не платили. <...>

Заканчивался 1932 год, когда отца раскулачили «по третьей категории». Забрали корову, вышвырнули нас из нашего дома. Отец подался куда-то на шахту. Мама и нас трое (я самый старший – 10 лет) остались голые, голодные, холодные. Голод гулял по селу. В семье наших соседей из семерых детей умерло пятеро.

Мама пошла работать в соседний совхоз. Там поили телят пойлом из молока и соевой муки. Пригоршню этой размоченной муки мама с сестричкой приносили домой. Это был обед.

Мой дядя Шадько Никита Парфентьевич был председателем сельсовета в соседней Елизаветовке. Раздал из зимнего обмолота 30 пудов зерна голодным. На следующий день по доносу уполномоченного его арестовали и судили как саботажника. К счастью, не сослали на Север, дядя отбывал наказание в лагерях Донбасса. Позднее он рассказывал: «Соберут нас, председателей сельских советов, в райцентре и в десятый уже раз дают указание: найти и сдать хлеб государству. Один из председателей сказал, что хлеба больше нет. Его тут же арестовали за саботаж».

Мой старший брат Владимир (1905–1981) рассказывал: «Я был членом партии, работал в колхозе. Весной 1933 года по разнарядке райисполкома получил на элеваторе станции Еленовка посевную пшеницу и ячмень. Склады были забиты зерном. Значит, хлеб был. На заводах, на шахтах хлеб по карточкам выдавали и рабочим, и иждивенцам. Умирать от голода бросили крестьян, которые этот хлеб вырастили...»

На Донетчине еще во времена царствования Екатерины II поселились православные греки с Крыма. Греческие села получили особенно тяжкий удар во время голода 1933 года. В 50-х–60-х годах я бывал в местах их поселений по делам службы. Тогдашний главный бухгалтер Малоянисольской МТС говорил, что от голода там умерло 30% населения, особенно много детей. Многие семьи все бросали, уходили в города и часто погибали в дороге. Мне рассказывал один работник МТС, как в 33-м году его жена ходила на ночь к уполномоченному, а утром приносила домой немножко муки. Рассказывал и плакал в присутствии своей жены – гречанки, женщины необычайной красоты <...>.

Распрашивая старых людей, я пришел к выводу, что особую роль в организации искусственного голода играли уполномоченные райисполкомов. Где-то специально подбирали этих людей – жестоких, неумолимых, словно бы рожденных специально для того, чтобы издеваться над людьми. В деревне Новоукраинка (это была самая большая и хлебная деревня в районе) уполномоченным был некто Бужной. Люди прозвали его «Черная метла». Он оставил огромную деревню совершенно без хлеба. От голода в Новоукраинке умерло около 500 человек. Детей пугали: спи, не то придет Бужной, и умрешь.

Бывший уполномоченный по фамилии Ковтунов рассказывал: «Нас собирали сначала в райисполкоме, давали очередное задание, а потом мы шли на инструктаж в райотделы НКВД и ГПУ. Там нас учили обнаруживать врагов народа, находить людей, которые согласятся писать доносы, распознавать тех, кто недоволен колхозами. А довольных не было вообще. Каждого можно было сделать «врагом народа». Нас к этому всячески подталкивали. Не посадят в районе нужное количество «врагов» – и районные руководители сами станут врагами. Среди уполномоченных попадались и совестливые люди. Такие были в деревнях Павловка, Пречистевка. Но их быстро убирали как непригодных».

От многих людей доводилось слышать, что все, кто принимал активное участие в раскулачивании, репрессиях, разорении церквей, – все они или почти все долго мучились перед смертью, годами лежали парализованные. Люди объясняли это тем, что их мучит нечистая совесть, страх за содеянное ими.

Жили впроголодь и в последующие годы. Хлеб шел государству. Только после 36-го года начали выдавать на трудодень по 4–5 кг зерна... А я и до сих пор не наедаюсь хлебом. Пообедаю, а потом хоть малюсенький кусочек хлеба, одного хлеба, да съем. Это осталось у меня навсегда от того страшного 33-го года, когда наша Донетчина голодала, так же как и вся Украина.

ДМИТРЕНКО АНТОНИНА ЕРМОЛАЕВНА *из села Зеленое Петровского района Кировоградской области. Учительница-пенсионерка.*

<...> У нас в доме был портрет А.С. Пушкина. Его нарисовал на дверях друг отца Щербина Александр, когда приезжал к нам в гости. И вот в начале 1932 года нас решили раскулачить, сказали: он точно кулак, у него даже на дверях – боги. Папу вызвали в райцентр <...>, и он не вернулся. На следующий день мама поехала узнать, где он. Старшие дети были в школе, дома оставались я с бабушкой. И вот в дом вошла группа людей с криком: «Эй, бабка, а ну, собирайся – и вон из хаты!» Что могла сказать им старушка? Она оделась, одела меня, и мы вышли из дома. А они начали выносить наши пожитки. А что у нас было? Домотканое полотно, накидки, одеяла. Мама с бабушкой день и ночь сидели за прялками, пряли, а потом за кроснами – ткали. И они забрали все это <...>.

Прошло столько лет, больше чем полстолетия, а у меня и сейчас стоит горький комок в горле. Середина зимы, мороз. Вечером возвратились из школы старший брат Ваня и двоюродная сестричка Полина. А мы с бабушкой стоим около дома, никто нас не пускает – боятся. Бабушка просит – дайте детям поесть. Среди тех, кто вышвыривали нас из дома, был Свириденко Петро, он закричал: «Забирай, бабка, своих кулачат и убирайся отсюда!» Как мы плакали, сколько горя довелось пережить нам всем, а особенно брату Ивану. Пошел на воинскую службу в 1939 году, воевал в Финляндии, брал линию Маннергейма, а потом – Великая Отечественная война. Не вернулся брат с фронта, сложил свою головушку на поле боя. Он защищал родину, отдал самое дорогое, что у него было, – жизнь. А передо мной он и до сих пор стоит, обливаясь слезами, голодный, замерзший, зимой 1932 года. Такое не забывается.

Отец в поисках куска хлеба повез семью на Кубань, работали там в колхозе, но заболели малярией. Врачи сказали, что надо уезжать. Мы вернулись на Украину. Родители умерли, измученные тяжелой жизнью, раздавленные несправедливостью. А мы чудом выжили. Потому что на земле есть еще добрые люди.

Пострадал и портрет Пушкина, те «активисты» исцарапали его, изрезали, выкололи глаза. Кто даст ответ: за что страдали мои родители? Почему у нас отняли детство? <...>

ГОНЧАРУК МАРФА ПАВЛОВНА *родилась в 1924 году, жительница деревни Шура-Бандуринская Гайсинского района Винницкой области.*

Мне в 1933 году было уже девять лет, я все-все помню. Нас было у родителей четверо. Отец мой делал горшки из глины и ходил с мамой по деревням, чтоб выменять хоть горсточку зерна. Они за порог, а гости на порог. Железными палками все обстукивают и нас спрашивают: где батька хлеб закопал, скажете — дадим буханку хлеба <...>. Забрали у нас корову. После этого не могли уже папа с мамой ходить менять, потому что опухли. А мы, дети, еще раньше опухли. Так просили мы есть у мамы с папой, так просили. Младший братик плакал-плакал, а наутро умер. В это же утро умер и второй мой братик, старший, с 20-го года. Лежат оба мертвые. Мама плачет. В тот же день вечером умирает и сестра. Уже трое лежат, все опухшие, страшно смотреть. А я и сама такая же. <...> Сосед сообщил в сельсовет, приехали двое на подводе, на рукавах у них были красные повязки. Подняли братиков и сестричку на простыне, положили на подводу и увезли. А через два дня умер отец. Как раз вечер был, суббота. Я так возле него, мертвого, и спала. А в воскресенье утром мама говорит: «Дай мне, деточка, все чистое из сундука». Я ей подала, она оделась, легла и умерла. Лежали папа и мама до понедельника. Был май месяц тридцать третьего года. А в понедельник пришел наш родственник, дядя, сообщил в сельсовет, что умерли. Приехали и забрали их, увезли за деревню, в яму.

Рядом с нами жил брат моего папы. Шестеро его детей умерло за три дня. Пошла я к ним и увидела: один лежит на полу мертвый, второй на скамье, третий на столе, а их мама плачет, не знает, что делать. Когда детей забрали, дядя ушел из дома, сказал — пойду в лес и покончу с собой. И так его больше и не было. А его жена помешалась умом, ходила, как русалка, с распущенными волосами и все говорила: «“Красная метла” забрала моих детей, мужа и хлеб».

Росла я в сельском интернате. А как же мне хотелось маминей ласки, как хотелось произносить эти слова — мама, папа.

Тяжко мне все это вспоминать, хоть сама я уже и мама, и бабушка. Вырастили мы с мужем шестерых детей, разлетелись, как птенцы из гнезда, а вот не могу забыть, как мучились люди в 33-м году.

ЗАДВОРНЫЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ родился в 1919 году в селе Купель (ныне Волочискский район Хмельницкой области). Участник Великой Отечественной войны. Учитель-пенсионер.

<...> Забирали все до зернышка – без лишних разговоров. Плач, крик, гвалт.

– Да вы хоть на детей посмотрите!

– Не сдохнут... Пусть пасутся. А по вас Соловки плачут, – угрожали «закуцийники» (наверно, от слова «экзекуция»)¹. Они были оснащены длинными железными крючьями и шарили ими по хлевам, кладовкам, сараям. Не обходилось и без помощи доносчиков. <...>

Хлебозаготовка и коллективизация, как родные сестры, ходили по селу. И мы, подростки, с интересом наблюдали из-за углов, что же это происходит. «Не смотрите на чужую беду, несчастные, ваша уже за плечами!..» Копали, искали, и если находили зерно в мешках или корзинах, грузили на телеги – и на станцию. А упрямец стыдили, обзывали саботажниками, «классовыми врагами», на «черную доску», точно на виселицу, вешали. <...>

И твердо держали классовую линию. План выше Бога.

Шел 1932/33 учебный год. «Красная школа», украинская, – в бывшем волостном управлении. В местечке – еврейская семилетка, была и польская начальная. Имели двухгектарный массив земли на бывшей поповской усадьбе, что по-над Бугом. Засевали, обрабатывали. Учились по программе и политехнизировались (была и своя столярная мастерская). Учили П.Тычину, В.Сосюру, Г.Эпика, И.Микитенко, а еще Ицика Фефера, нашего земляка. Собирали золу и куриный помет для колхозных полей. О своих пионерских делах рапортовали П.П.Постышеву и С.В.Косиору. Песен было:

Ты – рабочий, я крестьянин,
Братья мы теперь с тобой.

Э-гей, братья в полотняных штанах, с полотняными торбами, полными книжек! Главное, верьте – пусть голые-босые, в одних веночках из васильков да ромашек – в победу! Слышались и насмешливые, издевательские:

Ешьте силос, пейте воду.
Пятилетку – за три года! <...>

А тут еще новая напасть, прямо беда какая-то. Искали по домам жернова и нещадно их уничтожали. Как мы ни следили,

¹ «Закуцийники» – скорее, от *zakus* (польск.) – заковать или от *zakut* (рус.); в любом случае народное словцо безошибочно попадает в цель. (Примеч. сост.)

как ни стояли на страже, а не уберегли. Ударили молотком раз, другой — и дело сделано.

— Да я ж их в самом Сатанове покупала! И кому они что сделали, кроме добра? — причитала над обломками баба Степанида.

Сельский активист Степан еще и издевался:

— Где, баба, жернова — там болит голова. Ломаем, чтоб лучше жилось!

До сих пор не пойму, для чего они это делали. Жернова мы все же починили — стянули обручем, подбили клинышками, и камень-калека мог работать дальше, только молоть было нечего. <...>

В школе сказали, что на помощь украинским большевикам в Харьков прибыли В.М.Молотов и Л.М.Каганович. Ох и трясколотил Молотов, выбивал, выскребал все до зернышка <...>.

Церковь закрыли, заодно и костел. В артели «Экономика» шили из поповских ряс тубетейки. Последний эксплуататорский класс на селе был уничтожен. Досталось и бедноте и середнякам: нечем мышь из норы выманить. Надвигался голод.

Молчали разбитые жернова. У нас еще была ступа, макитры, горшки. Мать со свекровью подсчитывали ресурсы, примерялись. Дотянуть бы как-нибудь до «зеленого хлеба». Тяжело было тянуть. Шесть душ, из них четверо нас, молотильщиков — только подавай. Сварит мама болтушку из коры да опилок, чем-нибудь впроде молочка из конопляного семени забелит — такая вкусынина! «Ешьте-ешьте!» — угощает бабушка. Приходилось. А то еще маленькие, точно горох, галушечки. Наешься, живот как барабан, а тебя так и клонит. А день весенний — точно год: вола бы съел. Хоть бы кусочек хлеба, хоть корочку. «Хлеба, хлеба», — это самые маленькие. «Ну ешьте меня...» — сердится мама. А утром рано на работу, в поле — навоз заготавливать, сушить куриный помет, к весенней посевкампании готовиться. <...>

Особенно тяжело стало с наступлением весны. Люди сделались безразличными ко всему. Единственная цель — насытиться. Затравленный взгляд, одутловатые лица, опухшие ноги. Они уже не могли ходить, еле-еле передвигались. Сила земного притяжения влекла вниз. Те, кто еще мог залезть на дерево, сбрасывали гнезда грачей, подбирали птенцов, вытягивали водоросли из пруда. Каждый хотел жить и карабкался как мог. Спасала лебеда. И каких только яств не готовили из нее <...>.

Жить. Опухшие долго не держались, их уже ничто не могло спасти. Опухоль сходила, люди высыхали, как щепки, и умирали. Голод испытывал крестьянские души. Люди уже знали, что это такое, ведь не так давно, в 1921 году, в наши села прибывали голодные с Поволжья, им давали хлеб, а детям-сиротам — пристанище. Тогда Ленин бросил клич о помощи голодающим.

И их спасли. Теперь — тишина. О голоде говорят разве что «классовые враги», которые хотят опорочить Соввласть.

— Мы уже вступили в период завершения строительства социализма, — говорили нам в школе.

— На полях ХТЗ...

— Пушен ЧТЗ...

— Открыт Беломорско-Балтийский канал имени И.В.Сталина! Награждено много народу во главе с Ягодой...

Желтеет рожь. Две недели желтеет, потом еще две наливаются колос, еще две — созревает. Потом жатва. Сколько еще времени надо ждать? А сегодня уже умирают один за другим. Запряженная парой тощих лошадок телега подбирает покойников. Направо — православное кладбище, налево — католическое. Ни попа, ни ксендза (ему пришили шпионство), ни музыкантов. Только печаль — молчаливая, тихая. В чем помер, в том и бросили в яму, без гроба, без поминок, без девятинок, без сороковин...

Вон они, там, справа и слева. Люди, чьи имена забыты, ибо никто их не считал, не заносил в церковные грамоты. Одни насчитывают 300, другие больше — 500 душ. Это зона печали, забвения. А ведь в былые времена у неграмотных, темных, забитых крестьян-хлеборобов была память. <...> Когда-то за могилы предков шли на кровавые войны. Память — это признак культуры, морали, гуманизма. Неужто мы такие беспамятные?

ГУБЕНКО ГРИГОРИЙ ЗАХАРОВИЧ родился в 1908 году, учитель, награжден орденом Ленина.

После окончания Глуховского педагогического техникума в 1931 году мне довелось работать в Знаменском районе Кировоградской области. <...>

Для меня уже в сентябре очень остро встала проблема питания. Хотя учителям и полагалось выдавать пуд муки на месяц, однако найти этот пуд никак не могли. Наконец решили повторно перемолачивать солому — может, там что-нибудь еще осталось. Намолотили куколя и плевел, изредка проскакивали и сплюсненные зернышки. Рыдали по такому вот пуду. <...>

В деревне только и разговоров о том, что надвигается голод. <...> Кое у кого на огородах были полоски, засеянные рожью и ячменем, но надежда была на картошку и свеклу. Однако на каждого навесили еще и план сдачи картофеля, а к тому же — налоги. Изобретательные деревенские управители по пять раз за ночь вызовут в сельсовет, чтобы напомнить про долг.

Посмотришь на перемене, что едят дети, и страшно становится: хлеба почти ни у кого не было, ели печеную тыкву или картофелину, кто-то усердно грызет кусочек подсолнухового

жмыха. Бывало, какой-нибудь из ребят подойдет ко мне и протянет кусочек жмыха. Видели, что и мы, учителя, живем впроголодь. До Нового года еще почти все дети на переменах что-то жевали. У многих уже появились круги под глазами, у большинства личики бледные, изможденные.

Только после Нового года удалось организовать одноразовое питание. Правда, состояло оно из одной затирухи, но все дети, которые уже начали опухать, пришли в школу. Им, конечно же, было не до учения. Посмотришь в глаза, а в них печаль, укор, но вместе с тем и какая-то надежда: каждый надеялся выжить. <...>

Со второй половины апреля 1932 года в городе и на станции стали появляться дети, которых родители, не в силах прокормить, отсылали из домов в надежде, что в городе люди не дадут умереть. Милиция забирала их и направляла в районо. Бывали дни, когда приводили по тридцать и более детей. У районо был детский дом на 70 человек. Пришлось ввести должность экспедитора, который отправлял домой детей, если удавалось выяснить, откуда ребенок и кто у него есть. Тех, у кого не было родителей, брали в детский дом. Многие из них там умирали. <...>

Летом стало чуть полегче, поскольку люди перешли на подножный корм. Как только налились колосья, кое-кто пытался срезать их ножницами. Карали нещадно: за пучок колосьев грозила тюрьма.

Пошли слухи о случаях людоедства. Еще с осени 1932 года село совершенно оголилось. Забирали не то что пуд зерна, но и горсточку — все, что находили. <...> Если в деревне не находили зерна и уполномоченный ничего не мог сделать, чтобы раздобыть его, то специальная «тройка» принимала решение о его аресте и немедленной высылке на Соловки.

Голодное село шло навстречу страшной зиме. Приедешь, бывало, в село, а оно мертвое: не слышно, чтобы залаяла собака, закукарекал петух или кошка дорогу перебежала. Не слышно ничего живого. Люди тихо умирают в своих домах, а всю живность, которая когда-то была, давно съели.

С осени и детишки, и взрослые искали в поле склады полевых мышей и выгребали оттуда все запасы. Не проходили мимо бурьянов. Семена разных трав собирали, толкли и пекли «коржики». <...>

Страшные зрелище представляли собою школы: почти все дети опухшие. Шли они в школу только для того, чтобы получить мисочку затирухи. <...>

Сельские учителя в подавляющем большинстве были настоящие подвизники. Они — без квартиры, без пайка, с мизерной зарплатой — стоически несли свой тяжкий крест.

ЛЫСЕНКО ЮРИЙ МАКАРОВИЧ родился в 1925 году в селе Вязово на Сумщине. Участник Великой Отечественной войны.

Небольшой хуторок Вакаливщина поблизости от деревни Бытица на Сумщине навсегда оставил след в моей душе. То, что я там видел и что испытал сам в свои семь лет, не забылось и не забудется никогда <...>. Это был 33-й, голодный год <...>.

Лучше всего думать о том, что впереди у тебя кусочек хлеба с сахаром. Сначала я обгрызу его со всех сторон, там, где меньше сахара, а на закуску останется середина — там сахара больше всего. От этих мыслей рот наполняется слюной, судорогой сводит челюсти, а в животе сосет, как в пустой бочке, и тошнотворно ноет.

Дома нет ни крошки хлеба, и заработать его можно только здесь, в поле. И приходится мириться с этой мерзкой травой, палящим солнцем и мучительной жаждой. Я переступаю на цыпочках и до изнеможения дергаю и дергаю сорняк. Слава Богу, что мне позволили заработать этот хлеб, ведь он — только для школьников. А я еще не учусь, так же как и мой брат. Мама у нас учительница, поэтому нам обоим разрешили выйти на прополку. И вот я — с учащимися первого класса, которых поставили на ручную прополку, самый младший среди них. Сначала я старался не отставать от других, и было очень обидно, когда увидел, что меня опередили почти все. Так что хлеб я буду получать последним и мне может не хватить. И я еще упорней воюю с жесткой травой, рву ее изо всей силы, а вместе с ней иногда выдергиваю и просо. Тогда перед моим лицом останавливаются огромные сапожищи, и голос кары небесной грохочет сверху:

— Ты что, не видишь, где пырей, а где просо? Ослеп, что ли?! Хлеб лопать умеешь, а полоть не умеешь? Не научили?..

Я стараюсь. Я уже не переступаю на цыпочках, а переползаю на коленках. Болят не только пальцы, но и ноги, спина, шея. А полоски исчезают далеко за холмом. Я боюсь остаться без хлеба с сахаром и терплю эти муки.

Время от времени здоровенные сапоги останавливаются перед моим носом, и тогда дегтярный запах сдавливает мне горло и душит вместе с жарой. Я кажусь себе малюсеньким, как эти жучки и мошки, снующие в траве.

Позади меня только двое — девочка и мальчик. Девочка еле передвигается, подобрав ноги под темную юбочку, медленно дергает траву, словно в полусне. Мальчик с опухшим лицом

ползет, как и я, на коленках, они просвечивают сквозь дырки на штанах — черные, как земля.

Около меня останавливаются знакомые стоптанные тапки, и я слышу ласковый и печальный мамин голос:

— Ну, как ты тут, сыночек? Устал? Уже немного осталось.

Она приседает рядом, гладит меня по голове, потом быстро-быстро рвет сорняк, помогая мне.

— Потерпи еще немного. Скоро тебе дадут хлеба с сахаром, и ты поешь. Ты же у меня молодец. Вон, смотри, Витя впереди, догоняй его. Старайся. Только будь внимательней, не рви просо...

Немного продвинув меня вперед, мама уходит. У нее, так же как и у второй учительницы, норма не две полосы, а больше; они уже повернули обратно и поравнялись со мной. Обернувшись, я вижу, что мама пошла не к своим полоскам, а к девочке, которая отстала. Мне казалось, что девочка вроде как задремала на солнце, положив голову на острые коленки. Мама гладит ее по голове, что-то ласково говорит, низко согнувшись и заглядывая девочке в лицо. Девочка молча качается, кажется, она вот-вот упадет и заснет. Мама поднимается и идет к тому страшному дядьке в сапожищах, что-то говорит ему, показывая на девочку. Он отворачивается, хочет уйти, но мама преграждает ему дорогу, машет рукой. Потом берет за руку одну из девочек и ведет ее к той, отставшей. Поставив ее рядом, погладила и пошла к своей мотыге. Теперь девочки будут вдвоем полоть две полосы.

Мне становится обидно, я сердит на маму за то, что она дала им по одной полосе, а мне оставила две. Я обижен и неохотно дергаю траву. Пальцы нестерпимо болят, и я бросаю работу и отдыхаю, выковыривая из носа забившуюся землю. Мне все становится безразличным: и хлеб, и солнце, и даже я сам...

И вдруг вижу: девочка, которая ползла за мною, лежит на земле, а вторая трясет ее за плечо. <...> Девочка, верно, уснула, и ее невозможно разбудить. Мне тоже хочется лечь и заснуть.

Вижу, к девочке спешит моя мама и ее подруга, тоже учительница. Подошло и несколько школьников, тогда и я направился туда, обрадовавшись возможности передохнуть. Девочка не спала. Глаза ее были раскрыты и смотрели в белое от зноя небо, а черные пальцы сжимали пучок пырея. Мама попыталась вытянуть этот пырей, но не смогла, девочка крепко держала его. Так, с этим пучочком, взяли ее на руки и понесли к дороге, положили на зеленую траву под вербой.

Я уже понял, что она умерла и ее похоронят на кладбище, как хоронили людей и вчера, и позавчера, и каждый день. Я уже

привык к этому. Интересно было только, похоронят ли ее с этим пучочком или все-таки вырвут его из руки.

Вспомнив про хлеб с сахаром, я возвращаюсь к своим полоскам. Я не хочу быть последним, хотя я и самый маленький. Я уже понял: тех, кто отстаёт, подстерегает смерть.

А я любил жить.

ДЕБРИЙ МАРИЯ МИТРОФАНОВНА *родилась в 1909 году, работала поварихой в интернате.*

Открыли этот интернат в Могильной Хате. Тем детишкам надо бы молочка, а у нас и хлеба-то не было. Так что кормили их мамалыгой и супчиком с нечищенной картошечкой. Не все выживали, потому что у них уже ничего не задерживалось. Некоторые и ложку в ручках держать не могли, таких мы через тряпочку кормили, как грудничков. И все-таки они постепенно оживали. Со временем начали ходить, даже улыбаться; какая же тяжкая была она для нас, эта улыбка. В интернат брали только круглых сирот, а голодных набиралось намного больше, и все они тянулись к интернату, как подсолнух к солнышку, в надежде получить хоть какую-нибудь еду. Они тут, около интерната, и жили. Один раз вышла я и вижу — сидит хорошенькая, как ангелочек, девочка.

— Как тебя зовут? — спрашиваю ее, а она только глазенками синенькими поводит да все на мои руки поглядывает, нет ли у меня чего.

— Дайте, тетечка, хоть ложечку мамалыги, моя мама не сегодня-завтра умрет, и тогда меня возьмут к вам, а я могу не дожиться...

Я чуть не умерла от этих слов... Взяла ее на руки, а она такая легонькая, ну прямо мотылек. А сколько их так и осталось там, под дверью...

ЗАРИЦКАЯ ЛЮБОВЬ ДЕНИСОВНА *родилась в 1923 году в селе Красноселка Александровского района Кировоградской области.*

Был 1929 год, коллективизация. Забрали у нас лошадь, корову, двух поросят. Сняли железо с крыши. Нас было четверо детей. Ну, как-то еще жили, а с зимы 33-го года уже совсем голодали. Первой умерла мама, отец поехал раздобыть чего-нибудь, чтоб нас спасти. Отца нет и нет. Мы спали все вместе, вповалку. Около меня лежал старший брат, 20-го года рожде-

ния. Я вдруг вскочила, почему — сама не знаю, и стала его будить: «Петя, Петя, вставай!» А он уже неживой. Приезжает отец, а уже и второй брат умер, Степа, 24-го года рождения. Отец привез мешочек дерти¹, думал — хоть нас двоих спасет. Но тут умерла сестра Вера, 26-го года рождения. Отец очень плакал, прямо кричал. Одна я осталась с отцом.

Живем, как можем. Уже мачеха у меня была. Вечером отца вызвали в сельсовет. Нет его и нет. Я, больная, ночью иду в сельсовет. Дошла до плотины, идет бригадир Кирик Матвей: «Куда ты?» Говорю — в сельсовет, отца нету. Он говорит: «Возвращайся, отца милиция забрала, он вроде враг народа». Я — в крик и к милиции, шесть километров бежала, пришла и мачеха. Была ночь. Я стучу в дверь милиции, выходит дежурный, Гниляк, из деревни Яновка: «Чего тебе надо? Отойди от двери!» А я лезу, плачу, кричу. Он меня оттолкнул. Я упала и снова лезу к двери, он опять пихнул, и я уже не могла встать, а только ползла и плакала: «Папочка, на кого ж ты меня покинул?» Доползла до дверей, а он, Гниляк, все ногами меня отпихивал, бил и бил, как будто скорлупу на вареном яичке оббивал. На мне уже живого места не было, вся избитая. Наступило утро, сменился этот проклятый Гниляк, другой милиционер подошел к нам: «Что такое, почему ребенок стонет?» Мачеха ему все рассказала. Он говорит: «В 10 часов будут троих из них отправлять, ждите здесь». Ждем. Вот открываются ворота, машина едет, и их трое сидят около заднего борта, а у кабины три милиционера, и на этих троих винтовки наставили. Я крикнула: «Папочка!» Отец оглянулся, а милиционер его прикладом в лицо. Я бежала за машиной до самого центра, там упала на дорогу, и меня без памяти забрали в больницу.

Как-то я жила. В школе давали, во что обуться и одеться. Говорили, чтобы шла в детский приют. Но председатель сельсовета Ветер Дмитро сказал: «Таких детей в приют не берем, они враги народа».

Я повсюду писала жалобы за отца — за что его забрали? Он же воевал за Советскую власть, у него брат коммунист. Не верила я, что его расстреляют, думала, сиротка, что еще увижу своего папочку. Но шофер Гречкосей из нашего села — он тогда уже в Киеве жил — сказал мне, что он самолично отвозил всех троих на расстрел и что уже нет на свете моего отца.

А я все равно хлопотала, писала, что отец невиновен. Не верила, что его расстреляли, надеялась — где-то он есть и его

¹ Дертъ — зерно грубого размола, идущее на корм скоту. (Примеч. сост.)

отпустят. А в 1957 году приехали трое из области, все село из хаты в хату обошли, расспрашивали всех одногодков папиных. И пришла мне из Кировоградского областного суда бумага, что постановление от 25 апреля 1938 года о моем отце Джирме Денисе Карповиче уже отменено, так как вины за ним не было.

ПУД МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ *родился в 1917 году, житель села Вильшаное Сосницкого района Черниговской области. Участник Великой Отечественной войны, инвалид второй группы. Механизатор широкого профиля.*

<...> Несмотря на то, что на каждом видном месте красовался лозунг «Бедняки и середняки, все в колхозы!» — крестьяне дружно и отчаянно сопротивлялись этим пламенным призывам. Проценты коллективизации никак не повышались. Зато лозунг «Ликвидируем кулачество как класс!» превышал процент по исполнению и победоносно шествовал по селу как провозвестник нового хозяйствования <...>.

Я мало образован, в то время было не до образования. И все-таки я уже тогда читал немало. Пани Кротевич не чуралась моей матери, своей бывшей прислуги. Видя мою любознательность, мое стремление к знаниям, она часто давала мне книги. По большей части исторические. <...> И ни в одной из этих книг я ни разу не прочел, чтобы человека, который грабит соседа только за то, что тот лучше умеет <...> обрабатывать землю, — чтобы такого человека одобряли. А тут, куда бы ты ни пошел, со всех сторон прямо тебе в душу кричали написанные с ошибками, огромными, чаще всего кривыми и корявыми буквами слова: «Ликвидируем кулачество как класс!»

Большую, на многих страницах написанную книгу я понимал. А вот эти четыре слова, написанные на стенах, понять не мог. Никак не мог. Почему это надо уничтожить такого же крестьянина, как ты сам? Почему тот, кто не имеет своего, поскольку ленился работать, может отнять у того, кто имеет?

Наши селяне были почти, а то и совсем безграмотны. Хорошо хоть, что некоторые из них обладали природным умом; у многих же не было <...> ни образования, ни ума. Такие люди, взяв власть в свои руки, постоянно находясь в состоянии самогонного подогрева, да к тому же имея разрешение сверху и не зная никаких запретов, были способны на все и почему-то очень мало на добро. Они сами составляли списки кулаков, сами раскулачивали и делали это без зазрения совести. Входили

в дом, один садился за стол, раскрывал замусоленную тетрадь, слюнил огрызок карандаша и объявлял: «Продается двор Пархоменко Ивана со всем, что в нем имеется. Цена 10 рублей. Кто больше?» Кто-то из них же (о чем было заранее договорено) выкрикивал: «Пятнадцать! Кто больше? Никто? Двор продан. Слыхала, Иваниха, убирайся вон!» У Иванихи на скамье пять буханок хлеба ждали, пока она посадит их в печь. А на печи шестеро малых детей. Седьмой — в люльке. Да не довелось тем буханкам попасть в печь, они были скинуты на землю и растоптаны грязными сапогами, люлька с младенцем — вышвырнута на улицу, а малых детишек взрослые люди сапогами, перепачканными в тесте, выкатывали из дома в грязь, смешанную с первым снегом, — раздетых детей. В печь, ждавшую буханок, кто-то плеснул из ведра. И все кончено. Повысился процент ликвидированных кулаков, а во дворе стояла женщина, прижимая к груди младенца, и, точно окаменев, слушала плач своих замерзших детей.

Где, в какой части света, в какой стране, среди каких людей и какой веры можно увидеть такое?

А вражда разгоралась. Аппетиты на дармовое имущество не уменьшались. Теперь уже раскулаченных никто никуда не вывозил. Просто грабили, выгоняли из дома, после чего к ним пропадал всяческий интерес. Усадьба продавалась за бесценок, а то и просто разрушалась без всякой нужды. А та женщина с малыми детьми должна была где-то мучиться. Кого-то проклинать. Первым был раскулачен наш пан Кротевич. Последней — его прислуга, моя мать, вдова с шестью малыми детьми.

Летом 1932 года я пас стадо из 35 коров. За каждую корову мне платили натурой: рожью или пшеницей, картошкой. Когда наступила зима, я начал вывозить на санках то, что заработал. Сосед Иван — он был активист раскулачивания — следил за моей работой и, наверно, все подсчитал, потому что как только я привез последние санки, он подогнал подводку, и за один раз у нас забрали все зерно, которое я заработал за долгое, трудное лето, а заодно и то, что мы вымолотили из своих собственных снопов. Забрали и всю картошку, не задаваясь вопросом и не беспокоясь о том, чем же ты, женщина, будешь кормить этих своих шестерых детей. Мама тогда отнесла заявление в колхоз. Но зерно и картошку нам уже не вернули. С этого времени мы начали приучаться жить, почти не употребляя в пищу, а потом и совсем не употребляя того, что положено есть людям. Стали есть то, что ест скотина.

После моей мамы больше ни одного кулака в селе не было, раскулачивать уже было некого, и все те, кто раскулачивал, уехали из нашего села. Выехали всей коммуной, со всем своим добром и добром, награбленным у соседей. Однако награбленное скоро съелось, и их постигла та же участь, такой же голод, какой устроили они в своем селе, своим соседям. Как в поговорке: «Злая искра поле спалит и сама погибнет». Искра действительно погибла. Но и поле сгорело. Огромное поле. Наше поле. А мы — это ведь не только семья моей матери, это все большое село Вильшаное, что в Сосницком районе, это весь Сосницкий район, что на Черниговщине, это вся Черниговщина, что на Украине, это вся наша Украина <...>.

Но я рассказываю только про мою семью, про мое село.

Мое село. Большое и зажиточное когда-то село. Земля у нас — плодороднейший чернозем. Воткни в землю сухой колышек, говорили раньше старые люди, и он зазеленеет. Село кормило себя и еще большое количество людей в городе. В селе было много садов. В садах стояли пасеки. Вокруг села размахивало крыльями не меньше десятка ветряков. В селе было две маслобойни, большая мельница. В селе умели выращивать гречиху, и темным зерном гречки были наполнены закрома в каждом дворе. В селе были свои овчинники и кожевники, пряжи и ткачи, сапожники и портные. Около полутора тысяч дворов в селе, а еще сколько на хуторах. И все эти люди жили мирно и достойно, старательно заботясь о земле и выращивая живность. Летом на пастбище паслась тьма тьмушая разной скотины и птицы. В селе не было никого, кто бы не работал — ни среди старых, ни среди молодых. Не было пьяниц, хотя водка продавалась с утра до поздней ночи. Не было мошенничества, воровства, не было в языке грязных слов.

Каждый вел свое хозяйство единолично, <но> жили дружно, сообща. Всем миром, или, как у нас говорили, толокой строили жилье, присматривали за прудами и колодцами, сообща вырабатывали решения о лесах и выпасах. Всем миром, всем селом содержали немощных, нищих-калек. Каждая женщина, идя в воскресенье в церковь, непременно несла для них милостыню. А в ненастную зимнюю метельную ночь на колокольне во всех четырех ее окошках горели яркие фонари и дежурили люди, посылая в ночь сигналы, — звонили в большой колокол. Человек заботился о человеке. Люди жили достойной людей жизнью, которая, по моему тогдашнему полудетскому разумению, не требовала какого-либо усовершенствования. <...>

Однажды вечером, вернувшись домой, я посмотрел на маму и пришел в ужас: она была точно стеклянная банка, наполненная чистой родниковой водой. Кожа напоминала полиэтиленовый мешочек, наполненный водой, и просвечивала насквозь. Я прекрасно понимал, что это означает. Я знал: до утра она уже не доживет.

В этот день я поймал на лугу двух ежей. Опалил колючки, бросил в чугунок и поставил на огонь. Ежи после зимы уже отъелись, из них вытапливалось жидкое, как растительное масло, сало. Без чего-нибудь похожего на хлеб я не мог его пить, но и выкинуть тем более не мог — это же был жир. Я знал, что им натирают обожженную или обмороженную кожу. И я налил его в бутылку и принес домой.

Я смотрел на маму и впервые с ужасом подумал, что и мама — вечная и необходимая — может умереть. Что она умирает. Тогда я вытащил бутылку с жиром, налил в стакан и поднес маме: «Нате, выпейте». Она взяла и, не раздумывая, выпила этот жир и легла на голую скамью. Когда утром я проснулся, мама уже не лежала, а стояла около скамьи, и я ужаснулся: передо мною не мама, а какое-то страшное, безобразное существо — скелет, но не обтянутый кожей, наоборот — кожи слишком много, и она свисает пустыми мешочками. <...> Мама не видела себя, она только чувствовала: с нею что-то произошло. Она растерянно смотрела на пол. В нашем доме пол был глиняный, и под скамейкой в утреннем луче солнца поблескивала лужа, почти что родниковой воды. <...> Мы оба понимали: свершилось великое чудо. Мама спросила: «Что это ты дал мне вчера?» — «Ежовый жир». Я протянул ей бутылку. Жир не загустел, так как было тепло. Мама мигом бросилась к полатам, где вповалку лежали ее дети, мои едва живые братья и сестра. Она напоила их всех в надежде на повторение чуда.

Я погнал в поле свое маленькое стадо. <...>

Вечером дома я увидел то же самое, что уже видел утром. Под полатами лужа, а на полатах у стены шевелятся три маленьких уродца — скелеты, покрытые словно бы не своей повисшей кожей, с блестящими, глубоко запавшими глазами, смотревшими на меня с надеждой. Они хотели жить. И я их спас.

А каким же я был? Видел себя только в малюсенькое зеркальце, прилепленное глиной к стене дома. Круглое лицо с выпирающими скулами, запавшие зеленые глаза, широкие брови и глубокая морщина на лбу. Все, кроме лба и носа, заросло серым пухом, из-за него мое лицо казалось мне вовсе не моим, чужим, одолженным у какого-то седого старого де-

да. Мои ровесники так и называли меня — Дедок. <...> Я не обижался. Я так и думал о себе — я дедок и молодым никогда уже не буду. И это было мне безразлично. Хотелось только одного — жить. <...>

А смерть еще долго не покидала наше село. Слишком сильно оголодавший человек утрачивает чувство меры. Сколько бы он ни съел, желание есть не покидает его. И если не удастся перебороть это желание, человек — сытый человек — погибает, убитый все тем же голодом.

Однако как бы там ни было, а тот страшный голодный 33-й год стал годом сплошной коллективизации. На сто, а может, и больше процентов. Это исторический факт. И сегодня нам осталось только взвесить — какова же цена этих процентов. <...>

Я слышал и читал не раз: молодость не возвращается. А когда думал о себе, приходил к другому выводу: молодость до меня не дошла, сгорела. Моя пора, мое время, мои семнадцать лет <...>.

ИЗ РАССЕКРЕЧЕННЫХ АРХИВОВ

1.

<Письмо написано по-русски.>

Переслано в ВУЦИК из секретариата Сталина 12.10.1931 г.>

16 сентября 1931 г.

Уважаемый т. Сталин.

Мы знаем, что Вам очень трудно отвечать на всякие письма, какие Вам, может быть, сотнями приходится получать ежедневно, но все-таки мы надеемся, что Вы, как во главе строительства социализма, ответите хотя через газету нам на несколько вопросов.

1. Почему мы, крестьяне-хлеборобы, работающие возле хлеба, видим, сколько мы собрали зерна пшеницы и всех культур, мы на сегодняшний день не имеем что кушать, не говоря уже о жирах? Нам в селе говорят, что этот хлеб, вернее сказать хлебный кризис, потому, что весь хлеб идет в рабочие районы, но многие крестьяне, ушедшие в город, убедились, что и рабочие также голодают.

2. Почему мы сейчас не можем свободно высказываться на собраниях о всех недостатках и выбирать в свое правление для

руководства нами лиц, какие по нашему усмотрению могли бы правильно руководить?

Т. Сталин, прошу ответить через печать «Правду» московского издания. Написали бы Вам свой адрес, но боюсь, потому что за правду судят, дают не меньше 5 лет допра, 5 лет высылки в дальние табора и 5 лет поражения в правах. Мы знаем отлично, что Вы прочтете это письмо и Ваше мнение будет таково, что это пишут люди, какие недопонимают строительства социализма. Мы как раз очень хорошо понимаем все. Мы видим, что наше сельское хозяйство совершенно разоряется.

Пишите ответ в московской «Правде» на № 555.

*С тов. приветом бедняки-хлеборобы.
Одесский район.*

<ЦГАОР УССР. Ф. I. Оп. 7. Д. 145. Л. 115-116. Оригинал. Рукопись.>

2.

<Письмо из Брацлавского района на Винничине адресовано в ВУЦИК.>

1 ноября 1931 г.

Дорогие наши вожаки!

Мы, учащиеся Печерской школы Брацлавского района просим у вас помощи, потому что мы погибаем от голода. Нам надо учиться, а мы от голода не можем ходить. Индивидуальные¹ и колхозники — все пухнем от голода, так как работать мы не можем, а хлеб дают только тем, у кого есть трудодни. Скоро приближаются Октябрьские праздники, нам бы радоваться, а у нас от голода в глазах темно и желудки болят от того мусора, который мы сейчас едим, потому что у нас забрали не только хлеб до зернышка, но и картошку, фасоль и все, что можно есть. Из картошки делают водку, а нам есть нечего. Про обувь и одежду мы уже молчим, а просим только не морить нас голодом. Мы надеемся, что Советская власть не даст нам погибнуть и не будет кормить нас пулями вместо хлеба, как кормили наших родителей цари. Мы верим, что Советская власть поможет нам и спасет нас от голодной смерти.

Просят учащиеся Мильгота, Сироха, Москалюк, Баран, Могдич, Пилипенко, Антонишина, Вистяк и другие².

<ЦГАОР УССР. Ф. I. Оп. 7. Д. 145. Л. 148. Оригинал.>

¹ Индивидуальные — единоличники. (Примеч. сост.)

² Под письмом 10 подписей, 2 нрзб.

3.

*<Письмо из Белоцерковского района на Киевщине
адресовано в бюро жалоб НК РКИ.>*

8 марта 1932 г.

Законно ли, что крестьян оставили без куска хлеба, без единого фунта зерна, можно ли прокормить 5 месяцев детей одной картошкой, которой уже нет, день ото дня количество голодных увеличивается. Известно ли истории такое, что сотворила сейчас Соввласть.

В такие лютые морозы выбрасывать голых и голодных на мороз, и больших и малых, от такого добровольного вступления в колхоз толку не будет, потому как и члены колхоза не получают ни одного фунта хлеба с 1 ноября 1931 г., весь хлеб до фунта вывезен в хлебозаготовку. Рабочая скотина каждый день дохнет, так как даже соломы нет, не то что овса или жмыха. Больше всего ограблены села Лосятин, Селивонки, Гребенки, Храпачи и Скребыши Белоцерковского района. Тысячи пудов отобраны и в снопах, и зерном, а деньги людям не выплачены до сих пор; для этого надо приехать из центра (Харьков) и собрать общее собрание села, и спросить у людей, у кого что отобрано и не заплачено, потому что районному начальству мы не верим; много отобрано хлеба, муки, сала, мяса и т.п., отобрано бригадами, а частично сдано в колхозы, где разбиралось по домам правлением. За что мучают крестьян, за что пропадает скотина? За последние три года урожайность снизилась со 100 процентов до 10 и меньше. Например, рожь дала с га 4–5 центнеров, яровая пшеница с 1 га 70 кг. Это в колхозах, в единоличных <хозяйствах> тоже понизилась, но меньше. Почему в Москве пуд ржаной муки стоит 7 руб., а у нас 90 руб., может, там уродило лучше?

В первую очередь надо опросить крестьян с. Лосятина, где уже голод.

Степан Мартыненко, М. Хуторный, М. Шевченко, чл. колхоза.

Дайте хлеба! Дайте хлеба! Дайте хлеба!¹

<ЦГАОР УССР. Ф. 539. Оп. 10. Д. 1415. Л. 15. Оригинал. Рукопись.>

¹ На документе – пометы, из которых явствует, что жалоба оставлена без последствий.

4.

<Из письма 65-летнего пенсионера-инвалида И.В.Сталину.>

12 декабря 1932 г.

Дорогой всемирный вождь тов. Сталин!

Я обращаюсь и к тебе также с просьбой, горе и мученье заставляют. Я самый несчастный в мире, больной лежу и пишу, нет сил. Подкрепи и ты меня, пришли вина и сала, поддержите, товарищи, мои силы. Пусть я не умираю в завоеванной стране от голода, смерти нет, а кушать хочется!

<И.М.>Вовченко

ЦГАОР УССР. Ф. I. Оп. 8. Д. 114. Л. 72. Оригинал. Рукопись.

5.

<Письмо из Винницкой и Киевской областей, адресованное Сталину, Калинину и Молотову. В сокращении.>

Открытое письмо крестьян Винницкой области и части Киевской. В нашей местности голод охватил все районы. Все крестьянство движется и удирает из сел, дабы спастись от голода. В селах в день умирает от голода по 10—20 семей, дети двинулись кто куда, все станции железных дорог переполнены отъезжающими крестьянами. В деревнях не осталось ни лошадей, ни скота. Голодных крестьян-колхозников голод заставляет бросить все и идти в свет. Есть случаи в Шевченковском районе, когда целые села заражены болезнью — сапом, потому что кушали дохлых лошадей. Говорить о выполнении посевной кампании не приходится, так как процент крестьян в наших селах остался малый и все истощены голодом. Исходя из этого, нужно отметить, что в этих областях никакой политической обеспеченности нет и Польше легко перетянуть крестьян на свою сторону. Буржуазия создала искусственный голод у нас, это есть выполнение задания капитализма, она восстановила всю крестьянскую массу против Советской власти.

*С.П.Крофан, член ВКП(б) с 1925 г.,
партибилет №1271632*

¹ В это письмо вложены также аналогичные обращения автора к Г.И.Петровскому, Н.К.Крупской и А.М.Горькому.

6.

*<От студентов Днепрпетровского химико-технологического техникума.
Адресовано Сталину.>*

Дорогой товарищ Сталин, ты сам знаешь, что если не дать машине горючего, она работать не будет, так же точно и человек. Дорогой товарищ Сталин, ты писал в своем первом постановлении: раньше крестьянина гнали из села в город нужда, нищета, бедность, классовое расслоение, а теперь в село направили десятки тысяч тракторов, организовали колхозы, повысили урожай и улучшили условия рабочих. А все наоборот: теперь нищета, бедность гонит из деревни в город на работу — ради того, чтоб хотя бы прокормиться. А наша Украина самая богатая страна в мире, и надо, чтобы она давала самый большой урожай, а она, наоборот, дает урожай довоенного уровня. Так что то, что пишут в газетах — это утопия, и теперь ничему не верят. Дорогой т. Сталин, обрати на это особое внимание и улучши положение трудящихся масс, иначе будет в центре страны война.

<...> еще немного побудут так без хлеба, голодные и пойдут разрушать колхозы, разбирать свое добро и работать индивидуально, как раньше работали. Все это заставляет делать нищета, убожество, голод, от которого они теперь пухнут. Дорогой т. Сталин, чтобы этого не было, надо быстрее, очень быстро — обеспечить село хлебом, иначе будет позор, будет грех и партии, и ЦК, если все крестьяне пойдут против Советской власти и поднимут восстание с требованием: «Долой Сталина, долой конину, давай царя, давай свинину». Уже ходил такой слух, а теперь ходит еще больше и говорят — все это направила Советская власть.

<ПА ИП при ЦК Компартии Украины. Ф. I. Оп. 1. Д. 1944. Л. 1—16.>

7.

9 июня 1932 г.

*В Центральный Комитет РКИ
от гр. села Осыч Бахмацкого р-на
Бурдюка Антона Петровича*

НАПОМИНАНИЕ

Прежде чем уведомить о тех контрреволюционных действиях, которые я освещаю, я уведомляю ЦК РКИ, что я не против Советской власти, а за. За создание бесклассового общества не

только в СССР, а на всем земном шаре. <...> Я уведомляю ЦК РККИ о том, что в настоящий момент по Бахмацкому и Коро-стенецкому районам ходят сотни голодных людей, а именно — женщин, детей и мужчин.

Спрашивается, что это за люди. Я неоднократно проверял их документы и обнаружил, что многие из них колхозники с 1931 г., имеют по 200 трудодней, больше всего их с Киевщины, например, Шевченковский район. Отсюда факт, что этот голод объясняется тем, что в колхозах выкачали хлебозаготовку с преувеличением реальности, из-за чего в этих районах в настоящий момент имеется очень много незасеянной земли, а также сотни людей разбрелись по районам из-за голода.

Эти люди наводят сомнение на все население, они рассказывают, как зимой они питались половой — точно не люди, а скотина. Это, товарищи, недопустимое явление. Я уверен, что это не что иное, как работа контрреволюционной организации.

Я прошу Центральный комитет Рабкрестьянской инспекции обратить на это серьезное внимание, посмотреть, в каком положении находится Киевщина, а также посмотреть на этот голодный люд, что сотнями лежит на станциях, а также на базарах — женщины с грудными детьми, плачут, просят милостыню.

На этом заканчиваю. Прошу обратить на это внимание и уведомить меня в кратчайший срок, какие вы принимаете меры.

На обороте мой адрес и краткая биография. Еще раз прошу, обратите на это внимание, так как это дело важное и за правдивость этого я отвечаю.

Я сам — комсомолец с 1930 г., мне 18 лет, проживаю в селе Осыч Бахмацкого района, образование имею семилетку. В настоящий момент нахожусь на комсомольских педкурсах в г.Конотопе, по соцположению — середняк со своей семьей. Конец.

Мне важно знать, получили ли вы от меня это письмо, поэтому сообщите мне, о чем и свидетельствую.

<ЦГАОР УССР. Ф. 539. Оп. 10. Д. 1444. Л. 126. Копия.>

8.

<Письмо адресовано в ЦК КП(б)У.>

15 июля 1932 г.

Когда это было, чтоб Украину Белоруссия кормила. Были худшие годы, но Украина кормила Белоруссию, а теперь наоборот. Белоруссия готова помочь украинским колхозам и работа-

щим крестьянам в организованном порядке, но не так, как сейчас происходит, что в Белоруссии из-за украинцев невозможно ни пройти, ни проехать как на железной, так и на других дорогах. Всюду толпы голодных, оборванных украинцев, валяющихся на улицах белорусских городов Жлобин, Гомель, Бахмач, Быхов, Орша, Минск, Сиротино, и повсюду полно. Некоторые в лесах живут. До чего это доходит, к чему это приведет.

Часть украинцев в поисках хлеба добираются до самой границы буржуазной Польши, а что вы думаете, мало есть таких, которые делают выводы, что украинцев хотят голодом уморить, а в газетах пишут, что все хорошо. Почему правду не напишут, что миллионы голодают, а на поле хлеб гибнет, а много его уже травой заросло и неперепаханным осталось, т.к. самая сила — мужчины и женщины — разбрелись по свету за куском хлеба, чтоб не умереть с голоду.

И правда жалко, когда видишь, как скитаются голодные украинцы, а если спросишь, почему не работаете на месте, отвечают, что семян нет и в колхозах нечего делать, и обеспечение плохое. В общем факт остается фактом, что миллионы людей бродят голые, голодные по лесам, станциям, городам и колхозам Белоруссии и просят кусок хлеба. А как разрешена хлебная проблема на Украине, где ЦК партии Украины, где ЦИК, что предпринимает?> Просто сердце болит за такие дела <...>.

Белорусы-рабочие Петров, Савин, Кудук

<ПА ИП при ЦК Компартии Украины. Ф. I. Оп. 1. Д. 2021. Л. 42-43.>

9.

<Телеграмма адресована ЦК КП(б)У.>

23 сентября 1932 г.

Постановление СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б): ряд местных организаций обращается в СНК и ЦК за семенной ссудой для совхозов и колхозов. Ввиду того, что урожай настоящего года является удовлетворительным, а правительством оставлен для колхозов уменьшенный план государственных хлебозаготовок, который должен быть выполнен полностью, СНК и ЦК постановляют: первое — отклонить все предложения о выдаче семенной ссуды. Второе — предупредить, что в текущем году ни совхозам, ни колхозам семссуда не будет выдаваться ни для озимого, ни для ярового сева. Третье — возложить на председателей колхозов, директоров МТС и директоров совхозов ответственность за выделение полностью семенных фондов к ярово-

му севу в установленные СНК и ЦК сроки (не позднее 15 января 1933 г.) и за их полную сохранность.

*Председатель СНК СССР Молотов (Скрябин)
Секретарь ЦК И. Сталин*

<ПА ИП при ЦК Компартии Украины. Ф. I. Оп. 1. Д. 2012. Л. 36.>

10.

Постановление Политбюро ЦК КП(б)У об усилении помощи в проведении хлебозаготовок со стороны органов юстиции

5 ноября 1932 г.

<...>

ЦК предлагает:

1. Обязать судебные органы вне очереди рассматривать дела по хлебозаготовкам, как правило, выездными сессиями на месте с применением суровых репрессий, обеспечивая дифференцированный при этом подход к отдельным социальным группам, применяя особо суровые меры к спекулянтам, перекупщикам хлеба.

2. <...> Судебный разбор дел и применение строжайших репрессий должны сопровождаться широким развертыванием массовой работы по мобилизации общественности вокруг этих процессов на усиление борьбы за хлеб.

Обязать обкомы и Наркомюст укомплектовать эти сессии крепкими подготовленными работниками из бывших судебных работников. <...>

Обязать центральную и особенно местную прессу широко освещать эти судебные дела.

<ПА ИП при ЦК Компартии Украины. Ф. I. Оп. 6. Д. 237. Л. 177.>

11.

*<Письмо ЦК КП(б)У адресовано всем секретарям райкомов,
председателям райисполкомов, уполномоченным обкомов.>*

24 декабря 1932 г.

В связи с отменой постановления ЦК КП(б)У от 18 ноября с.г. о колхозных фондах предлагаем:

1. Во всех колхозах, не выполнивших плана хлебозаготовок, в пятидневный срок вывезти все без исключения наличные колхозные фонды, в том числе и семенной, в счет выполнения плана хлебозаготовок.

2. Всех, оказывающих этому делу сопротивление, в том числе и коммунистов, арестовывать и предавать суду.

3. Предупредить всех председателей колхозов, что в случае, ежели по истечении указанного срока будут обнаружены какие-либо невывезенные или скрытые фонды, амбары и т.п., председатели, а также другие виновные в этом должностные лица будут привлечены к судебной ответственности и сурово наказаны.

4. Обязать секретарей РПК, председателей РИК и уполномоченных обкома в 24 часа вручить настоящее постановление председателям колхозов под расписку.

*Косиор
Строганов
Алексеев*

<ПА ИП при ЦК Компартии Украины. Ф. I. Оп. 101. Д. 1112. Л. 184.>

12.

<Постановление политбюро ЦК КП(б)У о распространении на Днепропетровскую область мер, примененных в Одесской области.>

29 декабря 1932 г.

1. Выслать 700 семей из 20–25 сел основных отстающих районов.

2. Тт. Карлсону и Реденсу организовать высылку на север злостных элементов и кулаков (без семей) в количестве 700 человек.

3. Составить список исключенных из партии в количестве до 50 для немедленной высылки в концлагерь.

Просить ЦК ВКП утвердить это решение.

<ПА ИП при ЦК Компартии Украины. Ф. I. Оп. 16. Д. 9. Л. 83.>

13.

<Постановление политбюро ЦК КП(б)У об усилении репрессий к единоличникам — злостным несдатчикам хлеба.>

29 декабря 1932 г.

Предложить Днепропетровскому и Харьковскому обкомам применить к злостным единоличникам, на основании постановления СНК УССР от 11 ноября, следующие меры: распродажу всего их имущества, а также конфискацию всей приусадеб-

ной земли и всех построек. В Харьковской области применить эти меры примерно к 1000 хозяйствам, в Днепропетровской области — 500 хозяйствам.

<ПА ИП при ЦК Компартии Украины. Ф. I. Оп. 6. Д. 238. Л. 179.>

14.

<Телеграмма адресована ЦК КП(б)У.>

1 января 1933 г.

Сообщается постановление ЦК от 1 января 1933 г.:

«Предложить ЦК КП(б)У и СНК УССР широко оповестить через сельсоветы, колхозы, колхозников и трудящихся единоличников, что:

а) те из них, которые добровольно сдают государству ранее расхищенный и скрытый хлеб, не будут подвергнуты репрессиям;

б) в отношении колхозников, колхозов и единоличников, упорно продолжающих укрывать расхищенный и скрытый от учета хлеб, будут применяться строжайшие меры взыскания, предусмотренные постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. (об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности)».

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин

<ПА ИП при ЦК Компартии Украины. Ф. I. Оп. 101. Д. 1257. Л. 15-15а.>

15.

<Из справки Наркомата юстиции УССР ЦК КП(б)У.>

БОРЬБА ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ ЗА ХЛЕБ

Судебные репрессии по УССР за 4 пятидневку января 1933 г.

Количество репрессий

По 182 районам Украины (не приведены данные по Винницкой обл.) осуждено за несдачу хлеба за 4 пятидневку января 1306 чел., что составляет в среднем свыше 7 осужденных на район. Динамика судебных репрессий по пятидневкам января установлена из следующих данных:

1	пятидневка	6	на район
2	— " —	8	— " —
3	— " —	6	— " —
4	— " —	7	— " —

Таким образом, за январь месяц количество репрессий было достаточно значительным и почти стабильным. Незначительные колебания в количестве репрессий в разные пятидневки вполне естественны.

Наибольшее количество репрессий применено в Черниговской обл. (15 на район), наименьшее по Донецкой обл. (2 на район).

Количество репрессивных мер, примененных в решающих в отношении хлеба областях, установлено по следующим данным:

Днепропетровская обл.	— 11	на район
Харьковская	— 8	— " —
Одесская	— 6	— " —

Жесткость судебных репрессий

К осужденным за неспадку хлеба применены в основном достаточно жесткие меры: 1278 из 1306 (97,7%) приговорены к лишению свободы, причем в основном на сроки свыше 3 лет. К принудительным работам приговорены только 30 (2,3%) осужденных.

Динамика жесткости репрессивных мер по пятидневкам января устанавливается по следующим данным:

Лишение свободы:

1 пятидневка января	98,6%
2 — " —	98,5%
3 — " —	98,5%
4 — " —	97,7%

Таким образом, судебные репрессии остаются почти стабильными и достаточно жесткими.

Расхищение хлеба

По 184 районам УССР осуждено за расхищение хлеба 965 чел., что составляет в среднем по 5 осужденных на район.

К осужденным за расхищение хлеба применяются в основном достаточно жесткие репрессивные меры: к лишению свободы приговорены 911 из 965 осужденных (95%), к принудительным работам — только 54 (5%). Лишение свободы в основном на сроки свыше 3 лет.

Следует констатировать тенденцию к дальнейшему усилению репрессий в борьбе с расхищением хлеба в январе месяце.

Борьба с контрреволюционным саботажем

По 122 районам УССР осуждено за контрреволюционный саботаж 419 человек.

Среди осужденных: председателей колхозов — 71, членов правления колхозов — 71, кладовщиков — 56, завхозов — 27, счетоводов — 38.

По сравнению с 3 пятидневкой января количество осужденных за контрреволюционный саботаж несколько уменьшилось: за 3 пятидневку по 95 районам Украины было осуждено 440 человек.

К осужденным за контрреволюционный саботаж применялись менее строгие репрессии, чем за 3 пятидневку:

К расстрелу приговорено	20 осужденных	(5%)
-"- лишению свободы -"	343	- " - (82%)
-"- принудительным работам	56	- " - (13%)

60% приговоренных к лишению свободы осуждены на сроки свыше 5 лет.

*Нарком юстиции и генеральный прокурор УССР
Поляков*

<ПА ИП при КК Компартии Украины. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2279. Л. 67-74.>

Перевела с украинского Е. Мовчан

В ИТАЛИЮ, МАКСИМУ ГОРЬКОМУ...

Письма из архивов КГБ

Эти письма, адресованные Максиму Горькому, более полувека были замурованы в архивах Лубянки и только сейчас — в эпоху гласности — извлечены на свет. «Секретное досье» писателя очень пестро и разнородно; вполне возможно, что туда попала не только перлюстрированная корреспонденция, но и кое-что добытое агентурным путем или изъятое из архива писателя у него дома сразу после смерти.

Среди корреспондентов Горького — люди разных слоев, положений и национальностей, от знаменитых до совсем неизвестных. Но самое интересное, пожалуй, даже не переписка с писателями или общественными деятелями, а голос самого народа, до сих пор не услышанный: обращения к Горькому простых людей, которыми руководили не профессиональные интересы, а искреннее желание высказаться, излить душу и — открыть глаза Горькому на то, что происходит на родине. Кажется, не было такого слоя населения в России, голос которого не долетел бы до далекого Сорренто. В этих письмах — глубокий срез жизни, драгоценные свидетельства о том времени, в них говорит сама история. Взывая к прославленному писателю, люди ждали его авторитетного действия в защиту поруганной справедливости.

Многие письма анонимны и без обратного адреса, что вполне понятно: люди, живущие не в прекрасном далеке, а в реальности тоталитарного государства, знали, что слово правды под запретом, и, естественно, боялись. Странно, что Горький этого не понимал.

Или делал вид, будто не понимает, намеренно закрывал глаза и зажимал уши? Не хотел разрушать свою сказку о социализме, прогрессе, о прекрасном настоящем и еще более прекрасном будущем? Эта сказка была для него, как видно, дороже правды жизни.

Мало того, он выступил в советской печати с гневной отповедью своим критически настроенным корреспондентам (статьи «Анонимам и псевдонимам», «“Механическим гражданам” СССР» и «Еще о механических гражданах»). Он, всегда провозглашавший любовь к человеку единственной своей верой, тут оказался глух и слеп к пронзительному зову реального человека — страдающего, униженного и оскорбленного. Или не понимал, что люди, открывшие ему сердце, ставят себя под удар, рискуют, не знал, что все письма, идущие за границу, вдобавок — к такому лицу, проходят тщательную цензуру, а за авторами сразу устанавливается наблюдение? И тут анонимность и псевдонимность не всегда помогают, ибо у тайной полиции есть свои возможности и средства их расшифровать.

Видно, не понимал. Иначе бы не писал своему секретарю Крючкову: «“Руль”¹ подозревает, что письма «механических граждан» я сообщаю ГПУ. Не стесняются, негодяи...»

Удивительная наивность — как повязка на глаза: то наденет, то снимет. И врагами своими числит «механических граждан» и русских эмигрантов, то есть всех, кто не согласен с политикой советской власти. Такая наивность очень на руку ГПУ! Где же он, мудрый учитель, правдоискатель и заступник, художник-романтик?

Буревестник превращен в подсадную утку, используется как ловушка для инакомыслящих. Доказательств тому — множество.

На письме к Горькому Андриана Кузьмина из Москвы, например, «опекун» писателя из Секретно-политического отдела ОГПУ Николай Христофорович Шиваров (печально известный «Христофорыч с Лубянки», спец по литературе — именно он будет в 30-е годы выбивать показания на Николая Клюева и Осипа Мандельштама, заведет досье на Андрея Платонова и многих, многих других. Можно сказать, сделает карьеру на писателях. Но пока — на Горьком — он, видимо, еще только учится...) написал: «Оригинал сфотографирован — остался у тов. Медведева. Им же дано задание о наблюдении над Кузьминым».

¹ Белоэмигрантская газета. (Примеч. сост.)

Непосредственным поводом для многих писем послужило объявление в советской печати о возвращении Горького на родину. К приезде его готовились пышные юбилейные торжества — писателю исполнялось 60 лет. Газеты запестрели заметками о предстоящем юбилее, директивами об организации чествований. Один из корреспондентов вложил в конверт вырезку из «Вечерней Москвы», чтобы до юбиляра дошли циркуляры власти как доказательства принудительной любви к пролетарскому писателю...

Писем множество, и чуть ли не в каждом — SOS: спасите наши души! Вот голос ученого — он звучит резко, нелицеприятно, не только выражая отношение к писателю, но и, что особенно важно, говоря о бедственной участи русской интеллигенции. Вот голос деревенского правдоискателя, не шибко грамотного, зато совестливого, пробившийся в Сорренто из самой глубинки России. «Уважающий Вас Иван Бол...» — подписался под этим письмом автор, оборвав фамилию на первом слоге, словно зажав рот ладонью... Один из многих миллионов русских людей, чей голос сквозь мглу лет и заточение на Лубянке чудом донес до нас слово правды.

В. Шенталинский

1.

Москва, 25/XII-1927 г.

Гражданин Максим Горький!

Несколько слов по поводу Вашего выступления в связи с десятилетием Октябрьской революции и по поводу Вашей статьи от 23 декабря с ответом «псевдонимам и анонимам».

Предупреждаю: пишущему эти строки 52 года, никогда (ни раньше, ни теперь) ни к каким «привилегированным» классам или партиям не принадлежал. Следовательно, никакой особо враждебной тенденции ни к прошлому, ни к настоящему нет. Есть трудовой взгляд на жизнь — как она есть... Ваша статья (и та, и другая) возбудила большие толки и пересуды, которые формулировать грубо можно так: Горький сидит на двух стульях. С одной стороны, как бы «благословляет» все происшедшее с 1917 года, а с другой — как бы нет. А вот как мне кажется: конечно, хорошо хвалить все, что сам не переживал. Я как-то читал какое-то поэтическое описание кавалерийской атаки в одном сражении и подумал: красиво, увлекательно, но хорошо, что автор сам в ней не участвовал...

Вы живете вдали, своевременно уклонившись от счастья быть слепым и безгласным объектом «эксперимента», проводимого вопреки Вашему желанию и против желания почти всего населения Вашей страны <...>.

И вообще, рассуждая трезво, без злобы и ослепления, можно ли сочувствовать тому, что делается против желания почти всех окружающих тебя людей? Здесь можно возмущаться всякой жестокостью как таковой, но нельзя же замалчивать и то, что этот эксперимент стоил стране людоедства. Что касается Вашей ссылки на историческую аналогичность с временем Петра Великого, то здесь, по-моему, передержка: не с временем Петра I и его реформами следует сравнивать <...> момент, нами переживаемый, а с временем, если уж хотите, Павла I.

Когда этот сумасбродный и озлобленный человек дорвался до власти, то он шпицрутенами и фухтенами насильно пытался обратить <...> русского человека в пруссака... пока его не убрали. В Питере в Эрмитаже есть картина проф. Шарлемана «Парад в Санкт-Петербурге...» <...> Мужички, переодетые пруссаками: в одном мундире, в буклях и косах, застывшие на морозе, и все терпели целые шесть лет.

У нас теперь время тоже подходит к тому, <что> всем начинает надоедать «игра с социализмом», проводимая наследниками Павла. Да и среди наследников наступает отрезвление, диктуемое самосохранением, поэтому всех удивляет Ваше выступление: десять лет молчали и вдруг теперь начинаете петь <дифирамбы> тому, к чему даже сами создатели начинают относиться по-иному и где результатом всего вырисовывается тупик.

Не вовремя выступили, впрочем, литераторы всегда были плохие политики.

Всего лучшего/
Анриан Кузьмин

2.

Дорогой Алексей Максимович!

Да, вы для меня дорогой-дорогой потому, что в это тусклое безвременье, какое мы переживаем тут, в России, — ваши близкие для нас произведения говорили, что жить надо, что в жизни есть смысл, что, как бы ни была безобразна жизнь, нужно жить. Облагораживать ее и проводить (конечно, не на словах, а на деле) великие начала правды... Конечно, в нас много безвольности, грязь и неустройство жизни людской тянут нас на дно, и тут ваше «Детство», «Мои университеты»...

Жалею об одном, что не все напечатано у нас в России из ваших произведений... Ведь правда не все. Последнего вашего произведения «Клим Самгин» еще не купил, дорого — 4 р. 50 к. Да, для нас это дорого.

Не знаю, но мне кажется, что у нас в деревне нового быта нет. Все по-старому. Брак. В браке я не вижу ничего, что бы подымало человека выше того состояния, в котором он был до революции. Правильно, разводов много. Судебных процессов также. Пожили 3 месяца — развод. В чем дело? Когда сватался, то лошади, на которой он приехал, парубки отрезали хвоста (сделали позор, насмеялись). Вот этот хвост и был причиной неладу — разводу. Суд присудил выплатить за прожитые 3 мес<яца> 15 р. Другой случай — развод через 1 мес<яц>. Какие причины? Она стала хворати, кашляти... сухоти в неї. Пришла к матери. Старуха вдова. Недостатки, злорадство: «Що ж, дочко, жити ні причим — тягни, нозивай його до суду». Суд — выплатить 5 п<удов> зерна (2 1/2 п<уда> пшеницы, 2 1/2 п<уда> ржи). Разводов много. Страданий еще больше.

Культурных хозяйств на селе нет. Коллективизм при нашей некультурности — это пустой звук. На эти затеи вытрачено много средств, а толку ни на ломаный грош нет. Провалилося через дырявый карман.

Нового — не в кавычках — быта на селе нет <...>.

Жизнь женщины в деревне тяжела. Особенно порабошены жены деревенских большевиков. Муж всегда отсутствует. За хозяйством кому ухаживать? Жене. За детьми, кухней? Все ей же, страдалице. Болеют, умирают. Ну и что же, другую, «посвежее» найдем...

Этими днями зашел разговор, спор за вас. Вас обвиняют в том, что вы не приняли присланной вам из Харькова (с какого-то приюта или мастерской подлетков) в подарок пары сапог. «Он этим обидел детей, подорвал их дух, самостоятельность». Чудаки, мы живем в нищенских условиях. Чем питается деревня (большинство)? В чем ходит? Кошмары. Нечеловеческое питание, болезни... Детишки в школу в отцовских (в дырках) сапогах ходят <...>. А они шлют пару сапог — специально для вас пересылают — ведут расходы. И глубоко вы правы, отказавшись от «подарка». Они окружающей нужды не заметили.

Дивились
під ліс
а не під ніс.

От вашего поступка легко, тепло на душе.

Много шуму о вашем приезде в Россию. Думаете быть, Алексей Максимович? Пишите.

Адрес: п.о. Селидовка (Донбасс), Алексеевский Сельсовет, Красно-Ивановское Кредитное товарищество, АЛЕКСЕЕВУ Степану Федоровичу.

С глубоким приветом и добрыми пожеланиями С. Алексеев

13/III <19>28 г.

3.

Милостивый государь Алексей Максимович.

Препровождая Вам вырезку из «Вечерней Москвы» № 73 от 27/III-28 г., я вместе с тем пользуюсь случаем, чтобы высказать Вам несколько слов в связи с Вашим юбилеем.

Принадлежа к числу русских научных деятелей, уже 25 лет работающих в высшей школе, я счел себя вынужденным, несмотря на предписание, уклониться от всякого участия в официальных торжествах, организованных в циркулярном порядке в ознаменование Вашего юбилея. Высоко ценя Ваш блестящий литературный талант, я считаю равно оскорбительным<и> подобные торжества как для Вас, самого крупного из современных русских художников, так и для нас, деятелей науки и представителей русской интеллигенции, которая всегда придавала серьезное значение аналогичным чествованиям лишь в том случае, когда эти манифестации являются актом свободного изъяснения общественных симпатий и настроений.

Но я решил писать к Вам на этот раз не столько с тем, чтобы дать Вам некоторое понятие, как у нас организуются теперь в Советской России всякого рода показательные демонстрации, а с тем, чтобы высказать Вам с тяжелым чувством ряд недоумений, которые волнуют и вызывают невольное возмущение среди многих и многих русских людей, давно привыкших гордиться Вами как одним из славных русских писателей, имя которого связано с лучшими русскими художниками слова. Я разумею Ваши систематические выступления в советской прессе, где Вы, простите, так до странности легкомысленно выступаете против последних, не добитых еще Советским режимом представителей русской интеллигенции и покрываете своим большим именем вопиющую ложь современной русской жизни. Из своего прекрасного далека, пользуясь совершенной свободой и независимостью, хотя и под защитой фашистского правитель-

ства, под благословенным небом Италии, в прекрасной вилле с неограниченной жилой площадью, Вы, вслед за официальной лживой прессой Советской России, повторяете на глазах всего культурного мира (хотя и зараженного также в своих господствующих верхах буржуазной ложью) заведомую для тех, кто пережил эти 10 лет в самой России, неправду, которая не может быть оправдана никакими, даже и самыми возвышенными, целями и идеалами.

Мы, люди науки, умственного труда, живого и печатного слова, лишенные всех прав свободного научного и интеллектуального творчества и обреченные под страхом скорпионов ГПУ (о которых и не снилось жандармерии царского режима) молчать, — мы слышим Ваши дифирамбы Советской власти за ее заботы об ученых и науке. ЦКУБУ¹ — эта кость, брошенная в целях рекламы перед лицом Европы обездоленной кучке научных работников, рекламируется Вами перед всем миром. Я не хочу ничего сказать дурного о ЦКУБУ, этой жалкой материальной подачке ученым России, но что в ней, когда эта организация абсолютно бессильна помочь русским ученым в главном: обеспечить им хотя бы самые элементарные условия свободной научной мысли и работы. Недаром же ЦКУБУ так непопулярна среди русских ученых, если не считать тех, кто благодаря современному строю, не имея ничего общего с наукой, сумел примазаться к ученому званию в лице современной «красной профессуры». Я не говорю уже о том, что ни для кого не тайна, что сейчас в России нет ни высшей, ни средней школы, ни свободных научных учреждений. Не говорю о гибели молодого поколения, не только лишенного правильного общего образования, но и воспитанного в варварском отношении к величайшим сокровищам мировой и особенно русской культуры.

Конечно, мои слова не убедят Вас, что-то затемняет Ваши глаза, но я хотел бы не убедить Вас (для этого Вам следовало прожить с нами 10 лет), а разбудить в Вас просто голос человеческой совести, чувство самой простой справедливости и нравственной осторожности. Вы собираетесь приехать в Россию. О, конечно, Ваше прибытие в Россию будет сплошным триумфальным шествием на советских автомобилях, но не так хотелось бы, чтобы Вы прошли по современной России, не в звании разрекламированного советского писателя, а прежнего Максима Горького, друга Антона Павловича Чехова, того

¹ ЦКУБУ — Центральная комиссия по устройству быта ученых. (Примеч. сост.)

Горького, который, как прежде, незаметным «босьяком» еще раз прошел бы по матушке России и взглянул бы на подлинную страну не через «Известия» и «Правду», нескончаемую <ложь? — нрзб.> съездовских речей и партийной демагогии, а открытым взглядом все того же Горького, который некогда умел говорить «несвоевременные речи». О, как бы были они теперь своевременны! Увы, теперь Вы, к сожалению, предпочитаете дарить казенную прессу вполне своевременными речами и дождались уже того, что теперь в порядке правительственного указания будут Вас чувствовать... Вы, автор «Спутника», «Песни о Соколе» и «Буревестника», мечтали ли Вы когда-нибудь о такой «чести»?

Простите за это неюбилейное слово. Знаю, Вы с презрительной улыбкой бросите это письмо в корзину, как еще одно «анонимное», жалкое и бессильное словоизвержение врага «пролетариата» и т.д. Да, Вы, свободный писатель, можете в Ваших письмах в советских газетах, пользуясь монополией, говорить все что угодно в защиту Советской власти, имеете все возможности травить нас вполне безнаказанно. От нас Вы ничего не можете услышать в ответ: мы связаны по рукам и во рту у нас советский кляп. Но, зная это, полагаете ли Вы, что Вы поступаете как рыцарь свободного слова?

Алексей Максимович. Подумайте об этом наедине с Вашей совестью, когда-то такой чуткой ко всякой жизненной лжи и подлости. Пусть мы в Ваших глазах люди отсталые, не понимающие величия мировых задач и благородных лозунгов социальной революции, пусть так (хотя это вовсе не так), но все же не кажется ли Вам, что с противниками следует поступать честно? Связанных не бьют. Я не хочу верить, что Вы сознательно пишете неправду или что Вы продались Советской власти, как говорят кругом. Если бы я так думал, я, конечно, не писал бы Вам. Но я недоумеваю, как же Вы берете на себя так опрометчиво судить о том, чего Вы не знаете, не видите, не переживаете. Вы даже, по-видимому, не отдаете себе отчета в том, почему Ваши многочисленные корреспонденты, о которых Вы говорили в одной из Ваших статей, в «Известиях», не могут подписать своего имени под письмами, с которыми они обращаются к Вам с Вашей родины. Не знаю, пройдет ли благополучно через советский охранный аппарат и дойдет ли до Вас и этот анонимный вопль души <...>.

Вы жестоко ошиблись бы, если бы подумали, что Ваш корреспондент — сторонник старого режима. Он слишком много в своей жизни потрудился над разрушением последнего, чтобы

мечтать о его реставрации. Но еще более ошиблись бы Вы, если <бы> приняли его за тайного агента постыдной русской эмиграции или члена какой-нибудь «внутренней» подпольной контрсоветской организации. Он бесконечно далек и <от> того и <от> другого. Он просто принадлежит к последним остаткам тех культурных «запасов», за счет которых до сих пор жила и еще продолжает жить Советская Россия. Вопреки убийственным условиям господствующего режима он пытается по мере сил продолжать культурную традицию научной и просветительной работы, стремясь внести нечто положительное в жизнь разоренной страны, ибо только такая работа — сознательная и нужная теперь в нашей родине. Что же касается врагов Советской власти, то внутри страны у ней есть только один действительно опасный враг — это она сама.

29/III-28 г.

<Вырезка из газеты>

Юбилей М. Горького в вузах

Главпрофобр разослал вчера Правлениям всех вузов и других подведомственных ему учебных заведений особое письмо о проведении чествования М. Горького. Между 26 марта и 1 апреля во всех учебных заведениях должны быть устроены торжественные заседания с докладами о жизни и творчестве Горького, сопровождаемые литературными и музыкальными выступлениями.

Ко дню 60-летия М. Горького (29 марта) должны быть организованы выставки, посвященные его творчеству.

4.

Тов. Горький, Вы, вероятно, продолжаете еще получать приветствия по поводу Вашего юбилея. Вам исполнилось 60 лет. Но что значат годы, десятки лет? Еще и еще раз земля обошла вокруг солнца. Я никогда не придавал особенного значения этим юбилеям. Истинные юбилеи, «вехи пути», как их называют, заключаются не в календарных листках, а в делах, в творениях: написали вы что-нибудь, изобрели — открыло это для вас «юбилей». Построили мы Волховстрой, Днепрострой — это для нас тоже юбилей.

Вы пишете, что думаете приехать к нам в СССР и что у Вас «волосы становятся дыбом при мысли об этом». Вы пишете

далее, что восхищаетесь молодежью, хотите поближе познакомиться с этой породой людей. Если так, то жму Вам от всей души руку. Это Ваше отношение к молодежи и вера в науку заставляют меня видеть в Вас нашего, нового, социалистического человека. Вы должны обязательно приехать к нам, чтобы увидеть своими глазами, услышать своими ушами, как мы строим социализм.

О здоровье Вам опасаться нечего. Самое главное для организма — здоровое, не переутомленное состояние нервной системы и мозга. Вы здесь получите такую радостную зарядку, столько новых, радующих душу впечатлений, что забудете обо всем. Здоровая целеустремленность, отсутствие гнетущих идей, повторяю, победят какую угодно болезнь.

Чего мы ждем от Вас? Прежде всего критики недостатков. У нас теперь идет, как Вы знаете, полоса самокритики, критика нам нужна до зарезу для уничтожения всех зол нашего быта, мешающих нам правильно строить, для искоренения остатков царского режима, а их у нас порядочно, наконец, для устранения неправильностей нашей общественно-политической жизни.

Показ хорошего, само собой разумеется. Никто еще не показал нам это хорошее, мы еще не знаем самих себя. Свежему человеку легче заметить это новое, легче сравнить со старым, ибо для нас это новое стало привычным, въелось в сознание, мы его почти не замечаем.

Второе, чего молодежь ждет от Вас, — научите нас работать. Ах, если бы Вы знали, с какой жадностью молодежь ищет ответа на этот вопрос, с каким колоссальным интересом читаются книги и журнальные статьи т. Залкинда на тему: «Как работать», «Как отдыхать», «Культура мозга» и т.д. Мы ищем приемов рационализации умственной работы, экономии сил, потому что нам, молодежи, приходится так много воспринимать, учиться, работать <...>.

Как жаль, что мы потеряли Ленина, потеряли при этом и всю накопленную им культуру труда. Как жаль, что Ленин не рассказал нам о своих приемах мышления, наблюдения, обработки материала — обо всем этом приходится судить по наблюдениям других; вместо того чтобы использовать опыт других людей, приходится до всего доходить самому, начинать сначала и терять при этом массу ценного труда и времени. Нигде еще не сохранилось столько элементов кустарщины и цеховщины, как в области умственного труда. Дальше это повторяться не должно. Пора уничтожить этот предрассудок, что будто бы го-

ворить о самом себе — нескромно. Раз ты работаешь для общества, значит ты обязан делиться с членами его своими достижениями, чтобы сообща облегчить человеческий труд, — вот как мы ставим вопрос.

На что Вы должны обратить внимание? Я имею в виду одну отрицательную сторону нашей жизни, вернее, сегодняшнего дня: материальное и правовое неравенство молодежи. У нас масса безработной молодежи. Кончающие среднюю школу почти поголовно «выбрасываются за борт». Вот я, например, кончил десятилетку, а 2 года как не могу найти работу и дальше учиться, живу кое-как. В таком положении находятся сотни тысяч и миллионы. Но не в этом главное; мы понимаем, что материальное неравенство уничтожить сразу нельзя, даже при социализме будет неравенство. Всеобщая дележка — не путь к социализму.

Главное зло в другом, в «происхождении». Если <ваш отец> рабочий, то, хотя бы вы сами не были рабочим, вы имеете все права гражданства только благодаря происхождению. Если же ваш отец кустарь, ремесленник, безработный, лицо свободной профессии, или, что еще хуже, мелкий торговец — одним словом, не рабочий и не член <проф>союза, то вы пропащий человек: вам не дадут работы, не зарегистрируют на бирже труда, не пустят даже в общественные места; вам закрыта дорога в вуз, в комсомол, в партию — вы не человек.

Но ведь это же чудовищно. Чем я виноват, что отец мой, скажем, кустарь? Я не имею с ним ничего общего, я, может быть, не живу с ним, все равно надо мной тяготеет это проклятие.

Все видят ненормальное положение и все молчат. Бухарин как-то раз выступил против этого «происхождения», но так, слегка, без сильного нажима. Так это и заглохло, никто не обратил на это внимания. Почему? Да потому, что большинство людей смотрит только, чтобы им было хорошо, до других им дела нет.

Надо быть безнадежно слепым, чтобы не видеть, что наше теперешнее молодое поколение не то, что прежнее, дореволюционное. Теперешняя молодежь вся насквозь проникнута идеями революции, идеями социализма и равенства. <...> А раз это так, то почему же такое невнимание к молодежи, вернее, к определенной, довольно значительной и наиболее развитой и сознательной ее части? Это, надо прямо сказать, не в интересах пролетариата, не в интересах революции. Такое положение надо изменить.

Вот Вы на это должны посмотреть и убедиться: прав я или не прав, а потом высказаться.

Всего наилучшего. *Яков Эвентов.*
Смоленск, Интернациональная, 19/6, кв. 4

30/III-28 г.

5.

В газете «Известия» от 22-го ноября 1927 г. № 267(X201) напечатано: «Весною М.Горький намерен приехать в Россию». Русская общественность рада будет встретить Вас как писателя с идейным направлением и как свежего человека, имеющего все возможности сказать нам более или менее объективно, кто мы и что мы. Новая Россия явится нам в идейной окраске в Ваших произведениях, но это не помешает нам, очистив грубую оболочку, идейную скорлупу, найти блестики правды, вечной истины, на страже которой Вы стоите уже много-много лет в своей писательской работе. Если бы это было в Вашей власти, мы просили бы Вас привезти с собою писателя-реалиста Куприна. Жаль, когда на далекой чужбине гибнут бесплодно силы, нужные нашему народу. Русская интеллигенция, крупные ученые, талантливые писатели, представители науки во всех областях знания, эмигрировавшие за границу, создали тем в это десятилетие в СССР крупный пробел, пустоту, причинили России кровоточащую рану в преамбуле культуры. Правда, эта культура была дворянская, помещичья, но только головотяпы не усмотрели в ней и теперь не видят ничего ценного.

Что представляет из себя в настоящее время СССР, наша новая Россия, Вы увидите сами. Не ездите как знатный гость для этого на Волховстрой, на возобновленные фабрики и заводы, как делают это иностранные делегации, знакомящиеся только с внешней, спокойной стороной нашей культуры, наблюдающие только то, что им можно показать. С позволения нашей правящей партии, *sine qua non*¹, сделайте противоположное: забудьте, что Вы писатель с именем, никуда не ездите с официальными провожатыми, как бы под арестом, а выпросите себе у ГПУ *carte blanche*² и поезжайте всюду, куда потянет душа, всенародным наблюдателем, как Вы делали это в Ваши молодые годы. При Вашем знании вообще народа, всех его

¹ *Sine qua non* (лат.) – «без чего нет»; здесь: без чего не обойтись. (Примеч. сост.)

² *Carte blanche* (фр.) – букв.: «белый лист»; свобода действий. (Примеч. сост.)

слоев и переплетов, Вы, без сомнения, скоро увидите в нем новые расслоения, а среди них — новые веяния, новые движения мысли. Это новое не идет в массы гигантскими, захватывающими все шагами, но просачивается всюду и везде, под неустанным, как *perpetuum mobile*¹, административным воздействием власти и в силу неслыханной и невиданной в капиталистических государствах материальной зависимости масс от центра.

В голове этого общественного движения стоит небольшая кучка людей, сподвижников Ленина. Между ними есть честные люди, пользующиеся всеобщим уважением, им доверяют и рабочие, и крестьяне, это — лучшее, что дала нам партийная организация и долготелая партийная работа. Эта группа людей, собственно, и составляет партию. Ее тезисы, ее положения, ее идеи лежат в основе нашего законодательства, революционным порядком втиснуты во все обороты народного обихода, принудительным впрыскиванием влиты в плоть и кровь русского народа. И часто против его воли. Это напоминает отчасти реформы Петра, отчасти первые попытки введения в России картофелесейяния. На голову всех культуртрегеров всегда выпадает немало народных проклятий.

За ядром партии стройными рядами стоят солдаты партии, миллионная армия партийцев и их смена, двухмиллионная — комсомольцев, трехмиллионная — пионеров. На эти три организации, на их выучку, на их размещение потом по народному хозяйству, для их прокормления тратится масса народных денег. Но без этого не обойтись: это янычары нашей правящей кучки, ее сила, ее правая рука, ее охрана, ее причина верная. Так смотрят на себя сами рядовые партийцы. Между ними сознательных людей не так много. «Мы новое дворянство, — говорят <они>, — мы завоеватели, мы в завоеванной стране, поэтому нам вверены все ее богатства, все административные посты, все привилегии, все преимущества, все хозяйство страны — все ее блага в наших руках...» Да, это так и есть в действительности. Беспартийному найти службу, подыскать работу труднее во сто крат, чем члену ВКП(б), хотя бы он, последний, кроме членского билета, не имел ничего: ни практических навыков в работе, ни умственного багажа, ни служебного стажа. Да умственного развития партия и не требует от вновь поступающих. Чтобы поступить в партию, хотя бы мне, хотя бы Вам, нужно очень мало: нужно произвести или провести в удобную минуту несколько эффектных публичных выступлений против религи-

¹ *Perpetuum mobile* (лат.) — вечный двигатель. (Примеч. сост.)

озных предрассудков, т.е. выступить или против самых основ всякой религии, или против Христа и его учения, или против засилия религии в быту, в повседневной жизни народа, выступить, конечно, не с научными данными, а как можно грубее и возможно проще, еще лучше с хулиганской, Демьяновской блевотиной, и в ваш дебет и кредит партия запишет многое, и ваша кандидатура пройдет наверняка. И если новый партиец в предоставленной ему вскоре теплой должности что-либо «нашкодит», как нечистоплотный и блудливый кот, многое ему, и не раз, простится, потому что он с неизмеримым усердием, это же всем памятно, ругал самого бога... Так у нас, в серой и глухой деревне, насаждается и растет — не как самодовлеющее движение человеческой мысли, а как скверный придаток, вроде запачканного обезьяньего хвоста наших прародителей, — новый культ, новая вера, в которой корыстные вождения без труда и подвига, без ошибки, промаха приводят неофитов к народному достоянию, к сытой жизни народным трудовым куском, а это для них главное.

Но и среди безличной или примазавшейся массы рядовых партийцев встречаются, хотя и не часто, честные и деловые люди. В большинстве случаев до поступления в партию это были незаметные люди, субъекты, нигде в жизни не пристроившиеся, так называемые «неудачники», женщины, пожилые девушки, которым в жизни не повезло; до войны они, эти неудачники, уходили от жизни в монастыри, прятались и хоронились от всего мира в учительство, в глухие заброшенные деревушки, а теперь вот их целиком захватило устройство новой жизни. В партии и они выросли, сформировались в новых людей. Какая-нибудь скромная, пересидевшая годы девица, уже не мечтавшая о супружестве, выкинув в партии из своей головы весь балласт старой сдержанности, мимозной неприкосновенности, как бы вдруг разворачивается в пышную партийную львицу, меняющую плащ суровой девственницы на товарищескую близость, потом на интимную близость с товарищами по партии. Мужей и жен у нас меняют сверх меры часто и партийные, и беспартийные, и это создает как бы видимость многоженства и многомужества. Склонности к семейной жизни, к семейному уюту, где бы можно отдохнуть душой, у пролетариата уменьшились: женщина — не помощница в жизни, а такой же товарищ по работе, как и мужчины. Нет семьи как чего-то обязательного, нравственно принудительного для обеих сторон, но... в конце концов это создает массу алиментных дел и принудительных и тяжелых, не имея семьи, расходов.

Наконец, чтобы обобщить все значение партийной массы в нашей государственной общественной жизни, следует сказать, что партия в целом совсем затенила беспартийную массу, безвольную, пассивную, огромную по численности часть русского народа, запуганную, терроризованную, а потому и затаившую все свои думы. Прежде чем перейти к этой «кухарке», имеющей «править государством» в отдаленном будущем, нужно сказать несколько слов о значительной группе служащих в государственных учреждениях, промышленных предприятиях, в торговой кооперации и сельском хозяйстве. Речь будет идти о людях малой или средней квалификации или совсем не имеющих таковой. Положение их тяжелое во всех отношениях. Если рабочий, если крестьянин на свой труд в конце концов все-таки найдет покупателя, на свои руки найдет муки — не у партийного хозяина, не у партии, так у ээпмана, <то> мелкий служащий, в большинстве — городской обыватель, кроме советских учреждений, нигде службы, работы себе не найдет. Счастливец таких, находящих себе кусок хлеба в советской службе, мало, а выкинутых за борт, голодных и холодных масса. Совслужащие, зная и чувствуя, что в их услугах партия нуждается весьма мало, что на их место у партии имеются сотни кандидатов, употребляют все усилия, чтобы по той или другой причине партия считала их «своими», сочувствующими, преданными, верными холопами партии. Зная крутой нрав, фанатизм своего хозяина — партии, совслужащие прежде всего первым своим долгом считают показать, что они, как все партийные, совершенно безрелигиозны. Партия им вообще очень мало верит, и шпионаж, развившийся у нас за десять лет до чудовищных размеров, слежка — ежедневная, ежечасная, ежеминутная — друг за другом, нигде так не развитые, слежка платная и добровольная, чтобы «подслужиться», нигде так широко, нигде так беззастенчиво не практикуются, как среди совслужащих. Да. Шпионаж. Эта мера предосторожности необходима, потому что масса городского населения, откуда набирают совслужащих, оставшись не у дел, и не умея и не желая пролетаризироваться, партийной властью недовольна. Это слова Сталина на XV партконференции: о недовольстве, увлечении оппозицией и проч.

Крестьянство Средней России хозяйственной линией, проводимой партией, тоже не имеет никаких оснований быть довольным, и оно недовольно, но, запуганное и забитое революционным террором, молчит. Земли, кроме церковной, оно не получило, а маленькая прирезка из помещичьей земли никого не удовлетворила и, в сущности, дала очень мало. Отхожие

промыслы и промыслы на местах, составлявшие у нас все и дававшие прожиточный минимум нашей крестьянской семье, значительно и повсеместно сократились или совсем «изничтожились». Заработать копейку стало негде. Безденежье в нашей деревне полное, поразительное, а деньги стали против довоенного в два раза дешевле. Улучшений в сельском хозяйстве никаких, и как к ним приступить, никто не знает, а улучшенному хозяйствованию волоколамского мужика не верят, а выгодность его объясняют близостью московского всепожирающего рынка. Налоги с крестьянства уменьшены до минимальных, дальше идти некуда, размеров, но и их приходится выбивать ВИКом¹ аукционной продажей имущества и домашнего скота гораздо жесточе, чем в царское время. Другого пути нет. И этому не удивляйтесь. Никто не учит народ, как добыть, заработать копейку. Даже деревенская молодежь полезного к жизни учения и та не видит, партийная учеба весьма неудовлетворительна, а наоборот вредна, прививая ребятам только одну революционную распушенность к прежнему пьяному хулиганству: по деревне с 8 час. вечера и до 2 час. ночи нет дороги ни конному, ни пешему. Каким путем выберется наше крестьянство из теперешнего тяжелого положения экономического? Партия, наш хозяин, говорит и указывает верно: индустриализацией всей страны и всех отраслей народного хозяйства, т.е. из деревенской, лаптеносной и теперь недоедающей России, надо сделать промышленную, наподобие Германии, одетую, обутую, сытую страну. И теперь: где есть фабрика или маленький заводик, там местное крестьянство живет хотя и не так, как до войны, но все-таки без нужды. А если взять подальше от завода, то там крестьянство весной питается одной картошкой без хлеба.

Кому же на Руси, спросите Вы, хорошо живется, вольготно, весело? Организованному рабочему классу, нашим фабричным и заводским мастеровым. Их руками для руководящей, для правящей кучки захвачены были крупные центры Ленинград и Москва, а в чьих руках Москва, в руках того и вся Средняя Россия, а в чьих руках Средняя Россия, в руках того оказалось и все, несознательное тогда политически, многомиллионное среднерусское крестьянство, завоевавшее в свое время для русских царей 1/6 часть земной поверхности. Октябрьская революция, в сущности, есть организованное движение столичных и вообще промышленных рабочих в той же мере, как впослед-

¹ ВИК – волостной исполнительный комитет. (Примеч. сост.)

ствии победа, отбитие интервентов, успехи в междуусобной Гражданской войне есть всецело результат мобилизованной энергии среднерусского мужика, получившего боевой закал в николаевской армии. Но, как всегда было в истории, русский мужик, вынесший на своих плечах самую кровососную революцию, голод, болезни, тиф, принесший в Гражданскую войну больше жертв, чем при всех царях, не получил ничего, а рабочий за его счет получил и получает теперь все. Рабочий получает за рождение, за родившегося ребенка, получает сам и жена при инвалидности пенсию. Заболев, имеет трехмесячный заработок, для рабочего-строителя — казенное жилище со всеми удобствами, рабочий имеет дома отдыха, оплачиваемый месячный отпуск, пособие по безработице. У рабочих теперь, по рассказам врачей и духовенства, рождаются такие крепкие, здоровые дети, а у крестьян — жалкие заморухи. Проработав 8 час., рабочий, вымытый, переодетый, сытый и довольный, идет в клубы, кино, театры. Молодежь занимается физкультурой, музыкой, живописью, а иногда берет что-либо и почитать. Огромную безурядицу в жизнь рабочих вносит водка, как и при царском режиме — это единственное темное пятно. Так наградила правящая наша ленинская партия начинателя, застрельщика — рабочий класс, потому что его революционный порыв, его революционная инициатива доставили партии первые опорные точки, опершись на которые, партия постепенно «подграбастала» под себя, победила весь народ. Серую крестьянскую массу и разноликую русскую интеллигенцию. Так при помощи уральских рабочих и Пугачев Емелько в свое время завоевал все Поволжье.

Я ни слова не напишу Вам о нашей интеллигенции по той простой причине, что в деревне у нас интеллигенции, т.е. европейски образованных людей нет. А умственный уровень нового учительства, нового студенчества весьма невысок, встречаются студенты из вузов, которые никогда ничего не читали из Пушкина и даже хорошо не могут объяснить, да кто же такой был этот Пушкин! Да и вообще говоря, умственная жизнь в деревне в интеллектуальном отношении остановилась, усвоив как высшую ступень кружковую узость политического и научного сектантства. Слепая темная вера в науку. Догматизм, т.е. научный формализм, да партийное чванство, да унаследованное холопство — сила, сила роковая все у нас на деревне теперь позадушила. Этак, этаким путем идти — дойдешь и до мистики, до веры, что и есть. Недалёко.

Теперь я перейду к вымирающему классу людей, к умирающему миру, к людям отжившего, как у нас говорят, мировоззрения. К рядовому духовенству, к которому Вы всегда чувствовали только антипатию. Наши вожди, наши выдающиеся идеологи коммунизма, уже по пальцам высчитывающие, что лет через сорок в нашей республике не останется ни одного верующего, открыто верующего, и лет через пятьдесят исчезнет последний «поп», а христианство «уйдет в подполье»...

Я не берусь предсказывать, но, по моему личному мнению, со всею «видимостью», внешним обнаружением церковно-религиозной жизни народа, партия покончит гораздо скорее, так как в ее руках все: ни у одного властителя мира никогда не было в руках так крепко сшитого и такого централизованного аппарата власти, каким в настоящее время располагает наша правящая партия; и во вторых: партия, обладая могущественными, для самообороны внутри страны, материальными ресурсами, в средствах не стесняется и никогда не стеснялась. Например, чтобы выгнать из Ярославля сотню бунтарей-гимназистов с одним пулеметом, Фрунзе ярославский обратил город из шестидюймовок в груды развалин¹. Но в борьбе с народной религией партия мудро не спешит, она действует изнутри, она, как крот или крыловская свинья, сначала подгрызает корни растения: она вбивает свою марксистскую идеологию в головы подрастающих поколений, это одна сторона медали; с другой стороны, она намеренно дезорганизует представителей христ<ианских> идей, духовенство, и чрезмерными налогами доводит их до полного обнищания. 1) Намеренная дезорганизация церковн<ого> управления, 2) обнищание духовенства через удушение его налогами доводят общины верующих до полного маразма и разрушения. Немало помогают в борьбе с верующим народом и другие средства, между прочим следует отметить: 3) полное лишение духовенства всех граждан-

¹ Имеется в виду ярославский мятеж в июле 1918 г. Автор письма не вполне объективен в оценке масштабов событий: вооруженным выступлением группы эсеров (а не гимназистов) из 106 человек командовал полковник Перхуров (группа Савинкова), к восставшим присоединились часть населения и бронедивизион (а не один пулемет). Подавлением мятежа руководил Я. Ленцман, а М. Фрунзе стал после восстания окружным военным комиссаром Ярославского военного округа. Части Красной Армии действительно обстреляли и разрушили центр города, погибли сотни мирных жителей. Были жертвы и среди коммунистов (на «барже смерти», которую белогвардейцы поставили на середине Волги, из 200 коммунистов в живых остались 109). (Примеч. сост.)

ских прав, 4) даже права получить детям духовенства элементарное школьное образование в школах 1-й ступени, 5) административная, по распоряжению ГПУ, высылка в отдаленные края Сибири, 6) многолетнее заключение в тюрьмы наиболее выдающихся, даровитых священников, 7) принудительные для них публичные, наиболее грязные работы, 8) продажа всего имущества с молотка у не могущих платить непосильные налоги в 100 рубл., 200, 300 и больше рублей. Все это применяется в широких размерах и, естественно, обескровливает духовенство, эту головку верующих. Об этом белом терроре, будете в России, помалкивайте. Этот белый террор против религии и ее представителей, сменивший печальной памяти кровавые дни военного коммунизма, это кошмар нашей теперешней русской жизни. Молоток чека и атамана Ильича, нашего удалого ушкуйника, дробя стекло, куя булат, гуляет всюду по головам этой несчастной длинногровой братвы, безо всякой вины виноватой. Это парии, это новые евреи, гонимые и ни в ком и нигде не имеющие и, что удивительно, нигде за границей не ищущие заступы и ограждения для более или менее сносного человеческого существования. И что еще удивительнее, и сами не организующиеся в какие-либо объединения в целях самозащиты, чтобы отвести нож нападающего. Это рабы, военнопленные партии, оплеванные, загаженные, в пыли, в грязи, разутые, раздетые, униженные и оскорбленные, плетущиеся за триумфальной колесницей победившей их кучки людей. Председатель нашего кружка безбожников, бывший чекист, протезе будто бы тов. Дзержинского, человек очень начитанный по советской энциклопедии, ему можно верить, с восторгом, причем у него изо рта текут слюны, иногда рассказывает нам, что он лично, своей рукой убил в 1918—19 гг. около полусотни попов, и ни один не просил пощады; бывало, еще дышит, и он приказывает зарыть, не добивши зарыть в землю. «Эти твари, — говорит он, каргавя на букву «р» («л»), — обреченные, это “малитули”¹», — к великому удовольствию Цезаря-Партии. «Нам (т.е. безбожникам и партийным) этих “малитулей” нисколько не жаль: умирайте, голубчики, поскорее, уси без остатку»; безотрадный свист и вой ветра пронесется над вашими могилами замученных, расстрелянных, задавленных, недобитых и заживо погребенных никчемных людишек. И боле ничего. Стоит ли

¹ Малитули (*искаж. лат.*) *morituri* — идущие на смерть; из приветствия римских гладиаторов императору: «Идущие на смерть приветствуют тебя». (Примеч. сост.)

жалеть? Их, роковая для них, гражданская пассивность, их дезорганизованность, их разъединенность, безобщественность так нелепы, по-мужицки простоваты, так со стороны глупы, что наши партийные, организованные, крепко спянные удивляются: это, говорят, какие-то седовласые младенцы... И про таких людей, для оправдания себя, как хороший бонтон, у нас в провинции принято говорить: «Дрались под Ростовом, бились в архангельских лесах, в сибирской тайге попов был целый полк». Конечно, это ложь, гнусная клевета, которой никто не верит. Непримиристо враждебное отношение к духовенству нашей правящей партии, изуверско-фанатические, ернические, похабные, тупоумные выпады, выступления и действия наших доморощенных марксистов, их донкихотство против всех без исключения обнаружений «видимости» народно-религиозной жизни, наконец невозможные бытовые условия — все это, вместе взятое, пробуждает, с одной стороны, само духовенство, а с другой — открывает глаза народу, вызывая его сочувствие, симпатии к вере и к «гонимым» за нее. Забитое веками, несшее на своих плечах двойной гнет двух властей: центральной, бюрократической, и духовной, архиерейской, боявшееся всякого урядника, трепетавшее звонка тройки станового, а теперь объявленное из центра (Зиновьев) врагами народа низшее духовенство, испив чашу горькую до дна, поняло, что хуже, чем теперь, никогда ему не было и не будет. Что же, спросите Вы, оно организовалось, чтобы заявить о своей полной лояльности? Нет. Собрание духовенства, даже маленьких округов, Гепеу премудро, предусмотрительно в провинции не разрешает... И духовенство, утопая, хватается за всякую соломинку, как бы тонка она ни была. Например, припертое к стене в вопросах школьного обучения детей, которых нигде в школы не берут, а проскользнувших и принятых незамедлительно выбрасывают вон, как щенят, духовенство одно время чуть не по всему Союзу носилось с фантастическим планом: для детей основать в Румынии, Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Финляндии учебные заведения, общеобразовательные, технические, и там учить детей. В этом прожекте сказывается колоссальное неумение духовенства устроить себе более или менее сносно жизнь. Оно, в этом нет сомнений, вымрет, оно растворится в народных массах, а христианство уйдет в подполье...

И еще пример. Наслышавшись хвастливых рассказов иногда зачем-то проезжающих по России поляков о положении православного духовенства в Польше, не униженного, пользующего-

ся всеми гражданскими правами и материально не обнищавшего, как в Союзе, многие из попов западной полосы до Брянска изучают теперь польский язык. Зачем? Наверное, чтобы эмигрировать за кордон. Скатертью им дорога. Партия даст им все возможности уехать, не исключая бесплатного билета. Какое отношение вообще партийной массы в провинции к рядовому духовенству, об этом можно составить себе некоторое понятие, прочитав нижеследующее письмо, присланное мне приятелем-партийцем из Жиздры, по поводу антирелигиозного хулиганства как главного оружия против религии, духовенства и верующего народа.

«Друг Троша! Недавно у нас тут прошла дискуссия: следует ли нам прекратить антирелигиозное хулиганство, не пора ли относиться снисходя, по-человечески, к религиозным убеждениям русского народа, от которого мы, отколовшись, так прогрессивно далеко ушли? Собрание было закрытое. И что же? Все решили: нет, нет и еще нет. Да, дружище. Прими к исполнению. Я партийный человек из Жиздринской ячейки, и многие мои товарищи, все мы стояли и теперь стоим за полное сохранение антирелигиозного хулиганства. Ты удивляешься, не удивляйся, товарищ. Я сейчас объясню поточнее. Мы стоим за антирелигиозное хулиганство и в идейном смысле, и в практике нашей повседневной жизни. Борьба нашей партии с религией, как с известным идейным мирозерцанием и как с бытовым явлением, приняла хулиганский и даже ернический, похабный характер с самого начала, с первых моментов аванпостных стычек. Почитай Бебеля, ты немецкий знаешь. И еще мы хорошо помним антирелигиозные выступления нашей великой партии в первое комсомольское “рождество”. Наши почтенные партийные вожди с Лениным во главе, выворотив, говорят, тулупы, дикими ватагами, в силу партийной дисциплины, неистовым блекотаньем, нечеловеческими воплями, изображая пещерных людей, будто бы наших предков, в ночь под Рождество бродили вокруг церквей, лагерей побежденных, где они славили своего христа. Все это и мы здесь, в провинции, проделывали, по примеру великих вождей, т.е., можно сказать, хулиганили вовсю и впредь будем хулиганить, что бы не писал тов. Емелиан... С нами Демьян Бедный! Ура! Первый антирелигиозный хулиган. Можно сказать, наш архихулиган, надежда, камень, идеал. Так. Далее.

Что касается практики повседневной жизни, т.е. борьбы с религией как с бытовым явлением, то уже здесь без хулиганства нам никак не обойтись. Хотя за 10 лет все уже предусмотрено, все исчислено, все так взвешено, всюду и везде в Союзе острие наших партийных благодетельных законов направлено против народа, в упор против малейших проявлений народно-религиозного быта, религия в провинции нашим белым террором загнана в подполье, надо прямо это сказать, но все-таки могучая, по-видимому несокрушимая сила нашего атеистического законодательства имеет потенциальное значение только с внешней, формальной стороны. Чем сильнее мы их давим, чем сильнее мы их жмем, тем ярче и чаще вспыхивают там зарницы, тем сильнее в массе пламенеют искрометные, огненные желания иной, свободно-идейной жизни: атмосфера тухлого свинарника, как они называют наше свободное от фетишей марксистское мировоззрение, им с каждым днем все более становится невыносима, прямо-таки не удовлетворяет их. Таков человек, таковы люди. Они вечно носятся с своей умственной душевной пустотой и неудовлетворенностью, как с хроническим флюсом или насморком. Эта идейная неудовлетворенность — начало религии: мы даем им хлеба, мы даем им и зрелища. А они: дайте нам бога, о котором мы знали в Египте.

Вот тут-то и у места то антирелигиозное хулиганство, за которое мы здесь, в Жиздре и в Брянске, все держимся, да еще обеими руками. В пример приведу Рыкова. Объезжая голодающее Поволжье, наш великий премьер, пропустив за галстук лишнюю банку, такую речь держал (приблизительно) изнемогшим от голода верующим людям: “Сажая картофель, на бога не уповайте, вряд ли ваш господь бог-то знает, как сажать ефту самую картохфель”.

Голубчик Троша. Войди, наконец, в разум, а то он у тебя детский. Пойми. Вся сила, весь натиск, ядоносная змеиная выползка нашего повседневного хулиганства у нас в Союзе в первую очередь обрушивается на голову того класса людей, которых Либкнехт обрек на смерть, он говорил: “Убивайте, бейте их в первую очередь”. Следуя заветам Ильича, мы православных священников, иначе сказать, попов три года с большой охотой резали, пытали, гноили по тюрьмам в голоде, холоде и тифу, насильничали над ними в тыловых каторжных ротах, расстреливали целыми сотнями; сколько было пролито крови человеческой, сколько было ужасных невыносимых страданий, об этом расскажут потом в сотнях и тысячах правдивых повествований. Наконец, сам Ильич не вынес, не мог,

понятное дело, вынести. Ведь все через его руки шло. Не боялся он крови, но все-таки надо ж и меру знать. Стоп, говорит, товарищи.

И вот тогда, по приказу великого нашего вождя, буржуазного истребителя, мы начали наше победное отступление назад-назад и в первую очередь сели на нэп (по Троцкому, глиняный худой урьльник), все выше помеченные №№ упражнений незабвенного товарища Дзержинского, к сожалению, пришлось отменить. Тогда мы здесь, в провинции, все надежды положили на хулиганствующего и всегда пьянствующего поэта, дорогого Демьянушку, и на равнодействующую энергию товарища Крыленко, золотого и никем не заменимого человека в области законодательства. При этом чудодее мы лишили попов всех гражданских прав, прокляли их и их подлое потомство великой клятвой отвержения до седьмого колена, излили ушаты грязи, натравили народ на этих контрреволюционеров, осмеливающихся называть наших партийцев паразитами на народном теле, а партию хомутом и удавкой на шее народа. Что же прикажете еще им сделать? Предлагают нам некоторые горячие головы: устроить во всем Союзе в одну ночь и в один час попам варфоломеевскую ночь, но для этого упущено время: в Ленинщину, в 1918—19 и 20 годы это было бы подходяще. Ну, вот и подумай, дорогой, как тут обойтись без хулиганства.

Недавно мы тут, в Жиздре, устроили на славу ученый диспут. Обставили диспут как следует. Прежде всего пригласили солдат-клакеров для поддержки наших диспутантов аплодисментами и для утеснения противной стороны. Так называемых верующих пропустили ограниченное число людей, и то совслужащих, т.е. от нас зависимых. Выписали наиученейших «безбожников», есть такая оплачиваемая казенными деньгами профессия, из самого, подумай, Брянска, можно сказать, громил и вышибал. Один соловьем заливается, а другой высокий тенор, что твоя канарейка. И так это стало всем приятно. Смотрим друг на друга и вслух языком прищелкиваем и губами причмокиваем. Кончили, и стало тихо, как в лесу в зимнюю ночь. И что же? Подымается на эстраду, едва передвигая ноги, старенький ледащий протоиерей, так, какой-то замарашка, Демьянушкин поп Ипат. И всех наших громил посадил в большой конфуз. Солдаты по немой команде политрука и шикали, и шумели, и говорить не давали, один от глупого усердия даже зычно свистнул. На, брат! Но, к нашему общему огорчению, ничего не помогло. Ничего. Всех отшил, отчитал старый попишка. Но, как говорится, не бывает бы счастья,

да наше нам несчастье помогло. Выручил нас дурковатый и никогда нигде не выступавший партиец (стаж с 18 г.) из военкомата Поликан (Поликарп). «А помнишь, отец, как ты по кубанским плавням с винтовкою лазил?» Это выступление, хулиганское и неправдоподобное, привело всех партийцев в неописуемый восторг и находчивостью, и полной неожиданностью. Гы-гы-гыканье дружное, дисциплинированное, коллективное солдат и всей атеистической публики закончило наше ученое выступление.

А то еще в Жиздре у нас, да и везде в Союзе, есть такой добрый и всесодержный партийный обычай, правда, тоже хулиганский, но бьющий, можно сказать, врага-противника прямо в лоск: при встрече с попом три раза плюют — и пионеры, и комсомольцы, и партийцы; при этом, кто посмелее, плюют на виду у всех, а кто пофанатичнее, стараются так, чтобы харкотина всякая, и туберкулезная, и сифилитическая, попала попу на одежду, на обувь или к самым ногам. Делают это как бы незаметно, походя. Это ли, ура, не победа наша? Друг Трошечка. Это ли не уничтожение поповской чести? Это ли не уничтожение человеческой личности? И никто не смеет нам против слова сказать. Даже Москва-центр и та помалкивает. Потому мы правильно <делаем>.

Вряд ли Николаю снилась во сне та полнота власти, которой пользуется у нас в провинции каждый рядовой партиец, при бесправии остальной, непартийной верующей народной массы, забитой нами. Потому мы безбожники, атеисты, и попы нам не нужны. И так наше хулиганство бьет верующий народ, бьет попов, бьет религию, поэтому мы его никогда не оставим.

Правда, мы иногда делаем промахи, ошибки. А кто от них свободен? Сам Ленин и тот здорово ошибся с коммунизмом. Ошибся и в виноторговле, ввел то есть пьяный бюджет. В 1923 г. ячейке Чернышенской фанерной фабрики мы отсюда, из Жиздры, дали строгую директиву изловить атамана Сергея Михайловича Дубровского. У нас, в партии, строго: приказано — сделано. Десять молодцов-партийцев, здоровых, крепких молодых людей, вооруженных маузерами, бодро и быстро шли по шоссе. Спокойные, сильные, уверенные. Встретясь им Дубровский с помощниками, в пять минут они, бандиты, все были бы связаны по рукам и ногам. Темная осенняя ночь. Закурили. Огоньки от папирос вспыхивали при затяжках. И представь. Наши герои и при таком скудном освещении ясно до отчетливости увидели, что мимо них кто-то прошел, не то монах, не то священник,

одним словом, из этих, долгогривых. А на самом деле это прошел мимо наших твердокаменных партийцев переодетый бандит Дубровский на ночлег к своим родным на завод. Наши партийцы, не будь дурни, как по команде все вдруг зараз обернулись и трижды плюнули взад Дубровскому, в пространство, в том направлении, куда скрылся монах. “Не будет удачи, поп встретился”, — решили они и повернули домой. “Тьфу ты, черт... И откуда он подвернулся, патлатый!”

А вот в это, прошедшего года лето наши пионеры и комсомольцы, по верным сведениям из одной ячейки, радовали нас особенно, можно сказать, донельзя. Всякому попу, проходящему по делам в местный ВИК, они, милая наша смена, устраивали, организовывали форменную обструкцию: сидя на обворываемых яблонях больничного сада, метко швыряли в проходивших попов огрызками яблок, кусками сухой земли, камнями. Или стройной колонной окружали спереди, сзади, с боков попа, дергали его за волосы, за лапсердак и громко, гармонично пели «Сергей поп», стихи, специально написанные бесмертным нашим пролетарским поэтом Демьянушкой Подворовым. И так, под таким почетным экспертом <очевидно, эскортом. — *Сост.*>, провожали чуть не до ВИКа. Вот это в высшей степени похвальный номер пролетарской физкультуры, и мы все прямо-таки восхищались этим антирелигиозным хулиганством будущих граждан великой партийной республики. Не ворчи, дружище. Запомни раз навсегда: мы завоеватели, мы калифы, мы в завоеванной стране... Только партийным хулиганством, по заветам Ленина и других вождей, мы победим верующий народ, попов со всего света с Толстым Львом во главе, их и самую возвышенную, как они говорят, религию загоним в подполье».

Так закончил свое письмо мой друг-партиец из гор. Жиздры.
За пожеланием Вам здоровья

Трофим Романов Грессен, бывший ротный старшина

6.

2/1-29 года. Ялта.

Принято благодарить за ответы, я соблюду этот обычай и скажу — благодарю.

Но чтобы у Вас не осталось никакой иллюзии насчет исполненного Вами долга перед одним из корреспондентов, добавляю, что Ваш ответ меня совсем не удовлетворил.

Ваше письмо не является ответом по существу <...>. Оно показало мне:

1) что Вы уклонились от ответа на основной вопрос: являетесь ли Вы полным сторонником Союза, умом и сердцем преданным ему во всем, или Вы, как квалифицирует Вас один критик-марксист, Горбачев, тот, кто «в конечном счете по отношению к буржуазному строю проявил себя как типичный индивидуалист-романтик, анархически презирающий и проклинаящий этот строй на словах, но не способный примкнуть к тем, кто его разрушает, на деле».

Вот ведь что примерно спрашивалось мною, на что я ждал ответа. Ответа нет; знаю теперь бесповоротно, что его никогда и не будет.

2) что бесполезно спорить об «эллинизме», так как дух его, как видно, Вам мало понятен, иначе Вы глубже бы разобрались в том, что я сказал <...>.

3) что «эллинизм» и вообще классический мир не были в программе «Моих университетов» — это уже было видно из Вашего спора с Асеевым, пожелавшим развенчать Италию. Вы не нашли нужных слов одернуть его по-настоящему, а ограничились спором с ним за ошибки географических названий и за прочие мелочи. А о всем том, что взрастила почва, на которой и Вы живете, что дали Рим, а позже Италия, современной культуре, — ни слова.

Гете вернулся из Италии «эллином», многие другие поэты и писатели возвращались оттуда «эллинами». Было бы не вредно и Горькому вернуться хоть немножко «эллином» <...>.

Сказанное немного догматично, но Вы подумайте над ним как следует. Возможно, что те эмигранты, на которых Вы нападаете, и говорят о мщении, ослепленные злобой на нелепость своего положения за границей. Вы приводите рассказ белоэмигранта о виденном им генерале-звере. В описании генерала и его недалекой жестокости против нарушителей порядка не видно никакого сочувствия. Просвечивает любопытство к человеку, своеобразно понявшему счастье родины. Испытанный чекист с не меньшим удовольствием будет показывать фотографии расстрелянных какому-нибудь не в меру любопытному коммунисту. Все эти обличения поверхностны и мелки. Человек злобен, а когда он изолирован от жизни, он

становится болезненным. А Вам, знатоку человека, следовало бы это помнить.

В России сейчас бешеный поход против интеллигенции. Травят социалистов, ученых, артистов. И что характерно: печатают все гнусности не в таких органах, как «Правда» и «Известия», а в гнусных отравных листках, как «Рабочая Москва», «Вечерняя Москва», «Труд» и т.д. Чем не погромная агитация? Читайте про головановщину в Большом театре, про контрреволюцию в Донбассе, Общество Содейств<ия> строению социализма, выборы в Академию наук — везде найдете травлю, погромные слова. И ко всему этому вою Вы присоединили на старости лет свой голос.

Вы, должно быть, получаете массу писем. Что ж, письмо, м<ожет> б<ыть>, и неинтересное, и Вы, прочитав его, недоумевающе улыбнетесь. Я студент 25 лет. Мне бы еще хотелось написать, что резать и убивать эмигранты не будут, а будет убивать та же черная братия (ваньки), которых пичкают погромной агитацией (часто несознательно, как та, так и другая сторона), и дубину-то, собственно, следует вложить в руки не рабочим, не босякам и не только тем доведенным до безумия эмигрантской изолированностью, — но и Вам, дорогой Алексей Максимович <...>.

<Без подписи>

7.

Многоуважаемый Алексей Максимович!

Прочитав Вашу статью о белоэмигрантской литературе, я хочу поделиться с Вами теми мыслями, на которые навела меня Ваша статья.

Меня удивило, что Вы такого плохого мнения о нашем народе в лице его крестьянской части. Вы думаете, что только большевики спасли нас от анархии и гибели всей культуры, когда этот «народ серой лавиной покатился с войны в деревню». Но кто же призывал его к совершению анархических действий, советуя обратить свои штыки от германцев на своих сограждан? Кто призывал их к грабежам, издавая декреты о захвате имущества помещиков, у которых отбирали и одежду, и пищевые продукты, и все предметы домашнего хозяйства, что несогласно ни с каким социалистическим учением и имеет все признаки простого грабежа? Наша гражданская война была полной анархией, к которой привели нас большевики, желав-

шие ее, так как уже в февральские дни они кричали: «Да здравствует гражданская война!» — и, разогнав совершенно свободно избранных всеобщей, прямой, равной и тайной подачей голосов народных представителей Учредительного собрания, они и достигли своей цели — вызвали гражданскую войну.

Они же своей политикой натравливания деревенской бедноты на зажиточных крестьян привели нас ко всем ужасам голодного года. Ни Гражданской войны, ни ужасов голодного года у нас не было бы, если бы большевики не разогнали Учредительного собрания, куда народ наш послал без всякого постороннего влияния тех, кого хотел и кому доверял, и именно — представителей ссыльной массы нашего народа — крестьян, затем — рабочих и менее всего представителей буржуазии. Конечно, такое Учредительное собрание совершило бы все политические и социальные реформы в интересах нашего земледельческого класса, не пренебрегая и интересами рабочего класса — столь близкого ему. Несомненно также, что оно не посягнуло бы на все те культурные достижения и ценности, какими мы обладали.

Далее Вы возмущаетесь, что большевиков обвиняют в жестокостях, умалчивая о жестокостях белых. Позвольте же мне, бывшему свидетелем происходивших (в Севастополе и Крыму) событий в бытность там добровольцев при Деникине, Врангеле, сказать, что если и были репрессии и даже казни, то они были направлены только против активных деятелей коммунистической партии и потому были мало заметны и малочисленны. Совсем иное положение было с приходом большевиков, которые сотнями расстреливали всех более или менее влиятельных или зажиточных граждан, нисколько не причастных к политической борьбе. Еще до прихода большевиков сочувствовавшие им матросы говорили: «Будем резать буржуев». Жуткую картину представлял город, когда по ночам большевики обходили дома более зажиточных граждан, арестовывали их и отправляли на Малахов курган для расстрела, последнего, простого, примитивного способа политической борьбы. С приездом ЧЕКА началась уже планомерная и более организованная борьба. Кто же там распоряжался жизнью граждан? Не знаю, как в других местах, но в Балаклаве в этом почтенном учреждении были несомненные садисты, зверства, о чем я заключаю вот по чему. Там ЧЕКА творила суд и расправу в доме моей невестки, очень образованной, с демократическими убеждениями женщины, в высшей степени правдивой. Вот она и рассказала мне, что когда ЧЕКА уже покончила свою расправу с обреченными ими

жертвами, то почтенные товарищи-судьи подняли вопрос о том, как быть с хозяйкой дома и ее сестрой, и решили, что нужно с ними покончить, хотя ни та, ни другая не были причастны к какой-либо политич<еской> борьбе. Моя невестка подслушала этот разговор, а ее прислуга-большевик подтвердила это. Обе спаслись от неминуемой смерти только бегством.

Что большевикам присуща жестокость и кровожадность, свидетельствуют те многочисленные казни, которые теперь совершаются у нас даже за маловажные политические и иные преступления, как растраты; об этом же свидетельствуют многочисленные убийства многих наших лучших людей, всею душою преданных интересам народа, как напр<имер> д-р Шингарев; о том же свидетельствует зверская расправа с детьми царя.

Вы говорите, что такая же жестокость присуща и всем противникам Совет<ской> власти. Однако, когда власть была Временного правительства, где главную роль играли соцдемократы, их первым законодат<ельным> актом была отмена смертной казни <...>. Неужели Вас не возмущает эта жестокость правящей партии и Вы не должны <...>, пользуясь своим авторитетом и влиянием, показать ей всю гнусность и мерзость такого легкого отношения к человеческой жизни, всего лицемерия их возмущения и протестов, когда другие правительства применяют неизмеримо более слабые наказания и репрессии к членам коммунист<ической> партии, когда те прибегают к насильственным средствам захвата власти. Против таких гнусностей царского правительства возвышали голос когда-то наши лучшие люди — Л.Толстой, В.Соловьев, В.Короленко; выступали против них и представители науки, обсуждая с разных точек зрения этот вопрос. А теперь. Все молчим, как в рот воды набравши. Ниоткуда нет протеста и осуждения, как будто так и должно быть. А вот расточать лесть Советской власти — на это у нас сколько угодно охотников; не гнушаются этим и люди науки. Все это очень печально, так как показывает страшный моральный упадок всей нашей интеллигенции. Происходит оно, это замалчивание, в силу одобрения таких действий или за отсутствием мужества осудить их. Скорее всего, причина — в недостатке мужества, в чем убеждаешься на каждом шагу. Когда власть как теперь, все боятся свободно и искренне выразить свое мнение по тому или другому политич<ескому> вопросу или действию правительства, боятся говорить, боятся писать в частных письмах и только шепчутся, оглядываясь по сторонам.

Я пережил царствование Александра II и III и Николая и решительно не помню такой страшной, прямо позорной боязни — касаться всего, что относится к политике и правительственной деятельности. Если Вы этого не знаете, то значит, не знаете современной России, а если знаете и не возвышаете своего голоса, то берете на себя тяжелый грех. Вы, Алексей Максимович, конечно, высоко ценили и уважали Л.Толстого, Чехова и Короленко. Как, Вы думаете, они отнеслись бы к Советской власти, ее правящей партии? Несомненно, с величайшим осуждением, не молчали бы.

А. К.

Байдарское почтовое отделение

8.

Многоуважаемый Алексей Максимович!

Мы, крестьяне, находившиеся в глуши от центра нашей матушки Руси, услышав Ваш приезд, радушно его встречаем за глаза. Мы надеемся, что Ваш приезд к нам будет исправлять имеющиеся наши промахи и ошибки наших правителей, т.к. появилась таковых очень много, как то: растраты, самодурство, вплоть до контрреволюции, а это потому по нашим крестьянским мнениям, что не проведен трудовой закон открыто.

Вам много сказать еще что есть. Полная власть на местах как например — мелкие наши начальники, как сельсоветы, Вики, они прямо выдают себя кум королю, почти никогда не исполняют имеющиеся у нас законы, а в частности кодекса земельного, т.е. закон говорит одно, а они делают другое и это обстоятельство портит все строительство, а ежели коммунист, т.е. партийный, то к нему близко не подходи и его слова закон, а верно оно или нет он в этом не думает отдать отчета <...>.

И ежели у меня хватило смелости указать, что это неверно, то первое рискуешь попасть в неприятные элементы, а кроме того получишь ответ, что это делается в порядке партийной дисциплины и вот плохо то, что доносят дальше и дальше, например уезд в порядке партийной дисциплины его поддерживает даже губерния, а между тем это лицо творит полную контрреволюцию и все это в порядке партийной дисциплины. И вот это и заставляет делать партийца смело всевозможные пакости, он знает, что у него есть ограда — партия и это у нас так развилось самовольство нужно его изжить. Я предлагаю закон, изданный хотя на год, месяц должен безоговорочно применяться

строго ко всем, а к партийцу тем больше. У нас ежели личность не понравилась секретарю Волкома¹ или Вика, накладывают налог, продают последних коров, овец, постройки и т.п., и ваши все жалобы остаются в пустыне вопиющими. Все идет партийной линией <...>.

Я думаю, советская власть не хочет выбрасывать на улицу граждан. У нас творится да еще как и вот это позорно, лишают последнего гнезда. Убедительно просим издать твердый закон, иначе дело плохо, землю несомненно обсемяним нет семян и не у кого спросить, все с<ель>хозтоварищество имея овес сами не знают, кому его раздать, хотя беднота и получит его но на дело плохо пускает. Все партийцы по этой линии плохо глядят, а их дела сделают что-нибудь выдающее, т.е. кого нажать и придать, а не следит за устройством жизни, посева, строит<ельства>.

Поэтому вот просим наш гость обратить на это внимание это все Вам пишется верно. Плохо проводится такое важное дело и плохо, когда коммунисты гадят и портят под предлогом коммунизма, да и суд как-то плохо глядит на имеющийся закон и делает, что ему нашепчут его сотоварищи, а также горе тому, кто не сделает по ихнему, то завтра полетит вон и так поставлено, что они не закона боятся, а боятся друг друга, а это на жизни сильно отражается. Просим подсобить нашим вождям ввести строгий закон, простой, прямо, чтобы его знал каждый из нас в деревне и мог сказать и видеть что это неверно и он не боялся что его за то будут преследовать и это нужно скорее, скорее спасти нас от гибели.

Уваж<ающий> Вас *Иван Бол*<...>

¹ Волком – волостной комитет партии. (Примеч. сост.)

В «НОВЫЙ МИР», АЛЕКСАНДРУ СОЛЖЕНИЦЫНУ...

Письма из архива Русского Общественного фонда
Александра Солженицына

Сотни писем, пришедших в «Новый мир» в связи с публикацией «Архипелага ГУЛАГа» — своеобразное продолжение этой книги. (Так великая река, впадая в океан, «расплетается» на рукава и протоки.) Перед нами феноменальное соавторство писателя и народа, той его части, что думает, чувствует, помнит и в который уже раз проводит границу между бездарной властью, не сумевшей опомниться и вынести приговор прошлому, — и самим народом, ничего не забывшим, все еще надеющимся на справедливость. Здесь письма бывших лагерников и ссыльных, их родственников и друзей, мучеников и мучителей, которые «правы» были и в самых кровавых делах.

Составители выражают сердечную благодарность тем, кто собрал эти письма, в частности Надежде Григорьевне Левицкой и Елене Цезаревне Чуковской, и Русскому Общественному фонду Александра Солженицына, предоставившему право их публикации.

1.

<...> Мы из того поколения, о котором пишет Солженицын. В лагерях я и моя семья не были, но ссылку испытали на своей шкуре. Она мало чем отличалась от лагерной. Пригнали в

глухую тайгу и заставили корчевать гарь, сказали — здесь ваше место жительства. Обгорелые пни были толщиной в два обхвата, горелый валежник, все это делали наши родители, а мы, тогда еще дети, собирали недогоревшие остатки и корни от пней, жгли костры, и первое же лето каждая семья для себя очистила поле, чтобы посеять рожь под зиму. Все население было на учете в комендатуре и отмечались, как будто и в самом деле были какие-то «враги народа». А ведь были мужики — земледельцы настоящие, уже не надеялись на возврат на родину, а за 2 года раскорчевали гарь, и были полосы уже по 20–30 га — чистые, и урожай хороший получали. Но недолго так было, на 2-м же году стали организовывать колхозы из этих «врагов», тогда уж стали работать за палочки, ничего не получая за труд, и земли крестьянин лишился, кроме своего огорода, с которого он получал урожай и только этим жил, вся колхозная продукция шла в государство. Родители наши долго не жили, они умерли от голода и непосильной работы, а мы — их дети, уже нам по 65–70 лет, так и живем, доживаем на этой ссылке. Если бы Солженицын проехал по нашей Сибири, он бы написал несколько книг, у него написано точно, как это было. Все это теперь знают, как все было, а виновника не найдут никак. А его просто найти, он еще на земле, у нас. Простите за такое письмо. <...>

С уважением Лусина

Февраль 1990

2.

<...> ПОСЛЕСЛОВИЕ к главе № 2 «Мужичья чума» части третьей «Архипелаг ГУЛАГ». Наша семья состояла из 6 человек, родители — отец Макуха Денис Захарович, мать Макуха Улита Егоровна, брат — Захар 1914 года рождения, сестра — Фрося 1916 года, Оля — 1918 года рождения. В 1929 году на свет появилась я, и никто не знает — для чего. В 1930 году наложили налог на хлеб, наш отец вывез все, когда наложили второй раз, то не только на вывоз, но и даже на еду семье ничего не было. Отца обвинили в антиреволюционной пропаганде и забрали в тюрьму по ст. 56-10 (данные Харьковского КГБ — 1989 год). Но улики против него не было, и его отпустили. Но с арестом отца нашу семью выгнали из родного гнезда. Наша мама с 4-мя детьми была принята нашим дедушкой Буянским Егором Аки-

мовичем. Попутно скажу, что за то, что дед нас принял, его со временем тоже выгнали из родного гнезда, и он умер голодной смертью. В 1931 году по решению Изюмской райтройки отец был признан кулаком, осужден по статье 58 – враг народа, и 13 июня 1931 года наша семья вторично была изгнана из Красного Шахтаря. Всех кулаков собирали в лагерь «Савинцы», пока формировался состав из теплушек, и повезли на поселение в Лялю, теперь Новая Ляля. Ехали целый месяц и приехали на мой день рождения 12-го июля 1931 года, мне исполнилось 2 года. Нас рассовали по спецучасткам, приставили уполномоченных и всех трудоспособных послали на лесоповал. Я была в январе 1989 года в Новой Ляле. Из всего эшелона там осталось две семьи, и поэтому пишу со слов участников этих давних событий. Строили в тайге, на ночь разжигали костры, разгребали угли и на этом месте ложились в сорокаградусный мороз спать. К утру – крайние были уже трупы, их грузили на розвальни, как дрова, по 10–12 человек и закапывали, места захоронения заравнивали. Были отобраны у всех паспорта, и каждый день уполномоченные производили проверку наличия ссыльных. <...> Многие не выдерживали, да кроме всего прочего ведь еще и издевались. Кто умирал с голоду, кто весился, были случаи, ели детей. Да что там случаи, делали же на продажу пирожки еще и в 1938 году из детского мяса. Когда нас привезли в Лялю, то вскорости вышло Постановление, что подростки могут вернуться на старое место жительства. И мои сестры вернулись. Меня же с родителями в 1933 году, как самую главную преступницу, отправили в Красный Вишер Пермской области. И я конечно же каким-то образом попала в детский дом. Где? Никто не знает. Не сохранились архивы тех лет. Но я снова очутилась в Свердловской области. Везли нас часто и подолгу – и пароходом, и поездом, и на розвальнях, и из одного детского дома в другой. Я заболела туберкулезом. Не знаю, кто меня выхаживал, часто болели глаза, перестала ходить. А потом выбралась из всех своих болезней и в 1934 году уже была в детском доме села Бобровка Сысертского района Свердловской области. Детский дом имени Н.К.Крупской был дошкольный. Младшая группа до 3-х лет, средняя до 5 – я была в средней, старшая до 8. В ночь на 30 октября 1935 года – этот детский дом сгорел. Я в это время была в изоляторе. Моя кровать стояла у окна. Я чего-то проснулась и выглянула в окно и страшно удивилась, что снег такой алый. А это, оказывается, горел наш детский дом. <...> Детей выбрасывали через

окна на улицу, и они бежали к нам в изолятор. Кстати — изолятор еще стоит (я была в Бобровке в 1973 году). <...> Весной 1936 года нас перевезли в Нижний Исетск, это 8 километров от Свердловска, детдом, по-видимому, им. Дзержинского, стоял у нас в группе бюст Дзержинского. Решили нас — детей — очеловечить и дать фамилии. Мне дали фамилию — Закирова в честь девочки-татарки Раи Закировой, у которой к тому времени нашлись родители. Где-то по-видимому тоже в этом же году нас, человек 20, перевезли в г.Ирбит в дошкольный детский дом. <...> В 1952 году решила поехать в Германию, прошла все комиссии, пришла в военкомат на собеседование, меня не взяли по той простой причине, что я из детского дома, что у меня нет родителей или же родственников. И вот с 1952 года я занялась писаниной и в 1968 году нашла себя. Оказалось, что я не Закирова, а Макуха. Все, что я написала, истинная правда. Не буду писать, как я вспомнила фамилию, как ездила в 1972 году на свою «РОДИНУ» в Шахтарь, и никто нас не пожелал принять, приехали же дочери «ВРАГА НАРОДА».

Когда в 1989 году вышло постановление о возмещении ущерба, все думали, что уж наконец-то пришла справедливость! Но не тут-то было. Оказалось (данные Харьковского управления юстиции 1989 года), что лица, вывезенные в другие места жительства, под это постановление не подлежат. Спрашивается, выжили-то ведь единицы <из> тех 15 миллионов семей, под что они подлежат? Снова под выселение? <...>

С уважением — *Макуха Раиса Денисовна*
г. Гродно

Январь 1990

3.

<...> В 7-летнем возрасте я «загремела» на ссылку вместе с родителями, сестрами, братьями, родственниками, которых разделили с нами, в разные места сослали! Наша земля обетованная — Богословские угольные копи, недалеко от Ивдельлага. Но — перед ссылкой пьяные уполномоченный и активисты — что они творили над нами! На станции нас много лежало, сидело на земле, а это конец августа 1930 года!

Ждали идущие составы — телятники. Вагоны просвечивали, грязь не убрана. Вот в них погрузили; до Нижн<его> Тагила везли закрытыми, а после — чуть открыли. Вдоль дороги — леса

Северн<ого> Урала — елочки, а там, куда привезли — тайга. Тайга и болота. Умерли там наши родители к концу 1932 года. Умерли сестра, брат, родственники. Детские дома Свердловской обл<асти> переполнены: кормить и одевать нас нечем. Ходили в тайгу, помню эти пихты, ели, вот березок мало!

В Ирбитский детский дом в конце лета 1937 года привезли детей, «врагов народа» (это был уже второй детский дом в моей жизни!).

В 1940 г. я видела под Ирбитом, в лесу, поселок ссыльных поляков из зап<адных> областей Украины и Белоруссии. Туда мы ходили с девочками в гости к этим полякам! В 1941 г. многие из них умерли!

В 50-е годы видела здесь, в Кургане, ссыльных молдаван. Мир устлан «благими намерениями».

Мочалова Н.К.

г. Курган

Декабрь 1989

4.

<...>

Вначале моя мать потеряла отца, разоренного и сосланного на Урал с дочерью, потом мужа, тоже разоренного и сосланного в 1933 г., который, вернувшись в 1936 г., вновь был арестован в 1937 г. уже как «враг народа», больше о котором мы, пятеро детей, ничего уже не слышим. Солженицын описывает в основном страдание и гибель заключенных в Архипелаге, но кто и когда опишет страдания и гибель их семей? Ведь моя мать вынуждена была бросить отчий дом в Рязанской области и с нами скитаться по Московской обл<асти> — от позора, голода и унижения! Ведь уже я в свои 10 лет был назван «врагом народа»! Вспоминать о прошлом тяжело: мать умерла в свои 54 года, да и мы, оставшиеся, не жильцы, а мученики. Все мы отработали в войну и после по 40 лет, в общем —годились, когда из нас еще что-то можно было взять. Сейчас обо всем этом сказано лишь три слова: «Негативные явления и репрессии»! Да и это многим не по нутру — надоело слушать.

Все беды, как в прошлом, так и в настоящем, в духовном и нравственном падении людей, да и общества в целом! Как никогда ярко выражено первородное зло: зависть, алчность, переходящие в ненависть — все это испытал на собственной шкуре,

да и многие другие испытали такое. Возьмите такие гнусные явления, как воровство, грабеж, насилие и убийство, а ведь началось это далеко не сегодня — они лишь расцвели на почве нашей бездуховности, лжи и беззакония! Так что мы пожинаем плоды 30-х годов <...>.

Карпешин И.П.

г. Красноармейск Московской обл.

Январь 1990

5.

<...>

Читаю в «Новом мире» Ваш и наш Архипелаг Гулаг. Великое Вам спасибо за правду. Хочется добавить то, что мало кто знает. Мой брат — Починков Владимир Павлович, уроженец г.Архангельска, с 15-ти лет работал учеником матроса в нашем торговом каботажном флоте. Летом 1942 года он плывал на грузовом судне «Крестьянин». Совершали они рейс из Новой Земли по Карскому морю. Пункт назначения ему был, конечно, неизвестен. Судно было под завязку набито людьми — заключенными; трюмы, по его словам, были набиты битком, и никого из них не выпускали на палубу ни на одну минуту. К ним он доступа, понятно, не имел, но видел сам, как людей загоняли в трюм при посадке на судно. Вот таким был груз. В одну из ночей, в июле месяце 1942 года, судно торпедировала немецкая подводная лодка. Это было в 4 часа утра. В это время он — мой брат — стоял на вахте. Они успели спустить две шлюпки, сели, кто успел, из команды и отплыли от судна на такое расстояние, чтобы их не засосало в воронку. Судно тонуло 4 минуты. Одна из спасательных шлюпок с частью команды, стоящей на вахте, погибла вместе с судном (не успели отгрести). В шлюпку, где был мой брат, успел запрыгнуть штурман, стоящий на вахте, с картой и компасом. Благодаря ему, взяв нужное направление, часть команды <...> смогла доплыть до берега, на Новую Землю. В спасательной шлюпке, конечно же, не было еды, все сухари съели голодные матросы еще на судне, но запас воды был. Гребли, сидели на веслах, пока было хоть немного сил, меняясь друг с другом. Несколько человек умерло от истощения, голода и холода. Трупы выбросили в море. Это ведь север, ночи холодные. Но он, мой брат, выжил — крепкий был мальчишка. <...> Что он мог сказать о тех тысячах, <о> заключенных людях, набитых в трюмы судна? <...> Рассказывал он это мне под

великим секретом; говорить было нельзя, посадят за агитацию против Советской власти, а как держать в себе такое пережитое мальчишке в неполных 16 лет? <...>

Кузьмина З.П.

г. Бердск Новосибирской обл.

Февраль 1990

6.

Глубокоуважаемый Александр Исаевич!

В «Архипелаге» Вы пишете, как людей заживо замораживали зимой или скармливали комарам летом.

Маленькое дополнение:

иногда доблестным чекистам хотелось развлечений, и они, в безграничной своей гуманности, давали наказуемым шанс на выживание, а именно: человека раздевали донага и ни к чему не привязывали, а просто садили верхом на бревно и руками сук прибывали к бревну мошонку гвоздями, а далее — хочешь замерзай, коли зима, или будь съеденным комарами, если лето. Ну а хочешь жить, вставай, рви тело свое и проваливай.

При этом заключались пари: кто сколько минут высидит, кто умрет сидя, кто пощады запросит и т.п. Пишу со слов своего покойного шефа и учителя, светлой памяти Дмитрия Павловича Щербова — З.К. Беломорстроя, умершего в 1981 г. в звании доктора хим. наук, заслуженного химика Каз<ахской> ССР. Он мне доверял и многое рассказывал из того, что больше не говорил никому. Если Вы, Александр Исаевич, при переиздании «Архипелага» сочтете возможным дополнить свой труд этим небольшим фрагментом, то сделаете это в знак памяти моего учителя и его друзей по Беломорской каторге. <...>

С искренним уважением *Воинов Сергей Александрович*
г. Алма-Ата

Февраль 1990

7.

<...> Осенью 1930 года и в Елисаветграде начались аресты работников умственного труда разных специальностей. В середине октября дошла и до меня «очередь». <...>

Прошел слух, что к нам в город из Одессы прибыла группа следователей для ведения заново допросов. Пошли разговоры и о том, что «одесситы» на допросах применяют пытки <...>.

Не избежал такой пытки и я. Однако, просидевши несколько часов и категорически отказавшись писать поклеп на себя и на других, меня на некоторое время оставили в покое. Надо полагать, таких выносливых было много, поэтому стали применять значительно более жесткую пытку — «статуя». Эта пытка оказалась настолько мучительной и невыносимой, что кое-кто из подследственных покончили самоубийством, а несколько человек сошло с ума.

Я лично выстоял 20 суток и, как заявил «одессит», побил рекорд по стоянию в Елисаветграде, с чем меня и «поздравил». Он сказал, что меня отправят в одиночку, где я затем проспал трое суток.

Только какими-то процедурами врачу удалось вернуть меня к жизни из «мертвого сна». Этот эпизод оставил след на всю мою долгую жизнь (спазмы различных внутренних органов). <...>

Началось с того, что меня привезли на допрос. Следователь «одессит» встретил меня «радушно», поздоровался, пожал руку и предложил сесть. После этого стал мне говорить, что мы сейчас находимся на «гребне революции» и должны быть особенно бдительными. После такого вступления, но уже другим тоном приказал писать о том, что мне известно об «организации», в которой я якобы состою. Я ответил, что впервые слышу <о ней>.

В ответ на мой отказ он предупредил, что я буду стоять до тех пор, пока не заставят написать все, что от меня требуют.

<...> Сначала я стоял в ботинках и калошах, а когда стали отекать ступни, мне разрешили снять ботинки и я стоял в носках и на калошах. Потом пришлось совсем разуться и стоять босиком. К утру ноги так отекали, что в калошах не сгибались. В туалет ходил, цепляясь за стены, на прямых ногах. Унитаз был весь забрызган кровью (которой некоторые мочились). Создавалось впечатление, что здесь расстреливали.

Кормили три раза в день: утром стакан чаю и 100 граммов хлеба, в обед тарелка жидкого супа и 100 граммов хлеба, вечером опять стакан чаю и 100 граммов хлеба. Все это подавал дежурный милиционер.

<...> Однажды он <следователь> принес стопку дел, положив на стол, распорядился, чтобы я сел и писал. Этим я не воспользовался, так как заподозрил подвох <...>.

Немного погодя он опять зашел, увидел меня стоящим, а не сидящим за столом, схватил дела, вроде случайно им забытые, и поспешно ушел.

В следующий раз «одессит» пришел ко мне в комнату со своим начальником, и они оба стали «сожалеть», что из-за отказа писать я гибну (у меня уже образовались отеки кистей рук, лица — еще немного, и водянка дойдет до сердца, я помру, и мои детки останутся сиротами). Я сказал: сознают ли они, что творят? Ведь это же садизм.

Последовал сильный удар, и я упал без сознания; придя в себя, почувствовал, как меня держат под руки и обливают холодной водой.

После этого меня опять заставили стоять. Был и такой случай. Пришел «одессит» <...> и спросил, люблю ли я свежую жареную рыбу с гарниром? Я ответил, что сейчас съел бы не только рыбу, но и жареную крысу. «Одессит» распорядился <...>, и аромат разлился по всей комнате. Я хотел сесть и есть, но «одессит» предупредил, что сначала я должен начать писать «показания» и только после этого позволит мне приступить к еде.

Я <...> заявил, что писать мне не о чем и обманывать советскую власть вымыслами ни за что не соглашусь.

Рыба была отправлена обратно, а мне сказано, что у меня «кишка тонка» сопротивляться тому, чего они требуют.

Как-то пришел следователь с другим, местным следователем для увещевания меня писать. В ответ я высказал мнение, что им просто хотелось бы меня физически уничтожить, но такого права они не имеют, поэтому я сам им помогу, если мне дадут револьвер, чтобы покончить с собой. Они засмеялись и ушли.

Однако в один из последующих дней <...> местный следователь вынул из кобуры револьвер и дал мне. Я быстро приложил <его> к своему виску и нажал на спусковой крючок. Выстрел не последовал, так как револьвер был, очевидно, предварительно разряжен.

Убедившись, что таким образом от пытки избавиться невозможно, я разбежался и со всей силой ударился лбом о противоположную стенку (каменную). Придя в себя, почувствовал страшную боль в голове. И опять меня держали под руки и обливали водой.

Когда все ушли, то милиционер показал мне <...> большой кусок штукатурки. Оказывается, его я отбил от стенки. До чего же я оказался живучим. <...> «кишка» у меня оказалась более выносливая, чем предполагали мои истязатели.

Невольно напрашивается вопрос: да была ли такая антисоветская организация, ради которой приходилось так бесчеловечно истязать людей? Судя по последствиям, <...> такой вовсе

не существовало. Она была <выдуманна> с целью устрашения и оправдания высылки специалистов в отдаленные места, куда бы они сами не поехали.

*95-летний ветеран войны и творческого
труда, лауреат Государственной премии
Фауст Васильевич Никитин*

18 июня 1989

8.

<...> Очень многое сохранилось в системе МВД (в ИТУ) до сих пор.

С арестантами обращаются как со скотом, особенно после выхода в свет постановления об усилении борьбы с преступностью. То есть стали часто применять в ход дубинки, и вообще обращение скотское. В «Архипелаге» очень хорошо написано, что такое голодовка и для чего человек объявляет голодовку. Так вот, пишу вам потому, что <...> это крик человека, когда вокруг творит<ся> беззаконие и жестокость, лично я считаю, что жестокость никогда нельзя оправдать и ничем. И особенно больно воспринимать, когда жестокость, произвол и унижения творят люди, наделенные властью, когда мертв закон, Конституция, когда с человеком делают что хотят. Хотят унижать, захотят избьют, захотят отправят на тюремный режим.

Напишу по существу, то есть подкреплю фактами. <...> 31/X-89 года в нашем лагере осужденные объявили голодовку (большинство осужденных, процентов 90 с лишним), требуя комиссию, чтобы эта комиссия приехала и разобралась в неправомерных действиях администрации лагеря. В лагерь приехал начальник местного УВД и <...> сказал, что никакой комиссии не будет <...> людей стали избивать дубинками и вывозить в тюрьму, за первые дня 3 голодовки более 100 человек очень сильно побили и вывезли в тюрьму. <...> А ведь за время голодовки со стороны арестантов в адрес работников учреждения не было ни одного противоправного действия, даже слова худого не было высказано, чтобы не было тяжких последствий для всей колонии, а администрация ох как хотела и всячески шла на конфликт, оскорбляя и унижая осужденных. Все терпели, а никакой комиссии до сих пор нет. Могло ведь быть и хуже. Малейший конфликт, и ввели бы солдат и последствия были бы непредсказуемы, и я бы уже никогда не смог бы ничего написать. А ведь правда дороже жизни. Так почему же

нашей общественности так все безразлично, или обязательно понять все это, испытав все на своей шкуре<?> <...> Почему я все это вам пишу, потому что вы писатели, журналисты и вообще люди, чтобы вы знали, что все это не в прошлом, а творится именно сейчас, когда на пороге последнее наступает десятилетие 20 века. Голодовка — первое и самое естественное право арестанта, а наши надзиратели смотрят на голодовку как на злостный режим содержания. Я хочу, чтобы люди знали о всех сегодняшних бесчинствах в нашей стране, это мой долг, долг человека, пусть я зек, но я человек и не хочу, чтобы дальше продолжался этот беспредел, и вас, люди, я призываю к человечеству, пусть опомнятся творящие зло, ведь зло порождает зло. <...>

*Арминкеев Ш.Ш.
г. Усть-Каменогорск*

Февраль 1990

9.

<...> Книга очень жизненная и нужная для понимания нашего строя. Раньше меня поражало обилие подонков и откровенных дураков на руководящих постах. Прочитав роман, понял, что лагерная система расстановки «придурков» по теплым местам жива и будет жить. Поразила кампания по уничтожению неперспективных деревень. Сейчас я думаю, что это просто укрупнение лагерей ввиду нерентабельности содержания сексотов и «охраны» по мелким лагпунктам (так по терминологии ГУЛАГа). Поражала нелепостью система прописки, секретности и паспортов. Теперь я понял их значение. Это ведь колючая проволока вокруг нас, невидимая, но от того не менее колючая и крепкая. И работники многочисленных отделов (кадров, режима, прописки, секретных и т.д.) это ведь бдительные часовые на вышках. В их обязанности входит видеть, кто приближается к ограждению зоны, к тому железному «не положено», которое они свято берегут и по сей день. Смешно было смотреть, как на съезде народных депутатов ставили вопрос о передаче власти от партии советской власти. <...> Но понять смысл происходящего помог опять же «Архипелаг». Я подумал, ведь это администрация лагеря делит власть с внутрилагерным самоуправлением. Делили крохи. А ведь настоящая власть-то так и осталась у «опера» <...>.

<...> Как может существовать власть, убившая 65 000 000 человек. Почему у органов безопасности хватает наглости говорить, что в их рядах нет людей, причастных к массовым расстрелам. Ряды-то остались те же, и равнение держали на ту же заветную цель.

Почему международный суд в Нюрнберге мог признать организацию СС преступной и <то, что> сам факт членства в ней делает человека преступником. Когда у нас можно будет открыто и гласно судить ЧК — ГПУ — ОГПУ — НКВД — НКГБ — МГБ — КГБ (а проще органы), я думаю, что любой непредвзятый суд признал бы эти организации преступными объединениями, ставившими перед собой античеловеческие цели. Может, тогда бы исчезла невидимая колючка, вышки с бдительными дозорными и пошли в дело законы о земле, собственности. И взамен страха перед органами у поднявшихся людей заговорила снова бы совесть и стало бы выгодно быть просто честным и порядочным человеком.

Волков М.В.

г. Златоуст Челябинской обл.

Январь 1990

10.

<...> Надо, <...> чтобы они, власти предержавшие, сегодня со всей строгостью и ответственностью относились к своим собственным деяниям, от которых зависит теперь уже не судьба дедов и прадедов наших, а судьба наших детей и внуков. Куда ведут? Что делают? Кого обижают? Во имя чего? Какой во всем этом смысл?.. Кто, кому, когда передает свое право решать свою судьбу? И есть ли право на такое право?

Я — дочь «врага народа».

Я — внучка «кулака».

До каких пор я должна нести этот тяжкий крест? — если ни мой отец, ни мой дед ни в чем (!) не виноваты! Не виноваты! Не виноваты! Не виноваты! И я сама ни в чем не виновата! Так почему я должна ИСКАТЬ, ПРОСИТЬ, ЖДАТЬ ПРОЩЕНИЯ, а не Органы (МВД, КГБ) должны искать меня, просить у меня прощения за то, что ИХ (а не мои!) предшественники по службе обидели меня, унижали полстолетия и больше мое достоинство, мою честь, мое доброе имя?!

Почему?!!

Почему я должна обращаться к гг. Сухареву или Крючкову, а не они должны распорядиться так, чтобы их подчиненные сделали все, чтоб я больше не терзалась сомнениями, где же бранные останки отца и деда — в Соловках, на Колыме или в Рученково (здесь рядом, в Донецке)?

Извините за крик души (мне 62, маме 85).

С уважением
Мария Степановна Дранга
(кстати, гречанка)
 г. Макеевка

Январь 1990

11.

<...> У меня у самой отец, «ленинградский врач-вредитель», был вначале выслан в г. Караганду, в ссылку, а затем 14.02.38 г. арестован, а 7.03.39 г. расстрелян, видимо, к праздничку. А маме много лет морочили голову о «заключении без права переписки».

Так что писать об этом надо, так как ведь у многих вообще совесть заросла, а большинство палачей сейчас в больших чинах, кое-кто на «заслуженном» отдыхе, на «почетных персональных» пенсиях, немало из них сейчас в первых рядах перестройщиков. Вот об этом как-то совсем ничего не звучит. А зря. Все это творили не бесплотные духи, а вполне конкретные, злые, корыстные и понимающие свою выгоду люди. Хотелось бы, чтобы нашла отражение не только тема жертв, но и тема палачей. Правда, это более опасная тема по той причине, что жертвы в основном уже в могилах перегнили, а палачи, вся эта мафия сплочена, жизненна и сильна до сих пор. <...>

Кронович Г.П.
Свердловская обл.

Ноябрь 1989

12.

Дорогой Александр Исаевич!

<...> У Вас нигде нет упоминания о факте протеста против проведения политики подавления НЭПа, о «большом скачке» в индустриализацию и в связи с этим о необратимых для финансов последствиях, об ограблении *всего* населения и дальше —

раскулачивания — почти ранее не упоминавшегося факта геноцида против крестьянства <...>. В 1928 году член ЦК, зам. наркома финансов М.И.Фрумкин, дядя моей матери, написал 2 письма в Политбюро, в которых указывал на пагубность такой политики, протестовал против этих мер. <...> Сталин даже на Политбюро дискуссию о письмах прикрыл, заявив, что на них Фрумкину он ответил лично. Кроме того, пугал Бухарина — «Ты что, на удочку Фрумкина попался?» — «Нет, нет, что ты, Коба!» В 1937 г. Фрумкин был арестован, но ни на кого показаний не дал, на процессах его использовать было нельзя — не поддавался, и в 1938 году его расстреляли. <...>

В начале 1990 года <...> встречается председатель КГБ Крючков с группой народных депутатов СССР. <...> Крючков благодарит депутатов, что те не поднимают вопроса о сносе памятника Дзержинскому — выхлопотали место хоть сбоку камень притулить! И то хорошо. А что КГБ — что же ему сейчас делать, если не вести внутренний сыск? <...> Зачем эти громадные здания? И камеры — если пустуют они? Но пустуют ли? <...> ОМОН убивает, жжет здания таможен, избивает, пытает — и что же? Об этом пишет независимая пресса, а остальные все довольны, и власть предержавшие на все это не реагируют — как бы всего этого и нет.

Вот он, пролог к новой диктатуре, та самая ситуация, так точно описанная в «Красном колесе» <...>! А теперь оказывается — теперь КГБ — другое! Те — это были не они! И не те, что еще вчера мучил П.Г.Григоренко, кто замучил А.Марченко, кто издевался над А.Д.Сахаровым, кто выслал Л.Копелева, В.Некрасова, Вас и многих других! И не те, кто еще 30 октября 1989 года, в день политзаключенного, лупил нас дубинками <...>.

И вот Серго Микоян пишет, какой у него-де хороший был папаша, он был просто хозяйственник, он развивал пищевую промышленность, а к арестам и расстрелам не причастен — это дело одного Берии (и Сталина, естественно). Врет, выворачивается — списки подписывались ими всеми — и уж в 1962 году Микоян участвовал в Новочеркасском расстреле <...> он с Козловым дали команду на применение оружия, и были убиты 37 мирных демонстрантов — а командовал всем этим расстрелом Герой Советского Союза генерал армии Плиев Исса Александрович (его имя присвоено улице в Красногвардейском районе г. Москвы рядом с проспектом Ю.В.Андропова). <...>

Поневоле отклоняешься от канвы «Архипелага». Только в последнее время, года два, начали признавать, что кампания по коллективизации, по раскулачиванию — это геноцид против своего народа, против крестьянства. Эта кампания своим коле-

сом прокатилась и по нашей семье. Во главе 2-й, страницы 60–62, правильно Вы пишете, что «Поток этот ничтожно мало содержал в себе тех “кулаков”, по которым был назван для отвода глаз». Да, это так. Мой тесть, Окороков Алексей Федорович, трудяга, семьянин, физически чрезвычайно сильный, выносливый, не пил и не курил – знал один труд. Он в 1921 году женился на Логиновой Евдокии Федоровне. Она осталась в семье одна – брата расстреляли колчаковцы, мать разбил паралич; отец ее от колчаковцев прятался в воде под мельничным колесом – простыл, в крестьянстве не работник, обуза – и вот Алексей Федорович входит в эту семью. Лето – работа в поле, сеет хлеб, заготавливает сено, держат скот, зимой, когда крестьянин отдыхает – он валяет валенки, лучший пимокат в округе, ходит с обозом, доставляет товары. Он идет из Сибири (они жили в Кузнецком районе Кемеровской области) в Россию и приводит стригунка – орловского рысака, выкармливает его и, участвуя в бегах, выигрывает заклады – но плох он был председателю комитета бедноты – не хотел с ним пить, подносить ему – и вот Алексея Федоровича обкладывают твердым заданием и отправляют на лесозаготовки.

В то время как он валит и вывозит лес, его семью (жена и две девочки – 9 и 5 лет) раскулачивают и, погрузив на баржу, сразу же после ледохода, в половодье, по рекам Томи и Оби ссылают в Нарым. К месту ссылки баржа прибыла 1 мая, и, причалив ее к острову, с которого только схлынула вода, на котором еще лежали льдины, негде было укрыться, не из чего зажечь костер, чтобы обогреться, – так вот, оставив на середине реки стариков, женщин и детей, охрана на несколько суток уехала пьянствовать.

Сколько там перемерло народу! Потом перевезли на берег. Но и там деваться было некуда и есть нечего – но хоть смогли выкопать землянки.

А Алексей Федорович, вернувшись с лесоповала, узнав, что они раскулачены, взяв лошадь и кое-что у родни, пробирается в Нарым и застает мою теперешнюю жену, свою дочь Марию, уже на грани смерти – собственно, уже смастерили и гробик, она была без сознания, и дыхания не было заметно. Но, отпоив теплой водой с медом (он привез его с собой) свою дочь, вскоре (ожидать было нельзя) они бегут из Нарыма. Через заградотряды, через горящую тайгу шли ночью. Их схватили, посадили в тюрьму в Колпашево. Второй побег. Снова тюрьма. И вновь им удается убежать. Это ведь только факты – а как это удава-

лось, как происходило — ведь это тоже целая эпопея! Но вот им побег удался. Куда податься? Документов нет. Они едут в Горную Шорию и там пристраиваются на рудниках. Но ими уже начинают интересоваться. И так, сменив шесть (!) мест — в шести местах строил избушки и бросал их! В шести местах работал он — и как работал! — на самой тяжелой, самой вредной работе, с тем чтобы прокормить семью — он подается в родное село Ильинку Кузнецкого района и прячется на чердаке у родной сестры. <...> И вот Фрося, сестра, идет заявлять, что ее брат сбежал с поселения и прячется у них на чердаке (на полке, как говорят в Сибири). Ее муж, Баталов, догоняет ее и избивает до полусмерти. Но Алексею Федоровичу прятаться уже негде. Он заявляет о себе, и его берут в спецкомендатуру в Новокузнецк. Там в районе ДОЗа было несколько улиц из барачных, землянок, хибарок — так и назывались — Спецпоселенческие улицы № 1, 2, 3. Кстати, еще совсем недавно в Новокузнецке бараки тех лет еще были и в них еще жил народ, как сейчас — не знаю. Так вот, работать послали на аглофабрику на Кузнецком металлургическом комбинате, работа очень вредная, газ, пыль, разъедающие легкие, а платили гроши да еще вычитали на содержание спецкомендатуры. Жили — не так жили, как ссыльные большевики царских времен, не так. Потом их перегоняют в пос. Подобасс, в леспромхоз, где вся семья трудилась на лесозаготовках. Оттуда Алексея Федоровича арестовывают (58-10), и погибает он в 1946-м в Магадане. Сейчас реабилитирован. Что это дало ему? Семье? Реабилитирован.

<...> Да, «это было народное переселение, этническая катастрофа» — и прообраз последующей ссылки целых народов.

<...> В 1956 году пошла волна хоть и не массовой, но реабилитации. Начал народ возвращаться оттуда. И вот начальник комбината (главка) «Кузбассшахтстрой» Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР Воробьев Владимир Ильич почувствовал себя плоховато. А тут еще и к юбилею его орденом не наградили (в таком ранге и к круглой дате — награда обязательна). А был он в 1937-м — нач. участка на шахте. Но вот арестовывают начальника шахты — и он уж начальник шахты. Через пару месяцев арестовывают управляющего трестом. Теперь он — управляющий трестом. Вскоре арестовывают начальника комбината, и Владимир Ильич уже в кресле начальника комбината. Головокружительный взлет! После были колебания — то сливали комбинаты (Кузбассуголь и Кузбассшахтстрой), даже смещали его до управляющего трестом, по-

том опять на комбинат — но это уже в одном, соответствующем ранге. И вот стали возвращаться домой им посаженные... Ничего, пронесло. Поработал еще, благополучно ушел на персональную пенсию, умер, и улицу, на которой он жил, переименовали — стала улицей им. В.И.Воробьева. И потомки гордятся таким папашей. Сейчас, когда в бывших странах «народной демократии» (Чехословакия, ГДР) открыли архивы секретных служб и оказалось, что весьма влиятельные и уважаемые руководители — просто их платные агенты, то ужаснулись. А у нас? <...>

Александр Константинович Гладков писал:

Нас много тут невиноватых
И в телогрейках, и в бушлатах,
Поникших гордой головой,
Остриженных под нулевой.
Нас много. Даже не представишь.
Считать попробуй, так устанешь.
И, кажется, не перечешь,
Но счет, должно быть, где-то есть.
Под ста замками — чудо века —
Всем картотекам картотека
(Социализм ведь есть учет),
Неокругленный, полный счет.
То ль в новом здании, то ль в старом,
Проверенный по формулярам
Беды и подлости итог:
Фамилия, статья и срок.
Нас много тут, довольно разных,
Но под бедой однообразных,
В краях сибирских и иных
Солдат болотных и лесных
И в валенках, и в суррогатках
И в неуклюжих тех заплатках,
Что сделаны мужской рукой...
Нас много! Ну, а счет на кой?
На кой бы ни было — пусть будет.
Тот счет Россия не забудет
Пускай не в славу, не в почет,
А просто правды злой расчет.
Счет всем, кто родиной утрачен,
Всем чашам горя, что без дна...

Не будет никогда оплачен
Наш счет историей сполна.

1949 г. Каргопольлаг ОЛП-3 (Мостовица).

<...> Кстати, по поводу памятника Александр Константинович Гладков писал в 1952 году:

Мне снился сон. Уже прошли века,
И в центре площади знакомой, круглой
Могила неизвестного зека:
Меня, тебя, товарища и друга...
Мы умерли тому назад... давно,
И сгнил наш прах в земле лесной, болотной,
Но нам судьбой мозолистой и потной
Бессмертье безымянное дано.
На памятник объявлен конкурс был,
Из кожи лезли все лауреаты,
И кто-то, зная, медаль с лицом усатым
За бронзовую славу получил.
Нет, к черту сны!.. Бессонницу зову,
Чтоб перебрать счет бед в молчанье ночи.
Забвенья нет ему. Он и велик и точен.
Не надо бронзы нам – посейте там траву.
<...>

С величайшим уважением
И.Б. Соломоник
г. Москва

26 ноября 1991

СОДЕРЖАНИЕ

В. Леонович. Из тяжести недоброй	3
Б. Чичибабин	15
Пока существует совесть	16

ПРОЗА

Г. Демидов	21
Дубарь	25
Интеллектуал	53
Я. Браун	67
Глаза	71
Гамбит дьявола	73
Ю. Фидельголец	113
Тот Ванинский порт	114
А. Берцинская	155
Тоська Пепеляева	157
Е. Лисицына	168
Японец	169
С. Гольцман	170
Жулик	171
Л. Коган	173
Доброта	174
Васильки	176
Н. Гаген-Торн	178
Сила слова	180
Б. Антоненко-Давидович	186
Конный милиционер	187
Г. Воронская	199
Мамки	201

ПОЭЗИЯ

А. Жигулин	223
Россия Бога не забыла.....	224
А. Солженицын. Два письма А. Жигулину	231
А. Баркова	234
Как дух наш горестный живуч.....	238
А. Солодовников	248
Всенощная.....	250
Е. Владимирова	259
Полным голосом.....	261
М. Бугров	270
Друзья	272
Ю. Галь	275
У жизни на краю.....	276
Н. Клюев	281
Песнь о Великой Матери.....	285

ВОСПОМИНАНИЯ,
ПИСЬМА, ДОКУМЕНТЫ

М. Шангин	385
Тюрьмы.....	386
С. Ходушин	401
За что?.....	402
А. Лазебников	408
Магазин на Сретенке.....	409
Б. Лесняк	416
Кедровый стланик.	418
В. Шаламов. Письма Б. Лесняку	441
Из-под «Красного колеса». Воспоминания детей «врагов народа».....	450
Голод на Украине. Воспоминания, документы	472
В Италию, Максиму Горькому. Письма из архивов КГБ	509
В «Новый мир», Александру Солженицыну. Письма из архива Русского Общественного фонда Александра Солженицына	540

ISBN 5-7082-0061-8



9 785708 200612

ЗА ЧТО?

Проза, поэзия, документы

*В оформлении книги использованы
автографы ее авторов*

Оформление
В.Н. Сергутина

Издатели:
В.Н.Рахманов, Б.Н.Романов

Компьютерная верстка текста
Л.А.Шелковой

Издательская лицензия ЛР № 070302 от 30.07.97
Подписано в печать 15.04.99. Формат 84x108/32
Печать офсетная. Тираж 3000. Заказ 204

115598, Москва, а/я 16
Издательство «Новый ключ». Тел.: 329-22-69; 243-57-25

Отпечатано в типографии Патриаршего
издательско-полиграфического центра
г. Сергиев Посад Тел./факс: (095) 721-26-45

Друзья

(коротенькая повесть)

Жили Шошин да Ерошин, за плечами
жизни пошны неосиленные и тяжкие
груды. Страны были разные, союз. Шо-
шин часто жил «на зонах» да Ерошин
был в погонах, назывался кратко -
«КЧМ». Меж ними любовь и тугоум, пре-
зирали он всех «чучмекор», нечуж-
ды кровно «зэкор», верно Сталину
служил, слава его и горько ему...

И рожденья быстрого. Изменяются
народы: стали зрело рассуждать и
парт-знать критиковать. Та сперва
сопротивлялась, а потом сама при-
зналась, что была насчет чужа, чужа
мелкая «Борода» и за что борода
линии... Распознались, словно тени
бюрократы всех мастей. Звали
«фактором» людей!

Важно. Речь здесь не про них, это ж
повесть, а не стихи...

ИКИ